КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1925

КНИГА
СЕДЬМАЯ
СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 7

СЕНТЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД


1я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬ
МОСКВА.—ПЯТНИЦКАЯ,71
Гиз 14708. Главлит 40373.
Напеч. 8.000 экз.

Пыль.

Рассказ.

И. Соколов-Микитов.

I.

Попутчики нагнали Алмазова во ржах на выгоне, уходящем вниз к реке. Над обожженной солнцем дорогою, над широким полем, над деревенскими крышами, горевшими под солнцем, сизая проносилась пыль. Теплый ветер проходил по нивам, как по морю, и гнал по хлебам зеленые волны. Во ржах по межам, вперебивку, захлебываясь, били перепела. Синими звездами качались васильки.

Попутчиков было двое, шли они обочиной накатанной дороги, ступая по теплой пыли и бодро потряхивая портками на босых, залубенелых от навоза и солнца ногах. За их спинами висели стянутые лыком плетеные кошели и пыльные онучи. Поровнявшись с Алмазовым, они убавили шагу, поздоровались, и чернобородый, похожий на цыгана мужик, внимательно всмотревшись черными веселыми глазками, сказал:

— Далеко, товарищ, идешь?

Алмазов назвал село.

— И мы туда, — весело ответил мужик. — А ты не барин ли будешь какушинский? Гляжу я на тебе, будто видались, а где — не упомню.

— Я сын Антон Петровича, может, знали? — сказал Алмазов.

— Как не знать, как не знать, — подхватил другой, невеликий ростом, седоватый, в старом выгоревшем картузе, напяленном на сухие старческие уши. — Очень даже помним Антон Петровича. Я у вашего папеньки частенько бывал, на работу хаживал. Как не знать... Что ж, теперя родные места проведать идешь?

— Хочу поглядеть, — ответил Алмазов.

— Погляди, погляди, — сказал мужик, — только смотреть-то, брат, не на что, всее гнездышко по сучкам разволокли, пожалуй, и не признаешь.

Пошли рядом: бывший барин и мужики. Черный шел споро, босыми ногами поднимая пыль, подхватываемую ветром. Старик все забегал вперед и перекатывал плечи, оттянутые кошелем.

— А я гляжу, гляжу, — с удовольствием говорил он, заглядывая в лицо Алмазова, — по походке алмазовский, а личность вроде не тая. Я тебе еще во-от каким знавал, на своей ладоне тебе носил, и был ты чуть поболе воробья. О ту пору мы к твоему папеньке приходили канавы рыть на лугах, а ты, бывалча, все в речке сидишь под мельницей, порточки засучимши. Бывало, идем мимо, а ты из речки решетом трясешь: гляди, мол, вот она рыба.

Мужики засмеялись.

— А теперь ты, братец, совсем скис, нипочем тебе не признать... Как живешь-то? — продолжал мужик.

— Живу, — ответил Алмазов.

Мужики переглянулись: так не соответствовала вся видимость барина этому слову, — был он худ, длинен, измят. Городская обтрепанная одежонка висела на нем, как на голом колу, соломенная шляпа съехала на затылок, обнажив не мужицкое, нездорово загоревшее лицо с детским ртом и испуганными глазами. На шляпе, на длинных ресницах, на небритой русой бороде густым налетом лежала серая пыль.

— Так, так, — сказал черный, — вот оно какая дело. Не чаял, небось, пешечком пыль-то клубить?

Шли полями по скату. Внизу лентой свивалась река. За рекой полого поднимался противоположный скат, и было видно, как по нему, по хлебам, ходили такие же волны, точно невидимая рука гладила зеленый бархат. Над полями, над рекой, над зелеными волнами, высоко в небе висели пуховые белые облака, казалось, неподвижно. В том, как зеленели вокруг хлеба и высоко в небе стоял над полями ястреб - конюх, была такая полная, вечная тишина, что Алмазову стало казаться, что ничего не изменялось. По-прежнему по канаве душно цвела медуника, а внизу над ручьем горела куриная слепота. А на том берегу, за деревней, где раньше лежала алмазовская усадьба, сквозили мужичьи поля, и бесконечно ходили зеленые волны.

— Запахали землицу, — догадываясь о мыслях Алмазова, сказал черный мужик.

— Тебе-то, небось, жалко, — с сочувствием спросил старик, — от сладкого к горькому привыкать? Эх, — вздохнул он, не то жалея, не то радуясь, — так-то всякому человеку своя черта. Твой папенька, бывало, катит со станции — пыль столбом, а ты вот, не хуже нашинского, пятки бьешь.

Деревня, в которую входили мужики, по видимости ничем не рознилась от той, что от детства запомнил Алмазов. По-прежнему солнце освещало неширокую улицу, покрытую подсохшей, крепко убитой грязью. Два ряда изб уныло глядели маленькими окнами друг на дружку. По-прежнему, осевши на все четыре угла, доживала свой век хатенка беспутного деревенского пастуха и бобыля Ореха, горького пьяницы. Нового было в деревне — белевшие свежим деревом пятистенки богачей, ладно крытые под щепу, с пустыми окнами и ненавешанными дверями.

— Заходи, заходи, — весело сказал Алмазову черный мужик, останавливаясь у новой избы, — заходи, гостем будешь.

Алмазов вошел в сени, пахнувшие струганным деревом и дегтем, и прошел за хозяином через нежилую половину, где на дубовых спицах висела смазанная дегтем сбруя. В избе было жарко и светло, гудели над столом мухи. На печи, спустив тощие ноги, сидела старуха — одна в избе — и большим кленовым гребнем вычесывала голову. Войдя в избу, мужик скинул кошелку и бросил в угол.

— Чей такой? — спросила старуха, вглядываясь в Алмазова.

Не спеша мужик снял шапку и повесил над дверью, не спеша ответил:

— Гостя привел, — Антон Петровича сынок.

— Ух, и худущ, — сказала старуха, старческими зоркими глазами разглядывая гостя: — аль голодом сидел?

— А ты не чеши язык! — строго сказал черный.

Он снял с полки большой позеленелый самовар, перевернул над лоханкою, вытряс золу и, стоя с пучком полыхающей лучины в руках, сбочив голову, говорил:

— Теперь время рабочая, — межень, всеё семейство в лугах, одна старуха дома. А мы вот который день понапрасну лапти бьем, — все насчет землицы. Вашей землицы,—добавил он.—Ты уж не гневайся. Землица-то тебе все едино теперь не нужна.

Алмазов кивнул утвердительно.

Все в черном мужике было ладно, пригнано, крепко, как в хорошо срубленной избе. И делал он свое дело споро, ладно и весело, точно играя. Лад и хозяйская крепость примечались во всем: лес на избе был ровный, прямой, щитно пригнатый, подоконники дубовые, толстые, стол новый, прочный, печь, занимавшая пол-избы, — велика и плечиста. Даже закипавший перед печью самовар был коренаст, устойчив и так же черен.

Алмазов сидел у окна на скамейке. Мягкие его белокурые волосы были мокры и примяты, лицо бледно. Он с любопытством поглядывал на черного мужика, возившегося около самовара, и барабанил по столу тонкими пальцами. За его спиной, на новой, еще не давшей трещин стене с выступившими слезинками смолы висели старинные фотографии без рамок: господа в широких светлых брюках, со взбитыми густыми прическами, может статься, предки Алмазова, извлеченные из господского альбома и вывешенные на мужицкую стену для утехи.

— Ты мене-то, небось, не помнишь? — продолжал хозяин, сдувая с поспевшего самовара пыль. — А я тебе хорошо помню. Киндея Гаврилова, может, слыхал?

— Кажется, помню, — ответил Алмазов. — Печник?

— Во, во, во, — радостно заговорил мужик. — Отец мой. У вас в хлигелю клал печи. А я его сын — Лексей. Тогда и я хаживал к вам. Ты-то был во-от такой.

— Много воды утекло, — сказал Алмазов.

— Воды, брат, утекло много, — подхватил хозяин, садясь за стол и подставляя под кран чашку. — Время было — упаси бог, — всего перепробывали, теперя вспоминуть тошно. Нынче мало-мальски опять на своем, подошли к обзаведенью. И хлебушка есть.

— Семья-то у вас велика? — спросил Алмазов.

— Семья? — Семья, брат, сам пят. Да вот дочку отдаю, тебе будет на свадьбе гулять.

Вместо чая пили пряный малиновый лист. На лбу у мужика крупно выступил пот, глаза подобрели. Он утирался концом полотенца и наливал в маленькую чашку, терявшуюся в его большой смуглой руке. На стол косяком падало из окна солнце, и по белому потолку от чашки бегал и трепетался зайчик.

Алмазов выглянул в окно. По улице, освещенной солнцем, ходили куры, ветер трепал длинное черное перо в петушьем хвосте. С лугов возвращались люди с граблями на плечах, с блестевшими на солнце полосами кос. От пестрой кучки баб, проходивших на улице, отделилась девка в малиновом сарафане, побежала к избе.

— Наши идут, — сказал Лексей, заглядывая в окно.

Из сенец вошла девка в белом платке, спустившемся на голую загорелую шею. Увидав гостя, она остановилась, вытерла широким рукавом лицо и улыбнулась. И по улыбке Алмазов признал в ней бойкую девочку, когда-то приносившую к ним в дом в лубяном лукошке, повязанном красным головным платком, пахучую лесную малину. И девка узнала Алмазова, покраснела, поправила платок и подала горячую и жесткую руку.

— Узнали? — спросила смело.

— Узнал, узнал, — поспешно ответил Алмазов. — Все такая же.

— Ну, где такая,— бойко ответила девка. — Теперь в старухах хожу.

По тому, как смело и прямо глядела девка, как уверенно и весело блестели ее карие глаза, Алмазов понял, что она была молода и счастлива.

Под вечер он пошел за деревню, вниз к реке. Вся деревня уж знала о приезде барина, на него глядели, как на чудо, и загорелые лица следили за ним в открытые окна.

Выйдя за деревню, он свернул с дороги и пошел межою к реке. Солнце опускалось над лесом. Подойдя к речке, он разулся и перешел вброд по голым и холодным камням, и вода журчала вокруг его ног. И Алмазов припомнил, как в детстве лазил по этим же камням и вместе с деревенскими ребятами шарил под кручами раков.

Перейдя реку, Алмазов обулся и по обрыву поднялся к усадьбе. Парк наполовину был вырублен. Грачи гомозились на немногих оставшихся деревьях. Над спущенным прудом, заросшим травою, лежали дубовые разбитые вершины, еще не сбросившие сухих, звеневших по ветру листьев. Вокруг пруда и по парку дико разраслась сирень. Там, где стоял алмазовский высокий, с колоннами, дом, окнами на церковь, чернела куча обгорелых обломков, затянутая бурьяном, и вокруг колосился ячмень, буйный, зеленый, местами полегший от тучности.

В парке по траве рассыпались одуванчики, и под уцелевшими липами ковром цвела Иван-да-Марья. Пахло нагретой землею и медом. Старая яблоня наклонилась ветвями до самой земли.

Алмазов пошел к церкви, мертво сквозившей за деревьями. В ограде было пустынно, зеленела густая трава, и со свистом падали над белой колокольней стрижи. Одно окно за витой решеткой заблестело нестерпимо ярко. Алмазов прошел мимо знакомой паперти с большими, выкрашенными в зеленую краску, дверями и, шурша высокой травою, завернул за алтарь, к фамильному склепу дворян Алмазовых. На него по-прежнему взглянул мраморный неподвижный ангел с раскрытой книгой у сердца. На месте мраморной доски с алмазовскими именами — в сером камне темнели четыре дыры от болтов. Алмазов присел на памятник, снял шляпу, задумался. Под ногами его пробежала по камню полевая мышь и скрылась в траве. Холодно краснела на последнем солнце колокольня и погасала быстро. И тотчас же внизу, на пенькомочище, громко закричали лягушки. Опять на минуту Алмазову показалось, что он босоногий, восьмилетний мальчик, забежавший после игры в ограду.

Когда зашло солнце и улеглась на дорогах пыль, а над лесом, над полями опустилась широкая, теплая, как дыхание человека, вечерняя тишина, Алмазов вернулся в деревню. У околицы его повстречали ребята, приодевшиеся в городские короткие пиджаки, и поздоровались дружелюбно.

Он пошел улицей на голоса.

Посередине деревни, на взгорке, где скатывалась к реке дорога, толкалась приодевшаяся молодежь. Алмазов подошел поближе. Увидев сидевших на бревнах под амбарушкой мужиков, он завернул к ним и поздоровался. Ближние ответили ему, коснувшись фуражек, другие, внимательно разглядывая, промолчали. Чувствуя неловкость, Алмазов присел рядом с невысоким плотным мужиком, державшим в коленях маленькую девочку с добела выгоревшими, заплетенными в косичку волосами. Девочка, не моргая, уставилась на незнакомого человека своими большими и ясными глазами.

По улице в сумерках стенкой прохаживались ребята. Средний, — в закинутом на затылок приплюснутом картузе и ситцевой косоворотке,—нес на ремне гармонь и бойко перебирал по ладам. На губе его белел потухший окурок. В ногу с гармонистом шагал длинноносый парень в косматой овчинной шапке и, скаля белые зубы, надсадно запевал под гармонь «страданье» —

черным черно мое сердце
черней черного чела...

И стенка подхватывала враз: —

не видал свою зазнобу
ни сегодня, ни вчера...

Ребята прошлись раз и два по деревне, из конца в конец, никакого внимания не обращая на сидевших под амбарушкой мужиков и на сбившихся

у колодца, по праздничному разодетых, девок и баб. За ребятами, ходившими по деревне с гармонистом, клубками катились босые ребятишки и звонко подсвистывали в два пальца. Пронзительная песня то притихала, когда парни удалялись в конец деревни, то опять звучала так, что у Алмазова начинало звенеть в ушах. Пройдя в третий раз, стенка остановилась против колодца, и гармонист, вытирая со лба пот, присел на комяжку. Скинув с плеча широкий ремень, он заиграл частенькую, и девки окружили его плотным, пахнущим кумачом и зноем кольцом.

Носастый парень в овчинной шапке лихо стукнул сапогом о дорогу и, перебирая плечами, подкатился к девкам и выбрал одну — широкоплечую, ладную, в домотканной тяжелой безрукавке, с выпущенными вышитыми рукавами. Девка пошла с ним, коротко повертываясь, пристукивая каблуками и раздувая подол голубого сарафана. Загорелое лицо ее под белым платочком было каменно сурово, губы тверды и сухи. Польку танцовали до поту, топчась на одном месте, плотно стиснутые жарким человеческим кругом.

Алмазов подошел к пестрому кружку девок и баб. Он через головы видел подпрыгивающие в лад с гармоникой цветные бабьи платки и мотающуюся косматую шапку носастого парня. Гармонь заиграла теперь совсем тихо, чуть пиликая, задушенная кольцом зрителей. Под ногами Алмазова лазили и толкались ребятишки, заглядывали ему в лицо чужими и зоркими, как у зверков, глазами.

Кто-то легонько толкнул его под локоть. Обернувшись, он увидел маленькое, заросшее рыжей бородою лицо и темный, хмельной, подмигивающий ему глаз.

— Ну, как, барин, весело? Гуляет народ.

Алмазов внимательно посмотрел на невысокого мужика и узнал в нем Халамея, в прежние времена частенько приходившего на алмазовский двор просить у Антона Петровича на водку. Памятен Алмазову был Халамей тем, что когда-то посадил его Антон Петрович за поджог сенного сарая и после тюрьмы Халамей пьяный приходил на усадьбу — его почему-то не трогали собаки, — бросал на дорогу шапчонку и, затоптав ее в пыль, плакал и жаловался так громко, что в парке ему откликалось эхо. Дети не боялись его и, сбившись вместе, смотрели и слушали его со всею детской серьезностью.

Теперь Халамей почти не изменился, только посерела на висках бороденка, и глубже ушли темные глазки, да виднее просвечивала в них прикрытая боль.

II.

Ночевал Алмазов в сене, под сквозной крышей, в которую всю ночь светил месяц. Сено еще не остыло от полевого зноя, и где-то, около головы Алмазова, всю ночь пел и ползал кузнечик. Спал он чутко, чувствуя на лице дыхание сквозняка и холодный свет месяца.

С ним спал младший сын Лексея, мертво, не шевелясь и неслышно дыша.

Поутру Алмазов ушел за деревню. Он прошел огородами через пахучую высокую коноплю, с которой падала каплями ночная роса, обошел деревню, звучавшую петухами, и спустился в луга. Он шел берегом, сбивая с ольховых кустов холодные капли, и за ним, на седой от росы высокой траве, оставался видный след. Над тихой водою, над зелеными лопухами кувшинок, курился парок. Дикая утка, подняв сноп брызг, вырвалась из-под его ног. Из всех сил кричали в зеленой осоке коростели. Он шел в луга, на солнце, поднимавшееся над туманом. Покудова хватал глаз, на зеленом просторе белыми точками двигались люди. Изредка ослепительно вспыхивала на солнце коса и погасала.

Алмазов пошел к двум ближайшим косцам, бойко махавшим новыми белыми косовищами. Было слышно, как бодро жигают по густой тяжелой траве косы и стучит брус в подвязанной к коленке бруснице. Пожилой широкий мужик, с плотной курчавой бородой, в холщевой рубахе, уже пропотевшей на лопатках, босой, в полинялых, вымоченных росою по колено портках, ходко гнал широкий прокос. За ним шел молодой парень без шапки, в рубахе распояской, с жестяной брусницей, привязанной лыком к ноге. Вокруг обкошенных кустов лежали густые, пахучие и мокрые валы. На голой кочке у вросшего в землю черного камня валялся плетеный кошель, и стоял глиняный кувшин, заткнутый зеленым лопухом.

Завидев Алмазова, мужик остановился и оставил косу.

— Бог помочь, — сказал, подходя, Алмазов.

Мужик взглянул на него серыми прищуренными глазами и весело ответил:

— Спасибо. — Подходи к нам закуривать.

Он присел на корточки, достал из лежавшего под кустом пиджака кисет, вынул бумажку.

— Утро сегодня, — сказал он, сидя на корточках, с прилипшей к губе бумажкой и кроша на ладонь табак, — благодать. Не слыхать, как коса режет.

Алмазов присел на сырую кочку и взял у мужика бумажку.

— Надолго к нам? — спросил мужик.

— Нет, — ответил Алмазов, — не пробуду долго.

— Поглядеть пришел?

— Хочу поглядеть, — сказал Алмазов.

— Так, — ответил мужик, свертывая цыгарку и садясь, — глядеть-то не на что стало. Вот — ваши лужки косим.

Парень в рубахе распояской, звонко и быстро шаркая, наточил косу, засунул в брусницу брусок и продолжал обкашивать густой, сивый от росы куст. Добив покос, он положил на плечо мокрую косу и, шагая через валы, подошел к старику. На молодом безусом лице его по кирпичному загару золотился белый сухой пушок. В его глазах, как у старика, светился веселый задор работы, а на лбу, под спустившимися густыми темными волосами, мелкими капельками блестел пот.

Он положил косу на землю и присел на скошенную траву. Старик перебросил ему кисет.

— Жених, — подмигнул он Алмазову. — Завтрева свадьба, у мене лямку трет.

Парень застенчиво улыбнулся.

— Теперь время рабочая, — говорил старик, — раз-два и готово. Пироги не простынут — валяй сено возить.

Не спеша докурив, он напился из кувшина, дергаясь кадыком на серой морщинистой шее, крякнул, заткнул горлышко смятым лопухом, смахнул большой рукой капельки с бороды и усмехнулся.

— Не хошь ли с нами помаяться? — шутя сказал Алмазову. — Запасная коса есть.

— А что ж, — ответил Алмазов, — я бы не прочь.

— Бери, попробуй.

Парень, улыбаясь, достал из куста косу и подал Алмазову.

— Постой, я тебе наточу, — сказал старик и, взяв горсть зеленой мокрой травы, вытер косу, упер косовище в землю и звонко зашаркал по тонкому лезвею коротким отбитым бруском.

— На, получай, — как бритва.

Алмазов неловко взял косу, попробовал замахнуться, и коса воткнулась в землю.

Мужики засмеялись.

— Это, брат, тебе не книжки читать, — сказал старик.

Понемногу Алмазов размахался. Прокос выходил неровный, коса срывалась, — но ему не хотелось отступаться. Старик отвел его вниз к реке, в осоку, и сказал:

— Пяткой, пяткой нажимай. Тут тебе самая косьба.

Осока резалась легко. Оставшись один, Алмазов прошел ряд до реки и посмотрел вверх, где догоняли его старик и молодой. Поднявшееся солнце уже подсушило росу. Под ногами Алмазова выступала и хлюпала вода, зыбился луг. Солнце освещало дно реки, заросшее длинными, склоненными течением водорослями, и Алмазов видел, как между водорослями по песчаному дну перебегают юркие пескари. Появились маленькие мушки и надоедливо лезли в глаза. Стало припекать.

— Подрядье-то, — весело сказал старик, прогнав длинный прокос и подходя к Алмазову, — за это нашего брата, бывало, по шапке.

Алмазов вытер со лба пот и улыбнулся.

Ему было легко. Поднявшийся полуденный ветер обвевал его голову, руки понемногу привыкли к косе. Было приятно, что высокая, жестко шелестящая осока ровно и легко ложится под косой.

Пройдя шестой ряд, старик обмыл в реке косу и сказал:

— Ну, барин, довольно. Теперь бабы придут ворошить. Пойдем свадьбу гулять.

Алмазов отдал косу и остался тут же. Он лег на спину на свежескошенную траву, в тень, и стал глядеть в небо, по которому, словно бараны по полю, рассыпались мелкие облачка.

Весь день он проходил по лугам, заходил в лес, где на лицо липко садилась паутина и на березах пересвистывались невидимые иволги, заходил в поля и подолгу смотрел на зеленые волны хлебов.

Вечером ему повстречались спешившие с хуторов на свадьбу ребята, и он пошел с ними.

В деревне около Лексеевой новой избы толклись и визжали ребятишки, заглядывали в окна.

Алмазов вошел в избу, тесно набитую народом. В передней половине, покрытые суровыми скатертями, во всю стену, стояли сдвинутые столы, и в красном углу, воткнутая в ковригу, убранная цветными бумажками сияла сосна. За столом тесно сидели девки, раскрасневшиеся, с блестящими глазами. В самом углу, за сосной, через головы баб и ребят, стоявших вокруг стола, Алмазов разглядел невесту. Лицо ее было заплакано, платок низко спущен на лоб, но под платком глаза глядели весело и бойко.

Когда входил Алмазов, девки молчали, перешептывались и кусали подсолнушки. У стола по середине хаты стоял сам Лексей в черной жилетке поверх вышитой рубахи. Черная борода его блестела, как вороново крыло, щеки пылали. Он казался шире и выше всех. Завидев Алмазова, он улыбнулся, сожмурил хмельные глаза и поманил пальцем.

— Пожалуй свадьбу гулять, Сергей Антоныч, — крикнул он через головы.

Выждав время, девки запели свадебную. Одна—белозубая—начинала, и другие подхватывали звонкими голосами. Песня была грустная, прощальная, свековавшая века, и Алмазов приметил, как невеста, наклонив голову, тихонько вытерла концом платка слезы.

Девки пели не спеша, берегли себя: впереди, до приезда сватов, была целая ночь. В перерывах они шептались и исподлобья поглядывали на гостей, толпившихся вокруг стола. В холодной половине баловались ребятишки, и Лексей подходил к дверям и кричал на них:

— Кышь, жигуны, вот я вам.

В избе было жарко, девки утирали губы платками и потели. Алмазов долго стоял у двери, стиснутый людьми, и чувствовал, как в дверь просачивается с улицы свежий воздух.

— К жениху пройдите, — сказал ему стоявший возле него черный парень.

— А где жених? — спросил Алмазов.

— Я доведу, — с готовностью ответил парень, — ступайте за мной.

Алмазов вышел за парнем, и они пошли улицей, ступая по убитой дороге. С речки тянуло холодком, зажигались на небе первые звезды.

— Теперя на целую ночь заведут, — говорил парень, — вам-то наше дело, конечно, неизвестно.

— Как на целую ночь? — спросил Алмазов.

— А так: теперя у жениха и невесты гуляют, а в рассвету приедут к невесте сваты — опять гулять.

Подошли к другой освещенной избе. Алмазов увидел в окно косматые затылки мужиков, сидевших за столом, и красные платки баб. Звонкие бабьи голоса пели бойкую плясовую.

У жениха было так же тесно. За столом сидели мужики и бабы и не спеша ели. Отец жениха — веселый старик, с которым Алмазов утром косил на речке, по очереду наливал гостям из четверти и каждого уговаривал выпить. Мужики пили молча и, закусив холодцом, клали ложки спинками кверху, бабы морщились и утирались платочками.

Жених сидел за столом в черной сатинетовой рубашке с вышитым на груди кармашком и неподвижно, как на фотографии, смотрел перед собою.

У стола перед сватами, сидевшими в головах, толклись бойкие бабы с хмельными и потными лицами и почти без перерыва с вывизгом и притоптыванием веселыми песнями обыгрывали жениха. Две молодые бабы, без платков, в малиновых повойниках на гладко зачесанных волосах, — хмельно блестя глазами и показывая белые, как чеснок, зубы — вертели над головами белыми платочками и бойко отплясывали. Песня была задорная, аховая.

Без тебя, мой друг, постелька холодна,
одеяльце заиндевело...

Алмазов чувствовал жаркое дыхание баб, певших песню, глаза их, горевшие задором и весельем, обжигали его, под его ногами ходуном ходили шаткие половицы.

Его посадили за стол рядом с мужиками, молчаливо глядевшими на веселых баб. Хозяин налил в стакан и поднес ему.

— Ты выпей, небось, — сказал ему сидевший о̀бочь мужик, — от этого не сохнут.

Алмазов выпил полный стакан мутной, пахнущей хлебом самогонки и поморщился.

— Наша горькая, — подмигнул хозяин, глядя ему в рот.

— Да ты ешь, ешь, — уговаривал его мужик, — закусывай.

Алмазов закусил густым холодцом и почувствовал, как самогонка ударила в голову, захотелось смеяться. Он улыбнулся, вздохнул и поглядел на сидевших с ним мужиков. Ему было приятно от того, что по телу разливается тепло и легкой стала голова.

— Весело у вас, — сказал он мужику.

— У нас, брат, весело, — ответил мужик, подмаргивая веселым глазом.

III.

Вышел Алмазов из избы на крыльцо, когда над деревней, над полями лежала теплая ночь и месяц светил на порожнюю улицу. Над рекою, за старой алмазовской усадьбой, расплывалось по небу дальнее зарево. Над головой Алмазова пискнула и неслышно пала в ночь летучая мышь.

К нему подошел мужик в белой рубахе и, пошатываясь, сказал:

— Гуляешь, Сергей Антоныч?

— Гуляю, — ответил Алмазов.

Мужик стоял перед ним и улыбался в темноте.

— Аль не узнаешь?

— Ванька? — спросил Алмазов, признав в мужике своего приятеля по детству, сына алмазовского лесника Семена.

— Признал, признал, — ответил мужик.

— Был Ванька, а стал Иван Семеныч, — насмешливо вставил из сеней чей-то голос.

— Сергей Антоныч, — сказал Ванька, трогая Алмазова за локоть, — пожалуйста, на пару слов.

Алмазов сошел с крыльца. Ванька показал ему на отдувшийся карман и сказал, наклоняясь к уху:

— Прошу тебе, сделай милость, зайди.

Они пошли на край деревни к Ванькиной хате. Дорогой Ванька покряхтывал, шел впереди и молчал. У своей избы он остановился и пропустил Алмазова в темные сени.

В избе тускло горела лампочка под засиженным мухами пузырем. У окна на скамейке сидел, положа руки на колени, лысый тощий старик и пьяно моргал маленькими глазками. Алмазов узнал в нем старого Ореха, ходившего в пастухах за алмазовским стадом.

Изба была просторная, разделенная стеной на две части, с двумя нескладными печами. Строил ее Ванькин батька, лесник Семен из вольного лесу, но, видно, у Семена, занимавшегося больше охотою, не хватило терпенья, и вышла изба неладная, с низкими непомерно потолками, с маленькими оконцами, которые можно было прикрыть шапкою. В избе было тесно и сорно, где попало, валялась посуда, а из лоханки у порога текло. Потолок и стены были иссиза черны, и по ним, шустро поблескивая, перебегали прусаки. В углу на божнице, украшенной резаной газетной бумагой, темнели иконы, дочерна засиженные мухами.

— Привел, — сказал Ванька, впуская Алмазова в избу.

Алмазов увидел около печки бабу, наклонившуюся над зыбкой и кормившую ребенка, задиравшего из тряпья кривые ножки. Она кивнула ему и, спрятав грудь, стала качать привязанную к длинному шесту полную тряпья лубяную зыбку.

Орех, шатнувшись, поднялся навстречу Алмазову и схватил его за руку.

— Барин, милый мой, — хмельно заговорил он, ладя поцеловать.

Алмазов, конфузясь, отвел его и присел у стола.

— Разорили соколика, а? — говорил Орех, старчески шепелявя и глядя на Алмазова маленькими слезящимися глазками. — До чего довели. Папенька-то твой, бывало, — ух, — и, не договорив, Орех завалился на скамейку.

Ванька, поглядывая на стол, шептался с хозяйкой. Был он короток, легок и безбород, на маленьком носу его и на щеках роились веснушки. Что-то оставалось в нем детское — от тех времен, когда лазили они с Алмазовым шарить по липам галочьи гнезда.

— Давно женился? — спросил у него Алмазов.

За него ответила баба, придерживая на груди холстяную рубаху и передавая Ваньке зыбку.

— Семый год с мясоеда, — сказала она, убирая со стола, — семый год живем.

— Много детей? — спросил Алмазов, глядя на зыбку.

— Трое, — ответила баба, — да один помер.

Не зная о чем говорить, Алмазов покачал головой.

Баба ничуть не походила на Ваньку. Была она крупна, широка в кости, плечиста и — что редко на деревне — для своих лет свежа и сильна. Она быстро убрала со стола, наколола косарем от сухого полена лучины и развела на загнетке огонь. Алмазов не хотел есть, но хозяйка так настойчиво стала его угощать, что пришлось согласиться.

Укачав кашлявшего ребенка, Ванька подошел к столу и присел. С его безбрового и безусого лица не сходила детская улыбка.

— Где же теперь Семен? — спросил Алмазов, вспоминая Ванькиного батьку, чудака и пьяницу, предпочитавшего всему на свете охоту и некогда на смех деревне обменявшего последнюю кобыленку на пегого гончего кобеля.

— Жив, жив, — радостно ответил Ванька, — на свадьбе гуляет, сейчас будет тут. Тебе все хотел поглядеть: его, говорит, я на руках носил...

Алмазову хотелось навести Ваньку на разговор о тех временах, когда они бегали босиком на речке, но Ванька улыбался и отвечал односложно.

Баба подала на стол крутую яишню в высокой сковородке с отбитым краем. Ванька налил в стакан самогонки и по обычаю выпил первый, потом налил Алмазову. Задремавший было старик у окна зашевелился, подсел к столу и осоловело стал глядеть на бутылку.

На улице, а потом в сенях послышались громкие голоса. В избу ввалилось разом душ пять мужиков. Впереди, широко размахивая руками и громко говоря, брел Семен. Он почти не изменился, так же щетинкой торчала его рыжеватая бороденка и так же неистово гремел его хохот.

Завидев Алмазова, он растопырил руки и завопил:

— Барин. Сереженька... Друг любезный. Пожаловал. Дай тебе расцелую. — А? На руках носил, — кричал он, обращаясь к молчаливо стоявшим за ним мужикам. — На руках носил, ей богу. Бывало, мамаша прикажут, а я ношу, по двору ношу. А они на ласточек смотрят. — А теперь-то,— продолжал он, переводя голос и отстраняясь, — те-бе не признать, убей мене гром, не признать, — встретились бы и разошлись, ей богу.

— Как живешь? — спросил Алмазов у Семена растерянно, не зная, о чем сказать.

— Как живем? — опять завопил Семен. — Живем — хлеб жуем. Наша житье известная.

За Семеном молчаливо стоял огромный мужик с широкими, как ворота, плечами. Бритое лицо его было каменно, серые небольшие глаза светились задорным огнем, из-под закинутой на затылок шапки на низкий лоб высыпались прямые соломенного цвета волосы. Узкий вышитый воротник холщевой рубахи, застегнутый на одну стеклянную пуговку, обнимал могучую, загорелую докрасна шею. Алмазов невольно на него загляделся.

Он подал Алмазову свою тяжелую, широкую, как совок, руку и сказал Ваньке глухим с хрипотцой голосом:

— Наливай, чего смотришь, — с барином выпьем.

— Выпьем, выпьем, — подхватил Семен, — душа горит.

— Подожди, — сказал мужик, рукой отстраняя Семена, — дай на барина посмотреть, сколько лет господ не видели.

Лицо его показалось Алмазову необыкновенно большим и широким. Прищуренные глаза мужика светились буйством и насмешкой. Он стал перед Алмазовым, скрестив руки. Все остальные примолкли, слушали с любопытством.

— Сергей Антоныч, — деланно вежливо произнес он, наклоняясь к лицу Алмазова и обдавая его перегаром. — Сереженька. Поглядеть пришли?.. Погляди, погляди, как землицу твою освежевали... Ты нашего брата не осудь.

— Саш, брось, — растерянно улыбаясь, сказал Ванька.

— А ручки-то у тебе белые, — продолжал мужик, разглядывая руки Алмазова и подмигивая кому-то через стол, — перчаточек просят. — А? — воскликнул он вдруг глухим, страшным голосом — Тут, брат, твое дело шабаш. Вот захочу — раздавлю, — шально блестя глазами, он протянул над столом огромную руку, покрытую курчавыми, густыми, как у зверя, волосами, раскрыл огромную крупную ладонь и сжал пальцы в кулак, точно выдавливая из чего-то сок. — Испужалси?

— Не шуми, Саш, — умоляюще произнес Ванька.

— Да я шучу, — подмигивая и опускаясь рядом с Алмазовым, сказал мужик. — Эй, барин, Сергей Антоныч, пей, друг, мужицкую, на слезах настоенную. Пей! — Он своей тяжкой ладонью похлопал Алмазова по тощей спине. — Пей, ты человек свой. Теперь ты есть пыль. Пальцем тебе никто не зачепит. Не пужайси.

Он налил в стакан Алмазову, чокнулся громко, разбрызгав по скатерти, но сам выпил немного, только пригубил и стал ходить по избе из угла в угол, широко размахивая большими руками.

Против Алмазова, за столом, сидел, выпучив глаза, ввалившийся с Семеном грузный мужик и молчал. На его бороде висли крошки, в пьяных глазах стояли прозрачные слезы. Слушая Сашку, он волновался, дергался, слезинки на глазах его наливались тяжелее.

— Мне Сашка тьфу, — проговорил он тяжело и бессмысленно, глядя в одну точку и точно не видя.

— Не лезь, Якуш, — сказал Семен.

— Мне Сашка тьфу, — упрямо повторил мужик. — У мене сыны альвы. Из порток Сашку выбросят.

Сашка ходил по избе из угла в угол. Ворот белой рубахи его расстегнулся, и виднелось тело, крепкое, покрытое такими же, как и руки, курчавыми волосами. Изба тесна была ему.

И Алмазов потом не мог всего припомнить: лицо старого мужика с выпученными глазами мелькнуло над столом. Огромная Сашкина ручища накрыла его, скомкала и отправила куда-то под стол. Алмазов увидел широкую Сашкину спину, наклонившуюся над скамейкой.

И тотчас же под окном завопил пронзительный бабий голос:

— Яку-ша убива-ають...

Изба опустела. Упало и покатилось ведро. На полу у дверей валялась сбитая с кого-то шапка. Алмазов остался с Ванькой, побледневшим, дрожавшими руками наливавшим в стакан самогонку.

Под окном бабий голос завопил еще отчаяннее:

— С кольями, с кольями иду-уть...

— Господи Сусе, — сказала Ванькина баба, отчаянно укачивая проснувшегося ребенка, — это якушата идуть на Сашку. У их зло давнишнее. Будет беда.

В избу вошел Сашка. По виду он был по-прежнему спокоен, так же лихо держалась на затылке ушастая шапка, только сузившиеся глаза блестели лишее да ходили муслаки под бритыми щеками.

— Уходи, барин, — сказал он Алмазову, — не стой у дороги, нечай колесом задену.

Надев дрожащими руками шляпу, Алмазов выбежал на волю, слышно было, как горланили по улице удалявшиеся мужики. Что в избе казалось страшным и громоздким — на воле стало просто, и не верилось, что близко ссорятся и дерутся люди. С бьющимся сердцем он перелез изгородь и огородами пошел к Лексеевой пуньке.

На сене он лежал долго, не засыпая, слушал голоса на деревне.

Семенов голос звенел всех громче. Помалу мужики затихли, стало слышно, как кричат коростели на лугах, и опять порыв ночного теплого ветра донес с деревни бойкую плясовую:

без тебя, мой друг, постелька холодна́,
одеяльце заиндивело.

«Милый друг, — писал Алмазов карандашом на клочке бумаги, — четвертый день, как я в деревне, слушаю деревенскую «тишину». Здесь мне родной каждый камень, я ходил на реку, бродил по лесу, где когда-то мы с тобой собирали грибы (впрочем, тебе не узнать теперь нашей рощи), пробовал косить с мужиками на «наших» лугах, гулял на мужичьей свадьбе и слушал деревенские песни, те же самые, что слушали мы, когда ты приез-

жала гостить в Алмазовку, пил — это уж от нынешнего — с мужиками самогонку, пахнущую горелым хвостом болотного чорта. Был пьян и чуть не попал в драку... Пожалуйста, не пугайся, я невредим, сейчас гляжу на небо, в котором совсем не трожно — как и т о г д а — висит ястреб. Я вижу, как над деревней столбами стоят дымы. Сейчас утро, и бабы растапливают печи и опять, как и т о г д а, здесь пахнет коноплей, сеном и дымом. Все эти дни воздух так чист, что я вижу отсюда, как за рекой зеленятся хлеба и на маришином лугу ковром цветет куриная слепота...

« На месте нашего старого дома растут прекрасные лопухи, величиною в твой дождевой зонтик. В крапиве ты смело спрячешься с головой. А вокруг колосится мужичий ячмень, от тучности почти черный. В парке, от которого осталось немного деревьев, живут грачи, потомки тех, «наших», грачей, с которыми мы так старательно воевали. Так же, пожалуй немного грустнее, свистят вокруг колокольни стрижи, а на алмазовском памятнике давно ободрана медная доска, и памятник стоит безымянным. Это все, что осталось от Алмазовых... Впрочем — сирень. Она разраслась неуемно, дико, с ней пока не могут справиться мужики (на ней и теперь есть запоздавшие июньские цветы).

«Я нахожу в себе странное чувство (вернее, отсутствие всякого чувства), м н е н и ч е г о н е ж а л к о. Я ничуть не жалею н а ш е г о дома, н а ш е г о сада, н а ш е й земли. Разумеется, я и не пытался объяснять мужикам этого моего чувства, потому что им этого понять нельзя. Я думаю, это оттого, что у нас давным давно выветрилась жадность жизни — нет ц е п к о с т и,—что мы давно были, как отживший на дереве лист—до первого ветра... В лучшем случае мы — сирень, но и до сирени, год — два, доберется мужичий топор. Теперь я знаю, что тут я в последний раз.

«Мне грустно, но сейчас я почему-то счастлив. На моих плечах ничего не лежит. Я счастлив, как нищий, и, как нищий, легок. Мне теперь нечего терять. Я чувствую себя так, точно мне триста лет и я помню царя Гороха, но мне от этого ничуть не тяжело. Я нахожу странное отношение ко мне людей: меня жалеют — как ребенка или как нищего, в сущности меня так и приняли, и если бы я теперь пошел по дворам, «по миру» — сума была бы полна... Третьего дня меня один мужик назвал так: ты пыль.

«Как это верно.

«Под конец я хочу тебе рассказать о небольшом событии, несколько взволновавшем меня. Третьего дня я гулял на свадьбе — на деревенской счастливой свадьбе. Жених — молодой парень с пушком на загорелых щеках, невеста — дочь моего хозяина, у которого я теперь ночую. С женихом и его отцом я косил на реке (разумеется, очень неудачно). А потом я припомнил одно наше семейное предание. Ты помнишь историю нашего деда, влюбившегося в свою крепостную. Несколько лет назад я узнал, что на деревне жив плод этой любви. Потом я хорошо припомнил, на кого мне указывали. А теперь я знаю, что жених с белым пушком на загорелых щеках — наш «кровный брат»...

«Что это — сирень?»

Когда Алмазов выходил из деревни, над полями поднималось солнце, и теплый ветер опять гнал по дороге легкую пыль. Над головой Алмазова, купаясь в воздухе, пел жаворонок. На выгоне, над рекою, играл на трубе пастух, заливисто с переборами, и за деревней пастуху отвечало эхо. Пели на деревне петухи.

Алмазов шел легко по краю дороги, и колосья шелестели по его рукаву. Взойдя на взгорок, он остановился, посмотрел на солнце, на деревню, на тот берег, тонувший в зыбившемся солнечном свете, улыбнулся и пошел дальше. Взгорок за его спиной закрывал деревню, и помалу скрывался зеленый берег реки. Перед ним открывалось поле и дальше, в лощине, луг, на котором разноцветными пятнами копошились люди. Запахло свежим сеном. В тени по канаве лежала у дороги роса...

Он шел быстро, поглядывая на людей, перешел мостик, под которым журча пробегал по желтому дну ручей и голубели незабудки, и стал подниматься в гору.

Кто-то сзади окликнул его, и он остановился.

По лугам, через скошенные валы, к нему бежал парень без шапки, в белой рубашке. Подбежав к ручью, он легко перепрыгнул и побежал дальше. Алмазов узнал в нем знакомого жениха.

Парень подбежал к нему и, переводя дух и улыбаясь, сказал:

— Таня наказала вам передать на дорогу.

Он подал Алмазову кусок сала и край хлеба.

— Вы уж извините, не гневайтесь, — сказал он и поглядел Алмазову прямо в глаза своими молодыми, серыми глазами.

Алмазов взял сало, пожал парню руку и молча пошел дальше. Парень посмотрел ему вслед, перескочил через канаву и побежал назад через луга. Когда он подбежал к своим, разбивавшим густые, тяжелые валы, и оглянулся, Алмазова не было видно. Вслед ему ветер гнал по дороге пыль.

Серый барин.

Глава из «Сорочьего Царства».

Сергей Клычков.

Встреча в Раменском лесу.

Пропадал Петр Кирилыч, должно быть, года три или четыре: об нем уж позабыли совсем — пропал и пропал человек...

В Петра и Павла, в Петр Кирилычев день, каждый год Мавра ходила к Ульяне гадать: жив, дескать, Петр Кирилыч иль нет и на какую сторону в поминаньи заносить его имя — за здравие иль в упокой...

Ульяна после родов совсем постарела, в волосах у нее, как по первой пороше, ложился редкий снежок, спина перегнулась к земле на перед, глядела она больше под ноги себе и другим, когда с кем говорила, и стала часто в церкву ходить. Гадала она последние годы на угольках... Долго шепчет что-то на них возле загнетки, потом положит... под образа...

Отгадает, словно вольет!..

Про Петра же Кирилыча всегда безо всяких с первого же слова говорила:

— В живности, дескать, Петр Кирилыч, только очень далеко отсюда, скоро будет чудным способом очень богат и почетен, только, когда вернется домой — неизвестно...

Но год прошел, и два прошло, а Петр Кирилыч и вести о себе никакой не подавал... Должно быть, совсем в Чертухино потерял дорогу.

Может так, и впрямь совсем не вернулся бы Петр Кирилыч, если бы не нагнал его Петр Еремеич однажды на тройке: вез он барина нашего Махал Махалыча Бачурина с Николы-на-Пестоши, куда барин ездил богу молиться, потому был большой богомол и память часто по рысачихиной дочке творил, к тому же не в далеке, в стороне от дороги, стоит Чагодуй, где у барина были дела и большое знакомство с начальством...

Дело было под вечер, лес — одно слово: раменье, ели стоят по бокам дороги, как рублевые свечи, и сама дорога по лесу идет, как темные сени в хорошем дому...

Петр Еремеич, зная, что барин не любит попусту трещать и зря толочь языком, сидел на облучке, опустивши ременные возжи, и тихонько дремал...

В ушах у него плыл еще печальный николо-на-пестовский звон и в голове все качалось на тихом вечернем ветру...

Лошади сами бежали привычной рысцой, зная эту повадку Петра Еремеича немного в дороге на козлах всхрапнуть. Впереди ветер перевивал желтые листья, падающие с редких берез на дорогу, и по всему лесу шел гуд, тихий и томный, как звон с колокольни в великом посту...

...Туманило в дальних углах, и там, где стоял молодняк, словно дымилось большое кадило...

В одном месте, почти на самой середине большого леса, где дорога дает крутой поворот, кони вдруг остановились, и Петр Еремеич, больно стукнувшись кудрявым затылком о закраек кибитки, едва не слетел с облучка... ничего вроде как сначала впереди не видать, потом в глазах проморгалось, и Петр Еремеич хорошо разглядел: за дугой стоит человек и держит коренного за повод...

— Кто там? — не своим голосом закричал Петр Еремеич...

— Да это... я... чего так испужался, Петр Еремеич? — голос вроде знакомый, а кто — невдомек, только шапка чудная на голове, как воронье гнездо на кусту...

— Мир дорогой, Петр Еремеич, — говорит человек и смеется...

Петр Еремеич так и уперся, не выпуская возжей...

— Ба-а-а!.. Петр Кирилыч... откудова это тебя нелегкая пропащего несет? — засмеялся и Петр Еремеич.

— Оттудова, неведомо откудова! — подошел Петр Кирилыч и подал было Петру Еремеичу руку, но заглянул в кибитку и отдернул ее, — баринка, вижу, везешь?..

Снял Петр Кирилыч шапченку, держит ее в руке, барину кланяется, а тот из кузова высунулся и тоже Петра Кирилыча в прищурку разглядывает.

— Те-те-те... ты что это, собачий сын, божий человек, большедорожничаешь?.. — закричал вдруг Махал Махалыч...

— Что вы барин? — говорит Петр Кирилыч, — в своем вы уме-разуме? Откелева вы такое взяли?

— Забыл што ли? — барин выпялил ручку из кибитки и на Петра Кирилыча пистолет уставил...

— У меня, барин, память... девушкина... да и помнить-то надо бы больше вам, а не мне...

— Ладно... ладно... куда теперь черти несут?..

— Куда глаза глядят...

— На большую дорогу... кармашки щупать?..

— Я, барин, и так богатый... у меня эн как набита сума: не донесть до дома...

— Чего ж ты лошадям дорогу застрел?.. — строго допытывается барин, не отнимая от Петра Кирилыча своего пистолета...

— Да вы бы балушку-то эту спрятали: не ровен час — бахнете в лошадь!

— Отвечай, сучий сын!..— закричал Махал Махалыч, инда по лесу так и пошло перекатным эхом: ай-ай-ай!.. будто повторили на тысячу голосов пискливый баринов голосок сосны и ели...

Петр Кирилыч отшатился от кибитки и испугался не на шутку...

— Чтой-то вы, барин... мы к Петру Еремеичу, как мы с одной стороны... на козлы попроситься хотел!..

— Человек это свойский, — поддакнул и Петр Еремеич, молчавший во время разговора барина с Петром Кирилычем, потому что мало понимал из того, что они говорили, о чем это барин должен так помнить и что Петр Кирилыч забыл?..

«Ну да известно: балакирь!» — подумал только Петр Еремеич про себя...

—...наш, барин, человек!..

— Все вы одним миром мазаны... ты, Петр Еремеич, не учи ученого, поешь сперва хлебца печеного... мало еще домысла... Все вы мазурье,—пискливо вдруг вскрикнул барин на обоих, — полезай, латрыга, я те... земскому представлю!..

— Что ж, — покорно отвечает Петр Кирилыч,— я от начальства непрочь... потому без начальства нашему брату никак не годится... на то наш брат и родится!..

— Ну-ну... заговаривай зубы... лезь весь без остатку!.. чего тут о такую пору шаландаешь?..

— Да эх, барин, мало ли у нашего брата делов: знай собирай в сумку куски, а в спину пинки!..

— Складно это у тебя выходит... лезь, подкидная сума!.. не задерживай!..

Взобрался Петр Кирилыч на ко́зла, а Петр Еремеич хлестнул лошадей... барин откинулся взад, пистолет в кармашек сунул и на Петра Кирилыча смотрит и улыбается...

— Чтой-то вы, барин, про меня такое подумали? — начал Петр Кирилыч, полуобернувшись назад, но барин ему ничего не ответил, только Петр Еремеич сказал:

— Всякий бывает наро́д!..

— Что говорить: наш брат Исакий бывает всякий, иной человек божий, а за пазухой — ножик!..

— Ишь у тебя как язык-то звонко привешен!— говорит барин, щупая пистолет...

— У него и способия только! — засмеялся и Петр Еремеич...

— Эх, барин... у нас и богатства всего... да и на что оно нам, это богатство... только б стыдно не было видно да голод ворот у рубахи не рвал, а с богатством пропадешь, как с чесоткою вошь!..

Махал Махалыч смотрит на Петра Кирилыча хитрющим глазком, и в глазках у него, как у дикого лесного кота, прыгают огоньки... Заметил Петр Кирилыч эти огоньки и вспомнил лесную трущобу, Буркана и медведя на цепи у ворот, и при этом воспоминаньи зазвенел у него в ушах последний

предсмертный стон рысачихиной дочки, и Петру Кирилычу кажется в темноте, что поблескивают это не бачуринские глазки, а Бурканов топор, в темноте занесенный на него со всего размаху... Но и на этот раз Петр Кирилыч не испугался...

— Во, барин, — сказал он после раздумья, — как на свете бывает: иной полезет в святцы, а попадет в острог: кого как полюбит бог!

— Лучше Петра Кирилыча никто заправить не может!—засмеялся Петр Еремеич...

— Поет хорошо, где-то сядет! — мрачно ответил барин и прожег Петра Кирилыча насквозь маленькими глазками, в глазках его раздувалось костровое пламя...

— где-то сядет!..

У Петра Кирилыча по за спине бежит холодок под рубахой.

— А все отчего, милый барин, так с человеком все в жизни его случается: бог больно строг!.. В строготе божией человек обжаднел и вольный дух потерял!..

— Богохульствуешь, еретик!..

— Дык ты, барин, только подумай: на что бог человека сотворил?..

— А на што?.. Ну как, скажи: интересно!..

Петр Кирилыч обернулся совсем к барину и в затылке почесал...

— Видно: на то, неведомо на што... поглядишь на нашего брата, разве правильно ответишь?..

— Ответу нету!..

— Есть, барин: живи, неведомо зачем! Иди, неведомо куда!.. Когда придешь, тогда разберешься!..

— Э-э, Петр Кирилыч... тебе меня не заговорить... земскому-то я тебя все же представлю... понял?..

— Как не понять, — ответил печально Петр Кирилыч и потом всю дорогу молчал, с ушами ушедши в дырявый зипун...

Молчал и Петр Еремеич, покачиваясь на облучке покатым плечом, а барин смотрел им в широкие спины и улыбался ехидно... Коренник, не чуя возжей, держал уши высоко, осторожно ступал в колеи и весь был исполнен заботы, чтоб не кренило на бок кибитку и седока в кузову не бросало...

По лесу бежал с ветки на ветку зеленый игольный шорох, и лепет от опадающих листьев, каждый листочек, падая с ветки, шепчет Петру Кирилычу свое прощанье и навевает дрему на глаза — кругом тишина безголосая и затаенная — предвестие скорой зимы!..

Проехали так по опушке, дорога пошла пустошами, потом в стороне замелькали подглазые огоньки деревень, и мимо носа с гумен поплыл на ветру паленый дымок из подовинья, где теплились чуть камельки, просушивая разопрелые на жниве снопы... запахло мужицкой едой, щами и хлебом, коренник, заслыша этот дух, мотнул головою, дуга брякнула большим колокольцем, и Петр Еремеич привычно, сквозь сон, раза два или три протянул лошадей сыромятным кнутом на большом кнутовище; пристяжки рва-

нули, и осенняя ночь полетела за ямщиком, как большая черная птица...

Хорошо бывало катить на тройке Петра Еремеича!..

Только и оставалось: сидеть себе барином да на крутую дугу над коренным глаза свои повесить: на дуге два голубка друг с дружкой целуются и, в знак обручения в духе, в клювах дуговое кольчико держат, в кольчике серебряным звоном заходится большой колоколец, в кольчико шелковый пояс продет, по поясу, как по сарафанной каемке, рассыпаны разных голосов бубенчики, на коренном и на пристяжках в лад им брякают ошейники— сиди себе посиживай, слушай их в оба уха, да на хорошей накатной дороге вздремнув, думай потом, глаза на ухабе раскрывши: что-й-то, де, седнишний день малые колокола на колокольне без умолку звонят, что-й-то стоит старый чертухинский поп возле церковной ограды, под ноги строго на землю глядит, словно считает следы пришедших молиться, думает свою невеселую поповскую думу и в церковь войти не спешит!..

...Замерло у Петра Кирилыча сердце от шибкой езды...

«Вот шут попутал», — думает он сам про себя...

Скоро Петр Еремеич свернул с большака, в стороне вороненой сталью блеснула Дубна, распахнувши у всполья пушистые полы кустов, и за Пуговкой, бачуринской усадьбой, упер в черное небо черные пики высокий чертухинский лес...

У самого леса, как из преисподней, шел из черноты огонек, и в лесной черноте плыл над ним большой бачуринский дом — с высокой трубой, четко поднятой в темь, на самой вершине среднего мезонина уткнулся в облако шпиль, издали дом был похож на большой пароход, тихо плывущий вдоль зеленой опушки...

— Корабль кентимийский! — вспомнил Петр Кирилыч первую свою встречу с барином...

Петр Еремеич свистнул, заправивши в скулы два пальца, кони замолотили еще чаще копытами по хорошо убитой дороге, пристяжки еще круче откинули в стороны шеи, большой колоколец вот-вот, казалось, сорвется с дуги, — Петр Еремеич, чуть поднявшись на козлах, пригикнул на лошадей, потом весь откинулся взад, тпрукнул, напруживши возжи, и тройка на всем скаку остановилась у большого подъезда...

Дом стоял мрачный и тихий, пугая всякого этой своей тишиной. Никто не вышел на крыльцо встретить барина, хотя это было мало удивительно, потому что все знали хорошо бачуринские порядки и его одинокую, после потери жены, угрюмую жизнь; только от окна к окну кто-то бегал, видно, со свечкой, то там, то тут в окнах пугливо показывался огонек и тут же потухал под чьим-то торопливым дыханьем; на лошадиные крупы ложился золотистый лучик, и видно было в его отраженьи, как их лосные спины дымились...

Махал Махалыч, кряхтя, вылез из кибитки на землю и уперся клюшкой в крыльцо:

— Буки аз ба-ба знаешь?.. — спрашивает он строго Петра Кирилыча.

— Как же, барин, не знать... знаем!— тихо отвечает ему Петр Кирилыч, удивляясь, для чего это барину его ученость понадобилась.

— Расписаться можешь?..

— Могём!..

— Ну, тогда вылезай: доглядаем у меня будешь...

Не хотелось, правду говоря, Петру Кирилычу вылезать из кибитки, да ничего не поделаешь: с барином у него давнишние счеты, да к тому же и подозрение такое барин имеет, хотя Петр Кирилыч и в уме не держал выходить на дорогу щупать карманы: издалека он еще разузнал бубенцы Петра Еремеича и на радостной встрече хотел его попугать...

— Эна как, Петр Кирилыч, тебе подвалило: из попов да в лоцманы!— удивленно протянул Петр Еремеич...

— Я те, Петр Кирилыч,— опять говорит барин, — по монастырской стройке пущу...

— ... А не то что... к земскому!..

— Не... раздумал... ты же вот говоришь: иной метит в рай, а угодит в острог!..

— Кого как полюбит бог!..

— Совершенно, лезь весь без остатку!

Не понимает Петр Кирилыч, что это барин для него такое придумал... Махал Махалыч сунул Петру Еремеичу в руку тяжелый целковый на чай, Петр Еремеич поблагодарил, круто повернул свою тройку и на повороте крикнул с облучка:

— Прощенья просим!..

приподнял войлочную шапку, махнул по лошадиным хребтам сыромятным кнутом, гикнул, свистнул, и скоро опять затопотали копыта, и под дугой печально заплакал в осенней темноте большой колокольчик...

Махал Махалыч.

Разная осталась память после барина нашего Махал Махалыча Бачурина...

Кто говорит, что барин был большой чернокнижник, каких теперь совсем не осталось, а кто просто—мазурик!.. Будто знал барин запретное слово, с этим самым словом во рту мог все по-своему повернуть и любого во всяком деле кругом обойти и обакулить, та́к что тот еще и в голове почесать не успеет, как уже сидит в дураках... Теперь трудно этому верить, про разные такие слова, в самом народе жульность тогда еще начиналась; если и заводился мазурик из мужиков, так его за десять верст было видно, не то что теперь, мазурье пошло тонкое, его не сразу раскусишь!..

Конечно: барин — дело другое!.. Хоть и серый барин, из нашего же брата, а все же: жульность не барское дело!..

Была такая у барина книга... выменял он ее у мельника Спиридона Емельяныча... Сам Спиридон всего толку по темноте своей и малограмоте в этой книге раскумекать не мог, а будто по этой книге все так выходило;

если в ней читать все по толковитости да по порядку, да если сильно того самому захотеть, так можно по этой книге стать любому человеку святым... если же к святости болшой охоты не будет, так в книге все прописано наоборот, только надо читать ее не по белой, а по черной странице, тогда вместо святости такой читарь получает богатство...

Выходит все так: святость вся в человеке созиждется на его кошельке; ему нечистый через эту самую книгу будет лопатой за пазуху золото класть, а он должен его копить в большом окоренке и на Пасху, когда зазвонят в церкви на веселый заутренний звон, хоронить это чортово золото где-нибудь в самом темном углу на болоте, чтоб самому на него не соблазниться и других на грех не навесть!..

Вот она святость должна быть в человеке какая!..

Правду говоря, кому-кому, а нам тут понимать много нечего: в богатстве мы по своей глупой природе большого разумения никогда не имели, да и иметь, видно, не будем: сноровки нет у мужика на большое богатство!..

Известное дело: хрен да лапти!..

В то же темное далекое время всякий был рад любой небылице, чтобы как-нибудь себе объяснить большую загадку: откуда это и по какому такому особому счастью и с какого дохода Махал Махалыч, будучи по натуре своей такой же простой и серый мужик, как и все, в короткое время так растузел у всех на глазах, что и от мирского стада отбился и в разговоре о нем стали звать его серым барином, а при встрече еще издали снимать картузы, как и впрямь какому дворяну...

Отчего серый барин так разбобел, и до сей поры понять невозможно... В то время ни рукомесл в нашей округе никаких не было, ни торговли большой, торговали только одни погрушники да дегтяри: погрушники меняли грушу и пастуховы орехи на разное бабье дерьмо, а дегтяри по деревням и селам за лен и пеньку разливали деготь в лагушки,—торговал еще по праздникам в нашем Чертухине чагодуйский бакалейщик Зачес, так его шатер вместе с дегтярным возком любой мужик мог за пояс заткнуть; одним словом, не с чего, казалось, в нашем месте руки нагреть: земля, как ее ни валяй, больше сам-пятой домой не приходит, лес — то же, в него разве богу молиться ходить, доставки хорошей ни зимой, ни летом, а Бачурин, как пришел из солдат, так и начал по часам подыматься: лес скупил, землю скупил, на Пуговке дом выгрохал, какого нет по округе, и на рысачихиной дочке женился!

Разбобел барин, и доступу к нему никакого не стало: ни по делу, ни по безделью...

Придет мужик за какою нуждой, барин и на крыльцо не выйдет, а если случайно наткнется, так рта не даст раскрыть, так руками и замашет и ножками затопочет — потому и прозвали: Махал!..

Всеми делами у него по усадьбе ворочала экономка Фетинья Петровна. Вот уж баба была!.. Страховище!.. Упала ей, вишь, на лицо с полки стеклянная банка с вареньем, склянка разбилась, полноса ей вниз отсадило и полподбородка... нос потом сросся и висел таким крюком у самого рта, и подбородок спускался к шее большим калачом... В свое же время девкой была хоть куда...

Про эту самую Фетинью у нас говорили, что она, несмотря на свое безобразие и совершенно преклонные годы, с барином будто жила, непокрытая венцом и законом, родила она каждый год хвостатых уродов, которых тайно от добрых людей спускала на камне в Дубну.

Заехали однажды к нам на Дубну с Волги рыбаки с острогой, так рассказывали после, что против Пуговки видели они сами, как эти фетишки пугали хвостами сонную рыбу!.. А кто говорил по-другому: будто Фетиньины дети жили при ней и были у барина за место казачков.

Эта-то самая Фетинья Петровна вышла на крыльцо в тот самый миг, когда Петр Еремеич на повороте стегнул лошадей и кибитка его сразу пропала за углом барского дома...

Захолонуло у Петра Кирилыча сердце, когда он увидел Фетиньин передник, выпятился он далеко вперед, — на живот, который он прикрывал, совсем нельзя было подумать: показалось Петру Кирилычу, что под этим передником спрятался кто-то, а вот сейчас выскочит из-под него и испугает Петра Кирилыча на смерть...

— Ну, что осиной стоишь?.. — говорит Петру Кирилычу барин, — али баб не видывал сроду... здравствуй, Фетинья Петровна!..

— Добро пожаловать... вот уж сегодня не ждала... А это... барин, кто будет! — протянула Фетинья, качнувши подбородком и носом на Петра Кирилыча...

Петр Кирилыч поклонился низко Фетинье Петровне, а Махал похлопал его по плечу и прошептал ей на ухо:

— Нужный мне человек!..

— А... а... — протянула Фетинья и на Петра Кирилыча повела солодовыми глазами,—по божественной части наверно?.. Богомаз?..

Заколыхался Фетиньин подбородок, как творожный мешок, и на круглом ее лице запрыгали морщинки-юлы, и пухлые руки, сложенные на животе, заходили от неслышного смеха...

— Нет у нас ума, за то есть у нас сума, — покорно ответил ей Петр Кирилыч.

— Ты только послушай, Фетинья Петровна, как этот человек начнет балясы точить!.. Ну, Петр Кирилыч, хотел я тебя земскому, да решил себе оставить: будешь у меня служить!..

— Я, барин, услужить всегда готов, — опасливо отвечает Петр Кирилыч,— только едва ли я к чему у вас буду пригоден...

— Ну, уж это будет не твоего ума дело... поворачивайся: нас Фетинья чайком угостит!..

— Милости просим... милости просим! — шагнула Фетиньина туша к Петру Кирилычу, и сдобные Фетиньины руки стащили с него нищую сумку... Стоит Петр Кирилыч, пошевелиться под ее взглядом не может и хоть хорошо видит, что не место ему в таком барском роскошестве и что на забаву и на смех, видно, над ним барин потешается, а отойти иль убежать не чувствует силы: ноги, как подломились!..

«Должно, отсидел,—решил Петр Кирилыч...—ин будь, что будет!..»

— Входи, входи, Петр Кирилыч! — строго барин ему говорит...

Вздохнул Петр Кирилыч от этого приглашенья и пошел вслед за барином, а Фетинья за ними со свечкой...

— Тише, о притолку не стукнись, — шепчет она ему через плечо.

«Что за шут: до притолки сажень», — думает Петр Кирилыч, взглянувши на верх...

Прошли они одну комнату, прошли другую, везде чистота непомерная, убранство самое разроскошное, в кажинной комнате в переднем углу образ в окладе висит, перед образами везде большие лампады горят, и свет от лампад льется, словно в церковном притворе, тянет в нос слегка ладонком и каким-то еще душком, каким — хорошо не разберешь, то ли калкан-травой, то ли мятой...

Провел так Махал Махалыч Петра Кирилыча, должно быть, по всему своему помещению, одна каморка лучше другой, везде штофная мебель, шкапы да полочки, на полочках разные фиговинки стоят, кресла такие, что вдвоем можно сидеть, у кресел ручки по-разному загнуты, то в бок, то кверху в виде то птичьих, то звериных голов, и птицы эти, и длиннохвостые звери Петру Кирилычу неведомы: таких в наших местах и не водится совсем, звери все и птицы заморские, а может быть, вещие, на всяк лихой час рожденные, живущие под ночным покровом и для простого глаза невидимые...

На окнах висят занавески до самого полу, в каждой комнате разные,— где темные и тяжелые из толстого и дорогого сукна, где прозрачные и тонкие, как паутина, еле уловимые для непривычного глаза, на паутине хитрый паук вывел замысловатые рисунки разных сортов, деревья и цветы на ней из сада заоблачного; дивится Петр Кирилыч, на цыпочках за барином идет, боится лаптем пол обмарать, потому чище он зеркала и все в него видно, выкрашен он в разные краски и чистейшим лаком покрыт, идет Петр Кирилыч за барином и слово боится вымолвить.

Молча и не торопясь, оглядывая все своим мелким глазком, трусит впереди барин Махал Махалыч, каждую балушку бережливо обходит, только от Фетиньиных широких подолов шелест шуршит, да слышно, как ее грузные ноги с трудом ставят свой тяжкий след на половицы...

Пришли они наконец в большую, просторную горницу, две избы в нее влезет, посреди стоит дубовый стол на резных ножках, за стол половину Чертухина усадишь, вокруг стола в порядок расставлены стулья и кресла, в углу выпятил большое пузо посуденный шкап со стеклянными створками.

в верхнем этаже, за стеклом стоят разных фасонов рюмашки и стакашки, повыше-пониже, побольше-поменьше, а под ними на нижней полке плывут вазы и блюда, серебряные и золотые, в виде диковинных кораблей, и в диковинных кораблях этих горит свежим румянцем яблок-скрижатель, красная, как кумач, боровинка и в добрый кулак осенняя наливная антоновка..

— Ну, садись... садись! — говорит барин ласково, — садись, божий странник... Лесной зверь и тот себе нору роет, а у тебя, вижу, кроме чужого плетня, ничего нету...

— Бедна голова, да одна, барин! — отвечает ему Петр Кирилыч, присаживаясь с краешку стула...

— У меня дом большой... места и для тебя хватит!

Сбросил барин на руки Фетиньи дорогую одежу и Петру Кирилычу знаком приказал то же сделать:

— Эн у тебя в кахтане-то во все дыры ветер дует!

— Ветер дует, барин: дышать легче!..

— Ты, Фетинья, прибери-ка это руно да иди к себе: нас без толку не тревожь!

Оглядела Фетинья Петровна Петра Кирилыча с ног до головы, усмехнулась чему-то во все свои блиновидные скулы широкой улыбкой и повернулась на одном месте, как у пристани большой пароход... поплыла она на руках с дырявым зипуном и с роскошною барскою шубой, двери сами перед ней распахнулись и сами закрылись за ней...

Махал Махалыч щелкнул пальчиком вслед, хитро подморгнул в сторону Петра Кирилыча, потом, изобразив большую сладость на своем безволосом лице, сказал Петру Кирилычу, показывая ручкой на дверь:

— Король-баба!.. Ты в бабах скус имеешь?..

— Не доводилось нам, милый барин... баба у меня умерла в первую ночь после свадьбы, не успел я и штанов спустить хорошенько: с той поры не глядят у меня глаза на это отродье...

Махал Махалыч так весь и затрясся от старческого смеха, и кресло под ним так и затопало ножками, и по всем углам будто прошло еле заметное дуновение и шепоток, на который Петр Кирилыч во все углы оглянулся...

— Чудной же ты человек, Петр Кирилыч!.. А я вот до старости дожил, а от этой сласти никак отучить себя не могу... Грехи-и!..

— Ваше дело барское, — говорит Петр Кирилыч: — эна у вас какое кругом за первый сорт роскошество: сорок каморок без переборок, на полу глянцу больше, чем в церкви...

— Только вот, Петр Кирилыч, живут-то здесь... черти...

Петр Кирилыч во все глаза глядит на барина, и тот тоже на него уперся сбочка, будто никак разглядеть не может, какое, дескать, действие оказали его последние слова на Петра Кирилыча.

А Петр Кирилыч ничего — и глазом не моргнет: разобрало его любопытство с головы до пяток!..

— Шутите все, барин, со мной: у вас, почитай, в кажинной комнате образ висит и ладаном пахнет!..

— И то пошутил: тебя испытать хотел! Так, говоришь, ладно живу?..— спрашивает барин...

— Что говорить, — подбавил Петр Кирилыч, — не то, что у нашего брата: в одном углу скамья, в другом углу свинья, ни тебе сесть, ни тебе съесть...

— Хи... хи... хи... — засмеялся барин,— ну, если тебе у меня нравится, так давай мы с тобой с седнишнего дня положим заклад: останешься ты у меня в услужении, ни руками, ни ногами тебе работать будет не надо, пить есть будешь со мной, сколько влезет, а вся работа будет у тебя... на языке...

— Что же это за работа такая? — удивленно спрашивает Петр Кирилыч, — на языке... легко сказать!..

— Да работенка не тяжкая, Петр Кирилыч... не больше, чем... у попа... говорю, что все дело тут в языке, а объяснить, пока не согласишься, всего не могу...

— Вота!..

— Понял?..

— Как не понять, — радостно отвечает Петр Кирилыч, — выходит все так, по-моему, что вы меня для-ради повадки как бы берете...

— Для повадки мне, Петр Кирилыч, Фетинья пятки чешет... да что тут много толочь, ровно по делу: там будет видно... тебе же все равно: лишь бы спина не трещала!..

— Оно, конечно, ежели скажем...

— Значит, согласен? — хитро уставился барин в Петра Кирилыча.

— Э... э, да что тут голову зря забивать: согласен!.. — сказал решительно Петр Кирилыч.

— Ладно, — говорит барин, загнувши на руке палец, — только при этом самом закладе должен быть один уговор...

— Ну-к-что-ж!

— А уговор, Петр Кирилыч, такой: будешь у меня жить в услужении— чур, ничему не удивляться!..

— А если что, барин, через край удивительно будет?..

— Ни в каком разе нельзя: у меня порядки по дому и само житье чересчурные. Так чур?..

Хотел Петр Кирилыч сказать, чтобы барин дал ему денек на размышление, да язык сам заболтал:

— Чур, барин, чур!..

— Ну, вот и ладно: чур-чур, расчур, еще раз перечур! Теперь, Петр Кирилыч, если бы ты и вздумал отказаться, так это никак невозможно... потому — сильнее всякой расписки... Ну, теперь давай-ка чайку попьем...

— Чай, барин, пить не дрова рубить!..

— Хлопни на дверь три раза в ладоши!..

Хлопнул Петр Кирилыч раз, хлопнул два, ничего удивительного не вышло, никто на его хлопок не отозвался, да и сам-то он вроде как своих хлопков не слышит...

«Должно, оглох с Петровых звонков!» — подумал Петр Кирилыч про себя и оглянулся: барина на кресле как не бывало, на его месте сидит большой сибирский кот и, не обращая на Петра Кирилыча никакого вниманья, облизывает, сладко сощурясь и подняв заднюю лапку, свои пушистые шульни...

Фан Фаныч.

Петр Кирилыч уставился на кота и думает: барин это не барин?..

Может, и впрямь барский кот, который до сей поры сидел под столом и дожидался, когда поднимется барин, чтоб лечь на теплое место?.. Да только куда же и когда барин ушел?.. Вот дивеса!..

— Ишь, какой важный котище... как старшина!.. — сказал Петр Кирилыч, садясь на прежнее место...

Кот поглядел на него из-за лапки, заглянул, показалось Петру Кирилычу, даже под стол, долго разглядывал его лапти и желтые онучи на ногах, от которых тянуло немалым дорожным потком...

«Смышленный, черт, должно быть, это все же не кот... — подумал Петр Кирилыч про себя: — ишь у него усы-то какие!..»

Хотел Петр Кирилыч погладить кота, да раздумал: как бы он, грехом, на него не обиделся да не уцапил...

— Кис-кис-кис... барин... а барин!.. — чуть слышно пробормотал Петр Кирилыч, поднял два пальца и протянул их немного к коту, как будто хотел дать ему что-то очень вкусное. Кот сразу на лапы вскочил, прыгнул на стол, спину колесом выгнул и лапы, потягиваясь, вперед выставил: Петр Кирилыч в момент руку назад и из-за стола приподнялся...

«Какой же это кот... это ведь барин!..» — подумал опять про себя Петр Кирилыч: у барина то же по три седых волоска на обе стороны вместо бороды, и глаза он так же жмурит, и голос у него тоже мяучий.

«Ну, конешно же, барин!» — решил Петр Кирилыч, пятясь все дальше со стулом в руке и потерявши все перед глазами...

Кот по столу сначала мягко прошелся, потом прыгнул на стул и со стула, сладко жмурясь, стал глядеть на Петра Кирилыча...

— Барин... а... барин... ба... батюшка-барин!..

Кот смотрит и облизывается...

— Ты что это, Петр Кирилыч... спятил, что ли? — вдруг услыхал Петр Кирилыч веселый баринов смех: сидит барин в том же самом кресле за столом, и кот к нему на коленки забрался, свернулся комочком и, зажмуривши пушистые глазки, тихонько под его рукой замурлыкал...

— Ох, барин! вы бы меня так не пугали!..

— Да чего же ты, дурья голова, испугался?..

— Да вас, милый барин... то-есть, как это... кота!.. Я говорю-де ему: «барин ты, барин», а он прыг на стол—и ко мне за все почтение!..

— Ну, вот видишь: это оттого, что плохо наше условие с самого начала помнишь!.. Я же тебе говорил, что у меня в услужении удивляться нечему, а тут и удивительного-то ничего нет, а ты уж... того!..

— Как же, барин, не удивительно?.. То есть вы, то нет вас, а вместо вас... кот лежит, на вас очень похожий!..

Барин так и закатился и за впалый живот ручкой ухватил:

— Я, Петр Кирилыч, сходил: разлюли-малинку щипнул... знаешь они, то-есть бабы, какие: на нее долго не поглядишь да рукой не погладишь, так она и совсем с глаз пропадет!..

— Да кот-то, барин?..

— Напрасно ты и на кота, у него кличка такая: барин!.. он дрессированный: такие штуки откалывать может, что только на-а!.. Хочешь посмотреть?..

— Нет уж, барин, лучше не надо... он меня и так перепугал до смерти...

— Ну, так и быть по-твоему... дык что же на столе-то у тебя ничего нету... экий ты, братец!..

— Что вы, барин, разве я посмел бы своими руками!..

— Да это у меня и не нужно... только хлопни три раза, и все само будет!..

— Я уж пытал хлопать: что-то мало выходит!..

— А... а... а,—протянул барин, — это моя прислуга тебя еще хорошо не разглядела...

И сам барин громко хлопнул три раза в ладоши.

Вздрогнул Петр Кирилыч от этих хлопков и словно прирос к венскому стулу: от этих барских хлопков пошел звон и беготня по всему дому, зашелестели мягкие, мало похожие на человечьи, шаги по всей комнате, зашушукалось внятно в углах и за тяжелой портьерой над дверью, скоро зеркальные створки у посудного шкапа раскрылись, и разных родов рюмочки и граненые хрустальные стакашки жалобно зазвенели в невидимых руках, и застукали фаянсовыми краями тарелки и блюда и дорогие вазы, как крошечные диковинные корабли, сами поплыли с полок на стол.

Вмиг перед самым носом у Петра Кирилыча развернулась белоснежная скатерть с вышиваньем по краю и ровно легла на столе. Вазы уставились вряд по середине, вокруг них рядками, одна побольше, другая поменьше, засияли протертые начисто рюмки, в стороне выпятил брюхо большой графин с полынной настойкой, в тарелках в прозрачном рассоле заюлили грибки хрусткими шляпками, а рядом с ними на большом круглом блюде задымился свежим паркóм бараний бок, облитый сочно свежей подливкой...

— Тише вы там, дьяволы, черти! — закричал барин на буфет, — всю посуду у меня перекóкаете!..

И по углам, слышит Петр Кирилыч, пошло: ш-ш-ш-ш!..

Смотрит Петр Кирилыч во все глаза, а никого не видит...

Так было все это удивительно Петру Кирилычу, что он свое удивление это барину высказать словами не нашел решимости, а так с выпялен-

ными глазами и сидел, приросши к стулу и держась за него обеими руками: к самому носу ему на тарелку катятся с буфетной полки колбасные колесики, кто-то невидимый, рядом с ним, укладывает толстые ломти белого, как снег, ситника на большое с заслонку блюдо...

Онемел Петр Кирилыч от такого роскошества, всего такого и на самой богатой свадьбе не доведется увидеть, рот на все это по простоте разинул и даже и не заметил, как у него под столом сами размотались калишки, на ноги сами наделись мягкие смазные сапоги, с плеч слез дырявый спинжак, а вместо него запахла нафталином и сундуком хорошего люстрина поддевка.

Смотрит на него Махал Махалыч и довольно смеется.

— Что значит сряда на человеке! Теперь на тебя, Петр Кирилыч, мои девки все глаза пропялят...

Осмотрелся Петр Кирилыч и сам себя не узнал, такого одеяния он с роду родов не нашивал...

— Эх, молодость! — опять говорит барин, не спуская глаз с Петра Кирилыча, — а я вот, старый шут, хоть как ни расфуфырься, а все будут кости на улицу глядеть... Ну, давай-ка, Петр Кирилыч, выпьем теперь да закусим!..

— Ну, уж, барин, и удивительно же! — говорит простодушно Петр Кирилыч, усаживаясь половчее на стуле:—никто ничего не делал и все, гляди, сделано!..

— Не удивляйся, Петр Кирилыч, в жизни ничему: все удивление у людей происходит по их крайней дурости!.. Давай лучше хлопнем!..

— Слушаюсь, барин, — охотно согласился Петр Кирилыч...

— Разлей!

Стоят рюмочки, ручки в бочки, розовеет из вазы красными щеками скрижатель-яблоко, и сам графин сияет весь изнутри и переливается по краям цветистой радугой. Улыбается Махал Махалыч, глядит ласково на Петра Кирилыча, и в бороденке у него, словно для-ради смеха, смешно так торчат в разные стороны три седых волоска, три в одну сторону, три в другую, как у... кота.

— Кушай, — говорит он, — во славу божию... барский хлеб оттого и вкусен, что на мужицкой спине растет!

— Мужичок, — отвечает ему весело Петр Кирилыч, разливая из графина настойку, — для того и богом создан, чтобы барину утеха была... а как же иначе?..

— Правильно, Петр Кирилыч... правильно... понимающий ты мужик... только уж если наливать, так всем наливай... у меня этого добра хватит, — сказал барин, показывая ручкой на пустые рюмки, в которые Петр Кирилыч не налил, потому что с котом вместе их за столом всего было трое...

Глядит Петр Кирилыч: не успел он графина на прежнее место поставить, тянутся рюмки сами к нему под графинное горлышко, друг о дружку стукают, словно чокаются.

«Э... э... э, — думает Петр Кирилыч, — подождем — увидим, дальше будет».

И в каждую рюмочку, нимало не торопясь, налил настойки.

Чокнулся Петр Кирилыч с барином и, закинувши по мужицкой привычке назад голову, разом проглотил, барин же отпил глоточек и опять на стол поставил.

— Должно быть, полынь! — сказал Петр Кирилыч, не поморщился, но почувствовал вдруг, как по всему его телу пошла сладкая истома и в глаза поплыли с потолка голубые туманы и на сердце стало тепло.

— Это такая травка-мерзавка!.. — смеется барин.

Сидит Петр Кирилыч, как на свадьбе: что хочешь — ешь, что хочешь — пей в полное свое удовольствие!..

— Теперь, — говорит барин, отправивши в рот колбасиный кружок, — хорошо с дороги чайку бы... хлопни, Петр Кирилыч, три раза!

— Что ж... теперь я ничего не боюсь... я хоть и десять раз хлопну... только вы бы уж сами!

— Хлопай, хлопай: надо же тебя в хозяйство вводить!

Петр Кирилыч тихонько хлопнул три раза, и за портьерой в дверях зашумело, запухтело, словно кто там никак отдышаться не мог, потом завился тонкой каемкою пар, и, ковыляя в бока, покатился через приступок сперва круглый медный поднос, тарелки на столе очистили место, рюмашки посторонились, и скоро в дверях самовар показался, минуту постоял, потом важно пошел на своих коротеньких ножках по узорчатой ковровой дорожке.

На голове у него на начищенной камфорке, как у попа дароносица, чайник завивает к верху тонкую кудряшку и выбивает бисеринками кипяток по краям.

— Здравствуй, Фан Фаныч! — говорит барин, — попой-ка нас чайком на ночь!

Шумит самовар и тонкую завитушку вытянул к самому потолку, сам руки в боки, кран в стакан отвернул, живот выпятил, по животу у него мизинцем после долгой чистки мелким толченым кирпичом выведены частые крапинки, видит в них Петр Кирилыч себя, кажется Петру Кирилычу, что сидит он за столом в желтой атласной рубахе с рисунком в крупный горох.

— Разливай, Петр Кирилыч, чаек, — говорит умильно барин.

— Чай на чай не палка на палку!..

Зашипел самовар от этих слов еще пуще, и по всей комнате поплыл его ворчливый голосок, из самой самоварной утробы, и в решетке с затейливым рисунком зазолотился ярким глазком и мигнул на Петра Кирилыча проскочивший вниз уголек.

— Ты, — говорит Махал Махалыч, наливая на блюдце, — не дивись моим порядкам, Петр Кирилыч... у всякой вещи есть свой разум и кишки есть... только человек всего этого не видит и видеть не старается, да и не хочет!..

Петр Кирилыч отхлебывает с блюдца душистый чай, слушает барина и думает про себя, что житьишко ему выпало, какое пригрезиться не всякому может: само все на стол лезет, жри себе, пальцем о палец не стукни, знай себе—хлопай в ладоши, когда что потребуется. В это время, должно быть, на барском дворе, голосисто запел петух, барин встал из-за стола и потянулся.

— Ну, Петр Кирилыч, на боковую пора... петухи поют, а мы с тобой еще не дрыхли!

— Покорнече благодарим, — сказал Петр Кирилыч, вытирая губы и перевертывая на блюдце кумочку кверху донышком.

По углам пронеслось шепотком:

— Балдарим... балдарим... балдарим!

— Не на чем... не на чем... не на чем... прошу не взыскать,—проворчал барин на все четыре угла: — пойдем-ка, Петр Кирилыч, я тебе покажу, где Фетинья спать постелила.

Петр Кирилыч вышел из-за стола и не успел обернуться, как барин пропал у него с глаз: вместо стола стоит перед ним большая кровать со стеганным одеялом, и в изголовьи пуховые подушки вздулись горой...

Улыбнулся Петр Кирилыч хмельной улыбкой, перекрестился и, не раздеваясь, бултыхнул в постель: словно в теплом омуте, пошел он в пуховой перине на дно...

Спал Петр Кирилыч эту первую ночь своей службы у барина довольным и спокойным сном...

Снилось всю ночь Петру Кирилычу, что лежит он в дремучем раменском лесу у той самой дороги, где встрелся ему Петр Еремеич на тройке. Только во сне будто никакого Петра Еремеича не было, в лесу стояла тишина и пустыня, как только в одном сне и бывает.

Даже ветра было не слышно, и лист, опадая с деревьев, не шелестел и не кружился, а шел тихо и ровно, как сонный, к земле...

Только где-то далеко-далеко, должно быть, верст за пять, гагакают гуси на полуночном сговоре перед отлетом, да по канаве изредка квакнет осенний соловей — лесная лягушка...

Лежит Петр Кирилыч на мху под большим кустом придорожной ивы, ива покрыла его прожелтевшей полой, и под ней ему тепло и душисто...

Встреча.

Повесть.

Л. Сейфуллина.

Часть первая.

Сын Балакаря.

I.

В семи волостях в округе знали Фрола Кандырина. Даже подростки. А в деревне Кипчанке, где жил, и малолетки. Столетняя бабка Лысуха кровных своих многих в лицо перезабыла. Фрола всегда узнавала, когда к ним заходил. Так ей в память запал, что сама с собой иной день о нем шамкала:

— В уме у Балакаря слов, что на летний сон блох. А, батюшки, чисто семечки грызет, слово к слову прикладывает. Безо всякой туги.

Фамилию «Кандырин», как в бумагах для начальства значился, никто не знал. Уличное прозвище крепко прилипло. Языком поворотливым отметен. Прозвал кто-то балакарь. Так и пошло от речистости его, от уменья говорить, балакать — Балакарь.

Нынешний писарь сельский, Иван Терентьич, из старых солдат, сам разговорчивый, Балакарю удивлялся:

— Кажный человек не корова. Не мычит, а разговаривает, коли бог немотой не покарал. Но только из крестьянского званию говорунов мало. А который и заведется, да не на все. Об хозяйстве там, про мирские дела, или на старые побаски, на присловье, на солдатское вранье,— которому что к языку посходней. А этому, что хочешь загадай, про все обскажет. И так уверительно, что, знаешь, врет, а сам себе не веришь. Не врет, мол, Балакарь, а все на свете знает. А коль и не знает, так в точку догадался.

От леткого слова и глаз веселый у Балакаря. И волос густой, кудрявый. Думой не жилится. Все обскажет, голове не нудно. Хоть перевита ранней сединой чернота кудрявых волос на голове, в бороде, а лицом моложав. Спина, чисто господская, прямая. Ни заботой, ни работой не погнута. Не очень дороден, но по плечам не бракован на призыве. Ростом тоже дошел. Над нынешним племенем, все больше вида низковатого, на ладонь возвы-

шается. Не одним языком—руками тоже хваткий. Под всякое дело подладлив. Одежду шить мужикам может, сапожничать, печи класть умеет, кузнечит в жаркое время на подмогу кузнецу. Оттого, что сильно грамотный, и лечить умеет не наговором и травами, как старики знахари, а по докторскому. От него в деревне узнали касторку, хину, капли пахучие для грудного успокоенья. Книжка-лечебник на божнице у него лежит. Снадобья из городу из аптеки лавочник волостной по его записи привозил. Много умеет. Как возьмется, не плошает. Только ни к чему, кроме книжек чтенья да разговору с людями, не охотлив. Позаймется да бросит. Какой месяц выпадет, все делает. Жилы в теле играют, так скоро поворачивается. А потом два или три месяца только по базарам окрестным ходит, народ вокруг себя россказнями собирает или на полатях с книжкой лежит. Ни в какую работу пальцем не ткнет.

Недавний житель здесь. А все уж двенадцать лет, как со стороны прибыл. Из губернии Тульской. Другие за десять лет дома пятистенные поставили. Он же с ремеслом человек. Таких мужиков раз-два, да обчелся. Самый таким доход в глухоте здешней, где ремесленный человек каждому, как богатый кум. Все с поклоном. Заработать мог бы. А он избенки не схлопотал. По квартирам в чужих избах обивается. Сначала сказывал на пашню вольную сюда подался. Но скоро видно стало: каким-то ветром попутным занесло. Пройди-свет человек. Сам выболтал. Сорока лет от роду не дошло, а до самого моря доходил. Пашня ему не присуха, как и ремесло. Над землей тоже не надсаживался. Снял было, как все, у башкир на пятнадцать лет в аренду. На третий год пересдал соседу за водку. Хоть бы пьяница был. Пивал редко, а все точно во хмелю дуром делает. Сам себя человек на-нет привел. Уваженья ни от кого. Каждый стоющий человек с ним при встрече с усмешкой, как с малолетком или с дурачком:

— А, Балакарь!.. Ты мне вот чего, мил человек, скажи...

Только с расспросом да со смешечком. На расспросы отвечал больше с пользой. Но никто его не любил и не уважал. Ни за работу, когда стих находил рабочий на него, ни за советы, ни за рассказы.

Писарь Иван Терентьевич сегодня, в воскресный день, на бревнах, у дома своего, ему объяснил, почему так вышло. Народ еще только дообедывал. Не успели слушальщики около Балакаря собраться. Двое беседовали. Иван Терентьич в добром сердце был. Хорошо, ласково наставлял:

— И речистый ты, и дотошный, а дурак. Так в округе все тебя и понимают. Кабы ты в господском роду родился, может, и за умного сошел бы. Явился бы ты тогда прямо на заготовленное, самому припасать не надо, живи себе в книжку читай, или в чиновники поступай, прокорм есть. А ты в хресьянстве живешь, а не по-хресьянски себя раскладываешь. Молодые года шатуном прошатался, и сейчас ни хозяйства, ни дома. Ни хресьянин, ни барин, ни ремесловый человек. Сам об себе не стараешься, — кто будет? Всем на смех. За работу берешь без ряды. На сколь облапошит умный, только благодаришь, что пожалел. Рази без счету может правильный человек в деревне быть? И с книжностью с твоей, с разговором кто над тобой не

посмеется? Дурак один не надсмеется, за то что сам ты дурак. Умный бы высоко себя понес, не для каждого, мол, совет. Не шалтай-болтай с разъясненьем, а попроси, покланяйся. А сам себя суешь, значит, дешево тебе дается, нечего и нам за дорогое почитать. Даром только господа швыряются— им легко. Без костоломки, без натуги получили. И то теперь из ихнего брату человек умней, поприжимистей пошел. А ты — на! Всякому чуть не за спасибо пинжак сошью. Мне когда сделаешь задешево, дело понятное. Уважишь нужному человеку, писарю. А всякому — зря. За зряшнего и почитают тебя.

Балакарь только белыми зубами в усмешке сверкнул.

— Эх, Иван Терентьевич, спящий ты в темноте человек. Ты меня жалел, а мне тебя жалко. Очень жалко.

И даже рукой писаря по плечу прихлопнул. Тот обиделся. Изругаться хотел, да тревожить себя неохота.

Снег под солнцем в блеске разыгрался. Той игрой глаза слепит. Хорошо, прижмурившись, посидеть вольготно, с распахнутым полушубком. От избы закутанной с наглухо примороженными окошками отдохнуть. Подышать снеговым прохладным духом, без морозу ласковым, и краснобая послушать. Нахмурил только седые брови и проворчал:

— Надо мной жалковать нечего. Люди уважают. Не лежебок, и достатком не тебе ровня.

У Фрола всегда взгляд озорной, с сияньем будто, а тут жарким стал.

— Вот об этом о самом достатке, вот о нем поговорим. Сколько приятностей, какое такое веселье распрекрасное от достатка у тебя? Я вот с измальства все гляжу, в голову складываю, и до такого рассужденья дошел, что бедное положение для крестьянина лучче. Лучче я тебе говорю, Иван Терентьевич. Много для дыхания человечьего слободней. Сосчитаем с тобой по сложенью, вычитанью, арихметически правильно. Вот давай-ко. У бедного скоту мало — раз. Хлеба сеять, сымать мало — два. Бабе — горшков, черепков, лоханок, крынок помене, и хворьбы, надсады мене — три. У богатого же крестьянина скоту много, пашни — пространства, сундуки чижолы. Горшки от щей жирных неотмывчивые. Подсобников — работников много не наймет. Чем богатей, тем жадней. Вот в сумму все прикладн, заботу с работой вычитай. И вот тебе, как дважды два — у бедного раздышки больше. Отработал, да и на скамейку присел. Об себе, об жизни подумал, голова-то светлей. И на улку вышел, людей поглядел, на базаре погалдел, гармошного послушал. Свет и видней, что большой он. Избенка-то, мол, не одна моя, да и деревня не одна. И не во всех так-то, как из моей окошки видать. Расскажут, бывает, жаркие страны есть, там цветы с колесо — во! И орехи до пуду, может, весом доходят. Вон она какая жизня-то широкая! А там существует, дак и до нас, может, когда-нибудь докотится. Вон вычитывал я, как у нас самый климат хотят подтопить, это для того, чтоб у нас не одна куриная слепота, а, может, апельсины можно? И тоже весом с пуд.

— Вот тем пельсином тебя и садануть бы по башке! Может, мозгу тряхнет, так в разум придешь. Балакарь ты, и вся.

— Что же, што Балакарь? Я на свое здешнее прозвище с весельем откликаюсь. По другим губерниям за разные мои свойства по-другому меня еще прозывали. Много разных названьев я носил, а это мне очень даже из всех по душе. Ты не плюйся, Иван Терентьевич, а рассуди по совести, двинь мозгами пошире, не об себе, об одном, какой ты есть, думай, об других людях разных. Слово человек себе во каким трудом добыл! Был он сперва, как всякая животная, немой. Потом стал рычать. Надсаживался, пока получилось человечье слово. И было оно еще не в полном смысле. Знаешь так, и на то, и на се. А потом он, после как долго тужился, не только горлом, а и мозгой слов-то все боле и боле. На каждый прéдмет особые. И чем больше он шевелит мозгой, чем вникает лучче, со вниманьем, тем у него предметов больше, про которые он объясниться может. Если человек городской, он в хорошем умственном развитии живет, и слова у него не только про цабан, да про плотское, а и как по воздуху летать расскажет — во! Вон Семен Беспалый трудно говорит, его слушаешь, икать охота. А меня слушаешь, еще просишь. И от меня об жизни боле узнаешь. Темный человек не может быть балакарем. Я от просвещения такой, просвещаться старался. А мой сын и самые мудреные образовательные слова раскумекает. Послушай, как настоящие-то образованные высказывают!

— Слыхал. Когда такого навертят, что в голове кружение сделается. Золото не говорит, да чудеса творит. А ты вот проговоришь, век свой на пустых щах просидишь. Да и сына-то на их посадишь. После тебе поблагодарствует.

Оба разгорячились в разговоре. Кричали и руками размахивали. Услышав шум, выглянул с ближайшего двора длиннобородый мужик. Прикрыв глаза рукой, как козырьком, от яркости снега под солнцем, разглядел Балакаря. Торопливо к бревнам пошел. За ним другой, третий. Баба от колодца шла с полными ведрами. Услыхала Балакарев голос, коромысла с плеч сняла, ведра наземь поставила. И застыла на долгое время.

Скоро кругом Балакаря, как на сходе около писаря, сбился густо народ. Солнце встало во всю прямоту над деревней. Сдавать уже книзу начало, а Балакарь все беседовал. Слушатели сменялись. Иные другой раз приходили, но кружок около бревен не редел. Сидели на бревнах, и прямо на снегу, и стояли. Бабы сзади напирали. Пролезли под локтями шустрые ребятишки.

С недальнего двора из землянки на задах, вышла бледнолицая, темнобровая красивая женщина в драповом стареньком пальто городского покроя. Она двинулась было тоже к бревнам. Но остановилась на полдороге. Туголицая, краснощекая лавочница окликнула ее. Баба надвинула пониже на брови платок и неохотно подошла к низенькой слеповатой лавке. Равнодушно глянула на грязные полки с убогим товаром и косо подвешанную безграмотную вывеску. Спросила негромко, но неробко:

— Чего звала, Петровна?

— Да вот какое время, гляжу, все народ околи твоего хозяина тешится. Ну, прямо дивуюсь, не надивуюсь, какой человек потешный. Ты, чать, его и дома наслушалась. Айда, со мной покалякай. Запереть хотела,

Стратон не велел. Отойтить-то и нельзя. А одной сидеть, сон клонит. Об чем он там обсказывает?

— Я там не была. Прощай, Петровна. Недосуг мне. Я Виктошку ищу.

— Ишь ты, какая спесивая. От мужа не отцепишься, разговорчив шибко, а у бабы слова не укупишь. Как ведь подобрались-то.

— Прощай.

— Погоди. Не вороти рыло! Из долгу́ у нас не выходите, уважить меня должна. Эй, Арина, осержусь, гляди. Пошла себе! Чисто и не ей. Девять гривен седни же, скверн авка, приноси. Шутка ли, на рупь без мало забрали. голь перекатная. Да еще нос задирает, сука! Подолом оборватым крутонула, чисто барыня. Разговаривать не хочет. Стратон ухи развесил, на эки деньги в долг навыдавал. Да кому? Балакеревым. До Паски отдачи жди.

Арина, не поворачивая головы, крикнула:

— Когда бы ни было, а всегда отдаем. Милостыньку не берем.

Фекла соседка от ворот отозвалась:

— Уж так высоко себя несут, так высоко, чисто рублев триста в банку отвезли. Мужик дурак, всем людям на смех, а баба чисто старшиниха, башки ни на кого не повернет. И парнишка вредный.

Лавочница зевнула, сказала лениво:

— Ну, от ихого вреду не вскочить и вереду. Кабы в кусочки скоро итти не довелось, Христа ради просить. Отдавать-то пока отдавали, да, чать, что скоро и перестанут. Совсем работу забросил говорун-то. С Виктошкой все в книжку читает.

— И-и, и не говори, Петровна. Виктошка-то все про ученье турчит. Еще в город, говорит, учить дальше повезу. И посмеялись мы. Вы своих в город не отвозите, а он думает про своего обучать.

— Стратон и то вчерась... Балакарь опять на базаре книжку покупал Виктошке своему, а мой ему и посмеялся. — Думаешь, говорит в офицеры сыночка выведешь, все одно не выведешь в офицеры! Так же в солдаты пойдет, а в благородье не вылезет, на Костеревой дочке не оженится. А Костеревы-то, слыхала, али нет, купцы в городу первогильдейские.

Лавочница засмеялась. Соседка из угодливости голосом потоньше ей вторила. Всплеснула руками:

— На отличку все норовят. На то не глядят, что голопятые. Чисто баре выступают. Мальчишку и назвали по-господскому. Вихтур у становихи сын. Это им к лицу. А Балакарь, не знай чем, и попа улестил. Сроду нашинских так не назовет. Да нам и не надо, не полагается! Поп знает, какой святой образованным определен, какой простонародью. На кажный день на различку святые есть: господски и нашински.

А Балакарь в календаре вычитал: Виктор — победитель. И долго это имя лелеял, пока сына ждал.

Чернобровая молчаливая Арина двадцать лет с мужем прожила. Все скитания его делила без угрозы, без ропота. Солдатчину отбывал, она в том же городе в прислугах на постоялом дворе тяжелым трудом пропитание добывала. В голодной непоседливой жизни рожала слабосильных детей

Они умирали в раннем возрасте. Когда родился Виктор, сказала мужу тихим, как всегда, голосом, но решительно:

— С этим мальченкой на одном месте жить буду. Пока в полный возраст не взойдет, никуда не тронусь. Тебе, Фрол Анисимович, как желательно, так и делай, а я с дитем на одной деревне осяду. Ты не бойся, мы прокормимся.

Еле уговорил ее трехлетнего Виктошку в Кипчанку в хлебные степи перевезти. Пешком не пошла. В поезде вез, и от станции в эту даль лошадь нанимал. Полгода работал, чтобы бабу с дитем барыней на машине везти. А уж отсюда никуда. Ни на какие уговоры не сдалась. Из-за нее и задержался здесь. Ушел было. Да на чужих людях, без нее почуял себя, как в глухой чаще лесной заброшенным.

Арина не разговорчива. И слушает больше так, будто сама в себя смотрит. Какое слово дойдет до нее, какое — точно мимо. В лицо Фролу даже редко взглядывает. Не знает он, когда она жалеет мужа, когда осуждает, сердится. Всегда ровная, мужней ласке сдается охотно и горячо, но как во сне. Пробудившись, взглянет удивленно, отодвинется, подожмет еще крепче бледные целомудренные губы и снова замрет в тихости. Никогда не требовала от мужа, как другие бабы, чтоб он над домом, над хозяйством тужился, копил, собирал. В ленивый его безрабочий стих скудость принимала легко, как и подарки в прибыльное время. Без визгу, без бабьей липкости к вещам и к домашности. Оживала она только, когда обида от людей мужа за сердце схватывала и он тишал. Тогда она становилась говорливей. Злой отпор в словах давала нападавшим. Балакарь не знал, что супружество с ним Арина приняла, как фанатичка-монахиня постриг. Со всей силой скрытой страстности, до самой смерти протосковала она по другом человеке. Ясного сознания, мыслей о любви, о единственном, кто стал бы истинно ею любимым мужем, у ней не было. Просто, ей сделалось все равно, где мотаться, как жить. Но мужу несуразному и меж крепких деревенских стяжателей, скупых на бескорыстную ласку, беспомощному за чудную беззаботную его мягкосердечность подарила она крепкую бабью жалость. И Фрол считал Арину своей среди чужих, в каждой мысли с ним согласной. Не смог без нее скитаться, вернулся в Кипчанку. А Виктошка еще больше привязал его к дому. Фрол, испытав нежность к сыну, захлебнулся новой мечтой. Он стал думать о сыновой будущности. Отец видел его существованье таким, какого он хотел бы для себя. Сам он и добиваться его не отваживался, но для Виктора, ему казалось, оно приготовлено. Он мечтал, что сын будет образованным господином, проживающим в городах. Он уйдет из тугой мужичьей жизни, от костоломного, до гробовой доски неизбывного крестьянского труда. Об этих своих грезах он постоянно болтал и жене и подраставшему сыну. Арина о своих мечтаньях не рассказывала. Но лицо ее становилось мягче и глаза горячей, когда она слушала эту болтовню Балакаря.

Наболтавшись на улице, на сходке, на базарах, Балакарь всегда чуть не бегом спешил домой. Сегодня, возвращаясь под вечер домой, мыслями

о жене и сыне Фрол еще больше разогрел свое разгоряченное вдохновенной болтовней сердце. Снимал он нынешний год старую запасную избенку на задворках у хозяйственного мужика. Во дворе столкнулся с Виктошкой. С трудом ступая в подшитых тяжелых отцовых валенках, мальчик шел на улицу.

— Папашка, я иду в школу вечеровать. Учительница мужикам нынче будет книжку читать. Чтенье сегодня.

Ласково, с сияющей улыбкой, Балакарь остановил его за плечо.

— А, может, дома повечеруем, сынок? А? Зажгем огонь, книжку почитаем... эту про земные трясенья.

— Карасину у нас нет.

— А... Без огню мы, стало быть, седни... Ну дак ты обожди, я матери слова два скажу, вместе в школу пойдем.

Мальчик неохотно и недружелюбно протянул:

— Ну тебя... Лег бы спать, находился уж нынче. Не ходи, я один.

И побежал, пересиливая тяжелые валенки. Отца Виктор любил, но стыдился его. Думал на бегу, проглотив слезы:

«Припрется опять людей смешить. Тогда уйду из школы, все одно, уйду. Ну его!»

Балакарь «приперся» не только потому, что его на люди снова потянуло. Пошел за сыном, забеспокоился.

Новая деревянная большая школа на самом выезде из села. Пока Балакарь дошел до нее, ветер взыграл уже люто. Взвили внизу студеные вихри. Колючей снежной пылью закрутила по степным дорогам поземка. Бесноватая пляска ветра и снега смешала небо и землю в одну сплошную сивую мглу. Пути, переезды, провалы оврагов, холмы, улица и дома деревни Кипчанки потонули в ней. Балакарь, спотыкаясь на каждом шагу, еле дотащился до входа в школу. Одиноко стоящая в отдаленьи от дворов, уже в степи, она была открыта всем ветрам. Метель ударялась в нее с наскоку. И стены гудели, трубы выли.

Не успел Балакарь открыть школьную дверь, остановился в недоуменьи на крыльце. Побеждая визги и стенанья метели, вдруг донеслось до деревни многоголосое, гортанное, дикое, но человечье гиканье. Балакарь прислушался, приоткрыл дверь и крикнул в пустой темный коридор:

— Эй, старики, башкыры чего-то галдят!

Сразу ударил в коридор свет. Собравшиеся в большом холодном классе голос Балакаря услышали. Кто-то распахнул дверь. На крыльцо вышли мужики. Гул орущих голосов приближался. Ворвался в него и звук бешено заливистых от быстрой езды колокольцев. Мглу просверлили слабые плящущие огни двух ручных фонарей. Двое конных с фонарями подскакали к крыльцу. Один из них, приподняв высоко фонарь, осветил свой засыпанный снегом малахай и под ним узкие блестящие глаза.

— Зимскай заплутал... Ваша Кипшанка ночует. Учительща самувар пускай греит. Потом, хошет, с им спать лягает.

И башкирин засмеялся нутряным, чуть слышным смешком. Иван Терентьич остро глянул во тьму. Колокольчики и гиканье уже отчетливо слышны, но едущих еще не видно. Он выругался вслух длинно и непристойно. Второй башкирин помоложе хихикнул в ответ, цыркнул слюной сквозь зубы и повернул с фонарем назад.

— Чего вы, черти кривоногие, суда с им перли? На вас бураном нанесло, у себя бы и ночевать укладывали.

Первый башкирин замотал малахаем, оскалил в улыбке белые зубы.

— Наша хватит. Шайтан нанес, Аллах унес. Вам тапирь давал. Хател мима Кипшанка катить. Едит к своя...

Башкирин грубым русским словом назвал продажную женщину.

— Ну и катил бы, мать... Кипчанка в стороне. Это вы на дороге. А к нам зачем?

— Пужалси. Буран напужалси. Шибка кришал, Кипшанка свораши-

— Ат, косоглазые, черти окоящие! Нарочно напугали. С этаким поездом и в буран бы не пропал.

— Злуй буран, шибка злуй. Упармой! На горе поедит, ишшо бульша злуй. Фонарь тухнет, башкыр тоже боитса.

— Напугаешь вас бураном! Чисто собаки, чуете дорогу. Отродясь ни один башкирин не замерзал...

Но, оборвав речь, быстро сорвался с крыльца. Гиканье башкир послышалось где-то совсем близко и смолкло. Запряженная гуськом тройка подкатила к школе. Мокрые, с волосом взъерошенным налипшим снегом, лошади тяжело вздымали боками. Еще трое конных с фонарями в руках осветили широкие сани и в них засыпанную снегом высокую фигуру.

Земский был зол. Долго молча сопел, отряхиваясь от снега. В коридоре мужики помогли ему освободиться от навздеванных одна на другую теплых одежд.

Голосом тусклым, нездоровым, будто ватой горло набито, сказал: — Целый сход застал. Очень рад. Давно до ващего общества добираюсь. Дождитесь здесь, не уходите. Я выпью чаю, отогреюсь и выйду к вам. Башкирам скажите: могут уезжать. Я здесь ночую.

Пошнырял по лицам неживыми глазами и пошел в класс. Щуплый недоросток, чтобы выше казаться, держался напряженно, прямо. Отбивал по-военному каждый шаг тонкими негнущимися ногами. В дверях класса он галантно пропустил вперед немолодую высокую, очень некрасивую учительницу с умным угрястым лицом.

Застигнутых начальниковым наездом было человек пятнадцать мужиков, с десяток баб и много подростков обоего пола. Зимами, когда зверь залегал в нору, и в деревне жизнь становилась медлительней. Без работы мужичий хребет не живет. Но работа около скота и по двору не то, что на поле. Без спешки, не такая надсадная. Отоспаться, потянуться с усладой дает. Оставляет вольготный час на то, чтоб побаски послушать. Собраться на веселый огонь школьной большой лампы из темного своего мурья на

люди. Чтенье внимательно слушали немногие. Большинство дремало. О своих делах думали. При хорошем освещеньи дума легкая находила. Приятно было смотреть на огонь, на многолюдье, на картинки на стенах. Бабы лущили семечки. Отдыхали от тесноты своей избы и хозяйственного постоянного в ней топтанья.

Сейчас в школе под резким ветром было холодно, как под сараем во дворе. Мужики за вечер намерзлись. Ожидая конца барского чаепития в коридоре, грелись, притопывая. Сидели на полу, плотно утянув бороды в ворота полушубков и тулупов. Баб выпроводили:

— Нечего вам тут толкошиться. У земского мужикам разговор.

Дети хихикали, боролись в темноте, подлезали вплотную к отцам, чтобы согреться. Балакарь вполголоса рассказывал, что есть такие города, где большие дома согревают паровозом.

— Трубы прокладут по всем помещениям, и по им пущают пар. Тепло, а ни тебе дыму, ни тебе угару. С большим умом ученые все для городу устраивают. Конечно, не для нашего, сказать, уездного, какой это город? На него и сильно ученых не полагается. Да и не в губерни, а вот в столицах, т.-е. к престолу к царскому поближае.

Мужской голос тоже негромко, но сердито из темноты оборвал его:

— Что ни день, ты все боле завирасшься. Трубы прокладены... На трубах чулки, варежки, пимы просушить можно, а хлеба не испекешь, щей не сваришь. На паровозе, што ль, варево варют. До чего избрехался мужик!

Балакарь, повысив взволнованный голос, стал было объяснять:

— Ты дай досказать. Трубы — одно...

Но его снова перебил Иван Терентьевич:

— Помолчи, Фрол. Успеешь еще безделки-то высказать. Про дело вот... С чем это земский наехал? Энти, нехрещеные-то, уж ускакали, отделались. А на нас навезли хлопотню...

Мужики сбились в углу коридора тесной группой и защептались. Сторож из своего помещения пронес в класс большой, отдувавшийся паром, бурлящий самовар. Балакарь громко вздохнул:

— Эх, вот чайку бы сейчас...

На него прицыкнули. Снова зашептались. От махорочного дыма было сизо, душно от въедливого его запаха в коридоре, когда, наконец, земский открыл дверь из класса.

Сразу закашлялся. Просипел недужным своим горлом:

— Выйти с папироской нельзя было? На крыльце бы не замерзли. Чорт знает, что такое! Откройте форточку.

Ни в окне коридорном и нигде в школе форточек не было. Мужики все же потоптались в поисках ее. Земский еще раз выругался. Но, отогрев шись и распарив тело, отекшее от сиденья в санях, он подобрел. Веселей и проще сказал:

— Заходите в класс.

Откашливаясь, расправляя бороды, стеснительно оглаживая тулупы, народ двинулся в дверь. Проходили, приподняв плечи, осторожно ступая

тяжелыми ногами, поджавшись, как в церковь во время службы. Мальчишки зашмыгали под локтями у старших. На скрипучие парты расселись опасливо, с оглядкой:

— Можно ли?

Балакарь вошел весело и размашисто. Виктошка, сидевший с учениками на полу у классной доски, покраснел и залез поглубже за ребят.

Земский стоял у стола в ожиданьи, когда усядутся. Приметил Балакаря. Дернул бритым подбородком, усмехнулся под коротко подстриженными усами:

— А, рассказчик!.. Я за тобой на будущей неделе пришлю. Печи на хуторе у меня посмотреть, там что-то поправить надо.

Балакарь широко, приветливо усмехнулся и подошел к столу. Глядя прямо в лицо земскому сияющими ласковыми глазами и неловко через самовар, еще не убранный, протянул начальнику руку.

— Здравствуйте, ваше благородие. Вот и к нам приехали...

Земский, приподняв реденькие брови, взглянул на него, взял со стола кусок хлеба и положил на Балакереву, протянутую для приветствия руку.

— Прими, Христа ради.

Отрывистый, злой начальников смешок покрылся дружным мужицким хохотом. Земский оглядел класс повеселевшими белесыми глазами. Балакарь быстро поджал свою руку к распахнутому полушубку, попунцовел, потом побелел, большими растерянными глазами повел по классу, встретил по-взрослому злобный, укоряющий взгляд Виктошки и шумно передохнул. Жалобно, криво улыбнулся. Срывающимся от обиды голосом проговорил:

— Извиняйте, ваше благородие, за безрассудительность. А милостыньки я отродясь не прашивал.

Земский, с лицом снова беспросветно тусклым, ударил ладонью по столу. Как хилый петух, смешно выпятил грудь:

— Ну, ать, два! Налево кругом марш! Садись, где все сидят. Впрочем, стой! Возьми-ка самовар и всю эту дребедень со стола.

Но Балакарь только взглянул на него тоскующим, недоуменным взглядом и тяжело повернулся от стола. Будто сразу огрузнев, медленно вышел из класса. Иван Терентьевич кинулся к земскому. Угодливо согнулся, чтобы быть поменьше и не видней перед худосочным начальником. Посмеиваясь ласковым нутряным смешком, начал с помощью подоспевшего сторожа освобождать стол. Земский хотел окриком вернуть Балакаря, но раздумал. Другому такой дерзости не простил бы. Балакарь был в его глазах совершенным ничтожеством. Даже непочтенье к начальству в нем показалось неопасно. Начальник только усмехнулся презрительно. Быстро смех оборвал. Призвал коротко мужиков к порядку.

— Ну, голубчики, теперь к делу. Приговора общество зачем подписывает? Вам это известно или нет?

Ребятишки, заглядевшись с жарким любопытством на земского, прекратили возню и смех.

Балакерев сын, Виктошка, сидел по-прежнему жалобным комочком, прилипшим к стене. Сердце у него стучало так шибко, что в горле запершило. В глазах встали слезы. Но лицо, пополовевшее от стыда и обиды, он кривил в усмешку. Широко раскрыл глаза, чтобы не дать скатиться слезам. Знал: заметят ребята его боль, не отстанут с насмешками, пока до самого нутра не проймут. Коль сам начнет смеяться с ними, скорей отстанут. Он даже локтем легонько толкнул в бок Ваську Беспятова и, крутнув головой на дверь, прикрыл рукой рот. Будто сдерживал смех над ушедшим так постыдно отцом. Васька хитро посмотрел, без усмешки отодвинул Виктошку плечом и отвернулся.

Земский злобно официальными, непростыми словами корил мужиков, что они ссуду, взятую из казны на постройку школы, не выплачивают. Гнилой хриповатый голос долго изводил подневольных слушателей. У Марьи Петровны, учительницы, нудно заныла больная чувствительная жилка на правом виске. Она досадливо потерла лоб, постаралась заставить себя не слышать боль. Встряхнула головой, огляделась. Взгляд ее упал на Виктошку, и губы страдальчески дернулись. Осторожно ступая, она вышла из класса. Поискала Балакаря в темном коридоре, заглянула к сторожу. Там одна сторожиха, сонно покачиваясь над зыбкой, тихонько тянула заунывную, как ветер в трубе, песенку. Марья Петровна поежилась зябко и вышла на крыльцо.

Вьюга унималась. Падал потеплевший, уже мягкий, не обжигающий студью, снег. Белой кочкой, обсыпанный снегом, сидел на крылечке Балакарь. Учительница ласково окликнула:

— Фрол Анисимович!

Балакарь, странно медлительно для него, молча, повернул к ней голову.

— Простудитесь на ветру. Идите, погрейтесь в сторожке. Там тепло.

Балакарь хлопнул обеими руками по коленкам, вскочил. Глядя на нее вверх с нижней ступеньки, выкрикнул звенящим громким голосом:

— Застуда, не обида! Покарежит, встанешь. Свет заново любей поглянется. Эх, Марья Петровна, барышня добреющая вы, а, чать, тоже не в полном смысле знаете, что и мужика чернокостого следовало не все бы против шерсти! Погладить бы, когда надо, и по хорошему, как разумный хозяин лошадь гладит. Все только под ругачку одну кладь волочить чрезвычайно обидно. Очень тягостно! Злобствие господское над нами вредней застуды!

— Что поделаешь, Фрол Анисимович... Вы бы хоть в коридор зашли.

— От этакой вот обидности, не как от застуды! на печке под тулупом от нее не отлежишься. Не встряхнешься, веселей встамши. На плечи налегает, на нутро, снистожить может человека. Словом давиться в робости начнешь! А в бедности и вовсе, как Семахин Харитон, себе поведешь, под каждым под ветром былинкой.

И, уже стоя в темном тихом коридоре, жарким шопотом ей пояснил:

— Мужичье сердце, конечно, тугое, как земля каменючая. Бей, бей по ему, обидой ли, лаской ли — не скоро пробьешь. Ты его по жилам, по хребту лупи. Они у него движучие, оттого и на беспокойство легче сдаваются. Но я, ведь, вот што вам обскажу, у мене сердце в городах, в другом беспокойстве, в умственном, мятое! Я обидчива-ай и ласковай, вот. На своих, на деревенских не обиждаюсь. Я умней, просвещенней и не обиждаться, а жалеть их должен, что и к себе и к другому человеку без вниманья. Регочут али дерутся без жалости.

— Ну, вот. Это правильно. И на этого, на начальника, тоже не обращайте внимания. У него и души-то нет...

— Э, нет, Марья Петровна, голубушка. Душа образованьем покупается. У скоту души нет. Сердцем которая животная и ласкова, а душа в ей не живет. И деревенский народ от скоту только что говорить языком может да телесным обличьем отличается, а души ему купить не на что. Купилки, разъясненья образованности нет. Вы располагаете, отца брата, сестру аль жену жалеют. Не-ет! Этих только по доходности ихней туги на хозяйство берегут.

— Ну, не все и образованные с добротой. А как раз наоборот. Вот земский... На себе издевательство...

— А я про што ж? Да про то про самое и высказываю. Меня чем он щелкнул? И другие, городские тоже щелкали. Не он первый, по набитому звезданул, вот это и хужей. У их душа укуплена, они стараться должны, чтобы всякому человеку веселей по земле топталось. Мне бы ихнее приволье, али даже Семахину Харитону, разве мы кого толкнули бы? Не-ет, вылазий, мол, мил человек, расправься, потянись. И тебе в жилы человеческая кровь налита. А оно выходит как? Што ни выше, што ни просторней ему, тем к другому понавистней. Значит, где-нибудь изгажена машинка, на какой свет стоит. Винток сменить надо, по иному повернуть. А хто догадаться должен, где погажено? Образованный народ, господа. Они же не хочут. Обидно мне это, уважаю я образованность!

Марья Петровна даже в темноте оглянулась опасливо. Совсем тихо, чуть губами двигая, сказала:

— Есть образованные, которые стараются. Еслиб вы были посдержанней, я бы вам книжку дала...

— Зна-аю, знаю, барышня. Давали в городу. Для тех книжек твердость нужна, ухватка позлей. А я уродился разговорчивым, ласковым. Злобности упористой во мне не держится. Я выговорюсь и отмякну. На слова мене только сила дадена. Кабы до образованности настоящей дошел, я бы книжки составлял. Про человечью про жизнь обсказывал. Про всю, про людей про всяческих. У мене ненависти нет, я всякого жалею. Вот и сейчас... Вас заговорил, вы уж оглядываетесь, слухать устали, а у меня в разговоре сердце отошло. Шут с им, с земским! Спасибочки вам, что пожалели, побеседовали. С чем начальник-то наехал?

Балакарь уж усмехался. Видно было, что вправду обида в разговоре выветрилась. Но в класс не пошел. Сказал Марье Петровне приглохшим, стесненным голосом:

— Виктошка пущай в школе ночует. С ребятишками займется, может, смешком, забавой какой. Поборются, повозются. Веселей ему станет. А дома кабы не расквелился. У него, хоть мал, а сердце потужей обиду держит. В мать. Ну, прощевайте покудова. Завтре с расспросом зайду. Нонче на глаза начальнику казаться совестно.

Балакарь в разговоре отошел, а земского начальника растравили беседой. Когда кончил выговор, поименно самых степенных мужиков к ответу призвал. Почему приговор подписали, а долг в казну не уплачивают? Почему не пропаклен до сих пор коридор школы? Отчего скупо отапливают? Инспектор народных училищ в школе побывал. Земскому — знакомый хороший. Инспектор ему письмо написал, чтоб на Кипчанское общество воздействовал. Собирался волостного старшину к себе вызвать, воздействие прописать. А тут буран загнал самого от дороги в сторону, в Кипчанку. От предвкушения долгой скучной ночи занялся выговором старательно. Но когда вызванные на объясненье мужики один за другим стали бестолково, тягуче, с отступлениями про свой обиход, про работу, про недостатки, стесняясь начальства, бесцветными скупыми словами рассказывать, начальник заскучал. От холодного пола стыли ноги. Промерзшие и запорошенные окна напоминали: сбился с дороги, к Наташе сегодня не попал, как обещал, рассердится. Может быть, раскапризничается, к себе не подпустит, и поездка выйдет напрасной.

У земского, хлибкого телом и нутром, в молодости были только две живых страсти: лошади и женщины. На них просадил он бабкины деньги и отцово поместье. Из-за них и карьеры не сделал. К сорока годам опорочил себя любовным грязным делом с несовершеннолетней подопечной сиротой. Еле ушел от гласного суда. В эту глушь степную вылетел. Теперь изношено громкое дворянское имя, как и дурнокровное тело. Страстью не вскипает. Но живым живет в нем отрыгнувшееся от былого, горячего похотливое, слабосильное желание блуда с женщиной. Им подкрепленный, он отбывал свой срок на земле холодно и пакостно. Ни в большой казачьей станице, где служебное его определено пребывание, ни в уездном городе не было женщин, достаточно изощренных в безлюбовном, бесплодном, стыдно разнообразном смакованьи плотского греха. На взятки с башкир добыл себе из шантана в отдаленном губернском городе одну такую умелую. Привез на житье к себе. Но она здесь вдруг вспомнила крестьянское свое рожденье. Почувствовала тяготенье к скоту, к домашности. Потребовала устройства большого сельского хозяйства. Крупно хватил, чтобы денег собрать. Купил место с мельницей и домишком на реке. Каждую неделю за это утехой пользуется. Но жить все время на хуторе ему не позволяет. Нравная. Теперь чуть что, еще разоблачением темных сделок грозит. Часто дурить начала, в кулак зажала. Вспомнил обо всем этом земский и взлютел. Взвизгнул бессильно и глухо на Ферапонта старика:

— Молчать! Раньше надо было думать, можете школу содержать или нет. Сами с приговором сунулись. Извольте обязательства свои выполнять! Что-о?!. Попечитель кто? Ты — школьный попечитель? А староста?

Поведя хилым плечом, хихикнул:

— Бобры, нечего сказать! Где вам законность и царскую казну охранить? Но я вас заставлю, выучу! Завтра из волости еще человека вызову. Немедленно собрать долги за постройку школы и на три месяца на освещенье, на топливо. Денег нет, описать имущество неплательщиков. Довольно! Все сказано. Можете итти по домам. Староста, к рассвету — лошадей подать.

Земский взглянул на свои часы и сердито зашагал по опустевшему классу. — Скоты! Из кишек доставать надо каждый грош. Бедность все это нищенское причитанье, пустяки. Грязна Кипчанка, а побогаче других деревень. Под тряпьем в сундуках копят деньги. А школу не топят. Как тут ночь провести? Всего девятый час в начале. У этого зверья, у башкир, было бы теплей ночевать. К ним свернул, когда с дороги сбился. Но разве можно в зимнем их жилье ночь продышать? И с этими животными, в их грязи, жизнь доживать приходится. Если б не запутался в делах, хоть бы в другой участок перепроситься... Тьфу! Согреться нечем. Эта бабища учительница, мордоворот такой, что от нее самой, как от холода, зубы лязгают. Постель свою прислала со сторожем. Простыня бязевая, тоже женщина! Вкуса к постели не имеет.

Долго земский ходьбой по классу согревался. Печку сторож затопил. Стало потеплей, успокоился, лег.

А мужики в неурочный поздний для них час еще толклись за школой, переругивались. Друг другу пеняли, что приговор во хмелю подписали. Балакаря ругали. Он школу строить уговаривал. Он приговор-прошенье составлял. Ребятишки из школы с отцами домой убежали. Ночевать остались только пятеро с дальнего конца деревни. И Виктошка. Спать легли в комнате учительницы на полу. У Марьи Петровны от виска заболела вся голова. Затомила удушливая тошнота. Она долго в комнату не возвращалась. Ходила около школы по улице.

Дети принесли казенную, пожертвованную купцом из соседнего села для ночевок инодеревенских учеников, кошму, закрылись своей одеждой и улеглись.

Но Виктошке не спалось. И других разгуливал. Все смешил. Морды разные кроил, передразнивал, как отец с земским «ручкался». Широко раздвинув рот, похоже передразнивая открытую улыбку отца, говорил весело, размашисто:

— Здравствуйте, куманек, ваше благородье, сваток любезный. Гостюйте у нас. Нате вам ручку, подержитесь.— А тот ему: «Сейчас, как раз, с эдаким г..... я еще отродясь не здоровкался, очень благодарствую»...

И, встав во весь рост, раскачивался похоже на земского. Ребята захлебывались смехом над выдуманными словами, какие не могли быть сказаны ни Балакарем, ни земским друг другу. И над гримасами Виктошки. Сейчас

в темноте лица его не видели, но вспоминали, как в коридоре на свету показывал. Один за другим все же скоро позасыпали. Виктошка не мог. Услышав, что все дышат ровно, успокоенно, притих. Щеки у него еще горели от возбуждения. Сердце стукало сильно. А обрывчатые мысли в тринадцатилетней голове бродили взрослые, нагнетающие тоску и злобу.

— Дома чисто ничего человек. И работать ведь когда, хорошо может... Каждый раз, как отец на улицу, все над ним издеваются. Дома умный, а на людях дурак... Жил бы в городу, там, может, все такие... Завтре, как ребята соберутся, опять приставлять буду: отец так, земский эдак. Ребята веселые станут. Любят, когда приставляю, дражниться не будут.

Он в темноте скроил рожу. И вдруг съежился от стиснувшей сердце жалости. Так ясно увидел в воображеньи лицо отца, светлую улыбку его и жаркие ко всем и ко всему синие глаза. Вспомнил, как на вопрос отца: — «Кто ты, Виктошка?» — он, тогда еще трехлетка, отвечал задорливо: «Я мужшина, я ложкой», не умея выговорить «ловкий», и как раскатисто при этом всегда хохотал отец.

Увидел, как он взмахивает рукой, услышал, как взволнованно дышит, когда говорит. И как его, Виктошку, по голове гладит. Вздох у мальчика во всхлип перешел. Он уткнулся головой в шапку и заплакал. Горестно думал:

— Скажу, уйдем в город, папашка... На деревне ты не умеешь... Люди шибко злобствуют, что ты чудной... Ни на кого на здешнего не схож... Скажу, вырасту, выучусь, должность получу. Тогда папашке железную кровать куплю, как у Марьи Петровны. Я на ученье дошлый; выучусь на образованную должность. А папашка, папашка тогда...

Представил себе отца веселого, в хорошей городской одежде. Тогда земский... тогда земский за ручку не побрезгует. Вспомнил, как отец уходил из класса, втянув голову в плечи, и снова захлебнулся слезами. Подумал с острой ненавистью.

— Я тебе тогда покажу, сволочь, как зазнаваться. Выучусь на выше земского, в начальники. И всем, которые теперь с издевкой, я покажу. Поревут, небось, и они.

Скрипнула дверь. Осторожно ступая, прошла Марья Петровна к своей кровати. Виктошка задержал всхлип, притаился. И вдруг ощутил, что мал и беспомощен.

Отец ушел, как опозоренный. И сейчас не знай, спит, не знай, думает о жизни о своей, как Виктошка. Матери отец не расскажет, постыдится. И пожалеть его некому. Завтра опять люди над ним смеяться будут.

Виктошка привстал, надел шапку и, озираясь воровски, тихо выскользнул из школы.

Из-за бурана даже молодежь не гуляла сегодня на улице. И час поздний дошел. Петухи давно уж полночь прокричали. Снег сыпать перестал Звезды проглянули. Над белыми крышами, над безлюдной кривой загогу-

линой распластавшейся улицы неживое тихое засветилось небо. В чьем-то дворе люто взвыла собака. Другие устало и коротко перебрехивались. Под снежными шапками избы черны, молчаливы. Враждебно надвинулись на белую дорогу. И далеко видно, как Виктошка идет. Один. Кругом все спят. Никто не отзовется, если крикнуть. А оттого, что снег в тишине громко скрипит под ногами, кажется: сзади кто-то нагоняет. Невидимый кто-то и оттого страшный. Вдруг настигнет, припластает к земле, а никто не услышит. Ой! Виктошка вздрогнул всем телом, оглянулся. Белая оскалилась сзади степь. А в сугробах будто кто возится, осторожно шевелит снег. Испугался, побежал изо всех сил. У своей избы еле отдышался. Хозяйская собака залаяла во дворе. Но учуяла своего, подошла и руку лизнула. Сразу стало легче на сердце.

— Барбос, барбоска, барбосынька!

Дверью в избе чуть скрипнул, отец услыхал. Приподнялся на деревянной кровати:

— Прибег? Скорей лезь ко мне в тепло. Мамка на печке легла.

Когда забрался под тощий плешивый тулуп, к отцу, ткнулся головой в его теплый ласковый бок, не сдержался, снова расплакался.

Балакарь жесткими пальцами вытер сыновы мокрые щеки, придвинулся ближе и зашептал ласково:

— Ничего, сынок, и мы еще на свет веселыми глазами проглянем. А? Чего хлюпаешь? Надрогся, аль за меня? За меня не плачь. Я — понимающий. Маленько поскорбел, а потом думаю: пострадую здесь, пока в здешней школе экзамент Виктор Кандырин сдаст, и айда с ним в город. На высшее обучение. И выйдет Виктор Кандырин настоящим человеком...

— Папашка, ты маме не сказывал? Не сказывай. Айда, мы с тобой только это про нынешнее... про земского... а?

— Люди скажут. Да она ничего. На меня серчать не будет. Наша ведь она.

— Людям она не поверит. Сам не жалься. Она не скажет, а надо мной будет плакать. А я не хочу. Чего плакать? Я выучусь... Айда, папашка, без экзаменту в город. Ты сказывал...

— Нельзя, сынок, потерпи. Мамке я пообещал, пока здешнюю школу не кончишь, не сползать с места. Там тоже плохого хлебнем. Простых там тоже не любят. Здесь народ не больно к нам ласковый, а все с голоду помереть не дают. Дороже там и прокорм. А я, сынок, не могу. Ты меня не кори, не могу все время работать. Вот печенка такая, не терпит, коли что без охоты. Охота придет, все сделаю. А нет охоты — из рук валится. До книжки я жаден, до рассуждения. А за работой рассуждение житейское только на ум идет.

— Да! Прибег к отцу все-таки? Это хорошо, что прибег. Эх, ты «ложкой»! Ноги-те укрыты у тебя?

Сонное дыхание сына было ему ответом. Балакарь улыбнулся. Осторожно приподнявшись, подоткнул тулуп под ноги Виктошке.

II.

От гвалта школа ходуном ходила. Возней в перемены поглощалась ся живая горячность детей. Неподкупной неприязнью встречали всякую чебу. По утрам Марья Петровна вставала с опухшими красными глазами. Боязливым неуверенным шагом шла в класс. Начинала даже ненавидеть етей. Кротко, как умученная лошадь беззаботного хозяина. Нежданно ачинщиком жарких драк, беспокойных затей и врагом тишины на уроках делался Виктошка. С того дня, как Марья Петровна сообщила:

— Учитель Варенцовский прислал письмо. Зовет меня с нашим старшим отделеньем к ним в школу на елку.

По вечерам стало старшее отделенье собираться: басни и песни учить. Спешили. Две недели всего до праздника оставалось. А Виктошка вдруг целое представленье придумал.

— Марья Петровна, мне папашка сказывал... Вот что сказывал: у господ у одних на елке ребятишки из книги рассказ приставляли. Айдате и мы.

Рассказ свой любимый в книге Вахтерова нашел. Как крестьянин, хуже всех одетый, самоучка, лучше всех господ на образованную должность экзамен выдержал. Марья Петровна согласилась. Виктошке того крестьянина разыгрывать поручила. И не на радость себе. Виктошка дома ночами все разные фокусы и слова свои, не из книги, придумывал. Крепко спали родители. Он тихонько с печки сползал, садился на скамейку у окна и думал. Все про того крестьянина. Как он обучился, по разным краям ездил и везде делал что-нибудь замечательное. Сражался, защищал, погибал, спасался. Всегда невредимым выходил из всех бедствий, в какие попадал. Оттого, что бесстрашный и очень ученый. И молодец этот, будто он сам, Виктошка теперешний. В мечтах о далеких путях и подвигах рождались у мальчика мысли, которых язык не расскажет. Они не влезают в слова. Но от них шибко билось сердце. В глазах изнутри будто яркий фонарь зажигался. Видимым для них становилось то, чего никогда не увидеть в яви. Щеки жег горячий румянец, тело ощущалось крылатым. Виктошка засыпал с ощущеньем полновесного счастья.

На Балакаря нашел рабочий стих. К Мокею портному приладился в подручные. Кипчанским жителям одежду новую к рождеству шили. Не с каждого двора, но работы набралось немало. Семья Балакаря сытей и люди к ним с добрыми голосами. И Виктошка в буйстве радованья не мог оставаться тихим. И так рослый для своих тринадцати лет, будто сразу еще вырос. Выше голову держал. Незаметно и быстро за находчивость в придуманном им представлении, за веселую ухватку в забавах первым заправилой в жизни школьников сделался.

Сегодня Виктошка сильно рассердил Марью Петровну. Она даже ногами затопала. Он оскорбил ее глубокую истерическую религиозность. На уроке закона божия спросила:

— Кандырин, прочитай первый член символа веры.

Мальчик размашисто, ей показалось нахально, встал, лукаво прижмурил один глаз, нарочито отчетливо начал:

— Верую во единого бога скворца...

Он эту шутку дня за три до ответа придумал. Побожился ребятам, что так и учительнице прочитает. Все на глаза вылезал, чтоб спросила.

Заливистый детский смех затопил класс. Смеялись все, никак не могли остановиться. Марья Петровна взглянула на Виктошку. Встретила полный веселья взгляд и затопала ногами.

— Убирайся вон из класса! Не смей являться в школу, пока я тебя не прощу. Ну? Вон! вон! Слышишь, бессовестный мальчишка!

Марья Петровна подошла к Виктошке, с силой схватила его за плечо и вытолкала из класса. Дверь очень скоро снова открылась. Виктошка просунул голову и крикнул встревоженным голосом:

— Марья Петровна, нашинских мужиков за школу описывают!

Не остывшая от гнева учительница не поняла его слов. Но дети повскакали с парт, кинулись к окнам и в двери. Из коридора заглянул темноликий сумрачный сторож. Тоже сказал:

— Из волости наехали. По дворам ходют, добро забирают.

Школа опустела быстро.

Тихая деревенская улица ожила, как в праздник. Но не в гульбе, а в беде. Мужики, старики, парни, бабы, девки и дети толпой двигались по улицам. Впереди вышагивал староста с бляхой на засаленном полушубке. Он нахохлил седые брови и семенил мелкими шажками, как старый недужный воробей. С ним рядом, волоча полы тулупа по снегу, с кряхтеньем и вздохами шагал Иван Терентьич, сельский писарь. Хроменький попечитель школьный за ними спотыкался, оглядывался на толпу, хлопал себя по бокам, жалобно восклицал:

— Как же это так-то! Неладно так, старики, иделалось-то? А? Ах, ты, батюшки! Вот оно дело-то, а?

Моложавый плечистый урядник с закрученными усами в полицейской шинели, придерживая шашку рукой, громко ругался:

— Сволочной вы народ! Начальство вот беспокоите. Зряшней вашего Кипчанского народу под моим надзором нет! От кого служебная затрудненья? Все от Кипчанских! Вас по-старому — под горячую бы розгу, все бы вашинское опчество, поумнели бы. Возись вот теперь с рухлядишкой с вашей, мать...

Волостной писарь, с книгой серой в руках, тоже лениво укорял:

— Земский к вам, дуракам, наезжал, не сумели принять, разговорить. Может быть, тихим манером, по доброму, дело бы сладили. А сейчас вот и вашей домашности чего отберем, свалим в кучу, тогда и выкупать придете, не знай чего целое найдете.

У каждого двора шествие останавливалось. Волостной писарь, выдвигая вперед серую книгу, входил первым, за ним урядник, и в хвосте староста. Народ оставался на улице, у ворот. Как только начальство входило

в избу, во дворе и в избе взметывался бабий плач. Из толпы к воротам подъезжала подвода. Рыжий взъерошенный мужиченко ненужно дергал вожжами. Понурая лошадь стояла покорно. Из избы выносили хомут или самовар, иногда бабий цветистый шерстяной полушалок. В редком дворе недоимку отдавали сразу деньгами. Вещи складывали на подводу. Громкий плач и визг были во дворах. В ходившей по улице толпе слышались бабье негромкое оханье и сдержанный гул от мужичьих голосов. Каждый без опаски отводил душу только у себя, в своем жилье. Шум поднялся грозной волной у Балакаревой избы. Самого Балакаря дома не было. На базар за три версты ниток купить портной его послал. Арина, как всегда, бледная и спокойная, навстречу вышла:

— Нету хозяина. Без его не знаю, чего и отдавать.

Злой мужской голос из толпы отозвался:

— А при ем знаешь? Чего с вас брать?

Другой поддержал:

— Есть у них вошь в кармане да блоха на аркане.

— Самовар глиняный, в горшке чай кипятят.

— Чужим добром откупятся, чего с их возьмешь?

— На то Балакарь и надеялся! Он мир всадил.

И гулом, бабьим визгом толпа насела на Арину.

— Своего барченка обучать школа занадобилась.

— Чего ж, мир для их потужится. Им чего!

Арина смутилась, отступила. Народ ворвался во двор. Смяли бы е, если б начальства не остерегались.

Урядник грозно крикнул:

— Цыть-те! Разбазлались. Еще драку при мне затейте. Я вас тогда ез вашей школы вышколю.

Волостной писарь крикнул сердито:

— Ну, чего ты, баба, канителишь? Сколько с вас полагается? Стой-ка, огляжу! Три рубли восемнадцать. Давай деньги, али там чего за их.

Арина покачала головой. Побледневшими губами, но твердо сказала:

— Ничего. Самовара нет, хомута, шлеи тоже. Обряда у меня все тарая. Хуть што хотите делайте, без Фрола и не знаю как.

Толпа опять задвигалась. Гневные выкрики снова поднялись:

— Давай одежу! Подушки волоки!

— Чего с ей разговаривать, господин урядник, иди в избу! Бери, его увидишь.

— Этот самый, мужик-то ее приговор писал...

— Мир-то, что? Известно... Пьяные подписывали.

Бабий визгливый голос всех покрыл:

— Улещивал нашинских-то дураков. Сказывал — простят!

Иван Терентьевич крякнул:

— Он намутил, все знаем.

— Ну, баба, не задерживай. А то саму в холодну заберем.

Урядник пошутил:

— Сласти-то в тебе немного, сухая. А все тараканов маленько в волости покормишь. Веди в избу.

Дверь избы распахнулась навстречу. Красный, как пунец, Виктошка, стоя на пороге, протягивал свой новенький ватный пиджачишко, картуз и сапоги.

— Нате, отец только справил... на елку штобы...

Арина ахнула. Мальчик оглядел толпу широкими тоскующими глазами, громко всхлипнул и кинулся обратно в избу.

В толпе снова загалдели бестолково и бурно. Но урядник шум пресек:

— Будет галдеть! После разберетесь, кто кого одурил.

Презрительно сплюнул:

— В господский двор попали. Хоромы свинячьи, а тоже елки... Балабольщик этот непутевый здесь проживает. По семени и племя, мальчишка с придурью. Ну, айдате дальше, скоре заканчивать надо. У меня не одна Кипчанка на шее.

До вечера в невеселой суете кружился народ. Многие после ухода описывальщиков, с кряхтеньем и тоской, деньги разыскали у себя под одеждой в сундуках. Вещи выкупили. Но два самовара, закрытые отобранным рядном, подушки и Виктошкину праздничную обряду увезли на подводе в волость.

Только что уехали писарь с урядником, народ еще не разошелся, шумел на улице, вернулся с базара Балакарь. Пешком по тяжелой снежной дороге ходил, а вернулся, будто на лихой тройке прокатился. Легкой походкой и лицом весел. Сразу в самую толкучку на улице:

— Об чем беседа-разговор? Здравствуйте-ка! Приятно вам вечеровать.

Грозное, сразу вставшее молчанье было предостереженьем. Балакарь гнева не учуял.

— Чтой-то вы в буден день взгомозились? То и в праздник около меня когда пошумите, а то...

Иван Терентьевич первый тучей на Балакаря двинулся.

— Мы около тебя пошумим, как еще не шумливали

За ним другие. Плотным кольцом замкнули Балакаря. Баба сзади испуганно закричала:

— А-арина!

Попечитель школьный бадожком застучал.

— Лиходей! Весь сельский мир задурил! Язык поганый твой вытянуть надо!

И, один за другим, сразу злым гамом:

— Подсыпался, когда могарычи с башкырцами пили. Пьяных улестил!

— Што, небось, не знал, не слыхивал: пьяному море по колено. На какой хошь гумаге подпишется.

— А неграмотный, как мое дело, и вовсе!

— Грамотей-то у нас один, а целый сход задурил.

— Хто чуть име-фамилье.

— А я хрест с пьяну кривой поставил, на хрест не похоже, а мой мовар уволокли!

— Чего с им долго валандаться?.. Пусти-ко...

— Стой! Чего наседаете? Все одно замотано. Взад это дело не раскрушь.

— Не раскрутишь! А учить баломутчиков не надо?

— Двинь, двинь ему в морду, чтоб не повадно было.

— Земского бы сгрести. Тот испакостил!

— На земского руки коротки. Свою сволочь школить надо, чтобы ıд земского нас не подкачивала.

У Балакаря лицо белым, как зимняя земля под его ногами, стало. ıаза тревожно по мужикам забегали. Он понял, в какую беду попал. еверным голосом попробовал ласковой шуткой гнев перешибить.

— Чего гомозитесь, старики, не разберу никак! Народ вы дремучий: к вам вестей, ни от вас песней. Я к вам по каждому дню с забавкой, вы все серчаете.

— А, лопоухая сволочь, он еще зубоскалит!

— Бельмы выпучил, гад! У! Выдрать гляделки твои бесстыжие наочь надо!

Своего сынка нашим горбом в образованные вздумал выводить!

— Была школа, ходила по квартерам, зданию надо!

— Пуще всего брехней задурил: простит долги казна.

— Мать... простила?

Балакарь крикнул громко и сильно:

— Братцы! Мир честной! Да разве я со злом? Разве я для себя? ıители по квартирам не желали.

— Пропади ты пропадом с ученостью своей!..

— Жили без школы. Нам сыновьев в господа не тянуть.

— Чего растабарывать. Хто смутил? Хто надоумил? Хто приговор ставлял? А, ужимаешься! Получай за старанье!

Здоровый жилистый кулак сразу в висок Балакаря. Он зашатался, на ногах выстоял. Сзади трое насели. Повалили на землю. Падая, е раз громко вскрикнул:

— Братцы!.. Одумайтесь!

Били упоенно, долго, посменно. Кулаками, пинками. Один хлестал ıстой вожжей. Кто молчаливо, кто с присловьем. Старостина баба меж жиков пробилась, верхом села, бороду выдирать начала. Визжала ʼмело, пронзительно:

— Косточки целехонькой в теле нету, а ни запасу у нас, ни припасу. рят, зорят! В разор нас разорили-и!

Два мужика с большим усильем бабу с Балакаря сняли. Белый бенный старик дрожащей рукой, промахиваясь, железным бадожком ıрял. В мужичьем рычаньи, в бабьем визге, в плаче напуганных малолев надрывном, долгом Витошкином крике сглыхали отдельные восклиıья и слова. Как косноязычной взревевший зверь, во многоголосом гуле

лютовала толпа. Балакаря поднимали с земли, с размаху швыряли оземь обратно. Топтали, щипали, давили. Били, как бьют мужики вредных колдунов и конокрадов. Другой, послабей, давно бы кончился. Балакарь еще дышал. Только обомлел. Когда вытянулось, как мертвое, тело, синим стало под размазанной алой кровью лицо, а на снег из искривленного рта потекла с чернью густая, кусками, народ отвалился. Шумно вздыхали. Вытирали пот, как после работы. Иван Терентьевич на корточки встал, озабоченно грудь послушал и лицо успокоенное приподнял.

— Жив. А то все-таки не ладно... Отвечать как бы не пришлось.

Худощавый, белобрысый мужик злобно отозвался:

— Нечистый за него ответчик. Эдакую злочась не жалко.

Но глаза в сторону отвел. Никому в лицо не глянул.

Попечитель нерешительно сказал-было:

— Отлежится. Дурная трава живуча.

И сразу оборвал. Сконфуженно высморкался, в сторонку отошел. Сторож школьный вперед протолкался. Снег к голове и к устам Балакаря прикладывать стал. В прочерневший запекшийся рот потихоньку комочки снега совал. Мужики уже от гнева отошли. Каждый понимал, что Балакарь ответчиком под руку не за себя одного попал. За всех. За начальство, до которого высоко. Руку не дотянешь.

Иван Терентьевич первый, как бы оправдываясь, это высказал:

— Земского раздражнил хтой-то. Он на нас. А мы опять же на того, хто у нас поплошае. Што сделаешь! Ничего не сделаешь. Не в час под сердце подвернулся.

Слабым эхом кто-то поддержал:

— Знамо, ему бы не казаться дни два. А он под руку сдуру нырк.

Худощавый, белобрысый, не желая сдаваться, храбрясь, отозвался:

— А на приговор сетаки он сбил. Никто другой, Балакарь.

Никто не ответил. Толпа редела. Уткнувшись головой в мужнины ноги, надрывно выла Арина. Виктошка стоял поодаль. Не плакал, только всем телом, не по-человечьи, а как собака с перебитым хребтом, безостановочной мелкой дрожью дрожал. Еще трое стали растирать снегом живот и грудь Балакаря. Те же жесткие руки, что били, теперь осторожно и легко ходили по коже. Но Балакарь от боли хрипло простонал.

Иван Терентьич наклонился к его лицу:

— Дышишь? Дыши, дыши, старайся, бог даст, отдышишься. Лихо намяли, маненько через край. Глотнико сь снегу. Нутрё у тебя пропеклось. Ну, айдате, мужики: домой его отнесем. Даст бог — отлежится. Ну-ко, баба, встань, в избу в вашу его надо.

Дорогой степенно Арину успокаивал:

— А ты отдохни, не вой. Уши у меня свербит, шибко воешь. Зачем так-то? Еще, может, отлежится. Должен отлежаться, мужик хороший, справный. Савоська вон как расшибся. Башка не держалась, шеи пораненье. А приросла, живет. У мужика у твоего печенки отбили. А нутрё крепкое, не пропороли ничем, отлежится. Ты ему и в избе снегу, снегу все в рот совай,

чтоб печенку не выхаркивал. Захолодится нутрё, ему легче дышать будет. Мальченка-то ваш истрясся весь. Его на печку.

Балакарь, пока несли его на пологе, как на носилках, раза три обмирал и снова в чувство приходил. Вскрикнул горестно и страшно от нестерпимой боли, когда на кровать положили. Потом затих. Белый, белый под кровоподтеками лежал с открытыми, строгими, понимающими глазами. Не говорил ничего. Когда били, язык прикусил. Он распух, и двинуть им Балакарь не мог. Весь вечер заходили его наведывать мужики и бабы. Виктошка на печке заснул. Но во сне часто и тонко, будто пятилетний, взвизгивал, просыпался, плакал и снова засыпал. Арина встречала входящих недобрым под надвинутыми бровями взглядом. На расспросы не отвечала. Строго поджимала губы в ответ. Но советов слушалась. Поила отваром: знахарка принесла. Смачивала губы, как Иван Терентьич показал. Он же к учительнице за уксусом сходил. Толку у ней не добился. Марья Петровна лежала на кровати, засунув голову под подушку. И хуже Виктошки тряслась. Иван Терентьич укоризненно головой покачал:

— Чего же так без ума убиваться? Уж лучше человеку помогчи, коль пожалели. Укысу ему к голове на пользу было бы. Што вы? Никак ничего. Ну, к лавочнику дойду. А убиваться эдак не следует. Себя нудите, а ему это ничуть ни к чему.

Пока входили и выходили чужие, Балакарь тревожился. Раза три густая кровь опять лила изо рта. Последним ушел Иван Терентьевич. Он внимательно и долго всматривался в Балакаря. Повел недовольно шеей.

— Все кровью блюет, кабы хорошую вместе с пропеченной не выблевал. Что-то не ладно! Ну, чего ж, пальцем не заткнешь! Помереть ему, видать, а я рассчитывал, встанет. Фрол, ты меня видишь? Видит, а молчит. А ты не злобься, нехорошо. Помирать надо с беззлобьем, в спокойствии. Утром еще зайду. А коль не застану, прости Христа ради. Обидчик я твой, но в животе и в смерти бог волен. От наших рук не отвел, значит ему занадобился. Прощай.

Положил земной поклон перед кроватью, поднялся и степенно вышел.

Перестала хлопать дверь. Все чужие, беспокойные, ушли. Виктошкина молодость победила страх и тоску. Спал крепко, уж без вздохов и взвизгов. Арина застыла в раздумьи у маленькой лампы за столом. Лицо ее казалось неживым, сильно постаревшим. На Балакаря сошло странное нелегкое спокойствие. Он чувствовал, что тело болит. Но чувство это было приглушенное, какое-то не свое. Будто со стороны смотрел и хорошо понимал, что больно, но живого ощущенья боли у него не стало. Оттого, что тело, проносившее в себе сорок с лишком лет его, Балакарев дух, вдруг ощутилось не своим, посторонним, он понял: умираю. Понял, не закричал, не выскорбел по-живому от чуянья смерти. Он отдыхал, подчиняясь мудрому веленью тела. Бессознательно оттягивал последний смертельный этот всплеск отчаянья. Лежал тихо, смотрел вокруг проникновенно, глубоко. Точно впитывал все, что видел. Забирал в далекую безвозвратную дорогу земные виденья. Взгляд его видел не только избу, Арину и спящего сына.

Видел и всю прожитую жизнь в полноте так ясно и верно, как видят единый раз прозревшие перед смертью человечьи вежды. В миг этого последнего гляденья ни злобы, ни любви, ни страха, ни радости, ни раскаяния не ощутил. Под бестрепетным дыханьем близкой смерти он лежал в мудрой покорности закону бытия, зрячий и все знающий. Готовился отойти. Но безбольное это прощанье было кратко, как вздох. Когда жилы стали стынуть, он, как все живое, ощутил кровное свое родство с земным. Восскорбел, вздохнул глубоко, жадно застывая в предсмертной тоске, он глядел на жену. Она этого взгляда не почуяла. Продолжала сидеть с неподвижным, усталым, в стороны от Балакаря отведенным взором. Тогда он понял, что, прожив бок-о-бок с ней двадцать один год, он был всегда и остался для нее только привычным чужаком, не своим. В последнем отчаяньи, он простонал тяжело, с хрипом. Предельным напряженьем человечьего хотенья, без слов, позвал кровного своего. Мальчик внезапно проснулся, глянул на кровать, закричал:

— Папашка! Родимый мой... папашка!

Он стремительно спрыгнул с печки, кинулся к отцу, обнял обеими руками холодеющее тело. Арина от стола тоже кинулась к мужу. Но он ее уже не видел. В бессильи немоты говорящий взгляд его был непонятен и страшен. Арина отшатнулась. Но Виктошка не испугался. Жалобно всхлипывая, он все плотней прижимался к отцу, тесней обхватывал его руками. Балакарь жадно вздохнул, всем телом подтянулся к сыну, ощутил его, жалобно дрожащего от рыданий. Горечь расставанья потонула в новом огромном чувстве вины перед ним. Бросает свое дитя в беззащитности, бедности. Ничего для него не скопил, ничем не обеспечил, не постарался для него по-настоящему и умирает. Поздно спохватился! Мелькнула жалко радостная мысль о новых Виктошкиных сапогах и пиджаке, которые успел купить. Не знал, что их нет в доме.

Уже в полузабытье широко взмахнул руками, чтобы захватить еще и еще какие-то примерещившиеся вещи: деньги, клад. Как будто поймал что-то обеими руками, крепко их сжал, вздохнул три раза облегченно, сильно, еще коротко похватал совсем студеными руками воздух, вытянулся и отошел.

На утро женщины в суетливых соболезнованиях толкались в Балакаревой избе. Входили с тихим словом, с тяжелым топтаньем мужики. На столе, под иконами в белой холщевой обряде лежал тихий Балакарь. В покое лицо его было величаво и строго. Свет от тоненьких свеч с божницы играл на нем, не оживляя. Школьный попечитель истово читал над ним, изливал певучим голосом, не понимая слов, вдохновенную песнь псалмопевца о тленной жизни.

Хоронили Балакаря всей деревней. Нестройным хором с визгливыми бабьими вполашиваньями погребли на Кипчанском кладбище под горой. Фельдшер из волости выдал Кипчанскому обществу свидетельство, что Балакарь умер от простудного воспаленья внутренностей. Арина жалобу на кипчанцев грозилась подать. Иван Терентьевич се уговорил:

— Ты, баба, зря не ерепенься. Без умыслу мужика твоего в гроб уклали. Так, вышел грех такой. А суд да дело чему подмогут? Его не подымут, нас по допросам замотают, да и тебе тоже не сладко придется. В свидетели никто не пойдет. У нас в свидетели хуть ходят, а всегда одно сказывают: ничего не видал, ничего не слыхал, не мое дело. Сама знаешь. И учительшу уговори, чтоб тебе не вредила, шум не подымала. Мир тебе денег соберет, холста, шерсти, муки на запас. И в город на даровой подводе отвезем. Балакарь-то все охотился сына учить. Вот и вези, подможем.

Арина с неделю упрямилась. Но так тяжело было ей, не сроднившейся ни с кем в деревне, одной без мужа, что сдалась. И Марью Петровну уговорила. Виктошка тоже было противился. Чисто продают отца. Они убили, а они денег возьмут да промолчат.

Но Арина только вздохнула. Сказала:

— Он, чать, видит. Мы его не видим, а он все знает. И я этого не боюся. Шибко хотел в город податься. А судиться, ничего мы, сынок, не высудим. Они всей деревней. А мы хоть трое, да, может, Марья Петровна напоследок тоже испугается, мы с тобой двое. Кто нам поверит? Опять же тело из земли, сказывают, вынут. Это — грех незамолимый.

Изба без отца стала тоскливой. В школе ученики, прослышав, что Балакаревы судиться со всей деревней хотят, сторонились. Виктошка затомился. Вспомнил свои мечты и с матерью согласился. От раздумья и печали последних дней лицо его возмужало и огрубело. Мать на него недоуменно взглядывала:

— Вырос как. Ровно в неделю на два года постаршел.

На девятый день приехал из другого села поп. В Кипчанке церкви не было. Отпел Балакаря под землей. А через три дня резвая сивая лошаденка тянула по ухабистой дороге дровни с Балакаревой вдовой и сыном. Арина решила перебраться в город.

III.

Старый барин, наконец, заметил: мелочь из карманов пропадает. Папиросы в открытой коробке тоже слишком быстро выкуриваются. Вина в две недели выходит столько, сколько на месяц раньше хватало. Стал убирать деньги, запирать табак и вино. Объясняться не хотел: расстраиваться не любил. Но через неделю аккуратность надоела. Забыл спрятать деньги — снова пропали. Разозлился, сказал Виктору перед сном:

— Родись ты, шельмец, в Америке, из тебя бы Эдиссон-Стефенсон вышел. А на любезной родине, в России, выйдет, в лучшем случае, первоподрядный карманный вор. В худшем — за пустяк в тюрьму попадешь, а потом бродягой-пропойцей умрешь под забором. Понял?

Виктор посмотрел старику прямо в лицо. Так редко смотрел. Больше мимо собеседника. От этого синие глаза его часто неприятны. Злая затаенность в них. Ответил негромко и твердо:

— Сами виноваты. К легким получкам приучили. Теперь я уж не мальчик, потребностей у меня больше, а выдаете денег вы по прежнему расчету: на пряники, да на орехи.

Александр Платонович от изумленья даже носок из рук выронил. Потом побагровел.

Смешно и беспомощно затопал сидя. Одной ногой в штиблете, другой босой. Рыхлое тело затряслось, как жидкое тесто.

— Мерзавец! Мне, это ты мне смеешь говорить? Мне? Кто тебя из грязи вытянул? Кто от нищенства спас? Отвечай, неблагодарный щенок! Подлец ты, вот что я тебе скажу. Ну, не ожидал, не ожидал!.. Ах, мерзавец!

Он жалобно запыхтел в волненьи. Хлопнул рукой себя по жирной коленке.

Виктор невеселой усмешкой покривил губы, встряхнул снятый на ночь пиджак Александра Платоновича, бережно повесил его на спинку стула. Только потом медленно проговорил:

— А чего же вы сердитесь? Я обманывать умею и вас сумел бы. А я вам по чистой совести ответил. Зачем обижаться? Вы всегда хвалите, кто правду в глаза режет. Я вот прошлую ночь жизнь свою обдумывал. Понял, знаете. Лучше бы вам меня... не жалели бы, в грязи бы лучше вы меня оставили. А то, что же? В чистоте, да не при деле. Ни в мастерство ни в какое не отдали, ни учить не пожелали. До девятнадцати лет для забавы при себе продержали. А теперь мне как же, где добывать? У вас только. Положите мне содержание хорошее, таскать не буду.

Александр Платонович выпучил покрасневшие от прилива крови глаза.

— Ну, брат, шесть лет пил, ел, спал с тобой, а вот только сейчас узнал, какое ты скверное существо. Ведь ты за одним столом... Одет не хуже меня. А взял я тебя с улицы. Не отец, не брат, не дядя тебе. Я даже не пойму. Ты меня упрекаешь. Мерзавец!

И он дрожащими пальцами потянулся к столику за папиросой. Ночной столик от кровати стоял далеко. Он не мог ни достать, ни подняться сразу от грузности. Виктор поспешил подать. Но старик замахал сердито обеими руками.

— Не трогай! Никаких услуг мне от тебя больше не надо!

С тяжелой торопливостью сам подошел к столу, закурил и заговорил прерывисто, с одышкой, сильно волнуясь:

— Я почти никакой разницы... не делал между тобой и родным единственным сыном. С тобой даже больше времени проводил... Мастерству учиться ты бы мог... Сам о таком желаньи ни разу не заикнулся. А мать все при себе дома тебя держала. Тоже тряслась над... сокровищем. Ну, а учить... Извини, пожалуйста... Как тебе не стыдно! Ты ведь сейчас что? Ты шантажем, ты вымогательством... Да, до вымогательства дошел! Учить я тебя не мог. Мне еле хватило на сына. Да, наконец, чорт возьми, что я перед тобой оправдываться должен? Экая мерзость! Из жалости к твоей матери...

— Ничего не из жалости. Нанялась в кухарки. Позарились, в горничные перевели. В любовницах вам удовольствие из-за меня же...

— Матерью... матерью торговать хочешь? За нее? Подглядывал, следил за ней? А? Откуда тебе известно, какие у нас были отношения? И как ты смеешь!

Оба стояли друг против друга в ласковой спальне Александра Платоновича. Здесь за шесть лет столько было веселых душевных слов между ними сказано. Теперь, грузно осев всем телом на больные ноги, трясся от гнева Александр Платонович. А Виктор в упор, зло медленно произносил, будто по весу отпускал каждое слово. Рослый, широкоплечий, чужой, сразу и по внешнему виду изменившийся. Сегодня в первый раз разглядел его. Все мальчиком, Виктошкой казался, а сегодня взрослый... вор и шантажист. Александр Платонович хотел говорить, но словом поперхнулся, закашлялся, в изнеможении сел.

Виктор пододвинул столик к изголовью и заговорил обычным своим задушевным тоном, в сторону отведя взгляд:

— Не сердитесь, Александр Платонович. Лишнего я наговорил. Только вы человек умный, образованный, подумайте и за это не обижайтесь. И в моем положеньи человек, бывает, затоскует. Вы мне не выдавайте по мелочи, как маленькому выдавали, а положите помесячно, сколько милость будет, как прислужнику. Я за вами хожу и Юрию Александровичу тоже прислуживаю. Ну, вот, сколько-нибудь, чтобы у меня свой грош был. И спать позвольте не здесь, у вас, а в кабинете. Хоть бы тоже на полу... Все-таки, я когда с вечера хоть по улице сам по себе пройдусь. Здесь вас беспокоить остерегаюсь, спозаранку с вами укладываюсь. А там... Хоть на картины когда один схожу, развлекусь. Молодой я, на людях потолкаться хочется. Не сердитесь, пожалуйста. Простите, не выгоняйте меня. За свою дерзость я отслужу.

И пошел к двери. Александр Платонович запыхтел трудней. Сморщился.

— Постой, постой... Собственно, иди, ложись... В кабинете так в кабинете, мне все равно. Не маленький, и один не боюсь. Завтра поговорим. Нет, постой! Ты понимаешь все-таки, как ты меня обидел!

— Понимаю.

— Понимаешь? Я тебя всегда жалел. Сразу, ну... привязался к тебе. Образованья не мог дать такого, как сыну. Но ведь я рассчитывал: ты самородок, ты на-диво способен, смышлен. Я думал, ты сам выбьешься.

Уже умилившись воспоминанием о прежнем своем отношении к Виктошке, он сразу от гнева остыл. Растроганным слезливым голосом спросил:

— Неужели не будешь выбиваться?

Виктор ответил без усмешки. Очень быстро, с полной готовностью:

— Буду.

— Э-хх, Виктор, Виктор. Как это ты мог... так скверно разговаривать! Как ты мог! О ком! Об Арише, о маме своей. Ты вот теперь взрослый, понимаешь... Мне неприятно, что ты так грубо про наши отношения. Она

простая, деревенская, но вот у нее была тонкая душевная организация, да... Я к ней... Ну, просто скажу, я ее любил. Последняя моя женщина в жизни. Ты вот взрослым себя называешь, а не понимаешь... взрослых человеческих чувств. Один поэт сказал чудесные слова: «О как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней!».

Старик заморгал глазами, даже сладостно всхлипнул от потеплевшего сердца.

Александр Платонович поднял на Виктора растроганные глаза и смолк. Его поразил полный величайшего презренья взгляд. Виктор повернулся и неспешно вышел. Старик совсем растерялся. Разгневаться он уже не мог, устал. Посидел, в раздумьи покачивая головой и громко вздыхая. Потом неожиданно для себя со вкусом зевнул, махнул рукой и улегся в постель. Скоро Виктор опять заглянул в дверь. Александр Платонович спал, упоенно по-детски посапывая.

Одиннадцатый час ночи в начале. Городская улица за окнами еще жива. А в доме глухо и душно. Виктор сердито, рывком распахнул настежь оба окна в стариковом кабинете. Редкими, но грузными каплями падал на землю теплый дождь. Насыщенное влагой темное в вышине и меж ветвями деревьев небо пахло клейкой листвой, сыростью и плотским ароматом молодой весенней земли. Шум по-вешнему сильной напруженной реки сливался с затаенными ночными шорохами, стуком колес, людскими голосами. Воздух от этих запахов и шумов, как хлебная крепкая брага. От него невеселые Викторовы думы стали горячими, злыми.

Жару к тоске подбавил еще младший Лугинин, сын Александра Платоновича. Отчетливым, крепким шагом прошел мимо неплотно притворенной двери к отцу в спальню. Спит старик, быстро оттуда повернул. И к телефону в коридоре. Голосом приятным, усмешливым, — такой всегда у него, с бабами когда говорит:

— Алло! Зинаида Романовна? О, как только пришел домой, сейчас же к телефону. Не мог, никак раньше не мог. Только что кончил утешать страждущих, врачевать болящих. И вы? Я этому не верю. Вы созданы для того, чтобы радовать глаз. Вы не можете быть жалкой, болящей... Ну, конечно, всему верю, и болезням верю, но не хочу верить. Если без шуток? Без шуток, должен вас посмотреть. Не могу же я лечить по... рассказу... Что? Стесняетесь?.. Доктора, священника ни один смертный не должен стесняться. Ну, бросьте, вы замужняя женщина, а стеснительны, как... подросток. Сейчас могу, боюсь, что поздно... Отлично, прилечу. Только бросьте стесняться, я — врач. Сейчас выезжаю... Да, через четверть часа буду у вас. Хорошо.

Виктора злость передернула. Подумал:

— Жеребец.

Нехорошо выругался в мыслях. И когда Юрий Александрович, на ходу, в кабинет заглянул, Виктор прежде всего ненавидящим взглядом крепкие ляжки его охватил. Лугинин сказал:

— Ты дома? Спать пойдешь, не забудь здесь окна закрыть. Да посмо-ри, заперт ли черный ход. Кухарка наша глупа и сонлива. Я однажды ви-дел. Спит, а дверь на крюк не заперта. Позаботься. Марусю я в кинемато-граф отпустил. Откроешь ей, когда позвонит.

Виктор поспешно и угодливо отозвался:

— Хорошо, Юрий Александрович. За всем присмотрю, не беспокой-тесь. А вы разгуляться пойдете? Веселого вам вечера желаю. Запор-то исправили? А то я дождусь, вам открою!

— Не надо. Все в порядке, ключ у меня.

Лугинин кивнул головой и ушел. Мягко хлопнула выходная дверь. Во всей квартире один Виктор не спит. Эх, и тоска же! Нюрка, видно, уж придет. А да чорт с ней! А без нее все же заняться нечем. Обучаться из книжки неохота сегодня. Легкие занятные книги читать разлюбил. В них все врут про интересное. А ничего интересного нет. Нажраться, отоспаться да бабу помять. У мужика и у господина одно выходит желанье. Стоило из-за этого в город тянуться. Весь бы свет на клочки разорвал, такая тоска. Еще этот бугай, Юрий Александрович, разбередил. Всегда после разговора с ним сердцу стыдно, и во рту ржавчина. Ох, и ненавистен этот человек. Никогда не обижал, а лютей ненависти ни к кому у Виктора нет. От одного вида высокой плотной фигуры и уверенного никогда не сникающего взгляда мутит Виктора. А больше всего от самого себя при встречах с Юрием. Как ни старается Виктор пройти мимо младшего Лугинина, промолчать, всегда не удержится: первый с разговором искательным сунется. Со смешком льстивым и трусливым. Юрий взглядывает мимоходом, отвечает коротко. Иногда и вовсе не услышит. Не притворяется. Ни по делу, ни для удоволь-ствия ему Виктошка не нужен. А на лишнее ни глаз, ни ушей, ни сердца своего он не тревожит. Такой крепкий, самостоятельный человек. Попа-дется ему Виктошка на дороге, скажет или ответит так, будто на стул на-ткнулся, отставил его, не сердясь, и прошел. Мать Виктошкина прослужила этой семье пять лет. И в этот срок Юрий так и не запомнил хорошенько, Аришей ее зовут или Аннушкой. Отцу приятна, ему не мешает. Юрий при-ветлив даже с ней был. Но память тоже так устроена: сама себя бережет. Не зацепляет имени, от какого ни услады, ни досады. Принимал существо-ванье в доме Ариши и Виктошки без особой радости, но и без недовольства. Отца на старости лет с белого хлеба на черный потянуло, темнобровую строголицую крестьянку себе в утешенье нашел, что же? Приятно, что отец так долго мужчиной держится. Она опрятна и нешумлива. Можно бы и без чужого приплода. Но мальчишка услужлив, не разоряет. Пусть живут. Пока не воруют, не зазнаются. Юрию они не нужны, но не мешают. Отец ими доволен — и хорошо. По-своему, с оттенком ласкового превосход-ства, сын заботился о старике. Виктор остро ощущал отношенье Юрия. С детства оно волновало его первой обидой холодной нелюбви человечьей друг к другу. Матери как-то пожаловался:

— Юрий Александрович все мимо нас глядит, нехорошо мне, когда он дома. Чисто мы неживые, нету нас в ихнем доме. Псенка Бижутку и т

бывало, когда погладит, а когда в сердцах, ногой пнет. Все взглядывал. Подох, дак жалковал даже. А коли я или ты, мам, помрем, дак, чать, в тот день и спросить не надумается, куда делись. Разве што ден через три разглядит: нету нас.

Мать тихонько с печальной усмешкой успокоила:

— А ты не набивайся ни на ласку, ни на таску. Сам на него не гляди. На что он тебе? Старый барин ласковый к нам, он кормит и одевает. С ним вы друг дружке разговорщики охотные. Дак чего тебе? Бог даст, в люди тебя выведет. С ним не пропадем. Спасибо учительше Кипчановской, что вот к этой родне к своей письмо дала. А то в городу хлебнули бы горя. может, и позлей Кипчановского.

Вспоминанье о проступившем тогда на щеки румянце, редком на строгом ее лице, до сих пор Виктошка в сердце, как болячку, держит. Застыдилась перед сыном за грех свой с барином. Объяснять не захотела, что не в сладость себе, ради Виктошки, закатные барину дни женской лаской услащала. Виктошке объяснять и не надо было. Сам понимал. Для себя не корыстна была. От худых башмачишек и захворала. Барин на разговоры ласков, а на заботы о другом человеке, о себе молчаливом, не приучен. И Виктошка не доглядел. В жестокой застуде через месяц в могилу отлеживаться ушла. Кругом себя живущих хлопотами долго не маяла. В самый день смерти сильно задумалась. Потом тайно Виктошке двести рублей передала.

— Скопила вот... Дареное за пять лет. Возьми, спрячь. Хорошенько спрячь, сынок, никому не показывай. Не краденые, а ты об них молчи. Пожалеет старик, еще даст. А узнает, что есть, подумает: ну, и ладно, когда-нибудь еще дам. И не даст, забудет. Сердце свербит у меня нынче, сынок. Тело легкое, ровно как бы на то, что отлежусь, встану. А сердце тяжелое, телу и не верю. Помру, знать, скоро. Вот и отдаю. На подмогу себе придержи, не растранжирь до часу. Жалею я, Виктошенька, каюсь, что назойливой с барином не была. Эх, в бесчастный час зародила я тебя, Виктошенька. Горя на твой пай шибко много отпущено. Пока жива, топчусь около тебя, на свою спину все возьму, все. А коль помру... Господской-то милостью сыт будешь, одет будешь и пьян напьешься, а жив нет...

Долго, долго говорила, мельтешила словами в последний жизни день. И такой закон, видно, у бога определен, перед смертью человек другим, на себя непохожим делается. Для того, видно, чтобы разное на земле испробовать. Разговорчивый отец молчком помер, а мать, крепко молчаливая, закончила свой век разговорами. С Александром Платоновичем тоже в тот день долго и шибко о чем то разговаривала. А смерть, все равно, заберет. От нее не отмолчишься, не отговоришься. Скучно, а-а, скучно как! Зачем-то еще про смерти раздумался. А в скуке ли, в плясе ли горчей горького станет, как про смерть раздумаешься. Самая главная ошибка, старика этого ласкового пожалели. Достаток-то последний доживал, платить за Виктошкино образованье, правда, пожалуй, не с чего. А на даровое обученье не попал, сам Виктор сплошал. На трех экзаменах оконфузился. Не

ıривычен еще к городу. Мать так объясняла: «От страху у тебя поднятье :ердца сделалось, все и перезабыл». А тогда бы нажать на старика, не жаıеючи; взялся, дак не обманывай, вытяни. Коль в казенной не откупил 5ы места, в господскую в частную гимназию заплатил бы. А там бы Виктошка ɪальше наладился. Ну, и сам тоже виноват Виктор. Не в мать, а в отца ıетвердый сердцем на усладу вышел. Заленился в господском привольном ıбиходе. На даровщинку думал в крепкое положенье стать. После смерти ıатери только одумался. На учителя сельского по программе дома обучаться тал. Но от легкой жизни вокруг дума не на ученье, а на утеху гнет. Обидно. Взяли на свое положенье, а как вырос, только в прислужники и сгодился. Ча кухню не гонят, а все холуй. Да еще даровой. Холую деньги заработанıые дают. Как хочет, так с ними и расправляется. А ему, как малолетнему, ду сладку только, да со стариком разговоры. Если человек простого рода, ам о себе не старательный, как вот они с матерью, меж господ затешется, и к чему его дело выйдет. Злом не изведут, дак добром, как вот этот старик, а-нет сведут. Вредный старик, очень вредный! С каждым простым челове:ом, и с Виктором тоже, как с малолетком недоумчивым. Каждого неученого :онимает так, что ему всего и надо: по головке погладить, да для забавы ıуточку в разговоре сшутить. Все равно, как с ребенком: накормить его ладко при случае, да пальцами перед ним, чтоб агукнул, пощелкать. А перед ругими господами, необходительными, заносится страшное дело как! Я народ наш люблю, уважаю... Многострадальный он, задавили его, а му распрямиться, вздохнуть надо... Я народ никогда не обижал, в молоости три года ссылки отбыл... В адвокатах много бедняков даром защищал. Оттого, хоть всем известный был, хороший защитник, а состоянья этим елом не нажил». Не нажил, потому что дурашлив. От его гулюканья не ɔ, что всему простонародью, а вот и Виктору, у него в доме пригретому, :изнь ласковой не стала. Гомозится с добротой, на жалость бедного челоɛка лаской ловит, а от жалости от этой только убыток. Кому надо, что ɔров из бедного сословья обелял? Припасу-то ведь им не заготовил? Опять зоруют. А он тяни слюну, замазывай, обеляй. Глупый, неправильный ɛловек. Юрий Александрович крепко Виктору нелюб, а он по своему месту астоящий. Лучше бы, кабы все такие были, сразу разглядел бы, с чем ихнему брату подходить.

Задумался Виктор надолго и крепко. Даже Нюшкин зов в окно не ɔазу услышал. Когда другой раз, уж посмелей, позвала, вскочил. Обраɔванным шопотом спросил в окно:

— Нюшка, ты? Ты? Чего поздно?

— Выходи скорей, все расскажу. Скорей, увидит еще кто-нибудь

На улице, когда жарко обнял ее тоненькое тело, озабоченно спросила, зираясь:

— Куда пойдем-то? Дело к полночи.

— Сюда, прямо к нам.

— Ой, што ты? Господа-то...

— Сами мы сегодня господа. В кухне стряпка, да старик в спальной, — весь народ в доме. Маньку со двора отпустили, со своим страдашкой загуляется, к денному свету, не раньше, придет. А жеребец-то наш... тоже кобыл своих объезжать отправился. Входи скорей Ну? Кочевряжиться будешь, дак уходи. Не люблю я таких... мнительных.

На свету, в коридорчике между комнатами, Нюшка зажмурилась, опять назад к двери испуганно подалась. Повеселевший Виктор хитро подмигнул ей, на носочках к дальней, стариковой комнате подошел, послушал, кивнул одобрительно головой. В кухню дверь на задвижку запер. Опять Нюшку обнял, быстро оттолкнул. Нюшка испугалась. Зачем на улицу убежал? Кинулась за ним, а он уж ставни в кабинете и столовой закрыл. В комнатах вместе на болты их заперли. Дверь парадную тоже на замок и на ключ. Шопотом Нюшке объяснял:

— Давно задумал дома, на диванах, с тобой поманежиться. От молодого замок самооткрывающий попортил. Скоро позвал поправить, чорт! Все равно подождет, позвонит. Скажу в забвении в каком-то запер. Проходи, не бойся. Чего жмешься?

— А старик... На грех, возьмет да и проснется.

— Проснется да и опять уснет. Двигаться из спальной с теплого сну не захочет. Сырой, ленивый, разучился себя утруждать. А из спальной окликнет, дак услышим. Да проходи сюда, мы и тут запремся. Стой, огонь потушу.

Он на руках втащил Нюшку в кабинет, стремительно слетал в столовую, принес под мышками три бутылки вина, а в руках на подносе закуску и бокалы. Поставил на стол, запер на ключ изнутри двери кабинета и ласково хлопнул рукой Нюшу по спине.

— Попразднуем хоть разок. На манер своего в этом доме живу. А ни разу по своей воле не праздновал. Ну-ка, милка, раз уважь, поцелуй покрепче. Н-ну! Хлипковатая ты целоваться все-таки. Жаркости, Нюшка, для моего напора в тебе мало. Ну, ничего. Я не обижаюсь. Обличье у тебя благородное и обхожденье нежное. Это мне нравится. От сиволапости я уж отвык, ну, давай выпьем, да закуснем. Сейчас я, правда, как хозяин у себя, в своей квартире. Хорошо!

Нюшка тихонько, воркующе, засмеялась. Мелкие зубочки манерно в смехе показала. Глаза на Виктора не просто, с ужимкой умелой вскинула. Бокал держала, отпивая вино, мизинчик оттопыривала. Совсем барышня! Не подумаешь, что всего прокуроршина горничная. Виктошка засмеялся и Нюшку тормошить озорней стал:

— Ну-к, еще чокнемся! Эх, хорошо сделала, милашечка, что пришла. Я уж было и ждать перестал. Ругал тебя...

— Нельзя было раньше. Господ на ночную прогулку снаряжала. Вина набрали, фруктов, всякой всячины, в монастырь на ночь поехали.

Виктор засмеялся.

— Видно, где святей, там грех вкусней. Чего это в монастырь с вином, а с бабами ездить. Всего до отвалу, прискучило, не знают, как и намурить, чтоб в охотку все им опять сделалось.

Нюшка мечтательные глаза сделала, сказала певуче:

— Там есть окрестность. В городе нет окрестностей, без них некрасиво, воздух не тот. При луне по лесочку приятно там с кавалером хорошим огулять.

Виктор засмеялся, поднял Нюшку и посадил к себе на колени.

— Эх, ты, пичуга городская! Какая же луна, когда дождик сегодня?

— Он теперь уж, может быть, перестал. Потише, Витенька, чулки е изорви, барынины, то-оню-сенькие.

Этими чулками и распалила. Приучился в городе на барский вкус и ля себя такое же требовать. Но оттого, что ему, не как им, не зачастую оставалось для них обиходное, разгорячился сильно. Отрава хамской адости ощущать себя внешне схожим с барином уже прочно вгнездилась желанья Виктора. От обладанья такими же вещами, как у господ, е потому, что они сами по себе приятны, а потому, что они господами для риятности установлены, а им, Виктором, только уворованы, отбиты для ебя, Виктор хмелел до ощущенья счастливости, почти счастья. Только никало оно быстро. Умаяв Нюшку, снова лицом от невеселого раздумья отемнел. Нюшка одежду поправила, тихонечко на диване посидела, сказала нерешительно:

— Итти надо, Витенька. Кабы не застали меня здесь.

Ответил хмуро:

— Сиди. Вот выпивай, закусывай хорошенько. Мало мы с тобой что-то апраздновали. Скучно что-то целый день нынче. Одному и вовсе тошно.

— Да я ничего. Если ты не боишься, так, значит, знаешь, что не попаемся. Я то на сегодняшний день свободная.

— А у меня, Нюша, ни в какой день не бывает ни свободы, ни обо мне опечения. Вот какая доля мне, сестреночка, выпала. А?

— Я ничего. А про вино вот, про это и про закуску господа не хватятся? тебя не спросят?

— Хватятся, так не сразу. Ну, запирать опять станут. Лучше. то соблазну много, а все забираю крадучись, настоящей свободы, о хочу распоряжаться, тоже нет. Человеку и в таком положеньи лохо жить.

— Ничего все-таки. Тебе, ведь, и пищу, что себе, дают, одетый ты, ак мне нравится. Деньги тоже дают? Как получишь, я тебя попрошу штучку ну такую к летнему наряду мне купи.

Виктор пил вино стакан за стаканом и ничего не ел. Захмелел скоро. еверным уже языком начал Нюшке выговаривать:

— А все-таки, коли правду, девка, тебе сказать, ты дрянь!

— Что ты, Витенька! Ой, да ты никак совсем пьяный стал. Как нехошо! Никогда я тебя таким не видала. Я домой пойду. Я грубостей боюсь, меня сердце нервное.

— Не трону я твоего сердца. А ты мое бы хоть раз, хоть на часок какой потешила. Только и есть от тебя радости, что... А как с этим делом справишься, ни к чему ты мне.

— Ну, таким разговором ты очень скоро обидеть меня можешь. Я домой уйду.

— Сиди. Побеседовай со мной хоть раз. Ох, скушно, скушно мне! Ах, как скушно, Нюшенька.

— Это хмель у тебя невеселый. Вот я уйду, а ты спать скорей ляжь. А то до слезы себя расквелишь. Когда мужчины пьяные плачут, они очень невеселые. Мне не нравится.

Виктор рукой ударил по столу так, что бутылки качнулись, подпрыгнул стакан.

— Веселости я сам хочу. Оттого и тоскую, Нюшенька, что веселого человека люблю. А его нет. Везде на веселого человека недохватка. А он каждому, как в окошке свет, нужен. Я маленьким был, когда в деревне еще жил, думал, в городе для всякого дела приспособленья мудреные устроены. Чтобы все полегче. Отец мне, бывало, рассказывал. Над землей, над скотом не надо надрываться. Снег не отгребать, воду не таскать. Зимой не занесет так, что хоть в трубу вылазай. Круглый год окошки светлые в домах, наружу смотреть хорошо. И вот думал: в городу живут все веселые. Веселые и бесстрашные. Мы, мол, в низком положеньи живем, оттого нам все и пасмурно. А им с чего печаловаться? Чем и кем устрашаться?

— Над ними тоже гроза есть. Над нашими господами другие, повыше начальники. Устрашают их тоже. Наш барин перед губернатором сильно старается. Я разговор про это слыхала.

— Дак ведь они ихи. Из ихнего рода, звания берутся. Для ихнего плясу, не для простого же народа, всю музыку налаживают. Нюшка, у тебя ума поменьше, чем у курицы...

— Я не глупая, с детства при господах. Очень развитая. И одеться со вкусом могу. А если тебе, по твоему поведенью, сиволапые больше подходят, зачем со мной амуришься? Я вот еще конфетку съем да домой пойду. Пьяный ты совсем не по мне. Деревенщина, хуже кучера нашего.

— Мы-то, сиволапые, оттого нам трудно повернуться, для себя на сладость жизнь свою поворотить. А у них ноги ловкие, с малолетства на всякие вихлясы приучены, поворачиваются легко? И голова просвещенная. А чего же у них тоже веселости мало? Я думал, они не знай какие дела удумывают, а они все про то же, что и мы. Я здесь только пакостям выучился, а дельному ничему. В щелку подглядывал, как Юрий Александрович здоровых барынь лечит, кой-чему научился.

Нюша засмеялась.

— А ты расскажи. Они друг с дружкой разные штуки выкомыривают, я тоже видала. А по женским болезням к доктору часто здоровые просто позаняться бегают. Я тоже служила у одного.

— Мерзотина ты, девка. Я тебе про душу, а ты... Вот и они тоже. Я от них научиться хочу для души чему, а они... сволочь! Ну, а, главное

:ло, все это без радости, без веселости. Один вот только, к нам когда ıходит, всегда у него глаза играют, всякого обсмеет и сам нахохочется. йдет, и думаешь, а шут тебя дери, с чего нюнить-то?

— Жулик, должно быть, а то из театральных артистов.

— Редко только он к нам заходит. И его наш-то жеребец хуже всех ринимает. Ну ка, давай, допьем. А мне он дороже всех сейчас на свете. от его бы я поглядел, и сердце бы отошло. Подобрел бы.

— Я домой не дойду, у меня и то ноги млеют, никак двигаться не хотят. то давно бы ушла. Надоело слушать, что ты собираешь. Смотри и ты. 'пьешься, как господам открывать будешь.

— Пей. Нынче вино не заперто, а заготовлено для пикника. Я сейас еще принесу.

Тяжелым, слишком размеренным шагом в столовую сходил. Еще зе бутылки выпили. Нюшка охмелела тоже. Виктор еще вяло помял ее, этом вдруг больно ущипнул и ругаться нехорошо стал. Она испугалась, аплакала, шарфик на голову накинула:

— Выпускай, домой иду. Дня три ко мне не подходи, одумайся...

— Не то три дня, а убирайся ты от меня совсем, кошка драная. Мало десь эдакой...

Властный звонок перебил его брань. Нюшка побледнела, испугалась. двери было кинулась, потом к окну. Виктор, высоко вздернув голову, ез всякой сдержанности, закричал:

— Чего мечешься, как мышь в мышеловке! Сядь и сиди. Будет, посгиался я перед ним. Пущай подождет, я еще стаканчик выпью.

— Виктор! Витенька! Выпусти меня, Христа ради, хоть в окошко, а? итенька! Господи, да ведь ты совсем пьяный. Что же это со мной-то будет? то мне будет?

— Ничего не будет. Па-адумаешь, кого боялся! Только что на баб дал, а больше от него какая кому польза?

Звонок трещал уже беспрерывно под сердитой рукой. Потом дверь г ударов ногой задрожала. Виктор бормотал, смеялся и не шел открывать. юша всем телом тряслась, стоя у окна, дрожащей рукой вытирала слезы. аконец Виктор громко, почти в крик, выругался безобразным ругательвом и пошел отпирать двери. У Нюши сердце до боли часто и сильно забиось в груди. Когда в передней раздался злой громкий голос, вдруг сообрала. Вытащила гвоздь из болта, быстро и с силой болт толкнула, распахла окно стремительно и легко скользнула в него. Успела только одумать:

«Хорошо, что в бельэтаже».

И радостно вздохнула уже на улице. Побежала из всех сил и скрылась углом. Улица была уже светла и вся видна. Желтый комнатный свет хлестнула денная светлота.

Юрий Александрович топал ногами.

— Мерзавец! Напился! Вином разит, на ногах еле стоишь. Убирайся кухню или куда-нибудь... С глаз долой!

Виктор, глядя прямо, дерзко, помутневшими и покрасневшими глазами, вызывающе усмехался.

— А, по моему, от меня хорошо пахнет. Фиялками. Вашим же хорошим вином.

— Ты еще издеваешься? Ну я тебя, голубчик, проучу. Сейчас прикажу в участок свести, если не уберешься сам из дому... по добру по здорову.

Из комнаты Александра Платоновича послышался испуганный зов:

— Сейчас я, папа. Уходи, подлец! Это что такое? В кабинете целая оргия была?

Взял с кресла забытый Нюшей шелковый ридикюльчик и двумя пальцами брезгливо швырнул его в угол.

— Проститутку приводил? Вино выкрал, набезобразничал. Панельных сюда, заразу в дом... Пшел в кухню! Блу-у-удливая сволочь! Пригрели тебя, ты развратничаешь...

Виктор из двери смотрел на него с любопытством. Весело, почти беззлобно, засмеялся. Ему от собственной безбоязненности стало легко, по настоящему весело. Сказал сквозь смех:

— Сам-то, небось, тоже не из церкви от причастья пришел...

Юрий Александрович заорал в окно:

— Эй, дворник! Есть там кто близко? Городовой! Послушайте, городовой!

Виктор городового хотел смазать по лицу, только не смог изловчиться, отбивался, плюнул в сторону Юрия Александровича, но все время радостно хохотал. Будто в первый раз веселился до упоения. С трудом, при помощи дворника, городовой утащил его в участок.

Отец с сыном шумели до полного солнца. Последние решительные слова принадлежали Юрию Александровичу:

— Чтобы духу его больше в нашем доме не было! В ногах валяться будет, не допущу, чтобы здесь жил. Наконец, я должен сказать вам, папа, вот что: обязательства ваши перед ним кончились. Эта роскошь нам не по средствам. Зарабатываю я хорошо, но мне пора о своем гнезде думать. Весьма вероятно, что я скоро женюсь. Ложитесь, примите вот это... пейте. Постарайтесь заснуть.

IV.

Старший доктор подошел к раскрытому окну. В высь, к жаркому июньскому солнцу, густо поднимались горечь и смрад загаженной земли. Уже неподвластные живительной солнечной яркости лежали убитые поля по краям широкой торной дороги. В пропыленных задавленных травах и меж схилевших кустов торчали уныло серые кресты накатанных торопливо безвременных безыменных могил. А ближе к дороге — обрывки бинтов с запекшейся ржавой кровью, заскорузлые гнойные тряпки, разбитые консервные жестянки, грязные лоскуты бумаги и поломанные части разбитых телег. Доктор громко вздохнул:

— О-о-ох!

И вдруг встрепенулся. Увидел на дороге два автомобиля.

— Господа офицеры! Приготовьтесь к посещению. Опять, кажется, тыловые гости.

Сухощавый седой офицер с забинтованными ногами сердито заворочался на койке.

— Опять митинг, а пользы ни на грош. Доктор, если это порядочные люди, попросите их хорошенько! Потребуйте, наконец! Ведь нельзя же так. Да, памятен нам останется, если выживем, годок тысяча девятьсот семнадцатый!

Другой, большеглазый, с трудом повернул забинтованную голову, сказал прерывисто и слабо:

— Пусть нас скорей увезут... Зачем нам здесь лежать?

Доктор сердито махнул рукой и сбежал вниз в солдатское отделение. Навстречу ему метнулся солдат — Виктор Кандырин.

— Там ораторы приехали, госп... гражданин доктор. Два автомобиля.

Доктор усмехнулся под седеющими усами:

— Знаю, товарищ санитар.

Во дворе уже суетились две молоденьких сестры милосердия, белобрысый военный врач, санитары и солдаты. Шесть человек в штатской одежде и один в форме военного врача и пехотный полковник вышли из автомобиля. Начался обмен приветствий.

Кандырин оглядел приезжих. Лицо его вдруг побелело, потом жарко зардело румянцем. Прямо на него двигался приехавший военный врач. Четыре года совсем не изменили Юрия Александровича. От волнения у Виктора сразу запеклись губы. Юрий Александрович, подойдя совсем близко, случайно взглянул прямо в лицо санитара. Остановился. Сказал с необычной для него растерянностью:

— Виктор! Вот где пришлось... Ну, здравствуй, брат!

И, быстро оправившись, обнял Кандырина за плечи, смачно облобызал его троекратно. Душистые усы мягко пощекотали Викторовы щеки.

Виктор, снова побелевший, как плат, дернулся назад, неловко переступил с ноги на ногу, отозвался с заминкой:

— Здравствуйте... Юрий Александрыч.

Лугинин повернулся легко и уверенно к идущим сзади. Весело сказал, придерживая Виктора за плечо:

— Земляка нашел! Вот сразу удача. Не только земляка, а, можно сказать, родственника. Это воспитанник моего отца. Ну, мы с тобой еще побеседуем, не правда ли? Я расскажу тебе о знакомых. Рад, очень рад, что случай привел увидеться. Расстались во мраке старой России, встретились при свете новой, при свете свободы... Иду, иду, товарищи! Так мы с тобой еще поговорим! Я не прощаюсь. Мы обязательно должны найти время побеседовать.

Они вошли в дом. Виктор остался стоять. На миг оцепенел. Невидящими глазами смотрел на дом, куда они вошли. Будто упорно разглядывал

надоевший двухэтажный большой неуклюжий деревенский дом. С улицы окликнул его веснущатый темноглазый солдат:

— Кандырин! Виктош! Ты чего, чисто статуй, замер! Ораторы приехали? С подарками, сказывают? Иди-ка сюда.

Виктор встряхнул головой и пошел на зов.

— Виктошк, ты чего в лице ровно сменился? Занедужел, што ль?

Виктор сказал ему только:

— Все старых знакомых встречаю. С кипчановским, вот с тобой-то тут столкнулся. А теперь один приезжий, сын того барина, у которого я в городу-то...

— Это тот самый хват, который тебя выгнал опосля стариковой смерти? Во-от!

— Старик после помер. Стой-ка, сядем вон на этом дворе, что я тебе расскажу.

Но рассказывать не смог. Воспоминанья голову и грудь стеснили. Спросил медленно, думая о другом:

— Ты с чем-то шел ко мне, Семка?

Семен засмеялся, быстро начал ему о чем-то пространно рассказывать. Виктор смотрел ему в лицо, но слов не понимал. Сегодня день такой, старой горечью буравит сердце. Утром привезли от Лизы письмо. Оно было смазано расплывшимися слезами. Писано три месяца назад, чуть добрело до него в запачканном потершемся конверте.

«Светик мой, любименький Витенька, пишу тебе, чуть рукой от тоски двигаю. К подругам женихи возвращаются, у всех почти радость, а я сохну, вся извелась, по целой ночке плачу. Милый мой, да жив ли, не сгинул ли совсем на век? Какая несчастная между нас любовь, что на короткий срок, всего месяц с двумя днями, ей порадовались! Всякие думы уж я передумала. Ты все хвалил меня, целовал сладко, что я веселая. А теперь я мало смеюсь, стала такая худенькая, что даже, говорят, понекрасивела. Думаю, как же к другим-то ворочаются? А ты за два года всего на две недельки показался, а вот уж какое время, не шуточное, шесть месяцев, письма не шлешь. У нас все с красными флагами ходят, речи высказывают про свободу. Я бы с тобой походила, тогда бы покрасовалась. И ох, как я, Витенька, досадую, что побывка твоя в посту случилась. Обвенчались бы мы, все бы ждала я мужа родного, а не жениха обещанного. Конечно, как перед богом-то мы все одно муж с женой, ты сам так говорил, а все-таки для всех и для порядка чужие. И опасалась я как бы дитя не понести, а то бы не опасалась, может быть, с дитеночком бы тебя ждала, веселей бы мне дожидаться было. А то, как со службы приду, упаду на кровать, всю подушку залью, не хвали меня теперь, я невеселая. Еще новость плохая, через семь дней мы отсюда уедем. Папаша мой в Шадринске казенное место кладовщика получил. Ехать мне, как ножиком по сердцу, так неохота. Как ты меня в этой дали найдешь? Но ты сам знаешь, семья наша только отец да я остались, — как бросить? Дядя к себе зовет, но и к нему ехать тоже далеко, да и, сказать по правде, шибко не люблю я этого дядю. Разыщи ты меня, Витенька, со-

колик мой ясный, разыщи. Буду бога молить, на коленях перед иконой елозить, коленки все протру, чтобы приехал и зажили бы вместе мы. Как приедем, сейчас же адрес настоящий тебе пропишу...»

Найти-то найдет. Все равно, хоть за тысячу верст, хоть без путей и без денег, пешком, ползком, а искать будет. Как ее, веселоглазую Лизу, узнал, только в первый раз вздохнул радостной широкой грудью. Из дома Лугининского уходил, как пес бесхозяйный, никому не надобный. На работу устроил вот этот самый благодетель, наехавший сегодня. Кормился, сам себе хозяин стал. Не очень отрадно было поворачиваться, молодость свою санитаром тратить в больнице по женской хвори. Но все-таки с тошнотой справлялся и доволен был, что сам себе кусок добывает. А все же одному меж всех чужих не радостно. Ой, как горько было, что старик Лугинин даже перед смертью проститься не позвал, не вспомнил. Правда, Степанида-кухарка после передавала, что нежданно от удара кончился, а Виктошку, будто, по-часту со слезой вспоминал, да что же после-то? А Лизаньку встретил на улице по весне веселую. С этого настоящая жизнь началась. Оглянулись оба, он три раза, она два, улыбнулись оба враз, и с того дня стало сердце у Виктора счастьем, а не досадой жить. Баб на свете много, и лапал их Виктор не мало. Но такая, ни на кого не сменная, у него только Лиза. Может быть, покрасивей найдутся, да не она. Для нее себя берег, в строгости молодое тело держал. После побывки в городе, как ни бунтовала временами плоть, с другой не поганился. От трудности воздержания она еще дороже ему. Когда он ее теперь найдет? У других есть семьи, кутятами по чужим дворам не жили. А он...

— Виктошк! Ты прямо чудной нонче сделался. Только что слюна не текет, а глаза все мутные и без разума. Не слышишь ничего.

— Задумался я, Семен. Об своем задумался.

— То-то, об своем. Кажному слышней, как своя кожа саднит. А я тебе про всех. Какого дьявола, мать... наехали эти? Подарки подарками, а сами, знаешь, уговаривать зачнут...

— А ты уговоров не слушай. Сам говоришь, на своей коже слышней. Меня никакими разговорами не возьмут, будет! Печенки все иссохнут, тогда они только захотят отпустить. «Свобода; дорогая свобода!» Им она свобода, а нам что? Чисто перед дураками красным помахают, песни с нами попоют, да уедут на свободу радоваться. А мы здесь. Не согласен я.

— Тебе-то легче, ты не в рядах. И ходишь, вон, без винтовки, не надо убивать, самому на смерть лезть. И, когда нет сраженья, разгуливаешь, куда захотел. А нас без разрешенья...

— То-то вы больно теперь разрешенья спрашиваете. Ну, вот про-то и говорю. И дальше нечего спрашиваться. Не будем воевать, и вся! На других местах побратались с неприятелем на-крепко, никак не идут воевать, десятками уходят домой. А у нас хлипкие тут подобрались. Гомозят, а потом «чего изволите». А про мою работу... Она тоже мутна для души. Не зверь я, устал глядеть, как мясо рвут.

— Гляди, выходят. В окопы, значит. С подарками. Этот, твой-то, гладкий чорт, с сестрицами ухмыляется. Все равно, что старого режиму, что эти... блудить все охочи! И диво бы испостились, как мы, а то от баб приехали и тут норовят... Пойдем скорей. Не могу я глядеть, как бабы с мужиками смеются. Прямо...

Со двора госпиталя Виктора позвал старший доктор. Он повернулся нехотя. Подошел только, когда приезжие вышли со двора. На ходу Юрий Александрович улыбнулся Виктору, крикнул:

— После митинга побеседуем.

И рукой приветственно помахал.

Отчетливо приятным своим голосом Юрий Александрович сообщал идущим с ним:

— Подарками товарищи солдаты, надеюсь, останутся довольны. От рабочих Петрограда они получат действительно нужные и хорошие вещи. Это при старом режиме присылали, как ребятишкам, двадцатикопеечные гармошки. Рабочие Петрограда прислали братьям-солдатам дорогие гармонии, балалайки, бритвы, машинки для стрижки волос, хорошие перочинные ножи, белье в комплектах...

Виктор подумал:

— «Рабочие Петрограда». Су-укин сын! И тут наловчился, каким словом для нас побожиться следует. Ну и хлюст!

Доктор спросил Виктора:

— Этот врач ваш хороший знакомый?

Виктор злобно и громко отозвался:

— Очень хороший знакомый. На том познакомились, что нагадил мне хорошо. Чуть отчистился. Все вы теперь нам хорошие знакомые сделались. Еще...

Доктор негромко и спокойно оборвал:

— Не грубите мне, Кандырин. Я этого не заслужил.

— Ну, другие, вашего же сословия, старались. Только будет, в обиду больше не дадимся... Зачем вы меня звали?

— Там Лепехин звал вас. А у меня, было, мысль одна была... Но вы, кажется, не захотите мне помочь.

Виктор, глядя сердитыми глазами в упор на доктора, сказал:

— Я от дела еще не отказывался, и вы меня еще для своего удовольствия работать не заставляли.

— Разумеется, не для меня. Ночью пойдемте со мной... Секретно надо. После митинга условимся.

Увидев оживившийся Викторов взгляд, суховато разуверил:

— Это не касается политики. О человеческом физическом здоровьи хлопочу. Я — врач телесный.

Виктор мотнул головой и вошел в нижний этаж дома.

Внизу пятнадцать коек поставлены были почти вплотную. В комнате стоял нестерпимо зловонный запах гниющего мяса и человечьего кала. Плечистый, лобастый Лепехин лежал на крайней койке вниз животом. Когда

он стрелял, лежа в поле, вражеская пуля попала ему между лопаток, прошла вдоль спины, разворотила, не повредив хребта все покровы в кровавую кашу. Он мучился стойко. Не умер. Даже поправлялся, но малейшее движение причиняло ему сильную боль. Оттого он говорил с искривленным лицом:

— Браток, милый, унесите вы его на волю. Пущай на дворе лежит. Дождик будет, внесете. Дыхать нечем. А теперь еще опять обклался.

Виктор знал, что он говорит о солдате, протушившем зловоньем поруганного увечьем тела всю комнату. Покачал головой:

— Что же делать с ним? Не прирежешь, небось, хоть здоровых резал, убивал. Куда денешь? Он сам сюда со двора запросился. Тоскует, скоро помрет, потерпите. Приберу его сейчас.

Он стал пробираться к окну, где лежал зловонный больной. В комнату вдруг ворвались торжественные звуки марсельезы. Военный оркестр приветствовал прибывших гостей. Заглушая музыку, седой солдат хрипло кричал высокой женщине с красным крестом на груди:

— Сестрица... меня! Не могу больше! Смерть моя... по... меня!

Сестра, ласково оправляя сбившееся одеяло, уговаривала:

— Сам помочишься, потерпи, ничего сейчас сделать нельзя.

И с тоской посмотрела в окно. Ей шел двадцать третий год. Приехавшие из города привезли сестрам духи и конфекты, осколочки нарядной чистой жизни. Хотелось итти сейчас с этими свежими людьми к лесу, смеяться, отдышаться от кала, мочи, от разговоров о них. Но она была честна и деловита. Помочь не могла, все же стояла около кровати человека с поврежденным мочевым пузырем, страстно твердившего просьбу о моче, как молитву.

Вошел доктор и сказал ей:

— Идите на воздух, отдышитесь. Сейчас унесем Долженкова во двор.

Крепко стиснув зубы, Виктор подошел к Долженкову, лежавшему у самого окна. Синеглазый, русоволосый красавец славянин, с кудрявой золотистой бородой, взглянул на него и заплакал. С тяжелым мужским всхлипыванием, через голову склонившегося над койкой Виктора, он крикнул:

— Господин доктор, убейте меня! Господин доктор, богом заклинаю, пожалейте, дайте помереть! Дайте выпить ядовитости какой! Доктор, уморите меня! Не грех, сам у бога за вас вымолю. Гребуют мной все. До поясу сгнил, а не помираю. А на дворе один боюсь лежать! И в избе другой в пустой боюсь. Погляжу, селенье-то пусто... Ох, могила! Убейте меня, чтоб сразу кончиться.

Долженкова засыпало по пояс обвалом взорванной земли. Мясо на костях до пояса отгнивало. Удушливый запах шел от него. Койка его стояла во дворе. Но вид разбитого селенья, изб с пробитыми, сорванными и обгорелыми кровлями, торчками уцелевших прочернелых труб — вселял в него смертельную тоску. Он кричал и просился к людям. Виктор возился около него спокойно. Привык за два года на фронте. Но когда выносили кровать с Долженковым и, будто навстречу ему, снова грянула торжественная марсельеза, он обозлился до боли в сердце. Сказал санитарам и доктору:

— Балалайки, гармони навезли, сволочи, а больных хоть отсюда вывозить во-время не наладят дела. Об их башку следует их гармони...

Доктор предостерегающе прикрикнул:

— Товарищ Кандырин, не распускай язык!

Санитары засмеялись. Долженков зарыдал тяжелым мужским ломким рыданьем.

— Теперь пойдемте, Кандырин, в офицерское отделение, — позвал доктор.

— Не пойду. Ну их к чертям, пускай дохнут.

Доктор оглянулся по сторонам.

— Скверно, Кандырин, очень скверно. Там такие же тяжело больные лежат.

— Ну и пускай дохнут. Пожили хорошо, пусть хоть дохнут, как мы.

— А сколько их полегло?

— Полегли, да в чести, не в безвестности. Не пойду. Ничего не буду ольше сегодня работать. Ухожу.

Верстах в двух от госпиталя, на опушке рослого, ровного, густого леса происходил митинг. Под выступившим на поляну старым дубом был поставлен стол вместо трибуны. Над ним приехавшие гости водрузили красное знамя с надписью: «Только Демократическая Республика даст народу землю и волю и рабочим восьмичасовой рабочий день».

Сзади стола, на разостланном ковре, прямо на земле, сидели приехавшие с подарками, офицеры и старик, ротный командир. Кругом, лежа, стоя, сидя, примостившись на деревьях, сбилось несколько сот солдат. На столе старался. рыжеватый невысокий человек в штатском. Виктор, подходя, услышал только отдельные фразы:

— Самодержавие свергнуто... Народ в Учредительном Собрании решит сам... Не будь дисциплины, не было бы и победы!..

Неохотное, немногоголосое «ура» покрыло речь этого оратора. Потом на стол влезали солдаты и офицеры. Виктор сердито кусал усы.

— Ишь, прохвосты, все натасканные! Говорят по господскому желанью. Чорт с ними! Подожду, никого не будет, начешу сам. Двум смертям не бывать.

Но сразу же вспомнил Лизино письмо, ощутил его даже в кармане, вспомнил о том, что июнь начался жестоким подтягиваньем к ответу всех противников войны и... съежился.

На стол поднялся человек в студенческой форме. Молодым задорным голосом он громко выкрикнул:

— Товарищи! Революция приказывает итти в наступление!

Из толпы солдат густой бас рявкнул гневно:

— А ты пойдешь?

И сразу рассерженным, еще разрозненным ворчаньем отдельные голоса:

— Ага! Да! Сам не хочешь?

— Какое может быть наступление? Нам желательно мир!

— Мир без аннексий и контрибуций!

— Будет! Похлебали нашей кровушки!

— Партия большевиков желает мир.

— Мы поддерживаем! Пускай капиталисты воюют...

Крики взлетали из глубины. Передние испуганно озирались. Некоторые из солдат смеялись. Рослый, гвардейского вида солдат, стоявший у стола, поправил Георгия на груди и крикнул властно:

— Смутьянов не слушайте! Развал армии хочут! Не допустим!

Ободренный им студент начал снова:

— Революция в опасности! За свободу...

Снова раскатистый бас откуда-то сзади речь студента пресек:

— Буржуй! Кого слухаем?

— На морду его погляди! По морде видать, для кого старается!

— Переодетый офицер! Им ладно, хозяевали! На старое обертывают!

Ворчанье развертывалось в рев. Выкрикивали уже сразу несколько голосов. Щуплый, малорослый парень, в защитной форме, военный писарек, по знакомству с шофером, приехавший вместе с гостями, просунулся вперед. Его случайным напором вытолкнули поднявшиеся в смятении из-за стола. Он всю войну работал в тылу. На фронт попал первый раз и сейчас очень испугался. Посинел и съежился.

Плечистый, хмурого вида, темнолицый солдат издали разглядел его. Пробрался к нему по рядам. Сзади неожиданно подхватил его под мышки и высоко приподнял на руках. Рявкнул решительно и строго:

— Вот поглядите, до чего человека войной довели! Образу человечьего не осталось. Ни мяса, ни весу. Со всем потрохом полфунта.

— Да! Вот! Поглядите-ка!

— И всех до этого доведут! Начисто измучался народ!

Щуплый малый сперва покраснел, потом посинел, хотел что-то сказать:

— Това...

От перепуга захлебнулся словом и только сердито задрыгал ногами, вырываясь из дюжих рук. Плечистый солдат неторопливо и осторожно опустил его на землю. Писарек обиженно поддернул штаны и юркнул в толпу.

— Документ у этого студента проверить!

— Узнаем, какой он студент! Офицер!

Студент, смешно быстро вертя курчавой головой, оглянулся во все стороны и неловко слез со стола. Проводили его дружным смехом. Дрожащими руками он вынимал из кармана удостоверение, свои документы.

По рядам задвигались в глубину с десяток солдат. Они озирались по сторонам настороженно, останавливались то в одном, то в другом месте. Семка шепнул Виктору:

— Придержись! Керенского сволота заелозила.

Виктор досадливо отодвинул его плечом. Всем телом подался вперед. На столе стоял Юрий Александрович.

Широко, уверенно он начал:

— Товарищи, посмотрите на мою форму. Она свидетельствует о том, что и я с вами вместе делю боевую страду. Это дает мне право назвать вас, дорогие граждане-солдаты, дает право назвать вас «товарищи». Долой войну! И в моем сердце и в сердцах всех, кто с нами, живет, стоит этот крик. Но, товарищи, долг перед родиной, перед прекрасной, могучей нашей матерью-отчизной, сбросившей многовековый гнет самодержавья, произвола, всяческого насилья, этот долг обязывает священный крик держать крепко запертым в сердце. Это трудно, это почти непереносно, но мы его сдерживаем! Мы дадим ему волю. Вместе с вами мы восторженно закричим «долой войну», но мы не можем допустить, чтобы иноземный враг пришел самодержавно попирать наши поля. Мы не можем допустить, чтоб он пришел и забрал землю у земледельца, только что услышавшего радостную весть: «Земля— твоя. Ты кропишь ее своим потом, поднимаешь твоей натугой, она — твоя». И после этой вести, как возможно допустить иноземца отнимать эту землю, забирать нашу жатву? А враг жесток и жаден. Побежденные для него рабы. Он разорит ваши дома, осквернит вашу семью. Заберут ваших жен... Позор! Величайший позор!

Молодой, дерзкий голос взвился из солдатских рядов:

— Не позор, а просим.

Но его поддержал уж тихонький разрозненный неуверенный шумок. Юрий Александрович со спокойной властностью его пресек и перешиб, чуть возвысив голос:

— Нет, позор! Каждый из вас, кто не захочет, чтоб рабами притащила вас Германия на свои поля, поймет и не заклеймит себя несмываемым пятном черной измены... Россия сейчас подъята над всем миром, указывает народам дорогу, как путеводная звезда...

Знакомый, уверенный, как хозяйский кнут, голос терзал Виктора. В нем поднялась такая огромная ненависть, что на миг горло склещило от взволнованного дыханья. Как тогда, четыре года назад, стоял он перед этим барином, вот таким же изничтоженным, жалким. Только тогда один, а теперь несколько сот человек молчат, ему повинуются. Их тоже забрал под себя спокойной уверенностью, что именно так, а не иначе все должны его слушать. И сам он, Виктор, ни разу в жизни не усумнился, не подумал, что когда-нибудь Юрий Александрович Лугинин может быть не прав. Образованные хорошо знают свою линию и умеют других гнуть по ней, а вот они, нижнее сословие, все как бараны под пастухом. И слов для своей правды нехватка. Э-эх! Одолев дыханье и хрипоту, Виктор крикнул громко и страстно:

— Долой! Долой этого буржуя!

Но уже поздно. Крик его потонул в многоголосом «ура». Последнее, что Виктор видел: командир полка троекратно целовал Юрия Александровича. Семка утащил Виктора под деревья.

— Не гомозись! Так поверили, что свобода свободой, а вздрючат за мое-мое. Я увидал, наши фараоны, полиция-то бывшая, на тебя поглядывала. А я из их двоих знаю. Нам говорят: отмоем позор прежнего перед

ами, товарищи, с вами жить и помереть. И офицерам тоже: отмоем озор, сражаться на смерть, позор. Отмывают, отмывают, да нам же хари намоют.

— Сволочь, нашим мясом, нашими костями легкую жизнь себе обывает. Привести бы к Долженкову, пхнуть гладкой рожей в гноище го вонючее...

— Пхнешь как раз. Он сам нами пхается, до Долженковского концу опхается. Слыхали, солдаты орали: наступать желаем.

— Семка, трясет меня. Офицеров этих одних в наступление ыгнать. Пущай идут за свободу, а нам какая свобода, коли опять десь гнить?

— Они сами пойдут, наши офицеры-то. Ихо дело здесь каюк. Мы их ритоптали. Все одно, им пропадать. Тыловики орудуют. Энтих надо доставать. Да не здесь, дурак! Чего ты один сделаешь?

До-поздна Семка с ним в лесу пролежал. Разговаривал. Унимал его русть и тоску. И Виктор отошел. Обнял Семена рукой за плечи.

— Первый друг ты, до гроба товарищ. На войне только так сдружить ожно. Сердце напалится, а уж если его отмягчит кто, так это друг незабыаемый до смерти. Спасибо, Сема, спасибо, дружок, брат мой названный.

Семка просмеялся конфузливым коротким смешком. Потом сказал друг:

— Давай крестами поменяемся.

И со строгим лицом поднялся с земли. Оба молча сняли кресты, взявись за руки, крепко поцеловались. Виктор надел Семену на шею свой рест. Тот начал надевать Виктору и оборвал гайтан.

— Не ладно, Виктошка. Не на подмогу тебе мой крест.

— Ничего, сам тогда подмоги. Дай-ка узелок завяжу.

Они пошли из леса в разные стороны. Семен в окопы, Виктор по дооге к госпиталю. В госпиталь прищел уж совсем усмиренный и ласковый. лагостная прохладная темнота припокоила прокаленную июньским зноем пакостью избиений землю. Разоренное селение и обеспложенное поле приакрылись завесой ночи. В отдалении широким раскатом разливалась дуевная протяжная песня. А совсем близко, под лихой зазыв гармошки, ышалось подтопыванье и вскрик плясунов.

— Чисто у себя в деревне. И не подумаешь, что за лесом, всего за есть верст вражьи норы.

Виктор вздохнул. Присел у разбитой избы и задумался.

Из темноты выдвинулся невысокий подвижной человечек. Виктор встреенулся. Сказал:

— Я слушаю. Вот-вот запалят. Что-то долго молчат.

— Не запалят, все ждут, когда русские солдаты разбегутся. Мне зворили, что этого ждут. Тебя, Кандырин, доктор искал.

Приподняв ручной фонарь в уровень с лицом, подмигнул Виктору. онял его подмигиванье только тогда, когда доктор объяснил, куда итти

— Понимаешь, Кандырин? Каждый день больше десятка свежих венериков приходят. Надо найти, кто это здесь по-близости их награждает. Так будет продолжаться, не одну роту эти бабы испортят.

Виктор покачал головой, усмехнулся с горечью и спросил:

— А как же искать?

Доктор кивнул головой на юркого низкорослого солдата:

— Вот он вынюхал. Знает, куда вести.

Пошли с ними еще три солдата. С винтовками. Санитары и доктор взяли револьверы. Надвинули на лоб солдатские бескозырки. Доктор оделся во все солдатское. До лесу шли, тихонько переговаривались. В лесу смолкли совсем. Крались по кустарникам. Привел их юркий солдат к заброшенной маленькой сторожке. На небе уж скуповато, часто кутаясь в облака, светила луна. У избушки топтались человек двенадцать солдат. Трое сидели на корточках, курили, жадно затягиваясь. Другие тихо и сердито переговаривались. Увидев их приближение, стоявший у двери солдат в рубахе без пояса, сказал негромко, но сердито:

— Обожди сзаду! И так черед долгий.

Доктор подошел сразу к двери. В окошечко у двери при свете пятилинейной лампочки видна была укутанная черным платком голова, из-под платка свисали седые пряди. Доктор тихонько спросил юркого своего проводника:

— Неужели эта старая ведьма?

— Это мать, деньги собирает. А занимается дочь.

Доктор решительно взялся за скобу двери. Сзади насел на плечи солдат.

— Ты куда без череду? Больно ласковый. Я-те!

И осекся. Узнал доктора. Загалдели-было и другие. Но Кандырин цыкнул и подошел рассказать, в чем дело. Доктор рванул дверь.

Старуха, сидевшая на обрубке дерева под окошечком, вытянула шею, вгляделась слезящимися глазами в красных веках и протянула руку с нерусским бормотаньем. Двое ворочались на полу на сене. Мужчину доктор толкнул ногой. Он вскочил с громким ругательством и потянулся опять к полу. Виктор с силой отбросил его за плечи. Женщина осталась лежать в бесстыдной позе. Лицо ее с полузакрытыми глазами было покрыто мелкими каплями пота и до синевы бледно. У доктора задрожала челюсть. Он сказал невнятно:

— Помогите ей подняться.

Когда молодую уводили, старуха махала руками, трясла головой и, ощерив рот, что-то выкрикивала с хриплым визгом, похожим на лай одряхлевшей собаки.

Доктор спросил безнадежно:

— Как же это так, братцы? Ведь она так очевидно больная.

За всех ответил низкорослый юркий солдат проводник:

— Эх, господин доктор. Когда голоден, какой угодно завалящий кусок хлеба сглотнешь. И блевотину с ним сглотнешь, ничего.

И угрюмый голос сзади подтвердил:

— Офицеры, знать, почистей находят, с сестрицами которыми поживутся, а нам — падаль, ладно. Дома и мы хоть чернокостыми, да людьми были. А здесь зверей зверя.

Виктор, все время молчавший, вдруг выкрикнул:

— Пока весь народ не погноят, по домам не отпустят. А заразных-то сколько на деревню назад пришлют!

Голос сзади снова сказал:

— Естества она такая... Много годов не стерпишь. И рад бы без греху, да...

Женщина от изнеможенья чуть шла. Не плакала. Ей было все равно, что будет. Только бы добраться до конца пути и лечь.

Когда выбирались из чащи к торной тропинке, фонари осветили примятую заросль. В кустах в сером измятом и порванном тряпье лежал труп девочки с остеклевшимися глазами. Молча прошли мимо.

У Виктóра снова от гнева в виски застучала кровь. За войну привык ко многому, но такую женщину и такой страстотерпческий грех видел впервые. Его мутило. А тошнота отзывалась в сердце. Когда подходили к линии вторых окопов, их догнал молодой доктор.

— Это вы? Откуда? Это что за женщина? А кстати, товарищ Кандырин, тебя искал Юрий Александрович Лугинин. Он...

Виктор резко перебил:

— Не тебя, а вас. Добровольно разрешал по привычке тыкать, а теперь... хватит. Где он, Лугинин-то?

— Какая муха укусила? Я думаю, давно известно, что я по-товарищески «ты» говорю. Не понимаю, что с Кандыриным сделалось?

Местоимений явно избегал.

— Юрий Александрович на реке с офицерами и ротным командиром. Остальные гости там же. Солдаты с ними долго беседовали и по одиночке, и группами. Они остались ночевать. Очень хорошее впечатление на всех товарищей-солдат гости эти произвели. Знаете, к нам еще гости, свои по соседству приехали.

Не сказав никому ни слова, Кандырин повернул назад. К реке он прошел не сразу. Ходом сообщения пробрался в окопы. Направлялся, было, к Семену, но раздумал. Из окопов вышел с тремя солдатами. Сдерживая густой бас, один из них рассказывал:

— Наши офицеры им показывают на реке, как ручные бомбы взрывают. Сестры милосердия там. Ты к ему подойди, позови побеседовать, а сам пяться, пяться, заведи, проучим. Нет, так бы позвать, чтоб не знали, что ты. Давай подкараулим...

— Нет, по-другому не выйдет. Я зазову.

— Убивать не станем, только штаны спустим, да... отшибем, долго языком не будет болтать, народ одурять.

— Ладно.

От реки гуляющие уже возвращались. Шли на ночлег, к позиции Лугинин громко смеялся. Он поддерживал под руку молоденькую, красивую сестру милосердия. Трое солдат затаились за деревьями. Лугинин усмешливым голосом, чуть фатовато, рассказывал:

— Ну, приютил я этих трех беженок у себя на квартире. Что ж — я человек одинокий, места в квартире много. Приютил и попал в переделку! Все три, как нарочно, прехорошенькие, и каждая в своем роде. И все с темпераментом, оч-чень ревнивые...

Виктор пошел навстречу Лугинину. Ласково, отводя в сторону глаза, как раньше с ним говорил, сказал:

— Вы искали меня, Юрий Александрович. Я со старшим доктором по делу отлучался.

— А, Виктор. Простите меня, Наталья Алексеевна, на минутку. Побеседовать мне с тобой хотелось. Да вот уж час поздний...

— Ничего, Юрий Александрович. Когда еще бог приведет свидеться. Недолго вот погуляем здесь. Расспросить вас хочу.

— И мне с тобой поговорить надо. Говорят, большевичишь ты? А?

— Я все вам расскажу, пойдемте к сторонке немножко. По душе хочу поговорить.

Холеная рука держала Виктора под локоть. Но Виктор знал, что Лугинин слышит тяжелый запах потеющих его ног, несвежей одежды, и, держась рукой, все же выступает поодаль. Виктор весь трепетал от ненависти и ожившей давнишней обиды.

— Ну, куда мы пойдем? Вот постоим, поговорим.

— Нет, чтоб не глядели. Неловко, стесняюсь я. Да вы что, меня боитесь, что ли?

— Ну, мне бояться нечего. Я сейчас, господа... Сейчас вернусь.

Но едва он подошел близко к развесистым ветлам, его схватили сильные руки. Басистый солдат закрыл ему рот солдатской бескозыркой. Не успел крикнуть. Его утащили в темноту.

Лугинин не вернулся. Искали его долго, но только к полудню следующего дня нашли тело в лесном овражке.

Сразу загалдели, что с Кандыриным уходил. Но Виктор, как ушел с Юрием Александровичем за деревья, так и пропал. Больше его ни в госпитале, ни в окрестных местах не видели.

V.

Над городом деревянным, разбросанным неряшливым и серым, властвовал белостенный каменный монастырь. Жирное его благолепье издавна прославляло окрест добродетель благочестивых горожан. Длинная цепь поколений ревностно поддерживала эту славу. Мукомолы и владельцы салотопенных заводов отливали могутные колокола. Кожевники и прасола привозили из столиц тяжелые блистающие ризы для духовенства. Винокуры и маслоделы обновляли и добавляли грузное золото иконостасов,

блеск куполов, снабжали две монастырских церкви вином и елеем. Беднота городских окраин, мастеровщина, рабочие винокуренного, кожевенного, кирпичного заводов, бойни ставили в несчастьи толстые свечи, в благодарности — желтенькие, хлипкие; возжигали жаркий богов свет.

К монастырской ограде вплотную природнился двухэтажный, в двадцать восемь комнат, архиерейский дом. Тихие просторные покои епископов молитвенно и безмятежно высились среди сада, во всем городе единственно пышно взращенного умелыми иноземцами-садоводами.

Под сенью монастыря, раздобревшего в величавой сытости и благочестиво мертвого епископского дома, грузный сырьем и снедью город в скрещеньи трех больших железнодорожных путей жил неторопливо, глухо, в очевидном благочестии. Торговали без суетливости целыми гуртами скота и поездами сырья. В единственном кафе-шантане за городом и в домах под красными фонарями на дальних улицах состоятельные горожане ценили дебелых, спокойно уважительных девиц. Зеркала и посуду разбивали только при заключеньи очень крупных сделок. Купцы выезжали буйствовать на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки. Народный дом и коммерческий клуб в будние дни пустовали. Оживали в Святки и двунадесятые праздники. Три больших кинематографа крутили картины спозаранку и не до-поздна.

Летом народ потощей и помоложе еще загуливался в городском саду под нестройный гремучий оркестр. Зимами запазднивались только на свадебных гуляньях. Именины, крестины и новоселье справлялись с гостеваньем до полуночи. И не позднее десяти вечерних часов в домах погасали огни. На мягких жарких нечистоплотных постелях шевелился в сопеньи, всхрапываньи, почесываньи и случайном ночном бормотаньи сон. Утробный, как и прожитая явь дня. За цветистыми обоями пробуждались клопы. В щедрых кусками-объедками кухнях полчища тараканов. Людей не встревоживали они. У кухарки мукомола Юрахина тараканы до болячек изъели шею и лицо. Не проснулась, лишь утром на это посетовала. Нарушало сон человечий временами только постельное любовное бденье. Но свершалось оно деловито, во славу неустанного плодородья, без ласк, упоений и ненужных слов. Блудливые, вороватые внебрачные свиданья вершились без озорства и дерзости греха в темноте углов и закоулков. В ранние вечерние часы не мешали привычному времени засыпанья. Зачатые в ночи родились, чтобы быть в такой же беззвучной от вязкой сытности жизни.

Город разбросался без раздумья на большом пространстве. Короткие широкие его улицы похожи на маленькие площади. Две обширных площади — на унылые истоптанные выгоны. Без единого деревца, без строений, без памятников. И только третья, близ монастыря, оживлялась базарными лавченками и дневной суетой торга.

Только за этими площадями иногда по ночам взвивался пьяный от вина или жути человечий голос. Звал надрывно и тщетно:

— Эй, хто живой... гите!.

Его заглушала не подоспевшая помощь, а галдеж перебранки, драки. Но и крик, и галдеж как мгновенно возникали во тьме, так же скоро и сглыхали. Черные летом или белые зимой улицы, редко прерываемые подслеповато мигающими фонарями, тонули снова в непреоборимой глухоте.

Это безрадостным кратким буйством напоминали о себе благополучному городу его окраины.

Были в городе городская и уездная земская управы. Под их попеченьем школы, народные чтенья, лекции, библиотека и больница. Жили врачи, учителя, адвокаты, судьи, агрономы, ветеринары, два библиотекаря и наезжие лектора. Они барахтались в густом хлебове жизненного установа мукомолов, прасолов, винокуров и маслоделов, как кутята, брошенные в сонную реку. Трепыхались в разговорах, сетованьях, книжных речах, попойках, тягучих прелюбодеяниях и захлебывались крепкой городской соньюю. Оттого, когда по всей стране разлилась словами, восклицаньями, резолюциями, красными флагами, новыми песнями, комитетами, советами депутатов, многоглагольными собраньями, листовками, программами революция, город не забурлил, а прошевелился медлительно. Оказалось в нем на-лицо всего пять ораторов на все случаи. Имена их быстро стали известны всем городским мальчишкам, как прежде имена богатейших купцов. С красными флагами в шествиях походили рассудительные люди, почище одетые. Попетушилась около ораторов спрыснутая оживленьем и непритворным восторгом интеллигенция. Мастеровщина смотрела на процессии и митинги, лузгая смачно семячки. Солдаты из казарм выползали с позевотой, слушали и смотрели больше скучливо.

Горячая каша заварилась для горожан неожиданно и в нечаянном месте в декабре года тысячу девятьсот семнадцатого. На митингах уже объявлялись первые разговорчивые большевики. Но их забивал первый городской оратор партии народной свободы, адвокат Цветков. Он уговаривал «противустоять» далеким Петрограду и Москве. Горожане дружно ему хлопали в ладоши, ободряли приветственными восклицаниями. Других партий ораторы тоже собирали свои хлопки, но пожиже. А большевикам часто свистели и смеялись в ответ. Только изредка из задних стоячих рядов вырывался одинокий возглас:

— Правильно! Поддерживаем.

И сникал.

Вдруг, в один субботний банный день, в городских банях произошла перепалка из-за различья политических убеждений. Народу набралось в самой вместительной бане в тот день очень много. Ожидающие своей очереди плотно сидели в полутемном закоулистом коридоре на скамьях, деревянных диванах и прямо на полу с узелками и вениками в руках. Благообразный, на святого угодника лицом схожий, базарный торговец Иван Антипович начал адвоката Цветкова выхвалять:

— Совершенно правильно, к месту все постановляет на каждой митинге. И дает же бог эдакий дар изреченья человеку. Дай ему бог здоровья, министром будет. Много похлеще Керенского он, на мой вкус.

Сидевший на полу солдат в надвинутой на глаза свалявшейся папахе угрюмо пробубнил:

— Министров твоих кошки съели. А Керенскому солдаты под .... дали. Пожалуй, сиди тут, рассахаривай.

Иван Антипович горестно взмахнул веником:

— Вот такие неразумные родины предатели войну-то швахают. Немцу под бронированный кулак норовят. Какие же это служивые солдаты? Где бы порядок утверждать, по дисциплине, государству спокойствие блюсти, он, поди, с фронту без всякого отпуску удрал.

Солдат поближе, погрозней придвинулся.

— А ты, рачитель, шибко-то не растопыривайся. Отошло ваше время людями помыкать. Над солдатами нонче не заносись. Кажный знает, кто кровь проливал.

У Ивана Антиповича слабоватый голос злее, повизгливей стал:

— А ты уйди, уйди, не надвигайся! Проливал ты тоже, пожалуй, кровь... Только из носу, за хорошее дело разбил его тебе кто-нибудь. После военной страсти геройства народ умный должен приходить. А ты вон какой охальник. Уйди!

На скамьях, на полу и на диванах завозились разгорячившиеся слушатели перебранки.

— Иван Антипович, а ты с им не связывайся. Хорошему человеку с ими вязаться, враз по морде звезданет.

— Ну да, звезданул один эдакий. Милицейский-то хуть хилявый нонешний, никуды перед настоящей полицией, а все которых фулиганов заберет.

— На военном солдате обрыбится. Солдат нонче строгий стал. Милицейский не над им поставлен.

— А это какой тебе военный? От фронту шляющий. Документ проверят, очень просто и взад на фронт отправят.

— Это хто шляющий? Ты про кого, шелудивый пес, намекаешь? А? Ребята, нашего обижают. Тыловая сволота нашего забижает.

— Господа-граждâне, вы здесь заварухи не затевайте. Это не полагается. Драться выходите на улицу, а то на нас протокол составят. Зашумели, не слыхать который по счету черед выкликают.

Иван Антипович сплюнул.

— Ну, до чего же народ изгадился! Как же можно таким людям без твердой власти в государстве быть?

Чернобородый степенный мужик в поддевке поддержал:

— Нельзя без твердой власти! Демократическая, советская, чертецкая республика какая-то. А солдаты заместо того, чтобы за отечество геройствовать, с вениками хлестаться только могут.

— Социал-революционеры, по-моему, вот правильно рассуждают. Земля трудящему, а солдат обязан ту землю застаивать.

— Этот еще откуда есер выполз? Митька, я ему по роже съездию.

— Ну, ну... Что ты? Эй, хозяин, они дерутся. Солдаты безобразят.

— А чего на их глядеть, право!

— На фронте вшивели, тут еще череду отмыться не дождешь.

— Они еще наставляют. Вот этому оратору. Ну-ка, я тебя попарю

— Ай, батюшки, куда вы! Меня-то задавите!

— Сучий сын, стой, глаза выхлещешь. Хозяин! хозяин! Мили-и-ция

— Вот тебе, вот тебе от солдатского веничку. А вот под ребро припарочка.

— Я те кулаком садану, кишки выпустишь!

В коридоре послышались взвизги, брань, смех, сполошный говор. Солдаты больно не били, просто озорничали. Хлестали вениками, подталкивали в бока и спины кулаками. Иван Антипович с чернобородым яростно отмахивались руками, пинали ногами. Единомышленники пытались из-под натиска их вызволить. В свалке опрокинули столик с водой, надавили спинами на банную кассу. Молодой голос шум покрыл:

— Да здравствует совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

Настоящая драка началась, когда вывалились с шумом, под напором хозяина с милицией на улицу. От бани на других улицах отголосками отозвалась. На кожевенном заводе взбушевали рабочие. На утро начали распоряжаться в городе большевики. Сваи, крепившие многие десятилетья городскую стоялую жизнь, поддались, затрещали. Состоятельным жителям города, старожилам, блюдущим устои прежней жизни его, житье пришло горькое. В дома ежечасно врывалась новая тревога. Иван Антипович совсем исхудал, изменился, боязливый сделался. По ночам мать, жена и старуха стряпка наблюдали, крепко ли заперты ворота и двери пятистенного домика близ базарной площади. А он никому не верил. Сам ночью раза по три вставал проверял. Все ему казалось, что дом на-расхлебень стоит. Говорил жене, от толщины всегда сонной, неподатливой на тревогу женщине:

— Бог огневался на нас. На храмы скупились жертвовать, молосное по средам и пятницам ели, вот он нас и определил сносить беспокойство ненадежного житья. Богу молиться надо.

И вымолил он, видно, себе ночными поклонами: Лизанька, племянница двоюродная, нежданно-негаданно из Шадринска приехала. На лишний рот не подосадовал, обрадовался. Только дивился:

— Как же ты, девушка, в такую сумятицу цела-невредима добралась?

— Добралась, дядя. Когда шибко приспичит, пожалуй, до самого неба доберешься.

Лизанька совсем переменилась. По волосам, да по цвету глаз только узнать можно. Глядит по-иному. Никогда толста не была, а все же помягче раньше. Теперь совсем сухая, голосом твердая. Смеется, не как прежде, не заливисто, много реже. Объяснила: отец с простуды скончался. Одной жить страшно показалось. К сестрам в родной город пробраться трудней. Там драка за власть советскую с юнкерами идет. Про дядю вспомнила. Понадеялась, что не выгонит.

— А выгонишь, здесь одна поселюсь. Места не найду — шитвом заработаю. Я работы никакой не боюсь. В сиделки в больницу, в банщицы пойду, куда угодно.

Раньше на барышню личиком веселым нежненьким и старательной, чистой одеждой походила. Теперь погрубела. Одежду кой-какую привезла. А ходит все в одном черном старом платьишке. На место поступать никуда Иван Антипович ей не приказал.

— За нами ходи. С тобой веселей и поворачиваешься в домашних хлопотах побыстрей старух.

Ожиданий его в общем не обманула. По дому хорошо работала и ночью чутко спала. Только без спроса, без объясненья отлучалась из дома ежедневно куда-то. Хотел было Иван Антипович накричать, выпытать, да радость перешибла гневное намеренье: большевиков чехи вытеснили. Иван Антипович отдохнул, в лице даже округлел. Часто благодарственные молебны служил. Удача ему пошла. Торговля прибыльней сделалась. Один не управлялся. Хотел было Лизу приспособить, круто отрезала:

— Торговать не хочу. Неволить будете, уйду от вас.

К ней в доме привыкли. Отпускать не захотели. А тут еше стряпка старуха сковырнулась. С неделю животом помаялась и умерла. Пришлось Ивану Антиповичу мать с собой в лавочку таскать. Хоть стара, да оборотистей жены. А Лиза по хозяйству. Торговля горячей, и дома меньше наблюдать стал. Но все же один раз заприметил: Лиза письмо какое-то читала, и щеки у нее жарко рдели. Ногой притопнул, потребовал письмо то показать. Лиза не испугалась, не послушалась. Поглядела, будто просонок от того, что в яви перед ней, затуманенными глазами. Сказала негромко и и просто:

— Не дам.

Настоять не сумел. Покричал только:

— Смотри, если ухажера завела, да в подоле в мой дом ублюдка принесешь, — со света сживу. Сам тебя в честный брак за хорошего человека пристрою.

И наметил одного. Да за делами собирался слишком долго. Красные войска от Москвы и в здешние места надвинулись. Вспомнил Иван Антипович про Маньчжурию. Быстро собрался. Когда учрежденья свои белое начальство эвакуировало, он с женой и матерью тоже за ними вслед выехал. Лиза ему объявила:

— Я останусь. Дом, имущество поберегу.

Он сначала обрадовался. Потом все-таки пожалел девушку.

— Насильничают очень большевики. Пропадешь одна, поедем.

И хорошо уговаривал, не согласилась. Потом сам успокоился мыслью, что не надолго отъезд. Осталась одна хозяйкой в пятистенном домике. Оставшиеся в городе соседи плакали, а она весь вечер в полный голос песни в доме распевала. Хорошо, что отступавшим не до нее было. Жаловаться одна соседка в контр-разведку побежала, но никого там уже не нашла.

Понаехали новые люди. Под их напором город скоро оскудел. Многие дома брошенными, бесхозяйственными остались. Те, кто не уехал из нежелавших власти красных, затаили в домах весь прежний уклад своих верований, поступков и пониманья. Подходил к концу уж год тысяча девятьсот девятнадцатый, а в городе шли, не сливаясь, две жизни. Одна та, что на виду, на улицах, в учрежденьях, в приказах новой власти — наверху, как масло на воде. Другая — приглушенная, прочная в домах старожилов.

Лиза дома почти не жила. Поступила курьершей в редакцию местной газеты. Скоро коротко остригла волосы, моложавей стала. Но к одежде еще невнимательней, и курить научилась. Домик недолго пустовал. Вслед за армией приехал в город военный доктор Гребнев. Он и занял горницу. Лиза в кухню жить перешла. Из комнаты в сени отдельный выход есть. Дверь из кухни в комнату наглухо заперли. Получились два жилья: докторово и Лизино.

Каждый свое отдельным замком запирал. Лиза рано уходила на службу. Доктор поздней часа на два вставал. А возвращался всегда после нее, хоть и она с различных собраний за полночь приходила. Женщины из соседних дворов все же болтали меж собой, что Ивана Антиповича племянница не только как соседка — крепче к доктору пристроилась.

— Спарились. Дяде бы написать, порадовался бы на племянницу.

— А что же! Сама в коммунистки записалась, дядино добро не отберут, сберегет. И от доктора от коммуниста тоже поживется.

— Ну, не знай, сколь поживиться успеет. Может, он с ней любовью долго и не будет канителить. По женским болезням лечит, все по женщинам ездит. Приглядит и получше, и поурядливей. К такому-то доктору и здоровые, с капризом, набегают.

— А вот, гляди, на дом к нему бабы лечиться не ходят. Все-таки Лизка же не допускает, не иначе.

— А зачем ему дома стараться? Коммунист ни в чем не нуждается. Зачем ему деньги? А если для своего мужского удовольствия, так и в больнице место найдет. Побоялся он Лизки, как же!

В декабрьский вьюжливый день Лизе занездоровилось. В жар кидало и знобило. На службу не пошла. Доктор за стеной услышал, что Лиза дома. Через сени, без стука и предупрежденья, в кухню вошел.

Был доктор Гребнев высок и широкоплеч. Вьющиеся волосы коротко подстригал, а бороду темную с рыжинкой отрастил длинную. От этой бороды и солидных в золотой оправе очков казался на первый взгляд совсем немолодым. Но кожа лица без морщин, не заношенная, румянец, внезапно набегающий, и беспокойные глаза его молодили. Трудно было его возраст определить. В разговоре обычно глаза в сторону отводил. Сейчас на Лизу смотрел открыто и прямо. Очки приподнял на лоб. Взгляд его синих глаз кроток, почти искателен.

— Ты что, Лизанька, захворала? Жар, видно, сильный, лицо рдеет. Ах, как же это так? Надо доктора...

Лиза засмеялась, облизнула языком запекшиеся губы и позвала повы-
іенным, неверным, как всегда в жару, голосом:

— Подойди... присядь ко мне поближе... Ты... никуда не торо-
пишься? А?

Гребнев сел на кровать, припал курчавой головой к ее груди, руки
Іизины к своему лицу прижал. Быстро выпрямился.

— Руки у тебя накаленные, сухие, сильный жар. Я сейчас пришлю
тебе доктора.

— А ты сам не вылечишь? Свою-то боишься сам лечить. Нет, нет, не
е издеваюсь я. Подожди, посиди со мной. Ах ты, злочась, горюшко мое.
Іу, поцелуй покрепче. Очки-то не раздави. Вот здесь они, под рукой у меня.
Іу, что? Что так горестно уставился? Пройдет. Простудилась немного. По-
омает, потомит и отпустит.

— Горло не болит? Вздыхать легко можешь? А? Не спирает в груди?
І доктора к тебе пришлю. Не усмехайся эдак, Лиза. Зря растравить, оби
еть меня хочешь. И тебя не хуже другого отходить сумею, хоть за тебя мне
чень боязно... Только вижу, что ты опасаешься. Лучше позвать другого.

— Ничего я не опасаюсь. Лучше уж на своем человеке в леченьи на-
ортить, чем на чужих пробовать. А я к смерти из-за тебя бесстрашная стала.
абота об тебе жизнь мою шибко горчит.

— Эх, Лиза, сколько переговорили. Не сейчас же опять затевать. Тяжко
ышишь, мечешься, а еще хочешь себя горячить. Мне бы только... Живи
олько на свете, чтобы я знал, что живешь... Больше ничего не стребую...
е потребую, да. Только и есть на свете мне один человек дорогой, что ты,
Іиза. Горло-то, спрашиваю, не захватило?

— Маленько саднит. Достань полосканья, пройдет. Доктора не зови,
ока обождем. Дышится шибко жарко. В носу даже от сухоты палит. Дай
ить. Ну, ладно, спасибо. Иди, куда тебе надо. Я полежу.

— Никуда я не пойду сегодня. Только в аптеку. Сейчас уксусом тебя
ботру.

Приподняла руку, чтоб махнуть. Но рука упала в изнеможеньи. Лиза
еловко и трудно задвигалась по кровати. Гребнев посмотрел на нее, изме-
ился в лице и быстро вышел из кухни.

Вернулся он скоро. Больше в тот день из дому не выходил. Мальчишка-
урьер принес пакет и повестку. Доктор принял сам и сказался нездоро-
ым.

Ночью Лиза была в сознаньи, но дышала трудно, тосковала всем телом,
кованным тяжестью и жаром. Гребнев наглухо закрыл ворота, ставни
двери домика. В кухне окна еще Лизиными юбками занавесил и, сняв -
іки, сел около ее кровати. Перед рассветом сказал глухо, скорее себе, чем
ія Лизы:

— Сыпняк, я знаю. В больницу не повезу. Сам тебя выхожу, Лиза.

На третий день у Лизы в сгибах рук у локтей и на груди выступила
елкая сыпь. Ее ночи сделались буйны и тягостны. С криком озорным и бес-
омощным часто срывалась с кровати, все стремилась из дому убежать.

Гребнев днем тормошился по службе на людях, ночами — взаперти около Лизы. По целым ночам без сна. Дюжую глуповатую татарку с ближнего двора договорил ходить в его отсутствие за больной. Он похудел, лицо его серое стало, чаще быстрым нервным движеньем передвигал очки с глаз на лоб и опять на глаза. Но разговаривал со всеми, кроме Лизы, по-прежнему спокойно, переводил в слова свои мысли с чужого языка. На работе, ни на собраньях, ни в гостях никто не замечал, что ему тягостно и что он утомлен. Только заведующая отделом правовой защиты детей, товарищ Липатова, сказала ему как-то при встрече на улице:

— Что это вы какой бледный? Не больны? Докторам болеть не следует и не к лицу.

Гребнев под очками глаза в сторону отвел.

— Я совершенно здоров. У меня ничего не болит. Я не знаю, почему вам показалось, что я изменился.

Липатова прищурила глаза и засмеялась.

— Мне очень нравится, как вы цедите слова. Совсем англичанин, а лицо у вас ужасно русское. Смешное сочетанье. Но ничего, милое. Слушайте, дорогой товарищ, вы давно ко мне в отдел не заглядывали. Вы не забыли, что охрана здоровья детей вам поручена, а?

— Нет, я не забыл. Но знаете ли, я ужасно занят последнее время. Завтра часов в двенадцать дня зайду.

— Вот хорошо. У меня в отделе много вопросов к вам накопилось. Нам вообще надо о детских домах побеседовать. Да вы ко мне, в мою норку, как-нибудь забрели бы. Я редко кого к себе приглашаю, но человек пять, хороших человечков, бывают. Приходите хоть сегодня. Впрочем, сегодня мы в другом месте увидимся, я и забыла. Получили приглашенье на открытье дома отдыха? Ну, и отлично. Значит, до вечера.

Крепко, по-мужски, пожала ему руку на прощанье. И рукопожатье это всю дорогу до столовой Гребнев ощущал со смешанным чувством неприязни и удовольствия. Всегда после встреч с Липатовой им овладевало такое чувство. Он не любил этих встреч, но тайно радовался им. Внешним своим обликом Липатова его не влекла. Высокая и узкая, она даже в постоянном своем простом черном заношенном платье казалась манерной. Таким же непростым было несвежее тонкогубое лицо с большими светлыми глазами. Всей поджарой, легкой своей фигурой и привычкой раздувать четко очерченные ноздри она напоминала ему борзую. Порой Гребневу казалось, что всякого, с кем она говорит, Липатова не слушает, а нюхает. Как-то раз ему даже чудная мысль в голову пришла: если кто-нибудь сильно обозлит или раззадорит, она может вцепиться в человека мертвой хваткой и рвать его зубами. Над такой мыслью он сам посмеялся, но ощущенье настороженной неприязни к Липатовой именно после этой мысли укрепилось. В то же время цепкое ее рукопожатье, взгляд ее и даже короткий деловой разговор с ней всегда Гребнева волновали. Похоже на щекотку. Неприятно, а дух, как от радости, захватывает. И около Лизы, в хлопотах около нее, он помнил, что вечером встретится опять с Липатовой, будет говорить с ней.

Лиза стала тише, больше спала, сильно ослабела. Вечером, перед уходом, Гребнев долго смотрел на подурневшее сильно от худобы и серости широкоскулое женское лицо с несмыкающимися от томленья и слабости спаленными губами. Выпирающие под одеялом острые Лизины коленки вызвали в нем прилив огромной, чрезмерной нежности. Дышать больно стало. Захотелось поднять изнемогшее тело, взять на руки, прижать к груди, как ребенка, носить долго, без устали, чтоб от ласкового этого укачиванья расправились горестным изгибом сведенные брови, проглянули просветлевшим взглядом тусклые, замутненные глаза, улыбнулись серые в ошметках губы. Но даже прикоснуться к ней он не решился, чтобы не обеспокоить. Посмотрел, захлебнулся вздохом и вышел с отяжеленным большой человечьей любовью сердцем. От этой тяжести он, как от ощутимого физически за спиной груза, горбил плечи и тяжело, медленно волочил шаг.

Сугробные белые улицы пустынны. Время жесткое. Настороже гнев у новых людей, обхлестнутых со всех сторон старым враждебным дыханьем. На улице скорей налетишь на дозор. Спокойней сидеть в оскудевших, похолодавших, но все же своих углах. Приходится чутко слушать, дома ли за стеной вселившийся коммунист или военный или горячий советский человек, чем занят, не злобится ли против домохозяев или долголетних в доме жильцов. Но все же в своем углу, где каждая царапина на столе, на громоздком уцелевшем буфете известна, спокойней. Гребнев прошагал три скудно освещенных улицы с заколоченными наглухо мертвыми магазинами, с зияющими глазницами окон в разрушенных покинутых зданьях, с жилыми, запрятавшими свои огни от чужаков за глухими ставнями, уездными домами ныне губернского, набитого приезжим людом города. Встретил только визгливую собаченку на повороте в четвертую улицу да у садовой изгороди на скамье тесно обнявшихся мужчину и женщину. Оба были молоды, бесстрашны от радости свиданья. Мужчина что-то неласковое про Гребнева сказал, женщина звонко рассмеялась. Смех ее далеко разнесся, оживил на миг мертвую белую тишь. Гребнев вздохнул, взглянул на морозные, ярко блистающие вверху звезды, на согбенные тяжелой зимней сединой ветви стылых деревьев, дернул плечами и ускорил шаг.

В бывшем архиерейском доме ярко светили все огни. И в комнатах, и в коридорах. По лестницам, устланным коврами, поднялся Гребнев во второй этаж. Архиерейские покои только что приняли первую группу сменных своих жильцов. Семнадцать рабочих с копей, заводов, из мастерских и трех советских служащих. Одни были приняты на полуторамесячное гощенье, другие на месяц, на три недели, немногие только на две. Сегодня состоялось торжество открытья первого дома отдыха. Когда Гребнев пришел, приветственные речи уже кончились Представители губернского комитета коммунистической партии, губернского совета профессиональных союзов и губисполкома с приглашенными ими на открытье гостями и принятыми на отдых длинной неловкой толпой ходили по зданью, осматривали все двадцать восемь комнат. Гребнев присоединился к ним в большой гостиной, щедро заставленной богатой разрозненной мебелью разных владельцев.

и разного стиля. Сухощавый, седой, но горячеглазый человек, председатель губисполкома, шел впереди, показывал, возбужденно объяснял назначенье комнаты. Представители учреждений и городские гости громко восхищались, задавали ему вопросы, радостно смеялись, переговаривались меж собой. Трое советских служащих, назначенных на отдых, держались близко около начальствующих и властей. Почтительно вступали в разговор, охотно вторили в смехе. Они были еще в своей одежде. Рабочие, четырнадцать старых и очень немолодых мужчин и три пожилые женщины, одеты были уже в одежду дома отдыха. Мужчины в реквизированных из магазинов готового платья суконных пиджаках и брюках, мешковатых или узких для них, всем не по мерке, в мягких чувяках. Женщины в одинаковых зеленых сатиновых платьях фасона докторских халатов с поясками и тоже в чувяках. Они двигались, тесно прибившись друг к другу, но все время сохраняли небольшое расстоянье между своей толпой и группой начальников и гостей впереди. Осматривались деловито, без усмешек и восклицаний, основательно, долго ощупывали глазами каждую вещь, изредка и коротко сдерживая голос, переговаривались о добротности и ценности предметов. Председатель губисполкома, сверля их тесную толпу живыми глазами, старался завязать с ними разговор. Указывая рукой вокруг себя, спросил морщинистого, коротко стриженого буроголового невысокого человека, идущего впереди рабочих:

— Ну, что, дедушка? Хорошо здесь? Согласен здесь отдохнуть?

Старик прокашлянул, пригладил жесткой ладонью на затылке торчок колючей щетины стриженых волос, негромко отозвался:

— Отдохнем, ничего.

И вдвинулся в свою толпу поглубже.

Ширококостая, присадистая седоватая работница спросила про большой японский расшитый птицами шелковый плат над диваном:

— Это что же, монашки, поди, архыпастырю вышивали? На рукоделье они большие искусницы. Я глядела давно когдай-то в монастыре. Но эдаки-те, с птицами не видала.

Один из советских служащих, худенький юркий человек, радостно выкрикнул ей в ответ:

— Ну, вот и глядите, товарищ! Тут всего повидаем. Под замками раньше прятали, а теперь, при Советской власти, все для нас, все наше.

Работница поджала губы. Сухо ему ответила:

— Пусть не запирают. Мне чужого не надо. Ни к чему не подбираюсь. Так, из интереса спросила.

Неласковым взглядом осмотрела худенького человека и тоже потесней к своим подалась.

Длинный, узкогрудый, совсем седой рабочий с круглым носом, один из всех охотно и громко отозвался:

— Правильно устроено. Только нам тут недолго разминаться. А дома про здешние чудовинки вспоминать некогда будет.

Охотливым широким голосом он Гребневу кого-то близкого напомнил. Припомнил, втянул голову в плечи и неловко повернулся. Две широких ладони придержали его за плечи.

— Стой, стой, не наступай на человека, не дави товарища.

Гребнев оглянулся и встретил смеющийся взгляд серых глаз подепельными бровями, нависающими хохолком. Невысокий крепыш с широким рябоватым лицом улыбался ему:

— Простите, товарищ, я нечаянно.

— Четыре глаза, а назад все равно не увидишь. Ничего. Только собой вы дюжий, побоялся я, как бы не задавили меня, недорослого.

И лукаво подмигнул левым глазом. Гребнев этого человека знал. Управляющий каменноугольными копями. Но встречал его всегда неулыбчивым. Без улыбки лицо у него совсем другое. Торчковатые брови и твердый подбородок прежде всего в глаза лезут. Он кажется сумрачным. И взгляд без усмешки другой, тяжелый, настоятельный. Гребнев даже сторонился его. Сейчас новому приветливому его виду обрадовался. Со смехом, без обычной тягучести речи отозвался:

— Ну, вас тоже не очень придавишь. Невысок, да плотен. Не знаю еще, кто из нас потяжелей да и посильней будет.

— Мне потому, доктор, вы и поглянулись. Не люблю хилого народа. А ученые больше хилые. В мозг вся сила идет. Видал я и высоких докторов, и с брюшком, но лицом все-таки они больше умственные, дрябловатые. А, может, просто и не приглядывался к ним. На вас вот что-то загляделся. Мне доктора ни к чему. Лекарствам не доверяю. Я в нутро, кроме касторки, никакого зелья ни за что не приму. Внутренности от лекарства портятся. Я снаружи лечусь. Припарками.

Гребнев искренно и громко рассмеялся.

— Ну, все-таки не одними припарками. Вот касторку-то при нужде пьете?

— Ну, дак я ее себе в два года раз разрешаю. А то, как запрет, так у меня домашняя такая болтунья для случая есть. Я вас научу делать. А на касторку меня дьяконица одна сбила. Я ее обхаживал, от натуги, видно, живот и вздуло. Ну, прямо до стона. Она на тот грех набежала. Как не послушаешься? Полечила, облегчила, а как опростался, отдышался, и другой забавкой леченье засластила. На касторку я поддался. А больше нет, еще на какое лекарство даже приятная бабеночка не собьет.

Они шли уже вдвоем сзади всех. Доктор, подсмеиваясь, сказал:

— А все-таки бабеночка-то — червячок на удочку для вас.

— Бывает, когда бог сплошает. Я в монахи не постригался. Баба, она на иной час — вещество усладительное. Особенно, если веселая. Я веселых люблю. Самому вот теперь больше супиться дело выпадает. Дак охота на веселое поглядеть, усмешечку для себя призанять. Я вот и картины эдакие снулые не люблю. Посмотрите, накарякал какой-то слезомой. Мужичонка ледащий с лошаденкой задохлой, а кругом хмарь. Ну, вот и гляди на него с лошадиной мощей. А чего уж глядеть, коли они чуть что не дохлые!

Изматеришься, да отойдешь. И без картины эдакую-то забаву видали. Спасибочки вам.

— Это чтоб жалость к простому народу...

— А чего его жалеть? Не скотина, не младенец. Нет, я мало какие картины уважаю. Господа малевали, не по моему заказу. Картина мне требуется такая, чтобы от нее весело, задорно стало. Целуются если двое, или перед целованьем манежатся, на открытках вот, мне тоже не очень глянется. Пустяки! Досуг да деньги будут, сам сумею, без картиночки. А ты меня раззадорь так, как я без картины раззадориться-то не умею, вот картина! Эту я чрезвычайно зауважаю. Вот на нынешний наш случай, я вам скажу, плакаты веселые попадают. Если только морды кубиками всякими не скосорочены. Это я не люблю. Ты меня без косоротой морды, без цыркулевых выкрутасов, понятным пройми. Вот нарисовал бы завод, в нем машины всякие, какие по производству для этого завода надо. А в нем рабочий — шиш буржую показывает. Вот это мне приятно, я раззадорюсь.

— Так это и выйдет плакат.

— А для меня хоть чертокат. Хорошо пусть нарисует, убедительно, вот это картина. Я на машины позавидую, рабочим на картине разгорячусь, задор меня проймет. Ах, мол, сукин сын, я сам сумею этакий завод насбирать, да шиш показывать. Ну, только хорошие-то рисовальщики для нашего веселья рисовать не хотят. А плохой, хоть и постарается, материал только изгадит. Ну их к бесу — картины. И книжки с повестушками я тоже не люблю читать. Одна хорошая попалась, до конца дочитал. С иностранного языка перевод. «Туннель» называется. Там в буржуи один дошлый мастак хорошо прет. Завидно. Нам бы выучиться вот так до конца переть... Пер, пер, свалился, поднялся, да опять попер. Пока до своего, что наметил, не достиг. А на нашем языке писальщики пишут жалостливое. Со слезой сопли вытирают. Чего смеетесь?

Пригнув к себе голову Гребнева, шепнул ему:

— Вы не очень на меня удивляйтесь. Я сегодня спирту на радости глотнул. Теперь редко приходится его глотать. Мне нельзя, дело не такое. Глаз нужен и строгость. А пьяный покладлив и разговорчив. Я вот разболтался сегодня.

Выпрямился, потянул доктора за рукав, дальше:

— Все-таки и потому, что мордальон ваш мне поглянулся. Расспросил, сообщили, что нашей партии, коммунист. А больше всего меня примануло, что низкого происхожденья в ученье пробились. Это я люблю. Тоже, значит, пёр.

Гребнев густо покраснел, но засмеялся открыто и весело.

— Я сам себя за это уважаю.

— Ну, вот, так будем знакомы. Я за вами лошадей пришлю. Приедете на копи, поглядите. Некоторых, на леченье охотливых, и подлечите.

— А как же, сами говорили, от лекарств внутренности гниют.

— Лекарств не шибко у нас много. Словом, прибодрите. А, может, на какую кишку и лекарства с пользой. Чорт их знает. Я буржуазии этой,

старым докторам, не доверяю. А вы свой, во вред не сделаете. У нас своих ученых большая нехватка.

Бурроголовый с колючей щетинкой на голове к ним подошел:

— Товарищ Филатов, раздобудь мне задачник. Тут работы не будет я задачки порешаю. Очень люблю.

— А в здешней в ихой библиотеке, может, есть. Ты спроси.

— Ну их. Барышня при книжках больно хлипкая. Нежна очень И книжки все с разговорами, да с присказками. Мы глядели, как привезли. Ты мне свои достань.

Филатов густо захохотал. Подмигнул Гребневу:

— Слыхал, Гребень? «Свои»... Ты что, в тюрьму что ль попал?

— В тюрьму, не в тюрьму, а все не дома. Под номерами здесь значимся, в списке-то.

— А на копях-то ты без номера? Ну, ладно. Товарищ доктор, добудь ему задачник. Попроще какой.

— Хорошо. Завтра доставлю, дед.

Старик кивнул головой. Осторожно, обходя ковры, пробрался в маленькую проходную комнату перед курилкой, сел в уголке на стул. Гребнев заглянул в курительную комнату. При его появленьи разговоры смолкли. Трое, удобно привалившиеся к спинке на кожаном диване, выпрямились. Шестеро, сидевшие с цыгарками на полу, на корточках, привстали.

— Чего это вы, товарищи, как неудобно размещаетесь? Вы не стесняйтесь. Для вас ведь стулья поставлены.

Большеносый высокий отозвался:

— Ничего, сядем. Не привыкли еще. Может, сдвигать нельзя с места. Не сами ворвались, записали нас на отдых, уважили. Надо с оглядкой, чтоб не навредить. Папиросочек вот нам выдали. Толкуем, что на наше горло слабы. На закуску только после своего табаку закуриваем. Давайте, заходите. Я вас выданной папиросочкой угощу.

— Я чай пить вниз пойду. Спасибо.

У входа в столовую его встретила Липатова.

— Где вы пропадали, доктор? Я все глазыньки проглядела, право. Знаете, мы ужасно стесняем их... отдыхающих. Они еще не освоились. Вот мы, гости-то приглашенные, решили улетучиться. Мне поручили передать вам другое приглашенье. Праздник заканчивать.

— Куда?

— А вам не все равно? К своим. Дорогой расскажу, одевайтесь.

Надевая шинель, Гребнев спросил:

— А Филатов там будет? Он мне очень по душе пришелся.

Липатова сморщила губы и покачала головой На улице, взяв под руку Гребнева, сказала:

— Филатова мы на свои семейные, интимные, так сказать, вечеринки не зовем. Вообще нас немного, вполне своих, всего семь человек. С вами будет восемь. Ну, вполне свои. Можно болтать, не стесняясь.

Наклонившись поближе, потише докончила:

— И горячительного малую толику проглотить. А Филатов напивается... до свинства. Грубо ругается, к женщинам.. некрасиво пристает. Нет, его не будет. Мы приятно вечер проведем. Отдохнуть немножко надо. Все мы так заматываемся на работе, что иногда это не грех.

— Я, видите ли, долго не могу. У меня дома... работа ждет.

Прижавшись к нему вплотную, так, что Гребнев на ходу ощутил прильнувшую к ноге худощавую женскую ногу, Липатова сказала со смешком:

— Забота у вас дома, а не работа. Я кое-что слышала и девушку эту видела. Ничего с ней, вероятно, не случится, если один вечер поскучает без вас.

Гребнев насупился и суховато ответил:

— Девушка эта ко мне никакого отношенья не имеет, живет в своей отдельной комнате самостоятельно. А в настоящее время она сильно больна. У ней — сыпной тиф.

— Ой! И вы с ней рядом... Почему же она не в больнице?

— Ей дома можно лежать, она одинокая. А больницы переполнены.

— Хорошо, что я переболела. А то бы убежала от вас. Вместе с тифозной живете.

— Не вместе, я уж сказал. А потом я и у других больных сыпняком бываю.

— Ну, вы, кажется, обозлились. А я хочу вас видеть веселым и добрым. По крайней мере, сегодняшний вечер. Сегодня я отдыхаю. Скажите мне, товарищ дорогой, как вас зовут? А то обращенье «товарищ» стало уж слишком официальным. Как «милостивый государь» или, хуже, «ваше благородье».

— Меня зовут Леонид Сергеевич. А вас?

— Меня Нина Павловна, иногда Нина, а бывает, что Нинуся, Ниночка, Нинок. Да развеселитесь вы! Что вы деревянным шагом вышагиваете, как заводной солдатик. Что это, военная форма вас так сковывает? Все же вы доктор, а не солдат. Значит, собственно штатский, и шаг у вас должен быть свободным, а вы, как на военном параде. Ну, сбейтесь с шага, запнитесь, споткнитесь.

Левой ногой она начала загребать снег, подбивать его под ноги, покачнулась, потянула за собой Гребнева, и оба упали в снег. Когда он ее поднимал, Липатова плотно прильнула к нему всем худым гибким телом. Гребнев рывком, грубо прижал ее к себе, сдавил ее ноги своими ногами. Она не рассердилась, засмеялась, но лицо от поцелуя быстро отвела.

— Без озорства. Пойдемте быстрей, а то там давно уж все в сборе. Кстати, почему вы не снимаете военную форму? Вы же сейчас не в военной части. Или потому что она к вам идет?

Он снова отвечал уже коротко и хмуро. После бессонных ночей, волненья и усталости, после довольно длительного воздержанья от женщин он охмелел от дерзкого заигрыванья Липатовой. Сердце колотилось, в висках стучала кровь. Он еще помнил о Лизе, ему хотелось внезапно, сразу оказаться дома; подальше от этой неприятной, грубо зовущей чужой жен-

щины, у недоступной, теперь, огражденной от его желанья болезнью, но своей и любимой. Приникнуть головой к ее кровати, потосковать, смягчить этой тоской душевный стыд. Он понимал, что ему стыдно не оттого, что он непременно сегодня изменой осквернит свою большую любовь к Лизе, он ее постоянно случайными связями осквернял и давно перестал нечистоплотности этой стыдиться. Ему было нехорошо оттого, что Липатова была ему душевно глубоко противна, но он желал ее похоти, не ласки, а только ее мерзостно умелого тела. Свое «уменье» она с первой встречи с ним подчеркивала всеми движеньями, случайным припаданьем к нему, как сегодня. И она называла его своим. Если б не болезнь Лизы, заставившая его человечески страдать за близкое существо, и не сегодняшняя, странно отрадная встреча с Филатовым, он легко, без душевной мути, отдался бы своему безволью. Но сейчас он безвольно шел с Липатовой, жадно тиская обеими руками ее руку, но мучился сердечной тоской. Тоска эта не оставляла его весь вечер... Он был угрюм и почти не разглядел, где и с кем его провел. За ужином много пил. Совсем охмелел. Как в тумане, он различал помутневшие, обезмыслившие, но все еще жадные глаза Липатовой. Видел, как жадно, почти давясь затяжками дыма, она курит одну папиросу за другой. Остальные, не различаемые им, тоже хмелели. После ужина затянули вразброд, пьяными голосами, надрывно, со слезой:

Не осе-енний мелкой до-о-ждичек...

Какой-то бородатый мужчина, с налипшими на мокрой бороде крошками, налег на сидевшую в кресле толстую женщину и взасос слюняво ее целовал. Гребнев стукнул кулаком по столу так, что задребезжали рюмки и попадали бутылки:

— Сволочь? Сволочь каждый человек. Я думал благородные, образованные! А как напьются, свиней мужиков. Трезвые — подлей мужиков, пьяные — свиней!

Он хрипло засмеялся. Потом приподнял Липатову с кресла и потащил ее в переднюю. В комнате смеялись, кричали им что-то вслед. Оба не слушали. Липатова тоже опьянела. Пошатываясь, с трудом натянула на себя шубку. На улице ее вырвало. В перепачканной блевотой и слюной шубе, она все же тверже шла и крепко держала за руку пьяного, но шагающего уверенно Гребнева. Ключ она дала Гребневу, но он не мог попасть в скважину задрожавшими снова руками. В двух комнатах с кухней никто, кроме Липатовой, не жил. Она почти совсем протрезвела. Уже не заплетающимся языком объявила еще в передней, сняв шубу:

— Можете держать себя совершенно непринужденно, Леонид Сергеевич. Это вся квартира — моя. И, кроме нас, в ней ни души. Долго старалась, все же сумела устроиться...

За закрытыми ставнями на улице было бело, солнечно, но морозно. А в спальне Липатовой мигала, потухая, лампа. Керосин весь выгорел. От чадящей лампы было душно. Нина Павловна лежала на кровати в разо-

рванной в лохмотья рубашке. Гребнев сидел с краю кровати, закрыв лицо руками, безобразно икал и плакал.

Липатова сказала, не злобясь, разомлелым голосом:

— Утрись. Вон подойди к умывальнику, умойся. Не ожидала я, что ты такой свинья, когда распояшешься. Немножко свинства ничего... Но что же это такое? Мужчина, а ревешь коровой. И вообще скотина. Ругаешься хуже Филатова. Но тот полуграмотный мужик, а ты же — доктор, интеллигент.

Гребнев топнул ногой и ударил рукой по кровати:

— Доктор! Какой я доктор! Ты меня, б..., в университете обучила, что ли! Думала с барином........ Я — Виктошка, балакарев пащенок, дезертир!

У Нины Павловны глаза разгорелись ярко и жадно. Она сразу поднялась, села на кровати.

— Ну... Ну! Расскажи, миленький, что такое?

Гребнев не слушал ее. Притопывая ногами, отчаянно мотая головой, икая и всхлипывая, он рассказывал, как бежал с фронта, как таился в лесу, побирался по деревням и как в сумятице, в конце керенщины, в городе Сызрани зарегистрировался с прибывшими из плена врачами по чужому документу.

— Но ты, сволочь, знай... Я учился, я много, ночами учился. Ни один образованный чорт меня не подсадил, не уличил... Не потому только, что вы все, как собачий хвост, трясетесь перед хозяином. Не потому, что я в большевики записался... А я сам учился, приглядывался, ни одного не заморил... Целым госпиталем заведывал. Женщина недавно... акушерка, стерва, не захотела щипцы накладывать... «Доктора дело»... А я на нее: «я вам приказываю». Она взялась было, потом опять: «докторово дело»... Но я уж увидал, как она щипцы брала, как приловчалась. Взял и наложил сам... И благополучно. Вот. Я учусь, по каждому шагу учусь. И по книжкам... Имею право! Я уж выучился! Сам дошел! Эх, ты...

Выругался грубо и свалился на подушки. Липатова зашептала над ним горячо, почти любовно:

— Ты не бойся, миленький, я тебя не выдам. Я очень авантюристов люблю. Это такая смелость! Я тебя не выдам. Теперь уж я в тебя по-настоящему влюбилась.

Конец первой части.

(Окончание следует.)

Гиперболоид инженера Гарина.

Роман в трех книгах.

А. Толстой.

Книга первая.

Угольные пирамидки.

1.

Огромный, как внутренность готического храма, уставленный золоченной мебелью, устланный коврами, — великолепный холль [1]) гостиницы Мажестик был пуст в час завтрака, в четверть второго пополудни.

На месте портье, близ крутящихся хрустальных дверей, стоял дежурный мальчик в синей куртке со ста двадцатью золотыми пуговичками.

Время от времени он оборачивался к бронзовой коробке, куда из подземной трубы со стуком падала граната воздушной почты, раскрывал снаряд и раскладывал по алфавитным полкам синенькие, плотно сложенные конверты. Он хватал телефонную трубку и говорил, как автомат: «Да, мёсье, нет, мёсье, сию минуту, мёсье». Он бросался к распределительной доске и включал телефоны внутреннего действия, раскрывал огромную книгу и вписывал номера и фамилии. Этот удивительный мальчик двигался с непостижимой для живого существа скоростью.

Далеко, на другом конце холля, близ вторых вертящихся дверей, стоял швейцар, или «метр входа», бритый старик в сажень ростом, похожий на оперного актера, потерпевшего крушение на жизненном поприще. Икры его были обтянуты шелковыми чулками. Плоские ступни в лакированных туфлях с металлическими пряжками. На шее поверх черного фрака — тяжелая цепь.

Заложив подагрические руки за спину, он глядел сквозь зеркальную стену в зимний сад. Там, среди зелени, пальмовых листьев и цветущих ветвей миндаля за белоснежными столиками обедали обитатели гостиницы.

---

[1]) Прихожая, занимающая весь нижний этаж гостиницы.

Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали душистым шелком рассыпающихся волос, свежестью рта, кожи и глаз — синих англо-саксонских, черных южно-американских, лиловых французских. Пожившие женщины перебивали, как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью туалетов. Парижские портные тонко понимали это дело.

Да, что касается женщин — все обстояло благополучно. Но не мог того же сказать старый швейцар о мужчинах, сидевших в ресторане.

Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли жирненькие молодчики, коротенькие и шикарные, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве? Они шумно и суетливо лакали шампанское с утра до утра. Они ползли из Америки, по преимуществу, — из проклятой страны, где шагают по колено в золоте, где собираются по дешевке, с молотка, скупить весь добрый, старый мир...

2.

К подъезду бесшумно подкатила длинная машина. Метр входа, бренча цепью, поспешил к вертящейся двери.

Первым вошел, держа руки в карманах, надменный человек небольшого роста в черном пальто и в котелке, надвинутом на глаза, с жесткой бородкой, покрывающей большую половину щек, с раздутыми ноздрями мясистого носа.

Он остановился посреди холля, поджидая спутницу, которая что-то говорила шофферу. Швейцар узнал ее: это была знаменитая Зоя Монроз, одна из самых шикарных женщин Парижа, — «самые прекрасные бедра Парижа», как отзывалась о ней пресса.

Она была одета в белый суконный костюм, обшитый на рукавах, от кисти до локтя, мехом черной длинношерстой обезьяны. Ее маленькая фетровая, без украшений, шляпа была создана великим Коло́, который обязывался по контракту с неустойкой в 30 тысяч франков не производить больше ни одной подобной шляпки.

Зоя Монроз была очень красива, — тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом. Серые глаза ее казались холодными и страстными.

Она подошла к человеку в котелке:

— Мы будем обедать, Роллинг? Я голодна. Семенов подождет.

— Нет, — так же коротко и резко ответил он,— я буду с ним говорить до обеда.

Зоя Монроз усмехнулась, двинула плечиком под белым сукном. Роллинг, решив стоять и ждать Семенова, стоял и ждал. К подъезду, с той стороны, где с нечеловеческой быстротой работал мальчик, подъехала наемная машина, и в вертящуюся дверь проскочил молодой человек в распахнутом пальто с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо

покрыто веснушками, светлые усики точно приклеены. Торопливо моргая рыжими ресницами, он подбежал к Роллингу, намереваясь, видимо, поздороваться за руку. Но Роллинг, не шевелясь и не вынимая рук из карманов, сказал ему:

— Вы опоздали на четверть часа, Семенов.

— Меня задержали... Ужасно извиняюсь... Но это по нашему же делу.. Ах, здравствуйте, мадемуазель Монроз, простите, я страшно запыхался... Все устроено, они согласны... Завтра могут выехать в Варшаву.

— Если вы будете кричать, я брошу разговаривать с вами, — сказал Роллинг.

— Простите — я шопотом. В Варшаве все будет подготовлено: паспорта, документы, штемпеля и прочее... В первых числах апреля они могут перейти границу.

— Хорошо, — сказал Роллинг, — сейчас я и мадемуазель Монроз будем обедать. Вы поедете к этим господам и передадите им, что я буду их видеть сегодня в начале пятого. Предупредите, что если они окажутся шарлатанами — я выдам их полиции. Инструкции я дам им за час до отъезда.

Роллинг, кивнув бровями Семенову, пошел на полшага впереди Зои Монроз в зал ресторана.

3.

На рассвете, близ банов Гребной Школы, остановилась двухвесельная лодка.

Из нее вышли двое, и у самой воды произошел между ними короткий разговор, говорил только один — резко и повелительно, — другой глядел на полноводную, тихую, темную реку.

За голыми чащами Крестовского острова, в ночной синеве разливалась весенняя заря. Ни всплеска, ни шороха.

Затем эти двое наклонились над лодкой, зажгли спичку, осветившую их лица, вынули со дна лодки свертки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу, а тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и часто заскрипел уключинами. Силуэт гребущего человека пересек заревую, мрачную полосу воды и вошел в тень противоположного берега. Небольшая волна плеснула от бани.

Спартаковец Тарашкин, «загребной» на гоночной распашной гичке, — четырехвесельном аутригере, — дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лет и весеннему времени вместо того, чтобы безрассудно тратить на спанье быстролетные часы жизни, — Тарашкин сидел над сонной водой на банах, обхватив коленки.

В ночной тишине было о чем подумать. Два лета под-ряд проклятые москвичи, не понимающие даже запаха настоящей воды, тренированные в москворецкой луже вместе с лягушками, били Гребную Школу на одиночках, на четверках и на восьмерках. Это было обидно. И пережить этого было нельзя.

Но спортсмен знает, что поражение ведет к победе. Это одно да еще, пожалуй, прелесть весеннего рассвета, пахнущего острой травкой и мокрым деревом, поддерживали в Тарашкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками.

Сидя на банах, Тарашкин видел, как пришвартовалась и затем ушла двухвесельная лодка. Тарашкин относился спокойно к жизненным явлениям. Но здесь показалось ему странным одно обстоятельство: двое, стоявшие на берегу, были похожи друг на друга, как два весла. Одного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих темная продолговатая бородка. (Тарашкин хорошо разглядел их лица, когда они, нагнувшись над лодкой, зажгли спичку.)

Но, в конце концов, в республике никому не запрещается шататься по ночам, по суху и по воде, со своим двойником. Тарашкин, наверно, тут же бы и забыл о личностях с темными бородками, если бы не странное событие, происшедшее в то же утро по близости Гребной Школы в березовом леску, в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами.

4.

Чорт его знает с каких пор повелось думать, что Россия страна сухопутная. Взгляните на карту Союза — две трети границ омываются морями. Это—не считая внутренних рек и озер.

Смешно сказать, всего лишь двести лет тому назад начали заводить флот в России. И его же умудрился рыжий монастырский поп Филька проклясть с амвона на веки веков, — ни дна, ни покрышки.

О чем думали после Петра цари, глядя на карту России, омываемой двумя океанами и пятью морями? — неизвестно, — по всей вероятности, за недосугом и малограмотностью, ничего не думали.

Русский военный флот, проклятый рыжим попом Филькой, три раза начинал строиться и три раза погибал. Торговый флот, в сравнении с такой махиной государства, был подобен жалости. Ему и крупинки не в силах было вывезти из русских богатств: миллиарды пудов хлеба, руды, сырья, миллионы стандартов леса. А по сути вещей уместно было, чтобы десятки тысяч русских кораблей бороздили моря, океаны и реки.

Уместно было наплевать в бороду попу Фильке, кричавшему с амвона: «Наш монастырь, дескать, не может кораблей строить, мы, дескать, плавать не понимаем, вода для англичан и голландцев, а мы, дескать, природные — сухопутные, мы в лаптях ходим, нам, дескать, корабли без нужды, и без них проживем на сухопутье».

Уместно приохотить русского человека к воде и волне, обдуть его свежим ветром, — ветер и море, просторы океанов, пестрота и богатство жизни, великие задачи всечеловеческого мирного общения, — вот что должно притти на смену унылой толчее в лаптях на трех десятинах сухопутья.

Будет великий союзный флот — закипит жизнь внутри страны, крякнет с досады, перевернется в гробу рыжий поп Филька.

5.

«А между тем, — продолжал рассуждать сам с собой Тарашкин, повертываясь голой спиной к солнцу, едва поднявшемуся над зарослями, — губисполком выкатил 250 тысяч — строит стадион на Голодае, а в клубе у нас картошку варить не на чем. Ну, хорошо, там физкультура. А мы морскую мощь создаем, а в клубе 300 целковых-денег и тех нехватает купить весла. Обидно, между прочим».

Тарашкин хрустнул мускулами, подмигнул солнцу и пошел во двор клуба собирать щепки. Время было шестой час в начале.

В это время стукнула калитка, и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошел Василий Витальевич Шельга.

По всем статьям Шельга был добрый спортсмен, мускулистый и легкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый на глаза, спокойный и осторожный. Он служил в уголовном розыске и спортом занимался для общей тренировки. Гребное дело особенно интересовало его, — работа на веслах развивала все мускулы и тело усиленно питалось воздухом и солнцем.

— Ну, как дела, товарищ Тарашкин? десятого флаг подымаем? все в порядке? — спросил Шельга, ставя велосипед у крыльца: — приехал повозиться немного... Смотри — мусору, ай, ай, ай! Что же ваши ребята дремлют?

Он снял куртку и, продолжая болтать, принялся за уборку клубного двора, еще заваленного материалами, — щепой, смоляными бочками, бревнами, оставшимися от ремонта банов.

— Сегодня прийдут ребята с завода, — за одну ночь уберем, — сказал Тарашкин, — как же, Василий Витальевич, записываетесь в команду на шестерку?

— У вас как, — дисциплина строгая?

— Если пойдете на гонки, придется тренироваться.

— Не знаю, не знаю, как мне быть, — сказал Шельга, откатывая смоляной боченок, — с одной стороны, москвичей бить нужно, это дело — святое, с другой, боюсь — не смогу быть аккуратным... Понимаете: смешное дело одно у нас навертывается по уголовному розыску. Вроде, как бы, — из американской фильмы.

Для поддержания разговора Тарашкин спросил:

— Опять насчет бандитов что-нибудь?

— Нет, поднимай выше — уголовщина в международном масштабе.

— Жаль, — сказал Тарашкин, — а то бы погребли.

Выйдя на баны, где по всей реке играли солнечные зайчики, Шельга стукнул черенком метлы, собираясь мести, и вполголоса позвал Тарашкина:

— Вы хорошо знаете — кто тут живет по близости на дачах?

— Живут кое-где зимогоры.

— А никто не переезжал сюда в середине марта, когда вы начали ремонт?

Тарашкин ужасно сморщился веснущатым лицом на солнечную реку, чесанул голый живот, почесал около загорелого плеча, ногтями ноги скребнул другую ногу. Не то, чтобы он этими приемами помог себе думать, — скорее всего, — занял время, понадобившееся для такого вздорного занятия, как ни с того ни с сего взять и припомнить, — не переехал ли в марте какой-нибудь обыватель на дачу.

— Вон в том лесишке — заколоченная дача, барахло страшное, — сказал Тарашкин. — Недели четыре тому назад, это я помню, гляжу — из трубы дым. Я подумал — ребятишки балуются. А рулевой говорит: там скорее всего бандиты устроились.

— Вы видели кого-нибудь с той дачи?

— Постойте, Василий Витальевич! Их-то я, должно быть, и видел сегодня, непременно — они...

И Тарашкин рассказал с обстоятельными подробностями о двух личностях, причаливших на рассвете к болотистому берегу.

Шельга слушал, поддакивал: «так, так», глаза у него стали, как щелки.

— Пойдем, покажи дачу, — сказал он отрывисто и привычным движением тронул висевшую сзади на ремне кобуру револьвера.

6.

Дача в голом березовом леску была действительно барахло.

Крыльцо сгнило, и листы железа висели на нем. Окна заколочены досками поверх ставень. В мезонине выбиты стекла. Углы дома под остатками водосточных труб поросли зеленым мхом.

— Вы правы — на даче живут, — сказал Шельга, сначала осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обойдя ее кругом. — Сегодня здесь были. Вход через черное крыльцо... но за каким дьяволом им понадобилось лазить в окошко? Тарашкин, идите-ка сюда, здесь не совсем ладно.

Шельга и Тарашкин подошли к черному крыльцу. На нем были видны песчаные отпечатки подошв. Налево от крыльца, на окне, висела боком ставня — свежесорванная. Окно раскрыто внутрь. Под окном, на влажном песке, опять отпечатки ног. Следы большие, видимо, тяжелого человека и другие — поменьше, с углублениями от гвоздей.

— На крыльце следы другой обуви, — сказал Шельга.

Он заглянул в окно, тихо свистнул, потом позвал: «Ей, дядя, тут у вас окошко отворено, кабы чего не унесли». Никто не ответил. Из полутемной комнаты тянуло сладковатым, неприятным запахом.

Шельга позвал еще раз, громче, поднялся на подоконник, вынул из кабуры револьвер и мягко спрыгнул в комнату. Полез за ним и Тарашкин.

Первая комната была пустая, под ногами валялись битые кирпичи, штукатурка. Из полуоткрытой двери пахло сладким и неприятным.

Вторая комната оказалась кухней. Здесь на плите под ржавым колпаком на столах и табуретах стояли примусы, фарфоровые тигли, стеклянные,

металлические реторты, банки и ящики с препаратами. Один из примусов еще шипел, догорая.

Шельга опять окликнул. Покачал головой и осторожно приотворил дверь в полутемную комнату, прорезанную плоскими, сквозь щели ставень, лучами солнца.

— Вот он! — сказал Шельга. Они подошли в глубине комнаты к железной кровати. На ней навзничь лежал одетый человек. Руки его были закинуты за голову и прикручены к прутьям кровати. Ноги обмотаны веревкой. Пиджак и рубашка на груди разорваны. Голова неестественно запрокинута бородой торчком.

— Ага, вот они как его, — сказал Шельга, осматривая под соском убитого, глубоко, до рукоятки, загнанный финский нож. — Они его пытали... Смотрите...

— Василий Витальевич, это тот самый, кто на лодке пришел, его не больше часа полтора тому назад убили.

— Будьте здесь, караульте, — ничего не трогать, никого не пускать. Слышите, Тарашкин.

Через несколько минут Шельга говорил по телефону из клуба:

— Наряд на вокзалы... Проверять всех пассажиров... Наряд во все гостиницы. Проверить всех, кто возвратился между шестью и восемью утра. Агента и собаку в мое распоряжение.

7.

До прибытия собаки-ищейки, Шельга приступил к тщательному осмотру дачи, начиная с чердака.

Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев. Окна затянуты паутиной, в углах — поросли грибов. Дача, видимо, была заброшена еще с 1918 года. Обитаемыми оказались только кухня и комната с железной кроватью. Нигде ни признака удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булки и куска колбасы, завернутыми в лист чистой бумаги.

Здесь не жили, сюда приезжали делать что-то, что нужно было скрывать. Таково было первое положение, полученное Шельгой в результате обыска. Исследование кухни показало, что здесь работали над какими-то химическими препаратами. Шельга нашел в цинковых ящиках большое количество древесного угля, серы, порошка аллюминия, окиси железа, металлического натрия, желтого фосфора. Некоторых материалов он не мог определить. Исследуя кучки золы на плите под колпаком, где, очевидно, производились химические пробы, перелистав несколько брошюр по неорганической химии с загнутыми уголками страниц, он установил второе: убитый человек занимался, всего-на-всего, невинной пиротехникой.

Такое умозаключение поставило Шельгу в тупик. Он еще раз обыскал платье убитого, нового ничего не обнаружил. Тогда он подошел к вопросу с другой стороны.

Следы ног у окна показывали, что убийц было двое, что они прямо, обходя крыльцо, проникли через окно, неминуемо рискуя встретить сопротивление, так как человек на даче не мог не услышать треска срываемой ставни.

Это означало, что убийцам во что бы то ни стало нужно было либо получить что-то чрезвычайно важное, либо умертвить человека на даче.

Далее: если предположить, что они хотели просто умертвить его, то, во-первых, они могли это сделать проще и легче, подкараулив его, скажем, по пути на дачу и не рискуя шумом или сопротивлением, и, во-вторых, положение убитого на кровати показывало, что его пытали, прижигая сигарой, выкручивая руки, и зарезан он был не сразу — кололи его во многих местах. Убийцам нужно было узнать что-то от этого человека, чего он, видимо, не хотел сказать.

Что они могли выпытывать у него? Деньги? Трудно предположить, чтобы человек, отправляясь ночью на заброшенную дачу заниматься пиротехникой, стал брать с собой большие деньги. Вернее, убийцы хотели знать какую-то тайну, связанную с ночными занятиями убитого.

Таким образом ход мыслей привел Шельгу к новому исследованию кухни. Он отодвинул от стены ящики и обнаружил квадратный люк в подвал, который часто устраивают на дачах прямо под кухней. Тарашкин зажег огарок и лег на живот, освещая сырое подполье, куда Шельга осторожно спустился по сгнившей лестнице.

— Идите сюда со свечкой, — крикнул из темноты Шельга, — вот у него где была настоящая лаборатория.

Подвал занимал площадь под всей дачей. У кирпичных стен стояло несколько досчатых столов на козлах, балоны с газом, небольшой мотор и динамо, стеклянные ванны, в которых обычно производят электролиз, слесарные инструменты и повсюду на столах — кучки пепла. Большая керосиновая лампа висела под потолком. Здесь, очевидно, производились опыты.

— Вот они чем тут занимались, — с некоторым недоумением сказал Шельга, рассматривая прислоненные к одной из стен подвала толстые деревянные бруски и листы железа. И листы, и бруски во многих местах были просверлены, а иные разрезаны пополам, места разрезов и отверстий казались слегка обожженными.

В дубовой доске, стоящей торчмя, отверстия эти были диаметром в десятую долю миллиметра, точно от укола иголкой. Посредине доски выведено вязью большими буквами: «П. П. Гарин». Шельга перевернул доску и на обратной стороне оказались те же буквы: каким-то непонятным способом трехдюймовая доска была прожжена этой надписью насквозь.

— Фу, ты чорт, — сказал Шельга, — выпуская воздух из надутых щек, — нет, П. П. Гарин здесь не пиротехникой занимался.

— Василий Витальевич, а это что такое? — спросил Тарашкин, показывая спресованную из какого-то вещества пирамидку дюйма полтора высоты, около дюйма в основании.

— Где вы нашли?

— Их там целый ящик.

Повертев, понюхав пирамидку, Шельга поставил ее на край стола, воткнул сбоку в нее зажженную спичку и отошел в дальний угол подвала. Спичка догорела, пирамидка вспыхнула ослепительным бело-голубоватым светом. Горела пять минут с секундами без копоти, почти без запаха.

— Рекомендую в следующий раз никогда таких опытов не производить, — сказал Шельга, — пирамидка могла оказаться сильно взрывчатой, либо газовой свечкой. Тогда бы мы не ушли из подвала. Очень хорошо, — что же мы узнали? Попробуем установить, — во-первых, убийство было не с целью мщения или грабежа. Во-вторых, установим фамилию убитого — П. П. Гарин. Вот пока и все. Вы хотите возразить, Тарашкин, что, может быть, П. П. Гарин тот, кто уехал на лодке? Не думаю. Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Если бы я, скажем, изобрел какую-нибудь такую замечательную штуку, то уж наверно от восторга написал бы свою фамилию, но уж никак не вашу, Тарашкин. Мы знаем, что убитый работал в лаборатории — значит он и есть изобретатель, то-есть — Гарин.

Шельга и Тарашкин вылезли из подвала и, закурив, сели на крылечке, на солнцепеке, поджидая агента с собакой.

8.

В одно из окошек приема заграничных телеграмм на главном почтамте просунулась изуродованная рука и повисла с дрожащим между пальцами телеграфным бланком.

Телеграфист взял бланк и не сразу понял его содержание — мешала какая-то странность. Он взглянул на руку — сухая, красноватая с сильно загнутыми холеными ногтями. «Ну, да, четыре ногтя, пятого пальца нет — мизинца», — и, успокоясь, телеграфист стал читать бланк.

«Варшава, Маршалковская, Семенову. Поручение выполнено наполовину, инженер отбыл, документы получить не удалось, жду распоряжений. Стась».

Телеграфист подчеркнул красным — Варшаву. Поднялся и, заслонив собой окошечко, стал глядеть через решетку на подателя телеграммы. Это был массивный, средних лет человек с нездоровой желтовато-серой кожей надутого лица, с висячими, прикрывающими рот желтыми усами. Глаза спрятаны под щелками опухших век. На обритой голове коричневый бархатный картуз.

— В чем дело?! — спросил он грубо: — принимайте телеграмму.

— Телеграмма шифрованная, — сказал телеграфист.

— То есть как шифрованная? что вы мне ерунду порете, это коммерческая телеграмма, вы обязаны принять. Я покажу удостоверение, я состою при польском консульстве, вы ответите за малейшую задержку.

Желтый господин рассердился и тряс щеками, не говорил, а лаял, — но четырехпалая рука его на прилавке окошечка продолжала дрожать так же, как при подаче телеграммы.

— Видите ли, гражданин, — говорил ему телеграфист, — у нас в Республике порядки другие, чем у вас в Польше, у нас каждый гражданин должен быть сознательный, и я вижу, — хотя вы говорите, что ваша телеграмма коммерческая, — а по-моему политическая, шифрованная. Можете на меня жаловаться, но без разрешения начальника почтамта телеграммы не приму.

Телеграфист усмехался. Желтый господин, гневаясь, повышал голос, а между тем телеграмму его незаметно взяла барышня и отнесла к столу, где Василий Витальевич Шельга просматривал всю подачу телеграмм этого дня.

Взглянув на бланк «Варшава, Маршалковская» он сейчас же вышел за перегородку в зал и остановился позади сердитого отправителя.

— Хорошо, — говорил ему телеграфист, заметив нетерпеливый знак Шельги, — ваше удостоверение в порядке, телеграмму я приму, но, что касается панской политики, — вы бы, гражданин, постыдились ее оправдывать...

Он повел губами — трубочкой — направо, налево и сел писать квитанцию. Поляк тяжело сопел от злости, переминаясь, скрипел лакированными башмаками. Шельга внимательно глядел ему на ноги. Затем отошел к выходным дверям, кивнул пальцами дежурному агенту и показал на поляка:

— Проследить.

Вчерашние поиски с ищейкой привели от дачи к реке Крестовке, где и оборвались: здесь убийцы, очевидно, сели в лодку. Вчерашний день не принес новых данных. Преступники, по всей видимости, были хорошо скрыты в Ленинграде. Не дал ничего и просмотр телеграмм. Только эта последняя, пожалуй, — в Варшаву Семенову, — представляла некоторый интерес. Но, всего вероятнее, и она была обычная, коммерческая и отправитель — один из рядовых агентов польской миссии.

Телеграфист подал поляку квитанцию, тот полез в жилетный карман за мелочью. В это время к окошечку быстро подошел с бланком в руке красивый, темноглазый человек с бородкой и, поджидая, когда место освободится, со спокойным недоброжелательством глядел на живот сердитого господина.

Шельга увидел, как человек с бородкой вдруг весь строго подобрался, — он заметил четырехпалую руку и сейчас взглянул поляку в лицо.

Глаза их встретились. У поляка отвалилась челюсть. Опухшие веки раскрылись. В мутных глазах огоньком сумасшествия мелькнул ужас. Лицо его, как у чудовищного хамелеона, изменилось — стало свинцовым.

И тогда только Шельга понял, — узнал стоявшего перед поляком человека с бородкой: это был двойник убитого вчера на Крестовском... Василий Витальевича точно ударило по глазам, и он потерял непростительные для спортсмена несколько нужных секунд.

Поляк хрипло вскрикнул и понесся с невероятной быстротой к выходу. Дежурный агент, которому было приказано лишь следить за ним издали, — беспрепятственно пропустил его на улицу и проскользнул вслед.

Двойник убитого остался спокойно стоять у окошечка. Холодные, с темным ободком глаза его не выражали ничего, кроме изумления. Он пожал плечом, когда поляк скрылся, и подал телеграфисту бланк. Шельга прочел из-за его плеча:

«Париж, Бульвар Батиньель, до востребования, номеру 555. Немедленно приступите к анализу, качество повысить на пятьдесят процентов, в середине мая жду первой посылки. П. П.».

— Телеграмма касается ученых работ, ими сейчас занят мой товарищ, командированный в Париж Институтом Неорганической Химии, — сказал он телеграфисту, опять было начавшему складывать губы трубкой. Затем неспеша и методично потянул из кармана папиросную коробку, постукал папиросой и осторожно закурил ее. Тогда Шельга учтиво сказал ему:

— Разрешите вас на два слова.

Человек с бородкой стремительно взглянул на него, опустил ресницы и ответил с крайней любезностью:

— Пожалуйста.

Взял квитанцию, запахнул пальто и — снова с вежливой улыбкой:

— Пожалуйста.

– Я агент уголовного розыска, — сказал Шельга, приоткрывая карточку, — может быть, поищем более удобное место для разговора.

— Вы хотите арестовать меня?

— Ни малейшего намерения. Я хочу вас предупредить, что поляк, который отсюда выбежал, намерен вас убить так же, как вчера на Крестовском он убил инженера Гарина.

Человек с бородкой на минуту задумался. Ни вежливость, ни спокойствие не покинули его.

— Пожалуйста, — сказал он, — идемте, у меня четверть часа свободного времени.

9.

На улице близ почтамта к Шельге подбежал дежурный агент, — губы трясутся, щеки в багровых пятнах.

— Василий Витальевич, он ушел.

— Зачем же вы его упустили?

— Его автомобиль ждал, Василий Витальевич.

— Где ваш мотоциклет?

— Вон, валяется, — сказал агент, показывая на мотоцикл в ста шагах от почтамтского подъезда, — он подскочил — и ножем по шине. Я засвистал. Он — в машину и — ходу.

— Заметили номер автомобиля?

— Нет.

— Почему? Я подам на вас рапорт за нераспорядительность.

— Василий Витальевич, у него номер нарочно весь грязью залеплен.

— Хорошо, идите в Угрозыск, через двадцать минут и я буду.

Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча. Свернули к бульвару Профсоюзов.

— Вы поразительно похожи на убитого, — сказал Шельга.

— Мне это неоднократно приходилось слышать, моя фамилия Пьянков-Питкевич, — с готовностью ответил человек с бородкой. — Во вчерашней вечерней я прочел об убийстве Гарина. Это ужасно. Я хорошо знал его. Дельный работник, прекрасный химик. Я часто бывал в его лаборатории на Крестовском. Он готовил крупное открытие по военной химии. Вы имеете понятие о так называемых дымовых свечах?

— Как вы думаете — убийство Гарина связано с интригами Польши?

— Не думаю. Подкладка убийства гораздо серьезнее. Сведения о работах Гарина попали в американскую печать. Польша могла быть только передаточной инстанцией.

На бульваре Профсоюзов Шельга предложил присесть. Сели на скамью. Было безлюдно. Вдали дворник лениво мел улицу. Шельга вынул из портфеля вырезки из русских и иностранных газет, разложил на коленях.

— Вы говорите, что Гарин работал по химии, сведения о нем проникли в зарубежную печать. Здесь кое-что совпадает с вашими словами, кое-что мне не совсем ясно. Вот прочтите:

...«В Америке заинтересованы сообщением о работах одного русского изобретателя. Предполагают, что его прибор обладает наиболее могучей изо всех известных до сих пор разрушительной силой».

Питкевич прочел, улыбаясь углом рта, полез в карман за папиросами:

— Странно, — сказал он, — не знаю... Нет, это не про Гарина, это другое.

Шельга подал вторую вырезку:

...«В связи с предстоящими большими маневрами американского флота в Тихоокеанских водах, был сделан запрос в военном министерстве,— известно ли о приборах колоссальной разрушительной силы, строящихся в России, что должно внушать некоторые опасения как со стороны усиления Советских Республик, так и со стороны недавней русско-японской дружбы»...

— Любопытно, — сказал Питкевич и взял у Шельги третью вырезку:

...«Химический король, миллиардер Роллинг, отбыл в Европу. Его отъезд связан с организацией могущественного треста заводов, обрабатывающих продукты угольной смолы и поваренной соли. Этот химический кулак будет угрозой для всякой попытки нарушить мировое равновесие и заставит Советские Республики задуматься над долговечностью их строя и дальнейшей возможностью вести разрушительную пропаганду».

Питкевич сказал, слегка нахмурив брови:

— Да, это прямо касается дела, которым занимался Гарин. Весьма возможно — его убийство связано как-то с этой заметкой.

...«В отделе изобретений, — прочел он, затем, вырезку из Московской «Правды», — получено сведение, что в Ленинграде в одной из частных лабораторий ведутся интересные работы в области передачи тепловой энергии на большое расстояние».

— Да, вот это, несомненно, сообщение о несчастном Гарине.

— Вы спортсмен? — неожиданно спросил Шельга, взял его руку и повернул ее ладонью вверх, — я сам страстно увлекаюсь спортом.

— Вы смотрите, нет ли у меня мозолей от весел, товарищ Шельга?.. Видите два пузырька — это указывает, что я плохо гребу и что я два дня тому назад, действительно, греб около полутора часов под-ряд, отвозя Гарина в лодке на Крестовский остров... Вас удовлетворяют эти сведения?..

Шельга отпустил его руку и засмеялся.

— Вы молодчина, товарищ Питкевич, с вами любопытно было бы повозиться всерьез.

— От серьезной борьбы я никогда не отказываюсь.

— Скажите, Питкевич, вы знавали раньше этого поляка с четырьмя пальцами?

— Вы хотите знать, — почему я изумился, увидя у него четырехпалую руку. Вы очень наблюдательны, товарищ Шельга. Да, я изумился... больше — я испугался.

— Почему?

— Ну, вот, этого я вам не скажу.

Шельга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара.

Питкевич продолжал:

— Скажу больше — у него не только изуродована рука, — у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал его Гарин в 1919 году. Человека этого зовут Стась Тыклинский... Раньше он носил большую бороду...

— Что же, — спросил Шельга, — покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трехдюймовые доски?

Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу: один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто.

— Арестовать меня, все-таки, вы намереваетесь, товарищ Шельга?

— Нет... Это мы всегда успеем.

— Вы правы Я знаю много. Но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешен, вы сами знаете. Хотите — игру, в открытую? Условия борьбы таковы: после хорошего удара мы встречаемся и откровенно беседуем. Это похоже на шахматную партию. Запрещенные приемы — убивать друг друга до смерти. Кстати — покуда мы с вами беседуем, вы раза три подвергались смертельной опасности, уверяю вас — я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, его нашли бы через некото-

рое время безнадежно мертвым, с отвратительными пятнами на теле... Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану... Хотите партию?

— Ладно. Согласен, — сказал Шельга, блестя глазами, — нападать буду я первым, так?

— Разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырехпалого поляка—обещаю вам помогать в его розыске. Где бы его ни встретил — я вам телеграфирую.

— Ладно. А теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штука такая, чем вы грозитесь?..

Питкевич качнул головой, усмехнулся: — «будь по-вашему — игра открытая» и осторожно вынул из бокового кармана плоскую металлическую коробку. В ней лежали перчатка из коричневой замши и металлическая в палец толщины трубка.

10.

Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился, — будто налетел на невидимую стену: «Хе! — выдохнул он, — хе! — и бешено топнул ногой, — ах, ловкач, ах, артист!»

Шельга действительно был одурачен в чистую. Он стоял в двух шагах от убийцы (в этом теперь не было сомнения) и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьанков-Питкевич владел какой-то тайной... Шельга вдруг понял, — именно государственного, мирового значения была эта тайна... Он уже за хвост держал Пьанкова-Питкевича, — вывернулся, проклятый, обошел.

Шельга вбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе, освещенном боковым светом низкого, у самого пола, полукруглого окна, лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смирный толстенький человек в смазных сапогах и байковой куртке. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге:

— Бабичев, управдом, — сказал он с сильно самогонным духом, — по Пушкарской улице двадцать четвертый номер дома, жилтоварищество.

— Это вы принесли пакет?

— Я принес. Из квартиры номер тринадцатый. Это не в главном корпусе, а в пристроечке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона, — домоуправ прикрыл рот рукой, щеки его покраснели, глаза слегка вылезли; увлажнились, дух самогона наполнил комнату, — значит, этот пакет я нашел дополнительно в печке.

— Фамилия пропавшего жильца?

— Савельев, Иван Алексеевич.

Шельга развернул пакет. Там оказались — фотографическая карточка Пьанкова-Питкевича, гребень, ножницы и склянка темной жидкости (краска для волос).

— Чем занимался Савельев?

— По ученой части. Когда у нас фановая труба, конечно, лопнула — комитет к нему обратился... Он: — «рад бы, — говорит. — вам помочь, но я — химик»

— Он часто отлучался по ночам с квартиры?

— По ночам? Нет. Не замечалось, — управдом опять прикрыл рот,— чуть свет он — со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам — не замечалось, пьяным не видели.

— Ходили к нему знакомые?

— Не замечалось.

Шельга по телефону запросил отдел милиции Петроградской стороны, — оказалось в пристройке дома, двадцать четыре по Пушкарской, действительно, проживал Савельев Иван Алексеевич, тридцати шести лет, инженер-химик. Поселился на Пушкарской в феврале с удостоверением личности, выданным Тамбовской милицией.

Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтанку, где в отделе уголовного следствия, на леднике, лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нем признал жильца из тринадцатого номера.

11.

В то же приблизительно время тот, кто называл себя Пьанковым-Питкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из пустырей на Петроградской стороне близ Малого проспекта, расплатился и пошел по тротуару вдоль пустыря. Улица была пустынна, — он открыл калитку в досчатом заборе, миновал двор, где между остатками асфальта уже начала зеленеть трава и поднялся по узкой лестнице черного хода на пятый этаж. Двумя ключами открыл дверь, повесил в пустой прихожей на единственный гвоздь пальто и шляпу, вошел в комнату, где четыре окна до половины были замазаны мелом, сел на диван и закрыл лицо руками.

Только здесь в уединенной комнате (уставленной книжными полками и физическими приборами), он мог отдаться, наконец, ужасному волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего дня.

Его руки, сжимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность еще не миновала. Он был в окружении. Какие-то небольшие возможности складывались в его пользу, но из ста девяносто пять было против.

«Как неосторожно, ах, как неосторожно», — прошептал он. Подсунул под голову подушку, лег навзничь и закрыл глаза. Мускулы его мыслей, перегруженные страшным напряжением, распрямились и отдыхали. Несколько минут мертвой неподвижности освежили его. Он поднялся, налил стакан мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу, он как бы воздухом вымыл себе руки, сильно провел по глазам и стал шагать по комнате с методичной неторопливостью, ища этих небольших возможностей к спасению.

Он осторожно отогнул полосу старых обоев, вынул из-за них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полок все физические приборы, отобрал несколько книг и все это, вместе с чертежами, уложил в чемодан. Поминутно останавливаясь, прислушиваясь, отнес чемодан вниз и в одном из темных дровяных подвалов спрятал его под гнилыми рогожами. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман.

Было без четверти пять. Он лег и курил одну папиросу за другой, бросая окурки в угол. «Разумеется, они не нашли», — почти закричал он, сбрасывая ноги с дивана. И снова бегал по диагонали комнаты, мыл воздухом руки. В сумерки он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дома.

12.

В полночь, в шестнадцатом отделении милиции, был вызван к телефону дежурный. Торопливый голос проговорил ему в ухо:

— На Крестовский, на дачу, где позавчера было убийство, послать немедленно помощь...

Голос прервался. Дежурный сволочнулся в трубку. Вызвал проверочную. Оказалось, что звонили из Гребной школы. Позвонил в Гребную школу. Там долго трещал телефон, наконец, заспанный голос проговорил:

— Что нужно?

— От вас сейчас звонили?

— Звонили, — зевнув, сказал голос.

— Кто звонил?.. Вы видели?

— Нет, у нас электричество испорчено... Сказали, что по поручению товарища Шельги, — я пустил...

Через полчаса четверо милиционеров выскочили из грузовичка у заколоченной дачи на Крестовском. За березами тускло багровел остаток зари. В тишине слышались слабые стоны. Человек в тулупе лежал ничком близ черного крыльца. Его перевернули, — оказался сторож. Около него валялась вата, пропитанная хлороформом.

Дверь крыльца была раскрыта настежь, замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, — из подполья чей-то заглушенный голос стал кричать:

— Люк, отвалите люк на кухне, товарищи...

Столы, ящики, тяжелые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка. Из подполья выскочил Шельга, — весь в паутине, в пыли, глаза дикие:

— Скорее, сюда! — крикнул он, исчезая за дверью, — свет, скорее!

В комнате (с железной кроватью) в свете потайных фонарей увидали на полу два расстрелянных револьвера, коричневый бархатный картуз и отвратительные, с едким запахом, следы рвоты...

— Осторожнее! — крикнул Шельга. — Не дышите, уходите, это — смерть!

Отступая, тесня к дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяющуюся на полу металлическую трубку величиной с человеческий палец.

13.

Как все, крупного масштаба, деловые люди, — химический король Роллинг принимал по делам в особо для того снятом помещении, офисе, где два его секретаря фильтровали посетителей устанавливали степень их важности. читали мысли и с чудовищной вежливостью отвечали на все вопросы; стенографистка превращала в кристаллы человеческих слов идеи Роллинга, которые (если взять их арифметическое среднее за год и умножить на денежный эквивалент) стоили приблизительно: пятьдесят тысяч долларов каждый протекаемый за одну секунду отрезок идеи короля неорганической химии; миндалевидные ногти четырех машинисток не переставая порхали по клавишам четырех Ундервудов; мальчик для поручений (с пуговичками) немедленно после звонка вырастал перед глазами Роллинга, как сгустившаяся материя его воли.

Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьезным помещением. Темного штофа стены, темные бобрики на полу, темная кожаная мебель. На темных столах, покрытых стеклом — сборники реклам, справочные книги в коричневой юфте, проспекты химических заводов, заржавленный бомбомет, привезенный с полей войны и поставленный у камина в виде украшения.

За высокими, темного ореха, дверями в кабинете среди диаграмм, картограмм и фотографий сидел химический король. Профильтрованные посетители неслышно по бобрику входили в приемную, садились на кожаные стулья и с глухим волнением глядели на ореховую дверь: там за дверью самый воздух в кабинете химического короля был неимоверно драгоценен, так как его пронизывали мысли, стоящие пятьдесят тысяч долларов в секунду.

Какое человеческое сердце могло бы не дрогнуть, когда среди почтенной тишины приемной вдруг защевелится бронзовая, в виде лапы, держащей шар, массивная ручка ореховой двери, откроется щель света и в двухсаженном просвете двери появится маленькой человек в сером пиджачке, с известной всему миру бородкой, покрывающей щеки, мучительно-неприветливый, острый, как шип... появится и вонзится глазами в того, в кого нужно, и проговорит с сильным американским акцентом: «прошу»...

И раньше до Роллинга бывали великие люди. Но скажем — войди в эту приемную, на бульваре Мальзерб, Чингисхан, или Карл Великий, или сам Наполеон,—смутились бы, заробели, бедняги, ни с того ни с сего принялись бы смущенно улыбаться и, глядишь, не прошло и минуты, — герой, про которого мы все учили в истории, сидит смирно на кожаном стуле и не сводит глаз с ореховой двери, даже не мигает, чтобы не пропустить, когда пошевелится бронзовая лапа, держащая шар.

14.

Секретарь (с чудовищной вежливостью) спросил, держа золотой карандашик двумя пальцами:

— Простите, месье, ваше фамилия?

— Полковник Шаповалов, русский... эмигрант, как видите. Крупный помещик.

Отвечавший сердито вскинул плечи и скомканным платком провел по серым усам.

Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших, дружеских вещей, пролетел карандашем по блок-нотику и спросил совсем уже осторожно:

— Какая цель, месье Шаповалов, вашей предполагаемой беседы с мистером Роллингом?

— Чрезвычайная, весьма существенная...

— Быть может, я попытаюсь изложить ее, вкратце, для представления мистеру Роллингу?

— Видите ли, — цель, так сказать, проста: план... Обоюдная выгода...

— План, касающийся химической борьбы с большевиками, я так понимаю? — спросил секретарь.

— Совершенно верно... Я намерен предложить мистеру Роллингу...

— Я боюсь, — проговорил секретарь и приятное лицо его изобразило даже страдание, — боюсь, что мистер Роллинг немного перегружен подобными планами. С прошлой недели к нам поступило от одних только русских сто двадцать четыре предложения о химической войне с большевиками. У нас в портфеле имеется прекрасная диспозиция воздушно-химического нападения одновременно на Харьков, Москву и Ленинград. Автор диспозиции остроумно развертывает силы на плацдармах буферных государств, — очень, очень интересно. Автор дает даже точную смету: 6.850 тонн горчичного газа, для поголовного истребления жителей в этих столицах.

Полковник Шаповалов, побагровев от страшного прилива крови, перебил:

— В чем же дело, мистер, как вас... Мой план не хуже, но и этот — превосходный план. Надо действовать. От слов к делу... За чем же остановка?

— Дорогой полковник, остановка только за тем, что мистер Роллинг пока еще не видит эквивалента своим расходам.

— Какого такого эквивалента? — спросил полковник.

— Сбросить 6.850 тонн горчичного газа с аэропланов не составит труда для мистера Роллинга, но на это потребуются некоторые расходы. Война стоит денег, не правда ли? В представляемых планах мистер Роллинг пока что видит одни расходы. Но эквивалента, т.-е. дохода с предприятия — в этих планах по досадной случайности не указывается.

— Ясно как божий день... доходы... колоссальные доходы всякому, кто возвратит России законных правителей, законный, нормальный строй — золотые горы такому человеку, — полковник, как орел из-под косматых бровей, уперся глазами в секретаря. — Ага! Значит указать также и доходы?

— Точно, вооружась цифрами: налево — пассив, направо — актив, затем — черту и разницу со знаком плюс, которая может заинтересовать мистера Роллинга.

— Ага! — полковник засопел, надвинул пыльную шляпу, пошел к двери.

— Хорошо, ему нужен эквивалент, я покажу эквивалент.

15.

Не успел полковник выйти — в подъезде послышался протестующий голос мальчика, затем другой голос выразил желание, чтобы мальчишку взяли черти, и перед секретарем появился Семенов в расстегнутом пальто — в руке шляпа и трость, в углу рта изжеванная сигара.

— Доброе утро, дружище, — торопливо сказал он секретарю и бросил на стол шляпу и трость, — пропустите меня к королю вне очереди.

Золотой карандашик секретаря повис в воздухе:

— Но мистер Роллинг сегодня особенно занят...

— Э, вздор, дружище... У меня в автомобиле дожидается человек, — только что из Варшавы... Скажите Роллингу, что мы по делу Гарина.

У секретаря взлетели брови. Едва касаясь лакированными туфлями бобрика, он прошел в ореховую дверь.

Два десятка дельцов приподнялись, задержали дыхание и опять сели на кожаные стулья. Секретарь почти тотчас же выскользнул из кабинета. Брови подняты выше. Рысцой пролетел по бобрикам, позвал Семенова и препроводил его за ореховую дверь, после чего только взял из бокового карманчика шелковый платочек и поднес его к губам.

Семенов встал перед глазами химического короля. Семенов не выразил при этом особого волнения, во-первых, потому, что по натуре был хам, во-вторых, потому, что в эту минуту король нуждался в нем больше, чем он в короле.

Роллинг просверлил его зелеными глазами. Семенов, и этим не смущаясь, сел напротив него по другую сторону стола. Роллинг сказал:

— Ну?

— Дело сделано.

— Чертежи?

— Видите ли, Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение...

— Я спрашиваю, где чертежи? Я их не вижу, — сквозь зубы свирепо сказал Роллинг и ладонью три раза легко ударил по столу.

— Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор... Я сделал колоссально много... Нашел людей..

Послал их в Петербург... Они проникли в лабораторию Гарина. Они видели действие прибора... Но тут, чорт его знает, что-то случилось... Во-первых, Гариных оказалось двое.

— Я это предполагал в самом начале, — брезгливо сказал Роллинг.

— Одного нам удалось убрать.

— Вы его убили?

— Если хотите — что-то в этом роде. Во всяком случае он умер. Вас это не должно беспокоить: ликвидация произошла в Петербурге, сам он советский подданный, — пустяки... Но затем появился его двойник... Тогда мы сделали чудовищное усилие...

— Одним словом, — перебил Роллинг, — двойник или сам Гарин жив, и ни чертежей, ни приборов вы мне не доставили, несмотря на затраченные мною деньги.

— Хотите — я позову — в автомобиле сидит Стась Тыклинский, участник всего этого дела, — он вам расскажет подробно.

— Не желаю видеть никакого Тыклинского, мне нужны чертежи и прибор... Удивляюсь вашей смелости — являться с пустыми руками...

Несмотря на холод этих слов, — температуры, приблизительно, междупланетного пространства, — несмотря на то, что, окончив говорить, Роллинг смертельно посмотрел на Семенова, уверенный, что паршивый русский испепелится и исчезнет без следа, — Семенов подмигнул, сунул в рот изжеванную сигару и проговорил бойко:

— Не хотите видеть Тыклинского и не надо, — удовольствие маленькое. Но, вот, какая штука: мне нужны деньги, Роллинг, — тысяч двадцать франков. Чек дадите, или наличными?

При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарины на мясистом носу, — такое он сделал над собой усилие, чтобы не въехать чернильницей в морду Семенову... (А сколько было потеряно драгоценнейших по пятидесяти тысяч долларов секунд во время этого дрянного разговора.) Овладев собою, он потянулся нажать кнопку звонка.

Семенов, следя за его рукой, сказал:

— Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже.

16.

Роллинг вскочил, — ноздри распахнулись, между бровей вздулась жила. Он подбежал к двери и запер ее на ключ, затем близко подошел к Семенову, взялся за спинку кресла, другой рукой вцепился в край стола. Наклонился к самому его лицу.

— Вы лжете!

— Ну, вот еще, стану я врать... Дело было так: Стась Тыклинский встретил этого гаринского двойника в Петербурге на почте, когда тот сдавал телеграмму, — и заметил адрес: Париж, бульвар Батиньоль... Вчера Тыклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Ба-

тиньоль, и — нос к носу напоролись в кафе на Гарина, или на его двойника, чорт их разберет.

Роллинг ползал глазами по веснущатому лицу Семенова. Затем выпрямился, из легких его вырвалось пережженое дыхание.

— Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, а в Париже, — сказал он: — если вы совершите преступление, спасать от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу...

Он вернулся на свое место, с отвращением раскрыл чековую книжку: «двадцать тысяч не дам, с вас довольно и пяти»... Выписал чек, ногтем кинул его по столу Семенову, и снова это был непроницаемый и уравновешенный король неорганической химии.

Семенов вышел из кабинета через маленькую дверь в штофных обоях.

17.

Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Монроз стала любовницей химического короля.

Только глупцы, да те, кто не знает, что такое борьба и победа — видят повсюду случай.

«Вот такому-то везет, чорт его подери, — говорят они с завистью, — за что ни возьмется — удача, полны карманы денег, женщины липнут, счастливый».

Удачников мало, потому что не так уж и много умных и волевых людей. Толпа (этот угрюмый, спаянный по одному лишь признаку — жажде наслаждения — коллектив буржуазного общества) смотрит на них, как на чудо, с трепетом и завистью. Когда счастливец сорвется — тысячи дураков неудачников со сладострастием растопчут его, отвергнутого божественным случаем.

Зоя Монроз была умная и решительная женщина. Ум ее был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру в исключительное расположение к себе божественной фортуны (на колесе с крылышками).

В квартале, где она жила (левый берег Сены, улица Сены) в мелочных, колониальных, винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Монроз чем-то вроде святой, осененной благодатью счастья. Ее дневной автомобиль — черный лимузин, 24 HP, ее прогулочный автомобиль — красный полубожественный Рольс-Ройс, 80 HP, ее вечерняя электрическая каретка — внутри лилового стеганого шелка с вазочками для цветов и серебряными ручками и в особенности выигрыш в казино в Довилле полтора миллиона франков, — вызывали религиозное восхищение в квартале.

Половину выигрыша, осторожно с огромным знанием дела, Зоя Монроз «вложила» в прессу.

С октября месяца (начало парижского сезона) пресса «подняла красавицу Монроз на перья». Сначала в мелко-буржуазной газетке появился

пасквиль о разоренных любовниках Зои Монроз. «Красавица слишком дорого нам стоит», — восклицала газета. Затем влиятельный республиканский орган, ни к селу ни к городу, по поводу этого пасквиля загремел о мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «Пусть Зоя Монроз разорила дюжину иностранцев, — восклицала газета, — их деньги вращаются в Париже, они увеличивают на несколько единиц энергию жизни. Для нас Зоя Монроз лишь символ здоровых жизненных отношений, символ вечного движения, где один падает, другой подымается».

Портреты и биографии Зои Монроз сообщались во всех газетах:

«Ее покойный отец служил в императорской опере в С.-Петербурге. Восьми лет очаровательная малютка Зоя была отдана в балетную школу. Перед самой войной она ее кончила и дебютировала в балете с успехом, который не запомнит Северная столица. Но вот — война, и Зоя Монроз с юным сердцем, переполненным милосердия, бросается на фронт, одетая в ситцевое платьице с красным крестом на груди. Ее встречают в самых опасных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатиком среди урагана вражеских снарядов. Она ранена (что, однако, не нанесло ущерба ее телу юной Грации), ее везут в Петербург, и там она знакомится с капитаном французской армии, — агентом миссии. Революция. Россия предает союзников. Душа Зои Монроз потрясена Брестским миром. Вместе со своим другом французским капитаном она бежит на юг и там верхом на коне, с винтовкой в руках, прекрасная, как разгневанная богиня, борется с большевиками. Ее друг умирает от сыпного тифа. Французские моряки увозят ее на миноносце в Марсель. И вот она в Париже. Она бросается к ногам президента, прося дать ей возможность стать французской подданной. Она танцует в пользу несчастных жителей разрушенной Шампаньи. Она — на всех благотворительных вечерах. Она, как ослепительная звезда, упавшая на тротуары Парижа».

В общих чертах биография была правдива. В Париже Зоя быстро осмотрелась и пошла по линии: всегда вперед, всегда с боями, всегда к самому трудному и ценному. Она, действительно, разорила дюжину скоробогачей, тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспаленными щеками. Зоя была дорогая женщина, и они погибли, принужденные безумно играть.

Очень скоро она поняла, что скоробогатые молодчики не дадут ей большого шика в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в двадцатых годах двадцатого века это — химия.

Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом она узнала о предполагающейся поездке в Европу короля химии Роллинга.

Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там на месте купила с душой и телом репортера большой газеты, — совершенно безответственную личность, и в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой — химией, и даже вместо банальных бриллиантов носит по вечерам ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев.

Когда Роллинг сел на гигантский пароход, отходящий во Францию, — на верхней палубе, на площадке для тенниса, между широколистой пальмой, шумящей от морского ветра и деревом цветущего миндаля, сидела в плетеном кресле Зоя Монроз. Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе, кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монроз поставила условием подписать контракт на четырнадцать месяцев с неустойкой в миллион долларов.

О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфелева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорил о Зое Монроз и о химическом короле.

18.

Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Еще на пароходе Зоя Монроз сказала ему:

— Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я еще более удобна, чем как любовница. Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива. Вы большой человек. Я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте, — я пережила революцию, у меня был сыпняк, я дралась. Однажды я сидела на коне, с винтовкой поперек седла и глядела, как на габарите моста вешают четырех комиссаров. На мне была гимнастерка с погонами и шифром покойного императора. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью. Мстить, мстить без пощады... Залить облаками ядовитого газа всю Россию... Я хочу, чтобы вы стали владыкой мира...

Роллингу показалось занимательной ее ледяная страстность, ее мрачная ненависть. Он прикоснулся пальцем к кончику ее носа и сказал:

— Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента, вы сумасшедшая, в политике и делах вы всегда останетесь диллетантом.

В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала чудовищные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его называли «американским буйволом». Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шел напролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель: сосредоточение в одних (своих) руках мировой химической промышленности.

Зоя Монроз быстро изучила его характер, его приемы борьбы. Она поняла его силу и его слабость. Он плохо разбирался в политике и говорил иногда глупости о революции и о большевиках. Она незаметно окружила его нужными и полезными людьми. Свела его с миром журналистов и руководила беседами. Она покупала мелких хроникеров, на которых он не обращал внимания, — но они оказали ему больше услуг, чем солидные журналисты, потому что проникали, как москиты, во все щели жизни.

Когда она устроила в парламенте небольшую речь правого депутата: «о необходимости тесного контакта с американской промышленностью в целях химической обороны Франции», — Роллинг в первый раз по-мужски, дружески, со встряхиванием пожал ей руку:

— Очень хорошо, я беру вас в секретари с жалованием 27 долларов в неделю.

Роллинг поверил в полезность Зои Монроз и стал с ней откровенен по деловому, то-есть — до конца.

19.

Зоя Монроз поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, Семенов, состоял у нее на постоянном жаловании. Он был инженером-химиком выпуска военного времени, затем прапорщиком, затем белым офицером, в эмиграции звался «кольонель» и занимался мелкими комиссиями, начиная от перепродажи ношенных платьев бульварным девчонкам.

У Зои Монроз он заведывал контр-разведкой. Приносил ей советские журналы и газеты, сообщал сведения, сплетни и слухи. Он был исполнителен, боек и не брезглив.

Узнав с создании в Советской России Доброхима — Зоя пришла в ярость. Роллинг успокоил ее: «Вздор, у них нет денег, дальше газетных листов Доброхим не уйдет». Она не успокоилась. Семенов добывал ей теперь через шпионов все советские газеты. Она внимательно прочитывала их. Однажды очень взволнованная, она показала Роллингу вырезку из «Правды», где сообщалось о строящемся в Ленинграде приборе огромной разрушительной силы. Роллинг засмеялся:

— Вздор, никто не испугается... Просто вы стали слишком нервны, дорогая крошка.

Тогда Зоя пригласила к завтраку Семенова, и он рассказал по поводу этой заметки странную историю:

...«В девятнадцатом году в Петрограде незадолго до моего бегства, встречаю на улице приятеля, поляка, вместе с ним кончили технологический институт, — Стась Тыклинский. Мешок за спиной, ноги обмотаны кусками ковра, на пальто цифры мелом, — следы очередей. Словом все, как полагается. Но лицо оживленное. Подмигивает. В чем дело? Я, говорит, на такое золотое дело наскочил — ай люли, — миллионы, какой там, — сотни миллионы (золотых, конечно) вот здесь, — и хлопнул себя по карману до-

нельзя рваного пальто. Я, разумеется, пристал, — расскажи. Он смеется. На том и расстались. Недели через две после этого я проходил по Васильевскому острову, где жил Тыклинский. Вспомнил про его золотое дело, — думаю, дай попрошу у миллионера копченой свининки, сахару полфунтика. Зашел. Оказывается — Тыклинский лежит чуть ли не при смерти, — рука и грудь забинтованы. — «Кто это тебя так отделал?» — «Подожди, — отвечает, — святая дева поможет — поправлюсь — я его убью». — «Кого?» — «Гарина».

«И он рассказал, правда сбивчиво и туманно, не желая открывать мне подробности, про то, как давнишний его знакомый инженер Гарин предложил ему приготовить угольные свечи — пирамидки для какого-то прибора необыкновенной разрушительной силы. Чтобы заинтересовать Тыклинского, он обещал ему процент с барышей. Он предполагал по окончании опытов удрать с готовым прибором в Швецию, взять там патент и самому открыть производство.

«Тыклинский с увлечением начал работать над пирамидками. Задача была такова, чтобы при малом их объеме — выделялось возможно большее количество тепла. Устройство прибора Гарин держал в тайне, — говорил, что принцип его необычайно прост и поэтому малейший намек раскроет тайну. Опыты он производил где-то за городом. Тыклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упросить присутствовать при опытах.

«Такое недоверие бесило Тыклинского. Они часто ссорились. Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты. Это был полуразрушенный дом на одной из глухих улиц Петербургской стороны. Тыклинский пробрался туда вслед за Гариным, и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам с выбитыми окнами и, наконец, в подвале услышал сильное, точно от бьющей струи пара, шипение и знакомый запах горящих пирамидок.

«Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся о битые кирпичи, упал, нашумел и шагах в тридцати от себя за аркой увидел освещенное коптилкой перекошенное лицо Гарина. «Кто, кто это?» — дико закричал Гарин, и в это же время ослепительный луч, не толще вязальной иглы, соскочил со стены и резнул Тыклинского наискосок через грудь и руку.

«Тыклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь и на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью. Его подобрали прохожие, доставили на ручной тележке домой. Когда он выздоровел — началась война с Польшей, — ему пришлось уносить ноги за границу...».

Рассказ этот произвел на Зою Монроз чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался: он верил только в силу удушающих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздкие армии — все это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия — вот единственные могучие орудия войны. А какие-то там приборы из Ленинграда — вздор и вздор.

Но Зоя Монроз не успокоилась. Она послала Семенова в Финляндию, чтобы оттуда добыть точные сведения о Гарине. Белый офицер, нанятый Семеновым, перешел на лыжах русскую границу, собрал в Ленинграде све-

дения, но на обратном пути «засыпался» в ГПУ. Второй разведчик отыскал Гарина, говорил с ним и даже предложил ему совместно работать. Гарин держался очень осторожно. Видимо, ему было известно, что за ним внимательно следят из-за границы. О своем аппарате он говорил, в том смысле, что того, кто будет владеть им — ждет сказочное могущество. Опыты с моделью аппарата — дали блестящие результаты. Сейчас он ждал только окончания работ своих друзей-химиков над свечами-пирамидками.

20.

В дождливый воскресный вечер, начала весны, огни из окон и бесчисленные огни фонарей отражались в асфальтах парижских улиц.

Будто по черным каналам над бездной огней мчались кожаные, мокрые автомобили, бежали, сталкивались, крутились промокшие зонтики. Прелой сыростью бульваров, запахом овощных и кондитерских лавок, бензиновой гарью и духами была напитана дождевая мгла.

Дождь струился по графитовым крышам, по решеткам балконов, по огромным полосатым тентам, раскинутым над кофейнями. Мутно в тумане, зажигались, крутились, мерцали огненные рекламы всевозможных увеселений.

Люди маленькие, рабочие, приказчики и приказчицы, чиновники и служащие, — развлекались кто как мог в этот день. Люди большие, деловые, солидные сидели по домам у каминов. Воскресенье было днем черни, отданным ей на растерзание.

Зоя Монроз сидела, подобрав ноги, на широком диване среди множества подушечек. Она курила и глядела на огонь камина. Роллинг во фраке и лакированных туфлях помещался с ногами на скамеечке в большом кресле и тоже курил и глядел на угли.

Его освещенное камином лицо казалось раскаленно красным, мясистый нос, золотые клыки, щеки, заросшие щетинкой, полузакрытые веками, слегка воспаленные глаза повелителя вселенной. Он предавался хорошей скуке, необходимой раз в неделю, чтобы дать отдых мозгу и нервам.

Зоя Монроз протянула перед собой красивые, обнаженные руки и сказала:

— Роллинг, прошло уже два часа после обеда.

— Да, — ответил он, — я так же, как и вы, полагаю, что пищеварение окончено.

Ее прозрачные, почти мечтательные глаза скользнули по его лицу. Тихо, серьезным голосом она назвала его по имени. Он ответил, не шевелясь в нагретом кресле:

— Да, я слушаю вас, моя крошка.

Разрешение говорить было дано. Зоя Монроз пересела на край дивана, обхватив колено:

— Скажите, Роллинг, химические заводы представляют большую опасность для взрыва?

— О, да. Четвертое производное от каменного угля — тротил, чрезвычайно могучее взрывчатое вещество. Восьмое производное от угля — пикриновая кислота: ей начиняют бронебойные снаряды морских орудий. Но есть и еще более сильная штука, это — тетрил.

— А это что такое, Роллинг?

— Все тот же каменный уголь. Бензин (C_6H_6), который получается по прямому ряду, уголь, смола, бензол, смешанный при восьмидесяти градусах с азотной кислотой (HNO_3) — дает нитробензол. Формула нитробензола ($C_6H_5NO_2$). Если мы в ней две части кислорода (O_2) заменим двумя частями водорода (H_2), то-есть если мы нитробензол начнем медленно размешивать при восьмидесяти градусах с чугунными опилками, с небольшим количеством соляной кислоты, то мы получим анилин ($C_6H_5NH_2$). Анилин, смешанный с древесным спиртом при пятидесяти атмосферах давления, даст ди-метил-анилин. Затем выроем огромную яму, обнесем ее земляным валом, внутри поставим сарай и там произведем реакцию ди-метил-анилина с азотной кислотой. За термометрами во время этого будем наблюдать издали, в подзорную трубу. Реакция ди-метил-анилина с азотной кислотой даст нам тетрил. Этот самый тетрил настоящий дьявол: от неизвестных причин он иногда взрывается во время реакции и разворачивает в пыль огромные заводы. К сожалению, нам приходится иметь с ним дело: обработанный фосгеном — он дает синюю краску, — кристалл-виолет. На этой штуке я заработал хорошие деньги в прошлом году. Вы задали мне забавный вопрос... Гм... Я считал, что вы более осведомлены в химии... Гм... Чтобы приготовить из каменноугольной смолы, скажем, облаточку пирамидона, который, скажем, исцелит вашу головную боль, необходимо пройти длинный ряд ступеней... На пути от каменного угля до пирамидона, или до флакончика духов «голубой сон маркизы», или до обычного фотографического препарата — лежат такие дьявольские вещи, как тротил и пикриновая кислота, такие великолепные штуки, как бром-бензил-цианид, хлор-пикрин, ди-фенил-хлор-арсин и так далее и так далее, боевые газы, от которых чихают, плачут, срывают с себя маски, задыхаются, рвут кровью... покрываются нарывами, сгнивают заживо...

Так как Роллингу было скучно в этот дождливый воскресный вечер — он охотно предался размышлению о великом будущем химии.

— Я думаю (он понюхал сигару и поцыкал через золотой зуб), — я думаю, что бог Саваоф создал небо и землю и все живое из каменно-угольной смолы и поваренной соли. В библии об этом прямо не сказано, но можно догадываться. Тот, кто владеет углем и солью — тот владеет миром. Немцы полезли в войну 14 года только потому, что девять десятых химических заводов принадлежало Германии. Немцы понимали тайну угля и соли: они были единственной культурной нацией в то время. Одного лишь они не рассчитали, что мы, американцы, в девять месяцев сможем построить Эджвудский арсенал. Немцы открыли нам глаза, мы поняли, куда нужно вкладывать деньги, и теперь миром будем владеть мы, а не они, потому что деньги после войны — у нас, и химия — у нас, а у них осталась только рабочая сила. Мы

превратим Германию прежде всего, а за ней и другие страны, умеющие работать (неумеющие вымрут естественным порядком, в этом мы им поможем), превратим в одну могучую фабрику... Американский флаг опоящет землю, как бомбоньерку, по экватору и от полюса до полюса.

— Роллинг, — перебила Зоя, — вы сами накликаете беду... Ведь они тогда станут коммунистами... Прийдет день, когда они заявят, что вы им больше не нужны, что они желают работать для себя... О, я уже пережила этот ужас... Они откажутся вернуть вам ваши миллиарды...

— Тогда, моя крошка, я затоплю Европу горчичным газом.

— Роллинг! будет поздно! — Зоя стиснула руками колено, подалась вперед, лицо ее побледнело от волнения.

— Роллинг, поверьте мне, я никогда не давала вам плохих советов... Я спросила вас — представляют ли опасность для взрыва химические заводы... В руках рабочих, революционеров, коммунистов, в руках ваших врагов, — я это знаю, — окажется оружие чудовищной силы... Они смогут на расстоянии взрывать химические заводы, пороховые погреба, сжигать эскадрильи аэропланов, уничтожать запасы газов, все, что может взрываться и гореть.

Роллинг снял ноги со скамеечки, красноватые веки его мигнули, некоторое время он внимательно смотрел на молодую женщину.

— Насколько я понимаю, вы намекаете опять на..?

— Да, Роллинг, да, на аппарат инженера Гарина... Все, что о нем сообщалось, скользнуло по вашему вниманию... Но я-то знаю, насколько это серьезно... Семенов принес мне странную вещь. Он получил ее из России...

Зоя позвонила. Вошел лакей. Она приказала, и он принес небольшой сосновый ящик, в нем лежал отрезок стальной полосы толщиною в полдюйма. Зоя вынула кусок стали и поднесла к свету камина. В толще стали были прорезаны насквозь каким-то тонким орудием полоски, завитки, и наискосок, словно пером — скорописью, было написано: «проба силы... проба... Гарин». Кусочки стали внутри некоторых букв вывалились. Роллинг долго рассматривал полосу.

— Это похоже на «пробу пера», — сказал он негромко, — как будто писали иглой в мягком масле.

— Это сделано во время испытаний м о д е л и аппарата Гарина на расстоянии тридцати шагов, — сказала Зоя. — Семенов утверждает, что Гарин надеется построить аппарат, который легко, как масло, может разрезать дредноут на расстоянии двадцати кабельтовых... Простите, Роллинг, но я настаиваю, — вы должны овладеть этим страшным аппаратом.

Роллинг не даром прошел в Америке школу жизни. До последней клеточки он был вытренирован для борьбы.

Тренировка, как известно, точно распределяет усилия межу мускулами и вызывает в них наибольшее возможное напряжение. Так у Роллинга, когда он вступал в борьбу, сначала начинала работать фантазия, — она бросалась в девственные дебри предприятий и там открывала что-либо стоющее внимания. Стоп. Работа фантазии кончалась. Вступал здравый смысл, оце-

нивал, сравнивал, взвешивал, делал доклад: полезно. Стоп. Вступал практический ум, — подсчитывал, учитывал, подводил баланс: актив. Стоп. Вступала воля, крепости молибденовой стали, страшная воля Роллинга, и он, как буйвол, с налитыми глазами ломился к цели и достигал ее, чего бы это ему и другим ни стоило.

Приблизительно такой же процесс последовательного вступления мускулов произошел и сегодня. Роллинг окинул взглядом дебри неизведанного, здравый смысл сказал: Зоя права; практический ум подвел баланс: самое выгодное чертежи и аппарат похитить, Гарина ликвидировать. Точка. Судьба Гарина оказалась решенной, кредит открыт, вступила воля.

Роллинг поднялся с кресла, стал к огню камина и, раздвинув фалды фрака, чтобы греть зад (что было совсем излишне, так как в маленьком салоне было и без того жарко), сказал, выпячивая нижнюю челюсть:

— Завтра в десять с четвертью я жду Семенова на бульваре Мальзерб.

(Продолжение следует).

Каждый труд благослови удача
Рыбаку, чтоб с рыбой невода,
Пахарю, чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд ревнивый и влюбленный
На себе уставшем вспоминать.

Коростели свищут... коростели.
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я крестьянин
И теперь рассказываю сам.
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык.
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик.

Сергей Есенин.

Видно так заведено на веки.
К тридцати годам перебесясь,
Все сильней, прожженные калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.

Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днем.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.

Коль гореть — так уж гореть сгорая,
И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая —
Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка,
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу ни думать, ни робеть.

В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла.
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?

Может быть, целуясь до рассвета,
Он тебя расспрашивает сам,
Как смешного глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.

Ну, и что ж, пройдет и эта рана,
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

Сергей Есенин.

Тишина.

Раз перед ночью, часом осенним
Стоял я на горном валу —
Как на ладони лежала Армения
От Гокчи до Комарлу.

С запада пыль, тут непричем
Природа, — между амбаров
То молокане дерут кирпичем
Сотни своих самоваров.

Тут отношенье в тиши и глуши
Особое к чаю имелось,
Ибо вся крепость сектантской души
Без крепкого чая не крепость.

А на востоке мычанье стоит,
Встали стада великие —
Езидов стада это, всякий езид
Дьявола чтит, как владыку.

Рядом шатер со звездою простерт,
Загса шатер основался —
Так втихомолку — здесь дьявол живет
Через дорогу от Маркса.

С юга и севера дымок пошел,
Горбится словно кусты —
Это идет из армянских сел
Горький дымок нищеты.

Лишь кое-где он — а вот и совсем
Нет ничего — одна
Желтая горбь — и во всей красе
Теплая тишина.

Точно осыпалось небо вниз,
Скалы же газообразными
Стали — коричневый их карниз
Светится вкруг по-разному.

Не разобрать, где и когда
С небом земля встречается —
То ли ручей, то ли звезда,
Переливаясь, качается.

Тихо... Ни ветер, ни зверь не шуршит,
Бродят вечерние кручи.
Шагом янтарным, сверху вершин
Пылает пропасть летучая.

Дикою шалью лежит земля,
Днем далеко невзрачная —
Как прислонились вдали тополя —
Так и стоят прозрачными.

Камни плавают точно огни,
По тишине в развалку —
Но провожатый мой — армянин
С треском роняет палку.

— Вот непроворная груда, -
Спрашиваю: — старина,
Тишь-то какая — откуда
Такая здесь тишина?

Он наклоняется: камня горсть
Видишь — это аула кость.

— Татарские души дышали
Разбоем, дорогòй —
При них ступать не решались
Сюда ни одной ногой,

Аул шумел погоней
Пальба по им, по нам —
Мы начисто их — ты понял?
Оттуда и тишина...

... Так, принимая за водку ром,
Мы столковались. К чему спор?

С этим драконьим юмором
Вошел я в столицу гор.

В садах неизбежных, когда луной
Был город на́бело выкрашен,
Я виноградной дышал тишиной,
Не той, что указана выше.

Ну, просто вино курчавится
В стаканах, а фрукты пестрые —
Сидела с нами красавица,
Кусала пушок абрикоса.

Глаза ее в синем клекоте
Были влажны, длинны, ласковы —
Ресницы, брови, ногти
Покрыты персидской краской.

Я все рассказал ей — она
Глазами играла с уменьем,
И тут наступила еще тишина, —
По счету — третья — в Армении.

Н. Тихонов.

Индия в Москве.

Брамину В.

Лари цветные, бусы, четки,
Язык цветной, как бусы, четкий
Брамин с индусскою походкой,
Индус скользит чужою лодкой
Сквозь караван-сарай Москвы.

Набег огней, все крики рядом,
Дома стоят цветущим рядом,
Как баобабы в смене радуг —
Да, это джунглей распорядок:
За счет слона трубит мотор.

Сквозь речь племен Замоскворечья
Текут ручьи заморской речи.
Индус охвачен — перемечен —
Он обожжен вопящей печью —
Отныне наш он.

Индус отныне в деле спор —
Он любит скорость, любит спор —
А русский спор — особый спор,
Его приветствует в упор
Курсант на языке урду.

Курсант за словом слово гнет,
Он ненавидит слово: гнет.
Чужой язык — язык тенет,
Но он тенета разогнет —
Индус говорит:

— Мой край под игом много жил,
Он напрягает сети жил,

Чтоб разорвались рубежи,
Пускай границы сторожит
Проход Хайбера.

— Проход Хайбера — это цель,
По этой цели бомбы цель;
Не побледнев в лице,
Он рассыпает мысли в цепь
На языке урду!

Н. Тихонов.

Паровозовы голоса.

На рассвете, когда еще спит округа,
Поработав молотом и серпом, —
Переговариваются друг с другом
Паровозы из разных депо.

Семафоры им поклонятся,
Засинеет на рельсах роса.
И хриплы от бессонницы
Паровозовы голоса.

Возле контрольной вышки,
Тысячесильный «Пасифик»
Клокочет паром в отдышке:
Болен старик.

Таков ли он был вначале,
Покамест от Колчака
Тяжко не пострадали
Грудь его и бока.

Покамест саксы и севры
Из усадеб спасал его брат,
Он на фронте выкашливал плевры,
Подвозя за отрядом отряд.

А теперь, он плетется в обозе,
И прямо в уши ему
Кричит мальчишка паровозик:
— Де-де-де-дедушка! Ау-у!

А вот... идет... шелковым... ходом,
Скосив огненный глаз,
Выкормыш Сормовского завода,
Лучший у нас.

Легкоколесый, высокогрудый,
Послушный узде,
Его гуды и перегуды
Раздаются везде.

Кормленный лучшим углем,
Великолепен и строг,
Он пойдет по Союзу Республик,
По сети его дорог.

А там вдали, за рекой и полем,
Где грузят рожь и овес,
Какой-то недоволен
Строптивый паровоз.

Чудаковат и странен,
Шипит сердито он,
Хотя он англичанин,
Хотя он Стефенсон.

Уперся на пригорке,
Ни взад и ни вперед,
Бранится во все корки,
Буксует и орет.

Орет, и эхо раннее
Разносит хриплый крик:
— Я у себя в Британии
К такому не привык.

— Помилуйте, мустанг ли я,
Чтобы брать барьер? —
(Сормовский, издали):
— Это тебе не Англия,
А Эсэсэсэр.

Вера Инбер.

Улица.

Избы в сонной паутине,
Спят, ресниц не шевеля.
С поля веет ветер синий
Сладким соком ковыля.

Лунный свет и пьян и смутен,
Словно желтый самогон.
Льют лады в ночную сутемь
Песню-трель о дорогом...

Эти песни, эти трели
Голосами на рассвет
В наших селах зазвенели,
Как довольной жизни след.

Слышу в них, как снова едем,
Золотую меря гладь.
Если край сегодня беден —
Края завтра не узнать.

Кружат пляски, визг и крики,
Молодую кружат вязь.
Даже месяц медноликий
Расплывается, смеясь.

Даже темным старым ветлам
Вдоль приникших берегов
Снится радостный и теплый
Край, не знающий снегов.

Ну, и мне приснились ныне
Под задорный звон и гам:
Будто еду по равнине,
По нескошенным лугам.

Будто еду, где — не знаю.
Только радость так светла,
Что ору как дети в мае
На елани у села.

А проснулся — тихо. Брезжит.
Где-то — слышно — говорят.
С поля веет ветер свежий.
Петухи. Рассвет. Заря.

В. Наседкин.

Песнь о рубахе.

В убогой хате, как-нибудь,
Тебя напряла с горем пряха,
Но нежной матерью на грудь
Ко мне прильнула ты, рубаха.

С соленым потом протекло
В твою посконную тканину
Чужое женское тепло,
Чтобы согреть чужую спину.

Кому-то не было, знать, жаль
Оставить мне в земном пожитке
Живую радость и печаль
На каждой обветшалой нитке.

На каждом лоскуте горит
Любви неведомой огарок...
Но я забыл благодарить
За милый и родной подарок!

Пустая звонкая молва
Нам чаще гордости дороже,
А на хорошие слова
Мы раскошелиться не можем,

Не можем, не желаем внять
Кровоточащим бисер ранам
И все торопимся обнять
В сусальном золоте болванов.

Спешим пожаловать себя —
И то из низости да страха,
А где нам вспомнить про тебя,
Простая русская рубаха!

Павел Дружинин.

Гармонист.

Здесь такие луженые глотки:
Смоет пробку — и разом, в конец —
Ты забулькай, зеленая водка!
Пролетай, не сморгнув, огурец!

Разметались малиново плечи,
Мякнет горький, нахмуренный ус.
Всходит радуга к лугу далече
Разливанного полымя чувств.

Ближе, ближе — раскинулась, выше.
Вдруг упала дугою — и глянь! —
Золотые ромашки — где крыши,
Кумачевые розы — где рвань.

Гармонист изольется, рыдая.
А как глянет: — Давай! Разгуляй!
— Прощевайте — и вы, дорогая!
— Луг-душа, навсегда прощевай!

— Вы небесные синие дали...
Сам заплакал — душа, говори!
Стихло все — кабаки замолчали,
Опрокинулись в ночь фонари,

Все замолкло. Ни звука, ни лая,
Я не знаю и сам, почему
Вдруг забытые люди, шатаясь,
Побрели в бездорожную тьму.

Только там, со слезами ночуя,
Где к гармони обвисла рука —
То заплачет, то вновь затанцует
Прощалыга — раздоль и тоска.

Ник. Зарудин.

Карманьола.

В день от солнца ошалелый
Данью каждого луча
Закипает наше тело,
Кровью жаркою стуча.

Становись, подруга, рядом,
Юность словом оживи,
Обожжем друг друга взглядом,
Как бывает в час любви.

Видишь, день бесстыдно голый,
Как и мы разут-раздет.
Что ж, станцуем карманьолу,
Дочь завода и поэт.

Пусть, увидев нас, прохожий
Остановится на миг.
Молодым наш мир дороже,
Молодым дивись, старик.

Молодые в день веселый
Отряхнут унынья след.
Карманьолу! Карманьолу!
Дочь завода и поэт.

Мих. Голодный.

В том селеньи ласковые хаты,
Улочка и низкие сады,
Где за пряслом, рыжим и кудлатым,
Вдоль дороги стелется ромашка,
А над полем — искровой замашкой
Солнце, песни, жаркие труды.

Вечерами серебрится сырость,
И до сна короткий разговор.
У крыльца, где я с тобою вырос,
Помнишь книжки, костяные бабки
И в ночном — еловые охапки,
Горьким дымом дышащий костер.

Это — детство, память не изменит,
Коль живешь ты где-то на земле.
Ведь потом черней клубились тени, —
Сколько лет размерный, тяжкий топот,
Глиняные скользкие окопы,
Тысячи смертей в ненастной мгле.

Годы, годы, я теперь не знаю,
Мне жалеть вас или проклинать.
Но зачем все чаще вспоминаю,
С юностью прощаясь понемногу,
Пыльную и дальнюю дорогу,
По которой провожала мать?

Ведь над нами те же вьюги, весны,
Только время шибче гонит кровь.
Прохожу ль по городу, и сосны
И ромашки веют издалека,
Но, когда калеки тронет локоть,
Черной болью вздрагивает бровь.

Где ж ты, мой товарищ? Если б встретить!
Пусть в беседе — поле да кусты...
В том селе, иль где-нибудь на свете,
Так же ты широкоплеч и тонок?
У тебя, наверно, есть ребенок,
Русый, синеглазый, как и ты.

Скоро, скоро к дому ворочусь я,
Но застану ль? Думы — о тебе.
Вот я слышу: над июльской Русью
Звон колосьев, золотой и ломкий,
И поют счастливые потомки
О своей *счастливейшей* судьбе.

Евсей Эркин.

144

Спиноза и материализм.

Л. И. Аксельрод (Ортодокс).

Эта статья является расширенным предисловием, написанным к новому изданию «Основных вопросов марксизма» Г. В. Плеханова. Темой ее служит вопрос об отношении спинозизма к материализму, или, вернее будет сказать, раз'яснение об'яснение теологического элемента, или, как выразился Плеханов, «теологического привеска», в системе Спинозы. Эту оговорку я делаю, исходя из того соображения, что рассмотрение материалистических мотивов философии Спинозы может быть предметом солидного, об'емистого труда. Тут же прибавлю, что полный анализ одного теологического момента также потребовал бы очень много места. Я поэтому ограничусь тем, что постараюсь наметить путь, по которому следует итти исследователю этого вопроса для его полного уяснения.

I.

В «Основных вопросах марксизма» Г. В. Плеханов определяет материализм — в смысле его исторической преемственности, — как разновидность спинозизма. Это определение отношения системы Спинозы к материализму сопровождается, однако, вескими и значительными оговорками. Эти оговорки, при вдумчивом и внимательном к ним отношении, ясно указывают на то, что, с точки зрения Плеханова, все мировоззрение Спинозы во всем его целом нельзя считать последовательно выдержанным, т.-е. свободным от противоречий, материализмом.

Между тем, в настоящее время все более и более распространяется и крепнет, повидимому, взгляд на систему Спинозы, как на строго-последовательный, выдержанный с начала и до конца, материализм. В подтверждение этого ошибочного взгляда делаются обычно ссылки на отношение Плеханова к спинозизму, при чем совершенно упускают из виду сделанные Плехановым существенные оговорки. Такого рода неясности и недоразумения должны быть по возможности устранены, ибо правильною оценкой предшественников диалектического материализма определяется в значительной степени правильность понимания этого последнего.

Начнем наше рассмотрение приведением выдержки из «Основных вопросов марксизма», в которой речь идет об отношении Фейербаха к философии Спинозы. Она гласит: «В 1843 г. он (т.-е. Фейербах. *Л. А.)* в своих «Grundsätze» очень тонко заметил, что пантеизм есть теологический материализм, отрицание теологии, остающееся на теологической точке зрения. В этом смешении материализма с теологией заключалась непоследовательность Спинозы, не помешавшая ему, однако, найти «правильное», по крайней мере для своего времени, выражение для материалистических понятий новейшей эпохи». Поэтому Фейербах называет Спинозу «Моисеем новейших свободных мыслителей и материалистов» (Werke, II, S. 291). В 1847 г. Фейербах спрашивает: «Чем же оказывается при внимательном рассмотрении то, что Спиноза логически или метафизически называет субстанцией, а теологически — богом?» И на этот вопрос он категорически отвечает: «Не чем иным, как природой». Главный недостаток спинозизма он видит в том, что «антитеологическая сущность природы принимает у него вид отвлеченного, метафизического существа». Спиноза устранил дуализм бога и природы, так как об'явил действия природы действием бога. Но именно потому, что действия природы являются в его глазах действиями бога, бог остается у него каким-то отдельным от природы существом, лежащим в ее основе. Бог представляется суб'ектом, природа предикатом. Философия, окончательно освободившаяся от богословских преданий, должна устранить этот важный недостаток правильной по своему существу философии Спинозы. «Долой это противоречие! — восклицает Фейербах. — Не Deus sive natura, но aut Deus, aut natura есть природа истины» (Werke, II, S. 350).

Оценка, сделанная Фейербахом, системы Спинозы выражена здесь, в общем, с ясностью, не оставляющею никаких сомнений. В системе Спинозы, с точки зрения Фейербаха, живут какие-то остатки теологии. Вполне очевидно также и отношение Плеханова к этому вопросу, т. к. Плеханов цитирует Фейербаха в полном согласии с оценкой, которую дает этой системе Спинозы знаменитый немецкий материалист.

Остановимся на этой оценке. Итак, Фейербах, а вслед за Фейербахом также и Плеханов, видели в учении Спинозы важное и серьезное противоречие. Корень этого противоречия лежит в теологизировании природы. «Антитеологическая сущность природы принимает у него (у Спинозы. *Л. А.)* вид отвлеченного метафизического существа». Фейербах преодолел это противоречие очень просто тем, что отказался от всякой метафизической сущности, сделав основой своей философии действительность природы без всяких теологических примесей и метафизических покровов. Что же собственно оказалось для Фейербаха неприемлемым в философии Спинозы? Иначе выражаясь, что представлялось ему теологическим в ней? Неужели только слово «бог». Из приведенных слов Фейербаха совершенно очевидно, что, по его убеждению, слово «бог» имеет в системе Спинозы какое-то соответствующее определенное содержание. Ибо, как справедливо говорит Г. В. Плеханов, излагая мысль Фейербаха, «именно потому, что Спиноза об'явил действия природы действиями бога, бог остается у него каким-то отдельным от при-

роды существом, лежащим в ее основе». Ясно, следовательно, что, согласно Фейербаху и Плеханову, в системе Спинозы бог не просто заимствованное из теологии слово, но термин, имеющий свое определенное содержание. Каково же это содержание?

В замечательной 7-й главе «Теологико-Политического Трактата» Спиноза, определяя историко-филологический метод исследования Библии, замечает: «Следует принять во внимание то обстоятельство, что чьи-нибудь слова возможно тем легче истолковать, чем точнее мы знаем житье и бытье их автора» [1]).

Это методологическое правило, ставшее частью общего метода исторического материализма, должно быть применено в деле выяснения слова «бог» в системе Спинозы.

Жизнь и духовное развитие Спинозы резко отличаются от жизни и духовного развития мыслителей христианских народов. Мыслители, вышедшие из христианской среды, не переживали таких внутренних потрясающих драм, какие переживались мыслящими людьми, вышедшими из ортодоксального еврейства.

Христианские народы обладают собственной территорией, собственной государственностью, собственной национальной культурой. Вследствие этого, христианская религия, несмотря ни на что, должна была делать и делала уступки противоположным ее внутренней сущности научным стремлениям. Как сильны бы ни были религиозные традиции, религиозное воспитание и выросшее на этой почве религиозное чувство в христианском мире — эти элементы все же смягчались и растворялись в общем потоке исторической культуры: в науке, в искусстве, в политике и т. д. В силу этого, у христианских мыслителей уживались более или менее мирно религиозные традиции с противоречащими этим традициям научными стремлениями и культурными задачами данной эпохи. Этот психологический индивидуальный компромисс был в то же время отражением компромисса, который подсказывался требованием господствующих в экономической жизни прогрессивных классов, — сохранить религиозные верования, с одной стороны, и содействовать движению научной мысли, с другой. Конечно, великие философы христианского вероисповедания, основоположники и двигатели научной критической мысли, нередко подвергались, как это хорошо известно, жестоким преследованиям. «Святая» инквизиция, например, в своей трогательной заботливости о спасении душ христиан, деятельно и энергично душила мысль и ее творцов. Но внешние гонения, какою жестокостью они бы ни отличались, не могут в сильных натурах вызывать внутренних трагических конфликтов, т.-е. конфликтов в области мировоззрения.

---

[1]) B. de Spinoza, Opera, ed. Bruder, v. III, p. 108. — Выражение «житье-бытье» взято мною из немецкого перевода Штерна (wie er liebte und lebte); оно не вполне точно передает слова латинского оригинала «genium et ingenium», зато вполне соответствует общему смыслу контекста. У Спинозы, непосредственно перед приведенной фразой, говорится о необходимости для понимания литературного произведения изучать vitam, mores ac studia autoris, т.-е. жизнь, нравы и занятия автора.

Иначе обстоит дело с новаторами, выходившими из еврейской среды. Еврейский народ лишен в продолжении тысячелетий собственной территории, собственной государственности и, вследствие этого, собственной национальной культуры в обширном смысле этого слова. Являясь иностранцем, прежде всего «чужим» конкурентом на социально-экономическом поприще у всех народов, он систематически подвергается гонениям и изоляции, под влиянием которых он сам себя все более и более изолировал, противополагая себя, свой быт, свое духовное наследие жизни, быту и культуре своих гонителей. Поставленный всеми народами в положение отщепенской секты, еврейский народ, в высокой степени культурный в смысле духовных запросов, культивировал и свято охранял остатки своего умственного и нравственного развития, своего исторического прошлого. Таким историческим остатком являлась религия. Еврейская религия сама по себе, по своим догматам, наиболее реалистичная из всех религиозных учений, способная к компромиссам с требованиями действительности, — все более и более застывала и костенела вследствие изоляции еврейского народа. Религиозное мировоззрение оставалось фактически единственным национальным началом, об'единившим национальное духовное сознание, т.-е. единственной формой национальной идеологии [1]). И так как наука, искусство, политика, литература являются благами культуры христианского мира, т.-е. мира, враждебного еврейству, то ортодоксальное еврейство воспитало в себе религиозную ненависть ко всем этим культурным ценностям. Культурные ценности мирского характера были провозглашены запретным плодом, лишь способным отвлекать от веры предков и препятствовать истинному служению богу. Служение же богу являлось единственной, главной и высшей целью земного существования. Земные блага, как богатство, чувственные наслаждения и слава, не отвергаются еврейской религией. Еврейская религия чужда, по существу своему, аскетизма. Но все эти блага сохраняют лишь тогда смысл и значение и признаются религиозным учением, когда ими пользуются умеренно, рассматривая их, как средство к служению богу, а не как самоцель.

В недрах этой идеологии получил свое первое духовное воспитание Спиноза. Его готовили в раввины, и совершенно очевидно, что на гениального юношу возлагались огромные надежды. Религиозное воспитание пустило глубокие корни в восприимчивой, чуткой и поэтической душе мыслителя. Этим же религиозным чувством обвеяны все произведения Спинозы, несмотря на строго рационалистический и геометрический метод аргументации. Видно и чувствуется, что культ Иеговы, в котором воспитался Спиноза, прочно обладел трогательно поэтической душой великого философа. Центральная мысль иудаизма, что цель жизни и высшее верховное благо есть служение и любовь к богу, не оставила мыслителя-атеиста. Она, эта же мысль, в другой

[1]) Чрезвычайно интересно по этому поводу замечание Спинозы: «Еврейский народ,— говорит мыслитель, — потерял всю орнаментику и все украшения (что не удивительно после того, как он претерпел столько поражений и преследований); у него сохранились только немногие отрывки языка и литературы» (Opera, v. III, p. 113).

форме и по существу с другим содержанием, стала завершающим аккордом в его рационалистической системе, принявши вид amoris dei intellectualis.

Несмотря на свою мягкую глубоко лирическую натуру Спиноза, как метко выразился о нем Фейербах, — «характер». Он — строгий, беспощадный и, в то же время, олимпийски-спокойный аналитик, не останавливающийся на пол-дороге в деле критики и искания истины.

Благодаря сложившимся сравнительно благоприятным социально-политическим условиям Голландии эпохи Возрождения, Спиноза сталкивается с возникающими широкими научными задачами этой великой исторической эпохи. Главной отличительной чертой мышления Возрождения является критика религиозного мировоззрения и зарождение современного естествознания. Мистическим формам мышления естественно противопоставляется мышление математическое, которое в XVII столетии достигает весьма высокой степени в лице Декарта, Гоббса, Лейбница, Ньютона и других. Строгость и точность математического анализа является образцом для искания истины во всех областях знания и метод математики — образцовым методом. Значение математики, как образцового методологического мышления, особенно ярко проявилось в системах Декарта, Гоббса, Лейбница и Спинозы.

Критическая мысль Спинозы движется в двух направлениях. С одной стороны, он подвергает критике все прошлое религиозное мировоззрение своих предков. С другой, он стремится, путем анализа, установить метод исследования истины. Результаты первой своей работы изложены им в «Теологико-политическом трактате». Проблемой же метода занимается «Трактат об очищении интеллекта». Главная цель, которую ставит себе Спиноза в этом «Трактате», это — определение того, что является высшим благом. Но для того, чтобы найти это высшее благо, необходимо очистить интеллект от всех видов заблуждения. «Трактат об очищении интеллекта» занимается исследованием и установлением критерия истины, которая и является для Спинозы наивысшим благом.

Определяя сущность метода, Спиноза говорит: «Хорошим методом будет тот метод, который показывает, как должен быть направляем дух (mens) согласно норме данной истинной идеи (ad datae verae ideae normam)» [1]. Метод, следовательно, берет свое начало в первой предпосылке, согласно которой ведется исследование. Выражаясь словами Гегеля, в полученном результате должно заключаться начало, исходный пункт, или, что одно и то же, исходная предпосылка. Если мы, диалектические материалисты, утверждаем, что сознание определяется бытием, то правильное применение этого методологического принципа должно привести к тому, что во всякой форме сознания, какой сложностью она бы ни отличалась, должно быть вскрыто бытие. Для Спинозы исходной идеей, в которой должен брать начало правильный метод, является ясная и отчетливая или, что одно и то же, адэкватная идея. Но самая ясная и самая отчетливая идея имеет своим об'ектом субстанцию или бога. Душа же человека обладает этой

[1]) «Трактат об очищении интеллекта», пер. Половцовой, стр. 89.

адэкватной идеей. «Человеческая душа имеет адэкватное познание вечной и бесконечной сущности бога, — гласит теорема 47 второй части «Этики». Это познание бога и является для Спинозы основным источником истины: «все идеи, поскольку они относятся к богу, истинны» (теорема 32 второй части).

Далее. Раз метод исследования истины берет свое начало в субстанции и раз все мировое целое представляет собою ее же необходимые модификации, то совершенно ясно, что, с точки зрения Спинозы, философская система может быть развита и обоснована строго математическим путем. Отсюда вытек геометрический метод обоснования и способ доказательств основных положений, который мы видим в «Этике» и который был подготовлен «Трактатом об очищении интеллекта» [1]).

II.

Как уже сказано выше, другое направление критической мысли философа нашло свое выражение в «Теологико-политическом трактате». «Теологико-политический трактат» есть в одно и то же время и личная интимная исповедь великого человека, и научно-историческая критика Библии и религии вообще. Эта научно-историческая критика священного писания приводит Спинозу к тому важному, в истории впервые высказанному выводу, что религия есть историческая категория, обусловленная главным образом историко-социальными причинами. Для иллюстрации исторической мысли Спинозы в области об'яснения религиозной идеологии приведу из «Теологико-политического трактата» следующую выдержку, в которой речь идет о центральном нравственном велении нагорной проповеди: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую». «Для того, чтобы понять, — говорит Спиноза, — истинный смысл этого нравственного требования, мы должны обратить внимание на то, кто это говорил, к кому это было обращено и в какое время это было сказано. Это сказал Христос не в качестве законодателя, издающего законы, но как учитель-проповедник, так как он хотел исправлять не столько внешние действия людей, сколько их души. Эти слова были обращены к людям, которые жили в развращенном государстве (in republica corrupta), в котором справедливость была совершенно попрана и гибель которого он предвидел в близком будущем. Совершенно то же самое, чему Христос здесь учит, предвидя скорую гибель государства, учил также Иеремия во время первого разрушения Иерусалима, т.-е. при аналогичных исторических условиях» [2]).

---

[1]) Вся груда доказательств, которая так старательно и так педантично приводится Половцовой в пользу того, что mos geometricus является лишь формой изложения, не выдерживает, на наш взгляд, ни малейшей критики. Внутренняя сущность всей системы Спинозы свидетельствует о противоположном. Все терминологические и филологические исследования, которые даются Половцовой, имеют свое значение, но то именно, что она стремится доказать, не доказано по той простой и естественной причине, что этого доказать невозможно.

[2]) B. de Spinoza, Opera, ed. Bruder, vol. III, p. 110.

Это нравственное правило, составляющее сущность христианского непротивления, является, следовательно, с точки зрения Спинозы, выражением и отражением упадочного состояния государства. Оно возникает при определенных «исторических условиях», которыми оно и определяется. Наоборот, когда государственная жизнь находится в нормальном состоянии, такое правило, согласно Спинозе, представляет собою прямую противоположность морали, т.-е. становится безнравственным. Так, мы читаем дальше: «Так как пророки учили этому (непротивленческому правилу *Л. А.)* только во времена подавленности, и нигде это правило не издавалось в качестве закона, и, напротив того, Моисей (который писал не во время подавленности, но — и это следует заметить — стремился создать упорядоченное государство) провозгласил «о к о з а о к о», хотя и он строго осуждал месть и ненависть к ближнему, — то отсюда с ясностью следует, из одних только основ священного писания, что упомянутое учение Христа и Иеремии о непротивлении (de toleranda iniuria et impriis in omnibus concedendo) имеет место только в тех странах, где справедливость попрана, и только во времена угнетения, но ни в коем случае не в упорядоченном государстве. В упорядоченном государстве, в котором справедливость защищается, каждому, кто стремится к справедливости, вменяется в обязанность публично заявлять судье о совершенных несправедливостях (см. Левит, 51) не из мести (см. Левит, 19, 17—18), но с целью защиты справедливости и законов отечества и для того, чтобы не поощрять злых в их действиях» [1]).

Мы видим таким образом с полной ясностью, что две системы морали, освященные религией, рассматриваются Спинозой, как идеологии, выросшие на социально-исторической почве.

Систематическая и последовательная критика религии приводит Спинозу, прежде всего, к тому важному и плодотворному выводу, что религиозные воззрения являются и с т о р и ч е с к о й к а т е г о р и е й.

Далее, в процессе критики той же религии, развертывается постепенно и обнаруживается с естественной неизбежностью фикция трансцендентной целесообразности. Основные положения и исходные пункты критики трансцендентной целесообразности, намеченные в «Трактате об очищении интеллекта» и более развитые в «Теологико-политическом трактате», принимают в «Этике» полную и законченную форму. Представляет особый интерес метод этой критики, который везде упирается в реализм и носит исторический характер, хотя местами проявляются и рационалистические обороты. Поистине замечательны в «Этике» страницы, посвященные об'яснению происхождения трансцендентной телеологии. Приведем наиболее характерную из них.

«Так как они (люди. *Л. А.)*, — рассуждает философ, — находят в себе и вне себя немало средств, весьма способствующих осуществлению их пользы, как-то: глаза для зрения, зубы для жевания, растения и животных для питания, солнце для освещения, море для выкармливания рыб и т. д., то отсюда и

---

[1]) Ibidem, p. 110.

произошло, что они смотрят на все естественные вещи, как на средства для своей пользы. Они знают, что эти средства ими найдены, а не приготовлены ими самими, и это дает им повод верить, что есть кто-то другой, кто приготовил эти средства для их пользования. В самом деле, взглянув на вещи, как на средства, они не могли уже думать, что эти вещи сами себя сделали таковыми. Но по аналогии с теми средствами, которые они сами обыкновенно приготовляют для себя, они должны были заключить, что есть какой-то или какие-то правители природы, одаренные человеческой свободой, которые обо всем озаботились для них и все создали для их пользования. О характере этих правителей, так как они никогда ничего не слыхали о нем, они должны были судить по своему собственному. Вследствие этого они и предположили, что боги все устраивают для пользы людей, дабы люди были к ним привязаны и воздавали им высочайшие почести» [1]).

Из этого и дальнейшего анализа чисто материалистических причин возникновения телеологии следует для Спинозы тот несомненный вывод, что главным содержанием религии, как таковой, является высшая сверх'естественная целесообразность, возникшая вследствие того, что причины были приняты за средства, а результат — за наперед поставленную цель. Отсюда следовало дальше, что бог есть целеполагатель, сотворивший мироздание по заранее определенному и предначертанному плану, и что вселенная управляется божеством на подобие того, как мельница управляется мельником (образ Новалиса).

Анализ и критика религии ведут Спинозу шаг за шагом к систематическому отрицанию и полному разоблачению всей теологической мифологии. Бог теологов есть не более как совокупность человеческих свойств, каждое из которых возведено на степень абсолюта. Все то, что теологи приписывают богу, составляет свойства природы и, в частности, человека и человечества. Это антропоморфическое понимание вселенной должно быть отброшено раз и навсегда. Бог, как творец и целеполагатель, есть сплошное возмутительное и позорящее человеческий разум противоречие. Нет никакого бога вне вселенной.

Формулируя окончательные выводы системы Спинозы, Фейербах говорит: «Если мы примем то положение, что вне бога нет ни вещей, ни мира, то тем самым для нас нет уж никакого бога вне мира» [2]). В этой правильной формулировке Фейербаха необходимо подчеркнуть тот момент, что вещи и мир у Спинозы все же находятся в боге. Этот оборот мысли у Спинозы опять-таки отмечен не вскользь, а является общим взглядом немецкого материалиста на пантеизм еврейского мыслителя. Для ясности приведу из Фейербаха еще и следующее место, касающееся того же вопроса. Оно гласит: «Пантеизм, это — теологический атеизм, теологический материализм, отрицание теологии, но на почве самой теологии, ибо он превращает материю, отрицание бога, в предикат или атрибут божественной сущности; но, пре-

---

[1]) «Этика», пер. Иванцова, стр. 53—54.

[2]) Л. Фейербах, Сочинения, Госиздат, 1923 г., том I, стр. 92, пер. С.

вращая материю в атрибут бога, он тем самым об'являет ее божественной сущностью» [1]). Эта характеристика пантеизма Спинозы (речь здесь идет о системе Спинозы. *Л. А.),* несомненно, очень тонкая, очень глубокая, а, главное, вполне соответствующая действительности. Определяя материю, как атрибут бога, Спиноза тем самым придал ей божественный характер. Это ясно, как солнечный день. Тем не менее, нельзя остановиться на этом выводе, а следует, исходя из этого вывода, итти тем же путем анализа для того, чтобы открыть сущность обожествления природы в системе нашего мыслителя. Тем самым мы снова возвращаемся к вышепоставленному вопросу: что такое бог, или же тождественная богу субстанция?

Из предыдущего изложения мы знаем, что исследование проблемы метода дало в результате критерий истины, который свелся к ясности и отчетливости познания. Образцом ясности и отчетливости служило для Спинозы господствовавшее в то время математическое мышление. С другой стороны, критика религии привела философа к полному и решительному отрицанию сверх'естественной целесообразности и целеполагателя, т.-е. к безусловному отрицанию бога-творца, стоящего вне вселенной. Эти две струи мысли слились в один общий центр, сущность которого состоит в том, что все во вселенной должно рассматриваться с точки зрения необходимой закономерности, поскольку мы стремимся к истинному, адэкватному познанию. Раз была критически отброшена трасцендентная телеология, а с ней вместе отвергнут целеполагатель, — вселенная представилась, как causa sui, как причина самой себя, как абсолютная самодовлеющая необходимость, как самостоятельное и единственное, ничем не обусловленное и, что одно и то же, никем не сотворенное существо.

В сфере явлений, рассматриваемых с точки зрения всеобщей мировой необходимой связи, нет целей; везде и во всем господствует строгая и неумолимая причинность. Не существует, напр., цели в том, что кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая или что сумма углов треугольника равна двум прямым. Но как то, так и другое составляет непреложную необходимость. Каждое отдельно взятое явление в порядке вселенной может существовать или не существовать, но если оно существует, то оно необходимым образом представляет собою, с одной стороны, следствие предшествующего ряда явлений, а, с другой стороны, причину последующего ряда. Ряды же явлений продолжаются до бесконечности, так как то, что является причиной в одном отношении, представляет следствие в другом, и наоборот. Следовательно, под углом зрения мирового целого, каждое явление и каждый ряд явлений обусловлены общей мировой непреложной и необходимой закономерной связью. То, что человек и человечество называют целью, есть идея желаемой ценности (будь то из области материальной или духовной культуры), к достижению которой стремится отдельная личность или та или другая группа личностей, об'единенная общими интересами. Как в индивидуальной, так и в общественно-

---

[1]) Там же, стр. 93.

исторической жизни существуют, действуют и сохраняют свое полное значение цели и целесообразность. Но, при ближайшем об'ективно-научном рассмотрении, все цели, каким характером и каким содержанием они бы ни отличались, вызваны и строжайшим образом обусловлены законом механической причинности; а отсюда следует, что *сама целесообразность есть не что иное, как разновидность механической причинности*. Очевидно таким образом, что закон абсолютной необходимости, т.-е. строжайшая закономерность, проникающая собою все явления, есть в системе Спинозы высший верховный закон, управляющий всей вселенной. *Вот этот верховный абсолютный закон и есть субстанция или, что одно и то же, бог Спинозы*[1]).

Что это именно так, можно подтвердить как отдельными местами из «Этики», так и всем построением системы. Но в статье, рамки которой в сравнении с темой по необходимости ограничены, нет возможности вдаваться во все подробности аргументации. (Детальное рассмотрение этого вопроса, как уже сказано в предисловии, может быть предметом об'емистого произведения.) А поэтому ограничусь приведением одного места из «Этики», имеющего непосредственное отношение к сделанному выводу. В схолии (толковании) к знаменитой седьмой теореме второй части «Этики» мы читаем: «Субстанция мыслящая и субстанция протяженная[2]) составляют одну и ту же субстанцию, понимаемую в одном случае под одним атрибутом, в другом под другим. Точно также модус протяжения и идея этого модуса составляют одну и ту же вещь, только выраженную двумя способами... Так, например, круг, существующий в природе, и идея этого круга, находящаяся также в боге, есть одна и та же вещь, выраженная различными атрибутами. Так что, будем ли мы представлять природу под атрибутом протяжения, или под атрибутом мышления, или под каким-либо иным атрибутом, мы во всех случаях найдем один и тот же порядок, иными словами, одну и ту же связь причин, т.-е. что те же самые вещи следуют друг за другом. И если я сказал, что бог составляет, например, причину идеи круга, только поскольку он есть вещь мыслящая, а причину круга, только поскольку он есть вещь протяженная, то это только потому, что формальное бытие идеи круга может быть понято лишь через другой модус мышления, как через свою ближайшую при-

---

[1]) В истории философии распространено убеждение, что система Спинозы и ее исходный пункт — учение о субстанции — явилась критическим продолжением философии Декарта. Такое об'яснение происхождения философии Спинозы не соответствует истине. В этом вопросе я вполне разделяю взгляд Геффдинга, который пишет: «Картезианцем он (Спиноза. *Л. А.*) никогда не был, хотя произведения Декарта (на-ряду с еврейской теологией и схоластическими произведениями и, может быть, также с произведениями Бруно) оказали на него сильное влияние. Он читал и также воспользовался некоторыми мыслями Бэкона и Гоббса» (Учебник истории новой философии, Госиздат, стр. 64). Там же, на стр. 65, Геффдинг определяет субстанцию Спинозы как «начало закономерности всего сущего». Это по существу верное определение обосновывается Геффдингом при помощи не совсем ясной аргументации, способной набросить некоторую тень на об'ективный характер закономерности в системе Спинозы.

[2]) «Субстанция» употребляется здесь вместо термина «атрибут».

чину, этот, в свою очередь, через третий и так до бесконечности, так что, если вещи рассматриваются, как модусы мышления, то и порядок всей природы или связь причин мы должны выражать лишь посредством атрибута мышления; если же они рассматриваются, как модусы протяжения, то и порядок всей природы должно выражать лишь посредством атрибута протяжения. То же самое относится и к другим атрибутам. Так что в действительности бог составляет причину всех вещей, как они существуют в себе, в силу того, что он состоит из бесконечно многих атрибутов» [1]). Мы видим таким образом, что два известных, взятых Спинозой из эмпирической действительности, атрибута — протяжение и мышление, так же, как и предполагаемые им неизвестные атрибуты, выражают собою одну и ту же связь и один и тот же порядок. Общим же началом, как для известных атрибутов, так и для неизвестных, является закономерность.

Проникнутый до глубины своего существа глубоко вкоренившимся религиозным чувством Спиноза окрашивает им, этим религиозным чувством, высший верховный закон мирового порядка.

Полемизируя открыто и скрыто против трансцендентной телеологии и теологии, философ противопоставляет религиозному антропоморфическому мировоззрению свое мировоззрение, насквозь проникнутое благоговейным преклонением перед бесконечной силой и бесконечным могуществом мирового порядка. Бог теологии — это не более как совокупность противоположных, друг друга исключающих человеческих свойств, тем более противоречивых, что каждое из них доведено до абсолютной степени. Это — противоречивое и нелепейшее существо, которое, если бы существовало в действительности, не должно было внушить ни одному строго мыслящему человеку ни малейшего уважения. Напротив, истинно религиозное чувство и настоящее благоговейное преклонение вызывает мировая стальная связь, безусловная необходимость, неумолимый порядок, властвующий надо всем и во всем, проникая собою всю вселенную, все мировые явления без всякого исключения.

Тут — сила, тут — величие, тут — бесконечное могущество. Это — истинный бог Спинозы.

Так именно определилось мировоззрение Спинозы во всем творчестве его великого последователя и гениальнейшего мирового поэта Гете. В диалоге с Гретхен, Фауст, развивая, как известно, мировоззрение самого Гете, характеризует в поэтической форме пантеизм Спинозы. На вопрос Гретхен, верит ли он в бога, Фауст отвечает:

Ich glaub an Gott?
Magst Priester oder Weise fragen
Und ihre Antwort scheint nur Spott
Ueber den Frager zu sein [2]).

[1]) Этика, пер. Иванцова, стр. 71—72, курсив мой.

[2]) Я верю в бога?
Священников ты спросишь, мудрецов,—
У них тебе ответ всегда готов:

Тут с ясностью выступает Спинозистская критика теологии и идеалистической метафизики. Но что ж такое бог? Он:

Der Allumfasser,
Der Allerhalter
Fasst und erhält er nicht
Dich, mich, sich selbst?
Wölbt sich der Himmel nicht da droben
Liegt die Erde nicht hier unten fest?
Und steigen, freundlich blickend,
Ewige Sterne nicht herauf?
Schau'ich nicht Aug'in Auge dir,
Und drängt nicht alles
Nach Haupt und Herzen dir,
Und webt in ewigem Geheimniss,
Unsichtbar, sichtbar, neben dir?
Erfüll davon dein Herz, so gross es ist,
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn'es dann wie du willst,
Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott! [1])

И Фауст кончает:

Ich habe keinen Namen dafür! [2])

Высшее начало, для которого Гете не имеет названия, определяется здесь, как вечный порядок природы, согласно которому все ее части и все ее проявления занимают свое место и находятся во взаимной гармонии. Суб'ективная сторона — взаимная любовь Фауст с Гретхен — является здесь иллюстрацией проявления того же об'ективного миропорядка. Точно так же,

---

Но весь ответ их, как рассудишь строго,
Окажется насмешкой над тобой.
(Пер. Холодковского.)

Он, вседержитель
И всехранитель,
Не обнимает ли весь мир—
Тебя, меня, себя?
Не высится ль над нами свод небесный?
Не твердая ль под нами здесь земля?
Не всходят ли, приветливо мерцая,
Над нами звезды вечные? А мы
Не смотрим ли друг другу нежно в очи,
И не теснится ль это все
Тебе и в ум, и в сердце,
И не царит ли, в вечной тайне.
И зримо и незримо вкруг тебя?
Наполни же все сердце этим чувством
И, если в нем ты счастье ощутишь,—
Зови его, как хочешь:
Любовь, блаженство, сердце, бог!
(Пер. Холодковского.)

[2]) У меня нет имени для этого.

как небо, земля, звезды находятся в строго определенной связи, точно так же проникнуты тем же порядком их любовные взгляды и охватывающее их обоих чувство.

Гете осторожнее Спинозы: он даже не решается назвать этот миропорядок богом. Как великого ученого, об'ективного исследователя, Гете увлекает в системе Спинозы спокойный об'ективный метод об'яснения природы. Но, как поэт и художник, он воспринимает космический вечный порядок эстетически, художественно. Религиозно-созерцательное чувство Спинозы принимает у Гете форму чувства эстетически-созерцательного.

III.

Возвратимся к Спинозе. Что же, значит, в душе Спинозы все же существовал бог, который нашел свое отражение и в его системе? — Нет, от бога теологии не осталось в учении мыслителя ни следа. Это фантастическое создание разрушено в самом основании. На место акта творения поставлена causa sui. Спиноза был глубоко убежденным атеистом. Но, с другой стороны, благодаря глубоко вкоренившейся психически-религиозной настроенности, оставшейся от прежнего благоговейного поклонения богу-творцу, философ перенес это религиозное чувство преклонения на мировой порядок. Следствием этого религиозного преклонения явилась изоляция и отрыв мирового порядка, т.-е. закономерности вселенной, от самой вселенной. Религиозное чувство гипостазировало в самостоятельную сущность, закономерность, которая по существу не может быть оторвана от вселенной. Религиозное чувство создало таким образом из антирелигиозного начала отвлеченное существо, окрашенное религией. А потому в тысячу раз прав Фейербах, говоря, что у Спинозы мы имеем «отрицание теологии, но на почве самой теологии».

Оставшаяся в наследство от религиозного прошедшего «теологическая почва», в форме религиозного чувства приведшая к отрыву закономерности в природе от самой природы, оказала серьезное, существенное и решающее влияние на главные исходные предпосылки системы. Этот роковой отрыв, вылившийся в гипостазирование и превращение закономерности в субстанцию или «бога», разлучил материю и мышление, превратив их в самостоятельные и обособленные атрибуты и лишив их таким образом внутренней причинной живой связи [1]). Поэтому в антологическом, а также, неизбежно, и

[1]) Хотя атрибуты — материя и мышление — представляют собою две стороны одной и той же субстанции, но они остаются независимыми друг от друга, так как «ни тело не может определять душу к мышлению, ни душа не может определять тело ни к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому (если только таковое существует)» теорема 2 третьей части «Этики»).

в гносеологическом смысле учение Спинозы в основных предпосылках являет собою неподвижный и безысходный параллелизм.

Но, несмотря на неподвижный характер основных онтологических предпосылок и вопреки этим предпосылкам, несравненно большее влияние на весь ход мыслей системы оказал полный и решительный разрыв с теологией, с творцом-богом и со сверх'опытной целесообразностью. Благодаря последовательному критическому отрицанию сверх'опытной целесообразности и не менее последовательному обоснованию механической закономерности, система Спинозы насквозь проникнута подлинным материализмом. Строго материалистическим является в ней теория познания там, где Спиноза исходит из принципов механизма. Строго материалистическим характером отличается также, и еще в большей степени, все обоснование теории происхождения нравственности, к которой большинство идеалистических мыслителей относится высокомерно, называя ее презрительно «физикой нравов».

Упомянутая выше знаменитая седьмая теорема второй части «Этики»: «Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» — развертывается в этой важнейшей части «Этики» в чисто материалистическом значении. Параллелизм, утверждаемый этой теоремой, постепенно испаряется, по мере того как развертывается необходимая, подсказываемая механическим принципом зависимость души от тела. Тело оказывается на первом месте, душа на втором, при чем душа целиком обусловливается телом. Так 13 теорема второй части гласит: «об'ектом идеи, составляющей человеческую душу, служит тело, иными словами, известный модус протяжения, существующий в действительности (актуально), и ничего более». А далее, в схолии к этой теореме утверждается с полной решительностью, что «никто не будет в состоянии адэкватно и отчетливо понять единство души и тела, если наперед не приобретет адэкватного познания о нашем теле». Совершенно очевидно, что философ по существу оставляет точку зрения параллелизма и становится недвусмысленно на материалистическую почву. Ибо единство души и тела познается отчетливо лишь при условии, если предварительно, или, как выражает Спиноза, «наперед» «адэкватно» познано тело. Почему же, спрашивается, должно быть познано тело «наперед»? Ведь с точки зрения параллелизма, единство души и тела может быть познано лишь при условии одновременной данности процессов души и тела. (Я здесь оставляю в стороне сложный вопрос о том, возможно ли вообще одновременное познание связи и порядка в двух атрибутах, т.-е. возможен ли параллелизм, как таковой. На мой взгляд, параллелизм вообще не выдерживает критики, так как по существу он устраняет время. Но это между прочим.) Вполне очевидно, что только что отмеченное требование Спинозы предварительного познания тела имеет в данной связи вполне материалистический характер, так как познание указанного единства ставится в зависимость от предварительного адэкватного познания тела. Процесс познания происходит таким образом, во-первых, не одновременно, во-вторых, первичным оказывается познание тела. А вот и другое яркое место того же материалистического значения. «Чем какое-либо

тело способнее других к большему числу одновременных действий или страданий, тем душа его способнее других к одновременному восприятию большего числа вещей; и чем более действия какого-либо тела зависят только от него самого и чем менее другие тела принимают участие в его действиях, тем способнее душа его к отчетливому пониманию» [1]). То же самое гласит 14-я теорема 2-й части: «Человеческая душа способна к восприятию весьма много, и тем способнее, чем в большее число различных состояний может приходить ее тело» (Курсив мой. *Л. А.*). Эти строки, думается, не нуждаются ни в каких дальнейших пояснениях. Материалистическое содержание их на-лицо. Не мешает, во всяком случае, прибавить и подчеркнуть еще раз, что приведенные выдержки отнюдь не носят случайный характер и что во всех частях «Этики», где речь идет о теории познания, психологии и теории происхождения нравственности, т.-е. в главных ее частях, — параллелизм испаряется, и четко выступает материалистический принцип, как господствующий. А поэтому опять-таки был прав Фейербах, когда, определив философию Спинозы, как «теологический материализм», воскликнул: «Долой это противоречие: не Deus sive natura [2]), но aut Deus aut natura [3]) есть природа истины».

IV

Пойдем дальше.

За столетие до Фейербаха великий и смелый родоначальник материализма XVIII века, Ламеттри, выразил свое отношение к Спинозе кратко, но весьма отчетливо. Отношение это чрезвычайно почтительное, проникнутое искренней признательностью, но в то же время вполне критическое. Ламеттри прежде всего подвергает критике взгляд Спинозы на мышление, как на атрибут вселенной. «Сотни и сотни раз было доказано, — говорит Ламеттри, — 1) что мышление есть не более как случайная модификация нашего чувственного начала и что оно, следовательно, не является мыслящей стороной вселенной (partie pensante de l'univers), 2) что не сами внешние вещи представляются душе, но только некоторые свойства их, отличные от самих этих вещей, вполне относительные и произвольные, и что, наконец, бо̀льшая часть наших ощущений или наших идей до такой степени зависят от наших органов, что они немедленно же меняются вместе с последними». Итак, ясно, что с точки зрения Ламеттри мышление является продуктом взаимодействия человека и природы и, следовательно, в известной степени обусловлено человеческой организацией. Это значит, далее, что мышление возникает на определенной ступени биологического развития, являясь, выражаясь словами Энгельса, высшим продуктом организованной материи. Ясно, следовательно, что с точки зрения Ламеттри, как и согласно всех материалистов, мышление не представляет собою вечного и неизменного атрибута вселенной.

---

[1]) «Этика», пер. Иванцова, стр. 82.

[2]) «Бог или природа» (отождествление бога и природы).

[3]) «Или бог, или природа».

Затем Ламеттри, считая Спинозу атеистом в полном значении этого слова, он сравнивает, тем не менее, его атеизм с лабиринтом Дедала: «так много в нем извилистых ходов и поворотов». Что же касается онтологии Спинозы, то Ламеттри отмечает их сходство с учением элеатов. указывая, таким образом, на метафизическую неподвижность системы. Но, после всех сделанных критических замечаний, Ламеттри усиленно подчеркивает, что, «согласно учению Спинозы, человек есть настоящий автомат, — машина, подчиненная самой строгой необходимости, влекомая стремительным фатализмом, подобно кораблю, влекомому течением воды». И заключает эту, характеристику знаменитый материалист полным своим согласием в этом важнейшем для него пункте со Спинозой: «Автор сочинения «Человек-машина», — говорит Ламеттри, — написал свою книгу как бы нарочно для защиты этой печальной истины» [1].

Мы видим, таким образом, что, во-первых, Ламеттри, не соглашаясь с одним из основных положений Спинозы, что мышление является атрибутом вселенной, т.-е., отвергая параллелизм, находит в то же время, что учение Спинозы о человеке является последовательно материалистическим учением, ибо он отождествляет точку зрения Спинозы в этом пункте со своей собственной материалистической точкой зрения; во-вторых, что Ламеттри подчеркивает главным образом детерминизм Спинозы, которому он следовал в своем материалистическом учении и который нашел себе точное выражение в самом заглавии его наиболее известного сочинения («Человек-машина»). Отсюда также ясно, что в детерминизме Ламеттри справедливо видел одну из главных основ материализма.

Наиболее серьезное и наиболее решающее влияние Спиноза оказал на «Систему природы» Гольбаха. Эта замечательная благородная книга, насквозь проникнутая, вопреки нелепым обвинениям в безнравственности со стороны идеалистических историков, глубоким человеколюбием,—является истинным манифестом революционной буржуазии. Все ее содержание направлено преимущественно против господствовавшего духовенства и всех форм религиозного мышления, рассматриваемого знаменитым материалистом, как идеология всех видов угнетателей. «Система природы» носит общественный характер. Эта книга ведет энергичную революционную борьбу против религиозного неба и его фантастических обитателей, во имя блага, счастья и просвещения человечества. В отличие от Спинозы, Гольбах является строго последовательным материалистом. Субстанция есть материя, а мышление — ее свойство. Но, оставляя в стороне это отличие, мы ясно видим сходство с системой Спинозы во всем методе критики телеологии и в последовательной защите закона механической причинности. Главным предметом нападения и тщательного, я бы сказала, субтильного анализа в «Системе природы» служит трансцендентная телеология и связанная с ней идея бога и идея творения. И ведется этот критический анализ, как и у Спинозы, на почве строго последовательного и вы-

[1] Oeuvres philosophiques de La Mettrie, Berlin-Paris, 1796, tome I, p. 261—262.

держанного детерминизма. Главные выводы этой критической работы концентрированы в одном поистине замечательном месте этой превосходной книги, которое должно быть приведено целиком:

«Из всего сказанного, — читаем мы в «Системе природы», — можно заключить, что названия, которыми люди обозначали действующие в природе скрытые причины и их различные следствия, представляют всегда лишь необходимость, рассматриваемую под различными углами зрения. Мы нашли, что порядок, это — необходимая цепь причин и следствий, связь и совокупность которой мы видим или воображаем, что видим, и которая нравится нам, когда она соответствует нашему существу. Мы видели точно так же, что беспорядок, это — необходимая цепь причин и следствий, которую мы считаем неблагоприятной или несоответствующей нашему существу. Разумом была названа необходимая причина, вызывающая необходимым образом цепь явлений, обозначаемых словом порядок. Божеством была названа необходимая и невидимая причина, приводящая в действие природу, в которой все совершается согласно необходимым и неизменным законам. Судьбою или роком была названа необходимая связь неизвестных причин и следствий, наблюдаемых нами в этом мире; словом случай были обозначены действия, которых мы не могли предвидеть или же необходимую связь которых с их причинами мы не знаем. Наконец, умственными и моральными способностями были названы необходимые действия и модификации организованного существа, приводимого в действие, как было предположено, каким-то непонятным агентом, отличным от его тела и названным душою» [1]).

В этой глубокой и ясной формулировке раскрывает философ закономерность и все те ее виды и проявления, которые дают повод человеку не понимать ее, при чем само это непонимание также совершается закономерным образом, вытекая из того, соответствуют ли, или не соответствуют природному стремлению человека к самосохранению те или другие явления и законы явлений. С этой общей точки зрения человеческие заблуждения так же закономерны, как и все остальное. Тем не менее они могут и должны быть рассеяны тогда, когда человек поймет принцип закономерности, охватывающий все явления, без всякого исключения, в том числе самого человека со всем его так называемым внутренним миром. Религиозное же мировоззрение, а также метафизические системы культивировали, с точки зрения Гольбаха, как и согласно учению Спинозы, антропоморфический взгляд на мир. Этот последний заключается в том, что человеку приписывается свободная воля и свободный разум, т.-е. что человек не рассматривается под углом закономерной необходимости. Этот ложный взгляд на человека и на его якобы свободные действия был перенесен на все мироздание, которое стало рассматриваться, как результат свободных действий подобных человеку, но более могущественных существ. Ясное и отчетливое понимание этого заблуждения снимет повязку с глаз человека,

---

1) «Система природы», перев. Юшкевича, 1924, стр. 272.

и он, наконец, поймет законы окружающего, законы своего собственного существа и их взаимную неразрывную связь.

Ламеттри в качестве врача и естественника стремился главным образом проложить дорогу биологии, психологии и медицине, отлично понимая в то же время, что эти отрасли знания могут быть поставлены на правильный научный путь лишь при условии общего материалистического мировоззрения. Гольбах же, будучи последователем Ламеттри, расширяет свою задачу и старается создать общую идеологию материализма, охватывающую все формы жизни. Вследствие этого, Спинозовская система отразилась в «Системе природы» более разносторонне и с гораздо бо́льшей полнотой, чем у Ламеттри.

Отражая рационализм эпохи со всеми ее революционными стремлениями, Гольбах убежден в том, что правильное понимание мировой закономерности вообще и законов человеческой природы, в частности, должно привести к справедливому общественному порядку и к счастью человека и человечества. Эти же самые выводы сделал за 100 лет Спиноза из своего последовательного детерминизма. Так, например, в заключении второй части «Этики» мы читаем: «Это учение (т.-е. учение о строгой мировой закономерности. *Л. А.)*, — говорит Спиноза, — способствует общественной жизни тем, что оно учит никого не ненавидеть, не презирать, не насмехаться, ни на кого не гневаться, никому не завидовать, учит, сверх того, каждого быть довольным своим и готовым на помощь ближнему не из женской сострадательности, пристрастия или суеверия, но единственно по руководству разума, именно сообразно с требованиями времени и обстоятельств, как я покажу в третьей части. Наконец, это учение немало способствует также и общественному устройству, уча, каким образом должно управлять и руководить гражданами,— а именно так, чтобы они не несли ига рабства, а свободно делали то, что лучше» [1]).

В этих резюмирующих положениях Спиноза, так же, как и его последователь Гольбах, полемизирует против представителей теологии и идеалистической метафизики, которые, начиная с Платона, не переставали критиковать материализм за его якобы устранение нравственных идеалов, вытекающих, по их мнению, из признания свободной моральной воли и трансцендентных нравственных оценок. С точки зрения материализма и об'ективной закономерности, — утверждали они, — нет возможности устанавливать различие между добродетелью и пороком, преступлением и героическим подвигом, короче, между добром и злом. Словом, без признания свободной моральной воли, невозможна нравственность, а тем самым невозможна, следовательно, и общественная жизнь. Спиноза опрокидыват эти положения вверх дном. Признавая вместе со всеми идеалистами факт существования идеалов, различие между добром и злом, безусловную общественную целесообразность как идеалов, так и нравственных оценок, он рассматривает эти необходимые категории, как результат той же закономерности. Наоборот, об'ективный взгляд на человека и его действия ведет к справедливой и снисходительной

[1]) «Этика», пер. Иванцова, стр. 138—139.

оценке всех человеческих действий, а из всего учения следует, что исправление как человека, так и общества возможно не путем бессильного нравственного негодования, а при помощи тех мер воздействия и противодействия, которые вытекают из познания причин возникновения анти-моральных и антиобщественных поступков.

Эти положения, выведенные из принципа детерминизма, примененные к общественной действительности, перешли целиком от Спинозы к французским материалистам. Центральная революционная мысль французских материалистов, выразившаяся в наиболее радикально-общественной форме у Гельвеция, мысль, отмеченная, подчеркнутая и принятая Марксом, что человек есть продукт обстоятельств и что, следовательно, изменение и совершенствование нравственной природы человека обусловливается изменением этих обстоятельств, представляет, с одной стороны, результат критики врожденных идей, совершенной Локком, а с другой, — дальнейшее развитие последовательного детерминизма Спинозы.

Но во избежание односторонности следует отметить, что в вышеприведенных выдержках из «Этики», в которых мы видели правильную оценку детерминизма как истинно общественного и гуманного начала, мы замечаем в то же время пассивный фаталистический уклон, выразившийся, между прочим, в весьма важном замечании, что детерминизм «учит, сверх того, каждого быть довольным своим». Другими словами, полное понимание причинной необходимости явлений должно усмирять стремление к изменению своего положения. Такое спокойствие духа, приобретенное под влиянием полного сознания необходимости, есть внутренняя свобода. Этот взгляд на отношение свободы к необходимости выразился с еще большей определенностью в 6-й теореме 5-й части «Этики», где мы читаем:

«Поскольку душа познает вещи, как необходимые, она имеет тем большую власть над аффектами, иными словами, тем менее страдает от них». А затем следует пояснение, гласящее: «Чем больше это познание (именно, что все вещи необходимы) простирается на единичные вещи, которые мы воображаем отчетливее и живее, тем больше бывает эта власть души над аффектами, что свидетельствует также и опыт. В самом деле, мы видим, что неудовольствие вследствие потери какого-либо блага утихает, как скоро человек, потерявший его, видит, что это благо никоим образом не могло быть сохранено. Мы видим также, что никто не жалеет о ребенке, что он не умеет говорить, ходить, умозаключать, и, наконец, сколько лет живет, как бы не зная о самом себе. Но, если бы большая часть людей рождалась взрослыми и только некоторые — детьми, тогда каждый сожалел бы о детях, так как тогда смотрели бы на детство, не как на вещь естественную и необходимую, а как на недостаток или погрешность природы. Можно было бы указать и много другого в этом роде».

Этими, чрезвычайно остроумными, примерами Спиноза стремится доказать, что свобода обусловливается полным и безусловным признанием необходимости. Вообще, это положение совершенно бесспорно. Но у Спинозы оно имеет фаталистический оттенок. Сосредоточив главное свое внимание на вну-

тренней свободе, Спиноза приходит к тому заключению, что сознание абсолютной закономерности должно вести к полному душевному спокойствию даже в случаях самых страшных потрясений, будь они личного или общественного характера. С его точки зрения, познание причин страдания устраняет страдание и приводит к блаженству. Так, в схолии к 18-ой теореме 5-й части «Этики» мы читаем: «Могут возразить, что, познавая бога как причину всех вещей, мы тем самым видим в нем и причину неудовольствия. На это я отвечу, что, поскольку мы познаем причины неудовольствия, оно перестает быть состоянием пассивным, т.-е. перестает быть неудовольствием; а потому также, поскольку мы познаем бога, как причину неудовольствия, мы подвергаемся удовольствию».

Итак, познание причин страдания является, по учению Спинозы, активным деятельным началом и как активное, деятельное начало оно: 1) устраняет пассивность, причиняемую имагинативным, т.-е. неясным и неадэкватным познанием, а 2) оно, это истинное познание, доставляет наслаждение, так как в нем проявляется деятельность бесконечного интеллекта. Свобода и блаженство приобретаются, таким образом, путем полного постижения необходимости и сознательного подчинения этой последней. Подтверждением этой важной мысли должны служить приводимые факты, как, например, факт нашего совершенно спокойного отношения к тому, что дети являются на свет беспомощными.

Из всех предпосылок, рассуждений и приводимых примеров следует с полной логической принудительностью, что мы должны для нашей свободы, для нашего блаженства и во имя нашего душевного спокойствия относиться ко всем отрицательным явлениям нашей жизни с стоическим равнодушием, так как они строго обусловлены причинностью и с этой точки зрения ничем не отличается от факта беспомощности детей. А потому возникает вопрос: не тождественен ли детерминизм с фатализмом, иначе говоря, не правы ли индетерминисты, не перестающие утверждать, что учение детерминизма уничтожает волю к активной деятельности; а если это не так, если индетерминисты ошибаются, то где кроется ошибка Спинозы? Ошибка Спинозы состоит главным образом в том, что свобода человека понимается им в смысле учения стоиков, в смысле так называемой внутренней свободы. Вся борьба для достижения свободы и блаженства переносится исключительно в суб'ект. Деятельность в противоположность принципу пассивности провозглашается формой проявления бесконечного интеллекта, раскрывающегося в познании необходимости и успокаивающегося на этом адэкватном познании. Результат этой внутренней духовной деятельности сводится в конце концов к пассивному созерцанию мировой действительности. Совершенно иначе обстоит дело с отношением свободы и необходимости с точки зрения диалектического материализма. Согласно диалектическому материализму отношение свободы и необходимости заключается в познании необходимости, т.-е. в познании законов природы и истории и в воздействии на природу и на историю на основании познания этих законов. Учет и знание этих законов, т.-е. с о з н а н и е н е о б х о д и м о с т и, гарантирует положительный результат действия и воз-

действия, усиливая и укрепляя тем самым стремящуюся действенную волю. Достижение же цели в смысле приобретения и увеличения власти над окружающим миром, т.-е. над силами природы и общественными отношениями, и есть свобода. Коротко: свобода у Спинозы сводится в конечном итоге к господству интеллекта над аффектами, т.-е. над тем, что принято называть чувственным миром человека; свобода в учении диалектического материализма заключается в достигнутых результатах творческой активной деятельности, изменяющей и подчиняющей среду, которой определяется внутренний мир личности и ее свободы. В первом случае познание необходимости ведет индивидуума к пассивному внутреннему созерцанию, во втором случае познание необходимости обусловливает собою активную деятельность, направленную к изменению внешней действительности, условиями которой определяется индивидуальная свобода.

Далее. Сосредоточив все свое философское внимание на внутренней «стоической свободе», отождествленной с познанием мировой необходимости, Спиноза естественно приходит к завершающему пункту системы — к amor dei intellectualis. Истинное, т.-е. адэкватное, познание, свобода и высшее блаженство совпадают. Окончательное достижение этого идеала сводится в последнем итоге к полному растворению индивидуальности. Начиная со свободы и совершенствования индивидуальности, мыслитель заканчивает требованием растворения и уничтожения этой последней в божестве.

Против этого окончательного вывода Спинозовской системы тонко и хорошо возразил Шеллинг. Шеллинг говорит: «Едва ли мог бы какой-нибудь мечтатель удовлетвориться мыслью быть поглощенным бездной божества, если бы он всегда не ставил на место божества свое собственное «я»; едва ли мог бы какой-нибудь мистик мыслить себя уничтоженным, если бы он субстратом своего уничтожения опять-таки не мыслил свое собственное «я». Эта необходимость всегда мыслить себя, которая являлась на помощь всем мечтателям, пришла на помощь и Спинозе. Созерцая себя растворенным в абсолютном об'екте, он все же созерцал самого себя. Он не мог мыслить себя уничтоженным без того, чтобы в то же время не мыслить себя существующим» [1]). В этих прекрасных замечаниях Шеллинг обнаруживает с глубиной, тонкостью и классической простотой, что идеал мистицизма — абсолютное преодоление конкретной личности, — во-первых, недостижим, а, во-вторых, если бы мистик и мог его достигнуть, он не нашел бы в нем искомой свободы и искомого блаженства. Ибо разве полное поглощение «бездной божества» не есть рабство?

Окончательный этический результат всей системы строго обусловлен ее началом, т.-е. отождествлением мировой закономерности с божеством. На мировую закономерность было перенесено религиозное чувство, и благоговейное

---

[1]) Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus, S. 167—168.

чисто религиозное преклонение перед ним, как перед божеством. Отсюда следовало, что вместо того, чтобы познать законы природы для того, чтобы подчинить ее себе и тем самым достигать возможной свободы, — законы природы познаются с целью сознательного и спокойного примирительного подчинения им. Вмешательство религиозного чувства привело неизбежно к религиозно-мистическому выводу, и детерминизм в важнейшем вопросе об отношении свободы к необходимости принял свойственный религиозному мышлению фаталистический характер.

Но и тут, при этом конечном выводе, приходится также сделать оговорку, а именно, что последовательно логическое завершение «Этики» в духе пассивного стоицизма и рационалистической мистики имеет значение лишь в отношении мудреца. Только исключительные натуры, личности, одаренные внутренней интеллектуальной силой, в состоянии взойти на высшую ступень адэкватного познания и обрести истинную свободу и полное блаженство. Достижение этой вершины так же «трудно», как и «редко», гласит конец «Этики». Обычная же нравственность большинства человечества берет свое начало в эгоизме и обусловливается всецело и без всякого остатка материальными земными интересами. И философ, оставаясь верным своему об'ективно-научному методу исследования, т.-е. детерминизму, рассматривает и исследует основные человеческие аффекты без всякого их различия, беспристрастно, точно так, как геометрические фигуры. Вмешательство в область анализа человеческих нравов, негодование и сентиментальное морализирование по поводу тех или иных форм поведения человека подвергаются едкой, но спокойной иронии. Суб'ективный метод, или, что одно и то же, метод оценок, способен лишь затемнять истинные причины нравственного поведения и, следовательно, навсегда заслонить от нас природу важнейших для нас явлений жизни. Каждому марксисту известно, что этот научный об'ективный метод проникает собою все мировоззрение Маркса-Энгельса, начиная с общих философских предпосылок и кончая социально-политическими выводами и принципами тактики в области политической деятельности.

V.

Мы видели, как религиозное начало в виде религиозного чувства придало Спинозовскому детерминизму фаталистический оттенок и привело в конечном результате к мистическому завершению системы. Но, с другой стороны, строго проведенный детерминизм сделал систему во многих и главнейших пунктах материалистической. На некоторые важные элементы материализма было указано выше. Теперь будет не лишнее обратить внимание на один важный элемент материалистического мышления философа, на главный принцип государства.

«Политический Трактат» Спинозы является, в общем и целом, рационалистическим произведением. Подобно всем своим современникам, писавшим о государстве, ему чужда идея развития общественно-государственной дей-

ствительности. Ему неизвестны об'ективно-материальные условия, лежащие в основе общественного целого. Классовая структура, содержание классовых противоречий и классовая борьба остаются совершенно скрытыми от его взора. Поэтому его план государства не охватывает все формы реальных соотношений сил. Исходным пунктом является для него не конкретный общественный человек, а абстрактная метафизическая природа человека, не общественные классы, а индивидуум. Вследствие этого, все построение представляется, в общем и целом, абстрактным и упрощенно рационалистическим. Но, несмотря на общую рационалистическую концепцию, Спиноза строит все свое государственное законодательство, исходя из материальных интересов. Так, например, везде, где речь идет о создании того или другого важного и ответственного государственного института, философ рекомендует класть в его основу экономическую заинтересованность членов данного института. При избрании высшего совета государства необходимо, по убеждению философа, руководствоваться следующими основными мотивами: «Так как, — пишет Спиноза, — с человеческой природой дело обстоит так, что всякий ищет своей частной пользы с величайшим усердием и считает самыми справедливыми права, которые необходимы для сохранения и приумножения его имущества, а интересы другого защищает постольку, поскольку он уверен, что тем самым упрочивается его собственное имущество, то необходимо, значит, избирать таких советников, частные дела и выгоды которых зависели бы от общего благосостояния и мира всех» [1]). А вот и другое характерное место, в котором Спиноза излагает свои соображения о том, каким образом возможно избежать ненужных войн (вообще же, принципиально, Спиноза войны не отрицает): «Доходы сенаторов должны быть таковы, чтобы для них было больше пользы от мира, чем от войны; и поэтому с товаров, идущих из государства в другие страны, либо из других стран в государство, им должна быть предназначена одна сотая или пятидесятая часть. Мы не можем ведь сомневаться, что таким образом, насколько возможно, они будут защищать мир и никогда не будут стараться навлечь войну» [2]).

Этой материалистической мыслью проникнут весь «Политический трактат», из которого можно было бы привести много мест такого же содержания. Но достаточно, думается, и приведенных. Из этих же мест ясно видно, что гарантию справедливого ведения государственных дел Спиноза видит не в моральных качествах государственного деятеля, а в его имущественной заинтересованности, ибо «всякий... считает самыми справедливыми права, которые необходимы для сохранения и приумножения его имущества». Если перевести это на марксистский язык, это значит, что правовое сознание индивидуума обусловливается имущественным бытием. Та же самая мысль проведена, как видит читатель, и во второй выдержке, где речь идет о таком важном вопросе, как сохранение мира: войну

---

[1]) Спиноза, Политический трактат, русск. перев. Ставского, под ред. Спекторского, 1910, стр. 54.

[2]) Там же, стр. 91.

южно предотвратить не посредством проповеди человеколюбия, а при поющи материальной заинтересованности представителей государства в сохранение мира. Как уже отмечено, материализм принимает здесь рационаистический оборот благодаря общей индивидуалистической, а не классовой очке зрения; но принципиальное направление мыслей остается материалитическим. А поэтому можно сказать без всякого преувеличения, что езде там, где Спиноза является исследователем, он стоит на твердой иатериалистической почве, т.-е. везде упорно ищет материальной основы влений и находит ее постольку, поскольку позволял уроень знания его эпохи. Этому методу философ следует с полным ознанием правильности его. Благодаря общей детерминистической концепии для него материя как в космическом смысле, так и в смысле общественностортческом не представляет собою чего-то греховного, а является по сути ела равноправным атрибутом с мышлением. Отсюда — его спокойное, об'ктивное, истинно-научное отношение ко всем проявлениям действительности, юдусами какого из атрибутов они бы ни были. Отсюда же следовало его наменитое правило: не плакать, не смеяться, а понимать.

Не лишнее будет в данной связи вспомнить по понятным причинам забыые идеалистическими историками, весьма красноречивые строки, в котоых философ с большой отчетливостью выразил свое отношение как к маериализму, так и к идеализму. В письме к Бокселю Спиноза пишет: «Платон, Аристотель и Сократ не пользуются в моих глазах большим авторитеом. Я сильно удивился бы, если бы вы сослались мне (для доказательства уществования привидений, о которых шла речь в письме Бокселя. *Л. А.)* а Эпикура, Демокрита, Лукреция или какого-нибудь другого из атомистов и ащитников атомистической теории. Но я не вижу ничего удивительного в том, то люди, измыслившие какие-то таинственные свойства (qualitates occulas), специфические виды (species intentionales), субстанциальные формы и ысячу других подобных нелепостей, сочинили также духов и привидений и отовы были верить всяким бабьим сказкам. Но всем этим они еще более ыдвинули значение Демокрита, славе которого они так завидовали, что реились предать сожжению все его книги, с таким успехом распространявиеся. Наконец, если вы верите всему, что говорят эти люди, то на каких снованиях отвергаете вы чудеса небесной девы и всех святых, о которых исало столько известнейших философов, теологов и историков, что я мог бы асчитать их вам по сту на каждого, признающего привидения» [1]).

Оценка, данная здесь основателям идеализма и материализма, не нуждается в пространных пояснениях. Сущность классического идеализма, рансцендентные идеи Платона и трансцендентные формы Аристотеля уподоляются презрительно бабьим сказкам. Философские учения творца идеаизма приравниваются к вере в «чудеса небесной девы и всех святых». Напротив, авторитетами своими мыслитель считает основоположников мате-

---

[1]) Переписка Б. де Спинозы, пер. Гуревич, под ред. Волынского, СПБ. 1891, тр. 359.

риализма—Демокрита, Эпикура и Лукреция. От них Спиноза ведет свою философскую родословную.

Центр тяжести системы Спинозы составляет единство мироздания. Вытекающие из принципа мироздания основные положения суть: 1) отрицание акта творения, творца и трансцендентной телеологии; 2) признание единственным и универсальным методом исследования механической причинности. Эти основные положения, проникающие собой систему Спинозы, роднят эту систему как со старым, так и с новым — диалектическим материализмом.

За кулисами французского журнализма.

Ю. Стеклов.

I. Старая и вечно новая тема.

Недавно во Франции вышла анонимная книга под заглавием «За кулисами французского журнализма». Автор сам принадлежит к газетному миру и хорошо знаком со всеми его тайнами. Он сообщает такие пикантные и красочные сведения о закулисной стороне французской прессы, что хотя об этом прежде писали довольно часто, тем не менее поговорить на эту тему снова и снова весьма полезно. Широкие массы должны наконец узнать, что̀ такое представляет собою пресса в капиталистическом обществе и что̀ скрывается за громкими разговорами о «свободе печати» в обстановке буржуазной демократии.

Из многочисленных обвинений, выдвигаемых противниками коммунизма против Советской Республики, одним из главнейших является отсутствие в ней свободы печати. Замечательно, что этот упрек встречает сочувствие среди довольно широких кругов не только мещанской обывательщины, но и известных категорий рабочих. Пролетариат, который всегда встречал со стороны господствующих классов препятствия к защите своих интересов путем печати, особенно горячо относится к этому вопросу. А так как, к сожалению, он не всегда отдает себе отчет в механизме буржуазной демократии и в частности не имеет правильного понятия о том, что̀ действительно представляет собою пресса в условиях формальной демократии, то он иногда внимательно прислушивается к выпадам против Советской Республики, поскольку в этих выпадах речь идет о нарушении таких священных «прав человека и гражданина», как свобода печатно выражать свои мысли. Чтобы разбить эту укоренившуюся иллюзию широких масс, не мешает лишний раз заглянуть за кулисы буржуазной журналистики и разоблачить тайны этого газетного мадридского двора. И нужно сказать, что никакая самая пылкая фантазия романиста не может сравниться с тем, что дает повседневная действительность буржуазной прессы.

Впрочем, *роль последней теснейшим образом связана с функционированием всего аппарата буржуазной демократии.* Пресса представляет лишь одну из частей хитроумного ап-

парата, приспособленного к вернейшему обеспечению господства крупных собственников и к порабощению трудящихся масс. Парламент, наука, печать, торговля, армия, полиция — все это отдельные звенья в цепи, сковывающей пролетариат в буржуазном обществе и обеспечивающей господство капиталистов. В области печати эта основная задача аппарата буржуазной демократии только несколько затемнена и затушевана. Ведь печать выступает, казалось бы, в роли выразителя «общественного мнения» и беспристрастного информатора обо всех явлениях действительности, критики и разоблачителя, защитника вековечных идей «свободы», «справедливости» и тому подобных демократических фетишей. Нужно действительно пробраться за кулисы этого здания с обманчивым раскрашенным фасадом, чтобы убедиться в том, что в лице современной прессы буржуазное общество имеет одного из своих вернейших слуг и одно из наилучших орудий к обеспечению эксплоатации подавляющего большинства ничтожным привилегированным меньшинством.

Разрешению этой задачи несомненно помогает автор книги «За кулисами французского журнализма», — и в этом значение его безусловно полезной работы, с данными которой мы хотим познакомить читателя, попутно дополняя их другими известными нам фактами.

II. Пресса и капитал.

Буржуазная демократия подвергалась всесторонней критике со стороны и марксистов, и анархистов, и синдикалистов. Этой критикой неопровержимо установлено, что буржуазная демократия не в меньшей, если не в большей степени, чем другие режимы, является ширмой и удобным орудием обеспечения господства крупного капитала. Подобно тому, как крупный капитал овладевает и подчиняет себе парламент и весь государственный аппарат демократии, он творит по своему образу и подобию современную прессу и делает ее одним из орудий своего господства. В так называемых демократических республиках, где власть крупного землевладения с его военной и церковной свитой в большей или меньшей степени сломлена, финансовый и промышленный капитал царит без противовеса. Разумеется, в демократии главы крупных трестов, синдикатов и банков, фактически держащих в своих руках государственную власть, предпочитают, по соображениям политического удобства, не лезть на первый план, а выдвигать вместо себя свои орудия в лице профессиональных политиканов, адвокатов и т. п. Точно также и в области печати крупный капитал, фактически держа ее в своих руках, предпочитает выдвигать на авансцену профессиональных писателей, литераторов и т. д., творящих волю пославших их и защищающих интересы «верхних десяти тысяч» с бо̀льшим искусством, чем могли бы это сделать сами последние.

В Америке и Англии газета является чисто деловым предприятием, подобно фабрикам сапожной ваксы, патентованного мыла и т. д. Во Франции

по существу дело обстоит точно так же, хотя здесь эта сторона более замаскирована. Но и во Франции газета является сейчас крупно-капиталистическим предприятием, для основания и поддержания которого прежде всего нужны значительные денежные средства. Считается, что в настоящее время для основания газеты необходимо иметь несколько миллионов франков. Пример радикальной газеты «Котидьен», поглотившей в несколько месяцев около пяти миллионов франков, доказывает это с очевидностью. Кто же располагает такими средствами кроме крупных капиталистов или капиталистических об'единений? Совершенно естественно поэтому, что капиталисты, владеющие фабриками, на которых изготовляются испачканные типографской краской листы печатной бумаги, называемые газетами, теснейшим образом связаны с высшими капиталистическими кругами и отстаивают их интересы, защищая по пути и свои личные интересы, тем более обеспеченные, чем вернее газета служит защите буржуазного общества в целом или отдельных его групп, располагающих особенным влиянием, в частности.

В силу одной из распространенных демократических фикций предполагается, что газета выражает так называемое «общественное мнение». Но это общественное мнение и есть мнение господствующих групп буржуазии. Владея прессой, этим могучим орудием пропаганды, капитал творит общественное мнение по своему образу и подобию и внушает широким массам, для которых газета в большинстве случаев есть единственная духовная пища, идеи, порожденные капитализмом и выгодные для него.

«Наше народоправство воображает, — говорит Робер де Жувенель, известный редактор «лево-республиканского» органа «Эвр», — что оно представляет общественное мнение. Однако беда заключается в том, что у нас нет никакого общественного мнения, а имеются только газеты! Посреди равнодушия и молчания публики они одни возвышают свой голос и претендуют выражать то, о чем народ мог бы молча думать! С течением времени государственная власть подчинилась этой претензии газетного мира. Когда двенадцать министров и девятьсот членов парламента сошлись в конце концов на каком-нибудь законе или реформе, наступает важнейший момент. Необходимо еще, чтобы газеты, т.-е. стоящие за ними силы, а именно крупная промышленность, финансы, поставщики военного снаряжения, одобрили этот закон и высказались за эту реформу. Этого требует демократия».

И обратно, «свободная» пресса, находящаяся в распоряжении капитала, может скомпрометировать самую необходимую реформу, требуемую широкими массами, с помощью систематической кампании лжи, клеветы и т. д. Достаточно вспомнить о судьбе подоходного налога во Франции. С этой пагубной ролью буржуазной «свободной» печати Советская Республика хорошо знакома по собственному горькому опыту.

Власть капитала над так называемой «свободной» «демократической» печатью проявляется в тысяче разнообразных форм, посредственно и непосредственно. Поскольку газеты принадлежат крупным капиталистам или их ставленникам, здесь влияние капитала на печать сказывается непосредственно. Но даже в том случае, когда такой непосредственной связи

формально не существует, в действительности газеты находятся в зависимости от отдельных крупных капиталистов, влиятельных политиков, связанных с высшими капиталистическими кругами, — от банков, от фабрикантов оружия, наконец, от правительства, являющегося в современном буржуазном обществе комитетом для управления общими делами класса крупных капиталистов. Ниже мы приведем много примеров того, каким множеством разнообразных путей проявляются в современной французской прессе власть капитала и влияние правительства. Сейчас же ограничимся общим указанием на этот довольно общеизвестный факт.

Маркс как-то заметил, что у колыбели капитала стоит преступление и что капитал появляется на свет божий весь покрытый грязью и кровью, сочащейся из всех его пор. Нужно сказать, что подобное явление замечается и в столь, казалось бы, деликатной и идейной области, как газетное дело. Некоторые из крупнейших буржуазных газет Франции имеют довольно нечистое происхождение.

Так, например, Фернанд Ксо, заведывавший рекламным отделением банка «Финансовое Страхование», обанкротившегося благодаря газетной кампании, зажилил у банка 240 тысяч франков, на которые впоследствии основал одну из распространеннейших парижских газет «Журналь». Другая распространенная парижская газета «Матэн» основана была английским журналистом Эдвардсом, бывшим в то же время и очень ловким дельцом и спекулянтом. Этот Эдвардс во время буланжистской эпопеи усердно «спасал республику» от реакционных затей генерала на белом коне, а затем, в награду за свои подвиги, выпросил у министра внутренних дел Констана монополию на «игру в 36 зверей». Это особый вид рулетки, распространенный в Индо-Китае. Как хорошо вознаграждены были заслуги ловкого журналиста, видно из того, что на второй же год монопольное общество дало 8½ миллионов чистой прибыли. Состряпав такое выгодное дельце, Эдвардс продал основанную им газету. Купил ее биржевой заяц и спекулянт Бюно-Варилля, брат которого, инженер, был замешан в панамской афере, из которой извлек немало денег. В руках этого бандита прессы Бюно-Варилля «Матэн» находится и до сих пор, заслужив почтенную кличку «самой лживой газеты в мире». Известно, что эта газета является самым ожесточенным врагом Советской Республики.

Для довершения курьеза скажем, что Эдвардс, нажившись на Востоке и сделавшись миллионером, впоследствии вернулся во Францию, где уделил часть своих праведно нажитых капиталов на издание революционно-социалистической газеты «Пти Су». Это было во времена мильеранизма, во времена первой коалиции, при министерстве Вальдека-Руссо, с которым Эдвардс имел личные семейные счеты. Чтобы напакостить своему родственнику, Эдвардс записался в партию бланкистов (!) и дал деньги на основание революционной газеты, в которой участвовали гэдисты, бланкисты и т. д. Так он побаловался с годик, а потом газету благополучно закрыл. Это, кстати, показывает, насколько сильна власть капитала во французской прессе: даже революционную газету удалось основать только с по-

мощью капиталиста[1]), которому взбрела в башку капризная мысль таким путем разрешить свой семейный спор.

Третья распространенная парижская газета «Пти Журналь» основана банкиром Милло. В 1880 году она была перекуплена Маринони, фабрикантом известных ротационных машин. В этой газете иностранным отделом заведывал приятель Клемансо, Стефан Пишон, впоследствии сделавшийся министром иностранных дел и сыгравший такую подлую роль в интервенции Антанты против Советской Республики. С этим Пишоном в переписке состояло, между прочим, эсеровское самарское правительство Комитета Учредительного Собрания, как это было разоблачено на эсеровском процессе в Москве в 1922 году.

При этом обнаруживается любопытная связь между капиталом и прессой, бросающая специфический свет на прелести буржуазной демократии. Если, с одной стороны, капитал доставляет своим владельцам власть и влияние в печати, то, с другой стороны, газета тоже дает власть и... капитал. История буржуазной печати показывает, что если капиталист или политический деятель хотят добиться влияния, то им нужно забрать в свои руки газету. Но и обратно. Заполучив в свои руки газету, можно добиться не только материальных выгод, но при случае и застраховать себя от громов слепой буржуазной Фемиды. Когда-то жил-был на свете спекулянт Евгений Летелье. На панамском деле он нажил большие миллионы в качестве поставщика строительных материалов — ни более ни менее как 32 миллиона франков за цемент, который он ни разу не поставил! Когда началось следствие по панамским мошенничествам, Летелье оказался привлеченным к делу. А по опыту известно было, что нет лучшего средства избегнуть неприятных результатов такого следствия, как заполучить в свои руки влиятельную и распространенную газету. Упомянутый Фернанд Ксо, успевший к этому времени прожить наворованные деньги, охотно продал ему свой «Журналь». Летелье превратил его из литературного в политический орган и не только вылез сухим из воды панамского скандала, но и обеспечил себе огромные правительственные заказы цемента, соединяя таким образом приятное с полезным!

III. Механизм газетной печати.

Что свободная пресса в буржуазной демократии является одним из важных орудий капиталистического господства, это может почитаться установленным фактом. Но все-таки пресса есть орудие особенное, деликатное. Приемы воздействия у нее тоже поэтому должны быть особенные. Она должна влиять идейно, привлекать читателя литературными качествами

[1]) Газета «Юманитэ», ныне центральный орган французской коммунистической партии, в свое время была основана Жоресом тоже с помощью субсидий, полученных им от еврейских банкиров ввиду его роли в деле борьбы с национализмом и антисемитизмом во время дела Дрейфуса.

своего материала, его разнообразием и новизной. Капитал понял это и сумел это использовать. Здесь на помощь ему пришла его экономическая сила.

Прежде всего капитал умеет покупать «имена». В каждой газете имеется так называемый redacteur-en-chef. Но не нужно думать, что это соответствует нашему главному редактору. Вообще слово «redacteur» на французском языке означает вовсе не редактора, а сотрудника. Redacteur-en-chef приблизительно можно перевести словами «главный сотрудник», если хотите, передовик. Впрочем, хотя обыкновенно статьи такого сотрудника и печатаются в начале газеты, но не являются передовицей в собственном смысле. В большинстве французских газет передовой является собственно вторая небольшая статья, так называемая «лидер» или «Premier-Paris». Первая же статья бывает обыкновенно посвящена какому-нибудь вопросу литературы, искусства, науки и т. п. Лучшие писатели Франции сотрудничали в газетах в качестве таких redacteur-en-chef, привлекая к ним читательскую массу своими именами. Такой redacteur-en-chef может никогда и не бывать в газете, не иметь к ней никакого отношения, кроме посылки своей статьи, которую он обыкновенно пишет дома. Но такие крупные имена являются известной ширмой, которая прикрывает газету и придает ей вид приличия или благонадежности, но за которой настоящие заправилы газеты творят свое грязное дело шантажа и вымогательства. В этом отношении безразличие французских литераторов доходит до крайности. Самые приличные и даже прогрессивные писатели не считают зазорным сотрудничать в самой грязной и пользующейся дурной репутацией газетке, лишь бы им за это хорошо платили. И буржуазия ловко умеет использовать такое безразличное отношение пишущей братии к журналистской чистоплотности. Бывало и так, что в интересах повышения тиража крупнейшие буржуазные газеты привлекали на свои столбцы сотрудников, пользовавшихся славой крайних революционеров. Было время, когда, например, в «Матэн» сотрудничали такие люди, как Жюль Гэд, Эдуард Вайян и т. п. Как видим, буржуазия из всего умудряется делать капитал, даже из пропаганды социальной революции!

Действительным хозяином французской газеты является так называемый «директор». Это и есть настоящий редактор газеты, устанавливающий ее связь с внешним миром, придающий ей определенный характер и проч. Очень часто этим директором является капиталист, основавший или купивший газету или снабжающий ее фондами. *В его лице власть капитала над прессой сказывается совершенно недвусмысленно.* Писатели пописывают, читатели почитывают, а действительно руководит газетой, обращает ее в орган служения капиталу и своему собственному карману этот настоящий хозяин газеты.

Нужно еще упомянуть о том давлении, которое капитал оказывает на прессу путем организации *распространения* газеты. Об этой стороне вопроса автор рассматриваемой книги почему-то забывает. А между тем крупные фирмы, ведающие распространением газет, как, например, пресловутая фирма Гашетта, играют огромную роль в газетном деле и могут по произволу способствовать увеличению или сокращению тиража газет

и в этом отношении держать их в своих руках. Еще недавно во Франции шла ожесточенная борьба между Гашеттом и газетой «Пти Паризьен», которая хотела высвободиться из-под этого влияния крупных распространительских фирм. Совершенно очевидно, что рабочая пресса особенно страдает от таких «распространителей» газет.

Крупнейшую роль в жизни французских газет играет отдел об'явлений. Здесь власть капитала сказывается с особенной очевидностью. Нужно заметить, что французская пресса живет, главным образом, розничной продажей. Абонентов во Франции почти не существует. Обычные об'явления во французских газетах также не играют такой роли, как в прессе других стран, где они доставляют газетам главную долю доходов, позволяющих покрывать расходы по другим статьям. Поэтому французские газеты особенно дорожат об'явлениями. Доставляются они обыкновенно специальными агентствами, которые, по общему правилу, откупают у газет отдел об'явлений за известную ежемесячную или ежегодную плату и таким образом становятся неограниченными хозяевами этого отдела. А так как эти агентства об'явлений обыкновенно являются агентствами крупных банков и капиталистических синдикатов, то таким образом власть этих капиталистических учреждений в газете становится неограниченной.

При таких условиях читатель, разумеется, никогда не может узнать правду о действительном положении того или иного финансового или промышленного учреждения. Он будет знать о нем только то, что сообщает газета, т.-е. агентство об'явлений, т.-е. это самое финансовое и промышленное учреждение, претендующее на его «сбережения». Впрочем, для выуживания денег из карманов доверчивых обывателей существуют еще специальные финансовые, или биржевые, газеты, в которых эта отрицательная сторона французской прессы доведена до апогея.

Ежедневно читатель под видом якобы об'ективных отчетов о состоянии денежного рынка проглатывает составленные самими банками лживые уверения о блестящих шансах тех или иных выпускаемых ценных бумаг, о блестящих перспективах того или иного более или менее сомнительного и дутого предприятия, — и одураченный, оглушенный, обманутый обыватель доверчиво несет свои сбережения в руки биржевых акул. В частности так делалось когда-то с царскими займами, в интересах которых обрабатывалось французское общественное мнение. За это французские газеты получали от царского правительства колоссальные суммы, как это в прошлом году было разоблачено опубликованием в газете «Юманите» документов из наших государственных архивов, разоблачивших продажность французской прессы и бандитизм финансового отдела французских газет.

IV. „Ужасающая продажность“ французской прессы.

Буржуазная пресса вообще продажна, но французская в этом отношении, кажется, побила все рекорды. Автор рассматриваемой книги об'ясняет это тем обстоятельством, что французские газеты не имеют постоянных

обеспеченных доходом в лице развитого отдела об'явлений, а также постоянных абонентов. Но это, разумеется, только частичное об'яснение вопроса. Вернее всего можно об'яснить эту, как выразился бывший русский министр иностранных дел Сазонов, «ужасающую продажность парижской прессы» тем преобладанием финансового капитала, которое отличало Францию до последнего времени.

Но напрасно было бы думать, что продажность французской прессы проявляется только в финансовых кампаниях. На самом деле *здесь все покупается и все продается*. Основатель «Фигаро», известный Вильмессан, один из первых поставил себе за правило продавать оптом и в розницу все отделы своей газеты. Желал ли какой-нибудь великосветский хлыщ напечатать свое бездарное произведение, Вильмессан охотно шел ему навстречу за приличную мзду. Хотела ли какая-нибудь модистка прореклам ировать выпускаемые ее фирмой шляпки, — и за известную плату Вильмессан в отделе великосветской хроники при отчете о балах, вернисcажах, театральных премьерах и т. д. незаметно рекламировал замечательные шляпы модистки такой-то, изумительные платья портного такого-то и т. д. И лучшим днем в жизни Вильмессана был тот день, когда он с гордостью мог заявить: «В сегодняшнем номере «Фигаро» нет ни одной неоплаченной строки!»

Этому поучительному примеру стараются в большей или меньшей степени подражать все французские газеты. Как известно, кроме реклам и об'явлений, печатаемых в соответствующем отделе, в газетах помещаются «эхо», «коммюнике» и подобные сообщения, в которых неопытный читатель не может разобрать, исходят ли они от заинтересованной фирмы или от самой редакции. А очень многие рекламы преподносятся в прямо замаскированном виде, в отделе хроники и т. п., как будто в качестве редакционных заметок. Разумеется, за такие рекламы взимается повышенная плата.

Но все это более или менее обычное явление. В некоторых же случаях продажность газет доходит до особенного безобразия. Достаточно, например, привести такой факт. Однажды в «Фигаро» появилась передовая статья Октава Мирбо о бельгийском поэте Метерлинке. В те времена это был никому не известный молодой человек, но имевший счастье быть сыном богатых родителей в Генте. Когда он выпустил первый томик своих символических стихотворений в собственном издании, его родители заплатили «Фигаро» 5.000 франков для того, чтобы газета оповестила мир о появлении нового гения. Выполнить эту работу взял на себя Октав Мирбо, получивший за свою статью 1.000 франков и в награду за это об'явивший молодого виршеплета величайшим писателем века, стоящим выше Шекспира и Гете! С этого времени пошла головокружительная слава Метерлинка, которого, как водится, с особенным усердием рекламировали в России — надо думать по глупости, а не за деньги.

Буржуазная пресса приучила нас к тому, что нет предела человеческой низости и продажности. Сейчас мы говорили только о проявлении подкупности в делах, так сказать, личного характера. Но ведь французская пресса

ежедневно продается по делам общественного характера, гораздо более важным. Один пикантный анекдот из этой области мы приведем. Он интересен тем, что на этот раз получение взятки не сошло для журналистов безнаказанно. Но не подумайте, что в их лице был наказан порок. Как раз наоборот, они пострадали за покушение на добродетель, правда, покушение, оплаченное звонкой наличностью.

Речь идет о той же газете «Фигаро». Как известно, во время дела Дрейфуса буржуазная печать разбилась на два лагеря, при чем большинство самых распространенных и влиятельных газет оказалось в лагере «антидрейфусаров», старавшихся всячески утопить несчастного невинного человека. Братья осужденного капитана уплатили двум главным сотрудникам «Фигаро», Perивье и де-Родэ, огромную сумму (говорили о 250.000 франков), и газета в один прекрасный день из яро «антидрейфусарской» превратилась в горячую защитницу невинно-осужденного капитана. Но так как читатели этой бульварной газеты рекрутируются главным образом из среды «светского общества», которое с неудовольствием встретило этот неожиданный поворот своего органа, то тираж газеты в несколько дней упал со 120 тыс. до 35, а ее акции, котирующиеся на бирже, — с 800 до 210. Пострадавшие акционеры созвали чрезвычайное общее собрание, в результате которого Перивье и де-Родэ вылетели из газеты, а директором ее назначен был известный газетный бандит Гастон Кальмет, о котором нам придется говорить еще ниже. Газета снова стала органом военно-реакционной клики.

Мы уже упоминали о влиянии банков, которые крепко держат «свободную» прессу в своих руках путем откупа отдела об'явлений и, кроме того, путем регулярных платежей. Уплачивают, впрочем, газетам регулярные суммы не только банки, но и железнодорожные общества и даже такие учреждения, как игорные дома. В частности золотым дождем поливает французскую прессу знаменитый игорный дом в Монако, при чем на сей раз газетам платят не за какие-либо «благоприятные» сообщения, а, наоборот, за... молчание. Как известно, в Монако ежедневно происходят самоубийства людей, проигравшихся в рулетку, но вы никогда не найдете ни в одной французской газете упоминания о таких печальных инцидентах. Если о Монако и упоминается в газетах, то лишь для того, чтобы расхвалить замечательный климат, даваемые там прекрасные симфонические концерты, великие достоинства принца Монакского, этого покровителя искусств и наук, а в сущности бесчестного и вульгарного содержателя величайшего игорного дома в мире, сеющего разорение и горе и создающего тысячи жертв. Ежегодно игорный дом в Монако уплачивает парижским газетам 800 тысяч франков, и это совершенно не скрывается, так как печатается в годичных отчетах этого великокняжеского притона! Нужно, впрочем, сказать, что игорный дом платит и газетам других стран, например, венским, лондонским, римским и т. д., и также огромные суммы [1]).

---

[1]) Железнодорожные компании платят газетам за то, что те молчат о крушениях, жел.-дор. непорядках и т. п.

Газеты получают «месячные». Как велики эти суммы, видно, например, из того, что один только банк «Поземельный Кредит» ежегодно тратит на эту статью свыше 2 миллионов франков. Газета «Фигаро» за прошлый год показала в своем отчете $2\frac{1}{2}$ миллиона франков «редакционных (!) доходов». Сюда входят взятки от таких банков, как «Поземельный Кредит», «Лионский Кредит», частные банки, игорный дом в Монако, железнодорожные общества и т. д. Все это платится за молчание, а не за напечатание. Что же касается помещения нужных материалов, то строчка стоит 100 франков. За эти 100 франков построчных любой человек, обладающий средствами, может заставить поместить в газете передовую статью, в которой он будет об'явлен величайшим поэтом века или же враг его будет об'явлен величайшим мошенником и вором, банк будет провозглашен образцом добродетели, а судебный следователь, неудобный тому или иному жулику, будет об'явлен тайным анархистом и т. п. Сюда не входит та сумма, которая уплачивается «на-чай» услужливому журналисту, сочиняющему требуемую статью, как мы выше видели на примере с Октавом Мирбо.

После этого неудивительно, что панамское общество, как доказало следствие, израсходовало на подкуп депутатов и журналистов 150 миллионов франков! Это, разумеется, рекордная сумма, но и обычные законные доходы парижской прессы выражаются в солидных цифрах. Так, например, за кампанию в пользу участия Франции в Чикагской всемирной выставке парижские газеты получили четыре миллиона. Даже за такой «патриотический» подвиг, как агитация в пользу французского военного займа 1914 года, так называемого «займа победы», «Пти Журналь» и «Пти Паризьен» получили по 20.000 франков (не считая 180.000 франков за «об'явления»), «Фигаро» и «Матэн» — по 15.000, «Журналь» — 14.000, церковная газета «Ла Круа» — 12.000 и т. д. Все это, кроме обычной платы за помещение об'явлений. В общем на агитацию в пользу этого займа было истрачено 18 миллионов франков!

Ну, а если дозволяется доить собственное отечество, то уж по отношению к другим сам бог велел следовать золотому правилу «норови в карман!». И, как известно, за содействие царским займам французская пресса сумела извлечь колоссальные, не поддающиеся точному исчислению суммы.

Рекорд продажности побили финансовые газеты. Их насчитывается около 250. Из них — 6 ежедневных, 40 еженедельных, около 25 выходящих раз в месяц, остальные же вообще никогда не появляются в свет, хотя взимают поборы за об'явления, рекламы, коммюнике и т. д. В этих газетах все продажно от первой строки до последней. Из них три четверти занимаются самым вульгарным шантажом и вымогательством. Основатели новых предприятий, особенно спекулятивного характера, обыкновенно стараются заинтересовать собственника такой газеты участием в предприятии. Если этим газетам не платить определенной постоянной мзды, то они при перечислении курса бумаг просто-на-просто пропускают курс той бумаги, владелец которой не внес причитающейся дани. Характерно, что к таким вульгарным приемам шантажа прибегают также крупнейшие информа-

ционно-политические газеты. Так, например, «Матэн», не добившись от «Лионского Кредита» желательной взятки, в течение нескольких месяцев систематически умалчивал в своем биржевом бюллетене о курсах акций этого общества. Сначала «Лионский Кредит» посмеивался над этим и, что называется, в ус не дул, но затем, когда начал ежедневно получать сотни запросов со стороны испуганных акционеров, думавших, что банк закрылся, а Бюно-Варилля начал распускать через мелкие «револьверные» листки слухи о предстоящем банкротстве банка, то его директора сочли нужным капитулировать перед мощью «свободной» печати и заключили с «Матэн» договор, который принес шантажистской газете 120.000 франков.

За эти подачки газеты бесстыдно рекламируют все то, что велят заказчики. Особенной продажностью отличаются так назыв. «финансовые корреспондентские бюро». Они ежедневно выпускают в виде плаката рукописный или гектографированный бюллетень. Иногда собственник такого бюро является одновременно единственным его служащим и рабочим; иногда же, как агентство Фурнье, агентство Гаваса и т. д. — это крупное капиталистическое предприятие. Каждая строка такого бюллетеня, разумеется, оплачена или регулярными «месячными», или платежами от случая к случаю. Абонементная цена на эти бюллетени никогда не указывается, она меняется в зависимости от ранга подписчика. Ни один банкир не рискует отказаться от абонемента. Некоторые подписываются даже на 10 и более экземпляров, ибо никто не хочет навлечь на себя вражду этих бандитов и предпочитает откупиться от них парой сот франков. Само собой разумеется, что царское правительство особенно щедро оплачивало услуги этих вымогателей.

О приемах этих господ дает понятие следующая заметка в одной из так назыв. финансовых газет: «Как нам сообщают, в ближайшую неделю предстоит открытие подписки на 5% заем мавританского правительства в таком-то и таком-то банке. Следует ли публике принять участие в этой подписке, об этом мы подробно поговорим в ближайшие дни». Коротко, но ясно. После этого тонкого намека на толстые обстоятельства заинтересованный банк поспешит, конечно, внести вымогателю причитающуюся мзду.

Но, как мы уже указывали, к таким приемам прибегают и крупные политические газеты. Вот характерный прием таких действий. Анри Симон, владелец крупной националистической газеты «Эко де Пари», обращается 9 января 1904 г. со следующим письмом к русскому финансовому агенту в Париже, известному А. Рафаловичу:

«Позволяю себе настоящим выразить вам мою глубочайшую благодарность за взносы, сделанные в нашу газету.

«Вы знаете, как я был огорчен тем, что наша газета не получила их в то время, когда другие газеты с меньшим тиражем были включены вами в списки по распределению сумм. При этом я меньше заботился о денежных выгодах, чем о моральном (!) впечатлении, которое это могло произвести, и я рад, что это положение вещей прекратилось.

«Вы наверно знаете, что я для достижения этой цели публиковал большие и скучные (!) статьи в пользу России и делал это единственно для того,

чтобы быть вам приятным. Вам одному я обязан тем, что «Эко де Пари» в настоящее время на равных правах участвует в льготах, и я считаю нужным снова поблагодарить вас за это».

Как мы видим, этот почтенный защитник религии, семьи и собственности пошел даже на такую жертву, как помещение «длинных и скучных» статей в пользу царизма, лишь бы дорваться до участия в том жирном пироге, который царским агентством распределялся по кускам между продажными французскими газетами. Любопытно, что, получив это письмо, Рафалович направил его в Петербург по начальству с просьбою «хорошенько хранить» его, так как это письмо впоследствии может «оказаться нам полезным». Как видим, царские чиновники хорошо сохранили письмо г. Симона в своих архивах, чем дали возможность Советской власти впоследствии опубликовать его во Франции.

Это не помешало г. Симону снова поссориться с царским правительством. Дело в том, что, подобно другим французским газетам, не располагающим собственным развитым аппаратом осведомления, «Эко де Пари» связался с английской газетой «Дэйли Телеграф», получая ее телеграфные известия для помещения их в своей газете. А так как «Дэйли Телеграф», в качестве английской консервативной газеты, всегда вела «антирусскую» политику, то в «Эко де Пари» проскальзывали сведения, неприятные царскому правительству. И когда Симон захотел выклянчить у царского правительства новые увеличенные подачки, то ему это обстоятельство было поставлено на вид. И вот, чтобы получить желательную взятку, газета обещалась впредь не печатать (!) неблагоприятных для царизма телеграмм «Дэйли Телеграф», после чего оба бандита, т.-е. владелец продажной парижской газеты и царское правительство, великолепно столковались.

V. Пресса и правительственные подачки.

Продажность прессы и газетчиков выражается не только в получении определенных денежных подачек от банков, синдикатов, отдельных лиц и т. п., но и в тех или иных *подачках* более или менее осязательного характера *от правительства*. Журналисты, имеющие ту или иную заслугу перед правительством, получают от него награды, выражающиеся то в ордене почетного легиона, то в более осязательной форме, например, чина, тепленького местечка, выгодного предприятия, заказа и т. п.

Так, например, журналист Дрейфус, владелец газеты «Нация» (не смешивать с капитаном Дрейфусом), совершил целый ряд мошенничеств, за которые обыкновенный смертный без дальних околичностей был бы посажен в тюрьму. Но за свои заслуги и республиканские добродетели он вместо этого был отправлен правительством в качестве министра-резидента на Золотой Берег, получив таким образом возможность прививать начала современной цивилизации и блага истинной демократии чернокожим «варварам».

Как мы видели выше, Эдвардс за свои заслуги в деле «защиты республики» получил выгодную концессию в лице индо-китайской рулетки, давшей ему много миллионов.

Владелец «Журналь», Летелье, являющийся одновременно собственником величайших цементных заводов Франции, получил от правительства огромные выгодные заказы на цемент.

Шарль Эмбер, бывший политический руководитель «Матэн», перешедший после ссоры с его владельцем в «Журналь» и открывший там патриотическую кампанию в пользу усиления французских вооружений, был избран сенатором от Верденского округа, получив возможность выражать свою «патриотическую» тревогу с парламентской трибуны. Он не остался без награды. Сделавшись совладельцем крупной автомобильной фабрики, он получил от правительства заказ на автомобили, принесший ему много миллионов. На эти деньги он приобрел часть акций газеты «Журналь» и хотел остальные нужные ему миллионы получить от германского правительства! Это было во время войны. «Патриотизм» Шарля Эмбера не помешал ему войти в какую-то темную сделку с германским агентом, известным марсельским авантюристом, Боло-пашою, который должен был доставить ему германские миллионы для приобретения остальных акций газеты. Боло-паша был за эту историю расстрелян, но Шарлю Эмберу удалось как-то выкрутиться. Недаром он влиятельный журналист!

Совсем недавно г. Эннеси, собственник радикальной газеты «Котидьен», ведшей энергичную кампанию в пользу левого блока, после победы последнего на прошлогодних выборах был в награду за это назначен французским посланником в Швейцарию. Его республиканские добродетели, впрочем, награждались и раньше в форме крупных правительственных заказов на поставку вина и других спиртных напитков для армии и госпиталей, так как этот боец за радикальную демократию является владельцем крупнейших французских коньячных заводов.

Другою формою правительственного подкупа является предоставление газетам казенных об'явлений. Достаточно сказать, что в 1924 г. правительством на размещение «бон защиты» и последнего французского займа затрачено было на газетную рекламу 14 миллионов франков. Здесь поживились и «Матэн», и «Журналь», и «Тан», и «Аксион», и другие газеты.

Но щедрое правительство «великой демократии» платит журналистам за их услуги не только деньгами, но и натурой. Так, один из сотрудников «Тан» получил от министра финансов Рувье выгодное место налогового сборщика в Париже; другой — от Бриана место генерального секретаря Большой Оперы; третий был назначен инспектором тотализатора; четвертый, замешанный в каком-то шпионском деле, получил место начальника отделения в министерстве; пятый послан на остров Гваделупу в качестве финансового комиссара; шестой назначен генеральным консулом в Одессу; седьмой — начальником архива в министерстве иностранных дел и т. д. Словом, пожалована чуть не вся редакция.

Кроме того, ряд журналистов получили земельные и другие концессии в Тунисе и колониях. В их руках очутились огромные латифундии, превышающие три четверти всей обрабатываемой площади в Тунисе, Конго и на Мадагаскаре. Эти достойные представители «свободной» печати, получив такие жирные подарки, или немедленно перепродают свои владения какому-либо колониальному обществу, или сами основывают компанию для их эксплоатации. В Марокко они наложили лапу почти на всю страну. Сотрудник «Тан», известный Тардье, получил таким образом концессию в Нгоко-Санга в Западной Африке, которую он продал одному консорциуму капиталистов за круглую сумму в 2 миллиона франков [1]).

VI. Газетный бандитизм (общий).

Продажность французской прессы вызывается, с одной стороны, общими условиями капиталистического строя и, в частности, буржуазной демократией, а с другой стороны — ожесточенной конкуренцией, порождаемой слишком большим количеством газет. Так, например, в Париже имеется около 70 ежедневных газет, т.-е. в шесть раз больше, чем в Лондоне, в пять раз больше, чем в Нью-Иорке, и в четыре раза больше, чем в Берлине. Каждая из них, вроде наших «цыпленков», хочет жить и притом иметь не просто хлеб, а с маслом. На почве этой продажности в обстановке журналистской безнаказанности и жадной погони за наслаждениями, характерными для такой страны, как Франция, среди деятелей прессы развивается настоящий бандитизм. Когда автор рассматриваемой книги говорит, что «Франция отдана во власть прочно организованной банды мошенников», то он не очень преувеличивает.

Получение платы как за молчание, так и за помещение желательных платящему сведений, естественно переходит в вымогательство такой платы. На этой почве развились так называемые «газетные кампании». Неопытному человеку может показаться, что, открывая такую кампанию, пресса преследует цели общественной нравственности или общественного интереса. На самом деле в большинстве случаев в основе этих «кампаний» лежит самый наглый шантаж и самое вульгарное вымогательство. Всюду, где пахнет возможным банкротством банка, семейным скандалом в высшем обществе, выпуском новых ценностей и т. д., бандиты прессы узнают об этом первыми и пускают в ход все средства, чтобы урвать для себя более или менее жирный кусок. Это принудительные платежи от случая к случаю.

---

[1]) Впрочем, французское правительство, как и другие, подкупает не только собственную прессу, но и иностранную. Так, во время войны им были подкуплены швейцарские газеты «Журналь де Женев» и «Газета де Лозанн». Делалось это в приличной форме, а именно ежедневно заказывалось (и оплачивалось) для армии 30.000 экземпляров первой газеты и 25 000 второй. Разумеется, при таких условиях эти газеты проявляли не меньше французского патриотизма, чем сама пресса Франции

Этот газетный бандитизм можно разделить на общий и частный. Под первым мы разумеем походы на чужой карман, предпринимаемые всей газетой в целом или ее собственником, или директором; под частным — шантаж и вымогательство, предпринимаемые отдельными журналистами или группами их в своих персональных интересах. История французской прессы представляет поучительные примеры бандитизма того и другого рода.

Совершенно естественно, что наибольше выгод обещают походы на такие крупные финансовые предприятия, как банки. Обыкновенно пресса и банки находятся в тесном и дружеском союзе, совместно об'егоривают обывательскую публику и более или менее полюбовно делят между собою добычу. Но бывает, что некоторые банки иногда заартачиваются, если не в смысле платежей вообще (против этого в порядочных демократиях банки не спорят), то в смысле размера платежа, вымогаемого той или иной газетой или их группой. В большинстве случаев горе тому банку, который имел несчастье раззадорить аппетиты бандитов прессы и отказаться их удовлетворить!

Крупные газеты обыкновенно избегают брать на себя инициативу похода. Для этого существуют мелкие квартальные газетки, никому не известные, никем не читаемые, но в общей экономии газетного хозяйства играющие свою определенную роль. И вот в такой газетке появляется, примерно, следующее об'явление: «Как нам сообщают, начато следствие по поводу неправильного ведения дел в таком-то и таком-то банке. Говорят, будто органы государственной власти получили ряд жалоб со стороны пострадавших вкладчиков». На следующий день уже в какой-нибудь крупной газете со ссылкою на источник появляется такая заметка: «Как сообщает такая-то газета, открыто следствие... и т. д.» — на этот раз с комментариями и добавлениями. Первоначальная заметка в пять строк уже выросла до тридцати. После этого все другие газеты с жирными заголовками («Скандал в банковом мире») помещают большие статьи в 1—2 столбца, и «кампания» развивается изо дня в день до тех пор, пока намеченный в жертву банк или доводится до действительного банкротства, или раскошеливается для удовлетворения газетной братии.

Такая печальная участь постигла банк «Финансовое Страхование», основанный неким Буланом, бывшим служащим банка «Поземельный Кредит». Поход против этого банка был открыт собственником и руководителем газеты «XIX век» Эдуардом Порталисом. Десяток-другой журналистов поспешили поддержать кампанию. Вкладчики бросились в банк за своими вкладами, и Булан пустил себе пулю в лоб. Из банковских книг обнаружилось, что банк успел собрать 1.800 тысяч франков, из коих выплачено было Порталису 348 тысяч, Деклерку — 90 тысяч, заведующему рекламной частью банка Фернанду Ксо — 240 тысяч (на эти деньги он и основал впоследствии газету «Журналь») и 400 тысяч целому ряду более мелких рептилий. Впоследствии гражданский суд, правда, постановил, что Порталис должен вернуть эти 348 тысяч в конкурсную массу; но он заблаговременно перевел все свое

имущество на имя жены. А ведь это довольно почтенная фигура среди французских журналистов!

Не менее громкой «кампанией» Порталиса был поход на игорные клубы, которые под разными более или менее благозвучными «литературными» и «художественными» кличками обирали публику. Эта кампания на внешний вид носила даже «благородный» характер. На самом же деле это была попытка самого бессовестного шантажа. Кампания началась рядом анонимных статей в газете Порталиса под заглавием «Письма старого игрока», материал для которых доставлял Порталису старый клубный игрок Дефранс. Порталис получал уже 12.000 франков в год от игорных клубов за молчание. Теперь он решил сорвать с них побольше. Но владельцы игорных клубов решили защищать свои интересы. Они устроили собрание и организовали сопротивление. Кампания продолжалась. Ежедневно газетчики выкрикивали на бульварах: «Крупный скандал в игорных клубах!». Организованы были процессии людей-сандвичей с газетами на груди и на спине и с большими плакатами на палках, на которых было написано: «Имеют уши и не слышат!». Такие же сандвичи были расставлены перед дверьми игорных клубов с соответствующими надписями и с намалеванной большой красной рукой, указующей перстом на входную дверь игорного притона. В результате клубы капитулировали.

Первым сдался Бертран, директор «Франко-американского клуба». Победитель Порталис встретил кающегося грешника словами: «Если бы вы пришли две недели тому назад, это стоило бы вам 30 тысяч, а сегодня пожалуйте 70 тысяч — и в течение двух дней!». Бертран не стал терять ни одной минуты, вытащил свою чековую книжку и заплатил.

Руководитель другого клуба — «Фехтовального кружка» — Блох подал прокурору жалобу на Порталиса, Трокара [1]) и Деклерка [2]) за вымогательство. Вместе с тем он обратился к помощи частных сыщиков, к бывшей любовнице Порталиса и к одному из наборщиков его газеты. Последний передал ему рукопись статьи «Письма старого игрока», написанную рукою Порталиса, а разжалованная содержанка передала ему частные письма Порталиса для сравнения почерков, равно как и переписку с Буланом, доведенным до самоубийства директором «Финансового Страхования». Часть сыщиков собрала доказательства прежних шантажей Порталиса. В довершение беды Порталис, уверенный в своей безнаказанности, имел неосторожность поставить свою надпись на чеке, выданном ему Бертраном.

Дело возбудило большой шум и даже обсуждалось в совете министров. В результате оно, по общему правилу, кончилось ничем! Деклерк полу-

[1]) Трокар тоже не обычный карманник, а директор газеты «La Paix», бывший депутат, племянник министра, — словом, опора буржуазного общества.

[2]) Деклерк уже прежде был приговорен за вымогательство к 6 месяцам тюрьмы, но так как он одновременно был полицейским агентом, то полиция добилась его помилования и назначила его служащим при «отделении игр» (т.-е. отделения для наблюдения за азартными играми). В качестве такового он имел свободный доступ ко всем полицейским архивам, касающимся игорных клубов, и мог оказать Порталису серьезную помощь в его «кампании».

чил место таможенного надсмотрщика в Корсике, судебный следователь получил повышение и был назначен председателем суда в Руан, а Порталис, как ни в чем ни бывало, продолжал свою деятельность в качестве столпа общества, спасителя цивилизации и представителя шестой державы — печати, разумеется, свободной!

Чем крупнее газета, чем больше ее тираж, тем усиленнее и плодотворнее она шантажирует и вымогает. Образцом такого газетного бандитизма в наше время может почитаться газета «Матэн» в руках упомянутого выше Бюно-Варилля. Этот ловкий мошенник, с помощью своих заведующих отделом об'явлений, умеет очень искусно держаться на грани уголовного кодекса. Его систематические вымогательства сводятся к тому, что он заставляет все промышленные, торговые и финансовые предприятия помещать в его газете огромные, дорого стоющие, хотя и совершенно им не нужные об'явления, под угрозою разоблачения и систематических нападок. Так, между прочим, он действовал и при вымогательствах у царского правительства. И поэтому он, единственный из руководителей задетых газетою «Юманите» владельцев газет, обратился в суд для защиты своего «доброго имени», доказывая, что он получал от царизма только плату за помещенные в его газете об'явления. Для современной французской юстиции характерно, что хотя на суде с очевидностью выяснилась вымогательская роль «Матэн'а», «Юманите» все-таки была приговорена к уплате штрафа за опорочение этого патентованного шантажиста.

Соперница «Матэн», газета «Журналь» не отстает от него в деле вымогательства. Вот один факт из последнего времени:

В 1923 году директор журнала Летелье совершил поездку в Румынию для «изучения положения дел». Он собрал материалы, доказывающие неслыханное угнетение правящей братиановской кликой национальных меньшинств в этом новосозданном велико-румынском государстве. Собрав эти материалы, он явился с ними к румынскому министру иностранных дел Дуке, положил их перед ним на стол и заявил: «Господин министр! Несколько лет тому назад, я ссудил барону де Нарсэ 800 тысяч франков для устройства казино с игорным залом в Синайя (летняя резиденция королевской фамилии и высшего общества Румынии), но оно было закрыто румынской полицией. Таким образом вмешательство правительства мешает барону де Нарсэ уплатить мне долг и этим наносит мне большие убытки». Министр быстро сообразил, что иметь против себя одну из крупнейших парижских газет, значит итти на подрыв румынского кредита. И он поспешил с улыбкой заявить представителю «свободной» прессы, что дело будет улажено, что он добьется у румынского министра финансов возвращения этих 800 тысяч франков. Но Братиану отказался заплатить эти деньги. Летелье уехал из Румынии в дурном настроении и, очутившись за границей негостеприимного королевства, поспешил дать представителю одной румынской газеты интервью, в котором довольно невежливо обошелся с румынским правительством. Однако после того обещанные разоблачения в газете «Журналь» так и не появились. Но зато в румынской прессе проскользнуло сообщение, что запрет с игорного дома

г. де Нарсэ снят. Летелье получил обратно свои деньги и решил расширить свое газетное хозяйство. Он купил у Мерля газету «Пари-Суар» со всеми ее сотрудниками.

Не следует думать, что таким шантажом и вымогательством занимаются только газеты бульварно-информационного типа. Самые серьезные и политические органы, вроде «Тан», не отказываются при случае стянуть что плохо лежит, а лучше сказать, стараются создать такую обстановочку, при которой можно нагреть руки. Умерший в 1914 году директор «Тан», известный сенатор Адриан Эбрар, был одним из величайших вымогателей своего времени. Достаточно сказать, что за свое молчание о делах панамского общества он получил от эйфелевского синдиката 1.600.000 франков. За это он обязался всемерно поддерживать панамское общество своим личным влиянием и влиянием дружественных ему политических деятелей.

Его преемником в деле руководства газетою «Тан» явился упомянутый выше Тардье. О некоторых подвигах последнего, например, о получении концессии в Нгоко-Санга мы уже упоминали; вдобавок, они относятся скорее к области частного бандитизма господ журналистов.

VII. Газетный бандитизм (частный).

Переходим теперь к частному бандитизму, оговариваясь, впрочем, что его зачастую трудно отделить от общего бандитизма прессы.

Образцом литературных проходимцев, использовавших печать для личных целей, для скандалов, наживы, добывания более или менее сомнительной славы, был одно время весьма нашумевший журналист Лео Таксиль. Это своего рода современный газетный Калиостро. Родившись в 1854 году в Марселе, он начал свою жизненную карьеру несколькими бурными столкновениями с действующим уголовным законодательством. В результате он добился продолжительного досуга, в течение которого имел время поразмыслить, и решил отныне избегать неприятных столкновений с законом, устраивая свою карьеру более целесообразными приемами.

К моменту его выхода из тюрьмы на свободу, во Франции началось антиклерикальное движение как результат борьбы буржуазных республиканцев с монархистами за власть. Лео Таксиль, настоящая фамилия которого была Жоган, решил попытать счастья на поприще «антиклерикального» хулиганства. Он начал свою литературную карьеру с опубликования направленного против церкви памфлета «Долой камилавку!» (1879 год). Преданный за эту брошюру суду, он защищался сам, был оправдан присяжными и сразу сделался знаменитостью. Тогда он приступил к изданию «Антиклерикальной библиотеки» с подзаголовком «Тайны женских монастырей», выпусками по 10 сантимов. Тираж скоро дошел до нескольких сот тысяч. Казалось, Таксиль нашел свою дорогу.

Но старые привычки были слишком сильны. Лео Таксиль не удержался и издал под собственным именем книгу некоего Огюста Русселя («Проповеди

моего священника»). За это он был приговорен к 3.000 франков штрафа, «за духовную кражу». В 1883 году братство конгреганистов добилось его осуждения за клевету, выразившуюся в его книге «Попы и попадьи. Иллюстрированная история поповских и монашеских нравов» (три тома, 1880—1882 г.г.). В следующем году он снова был осужден за неприличные рисунки в одном из его скандальных произведений. Затем он за подписью А. Вольпи опубликовал грязную книжонку «Любовницы Пия IX», за которую племянник покойного папы, граф Мастаи, привлек его к суду, приговорившему Таксиля к 60 тысячам франков штрафа и к опубликованию приговора в 60 газетах за его счет. Так как он во время судебного следствия заявил, что под именем А. Вольпи скрывается сотрудник «Фигаро» Г. Муане, то последний, встретив его на бульваре, так его избил, что Таксиль должен был пролежать две недели в постели.

В общем он опубликовал свыше 100 произведений, подписанных его именем.

Вместе с Лимузеном, поверенным генерала д'Андло, и Даниелем Вильсоном, зятем президента республики Греви, он основал иллюстрированный еженедельный журнал «Кара». Достойная компания, знавшая все тайны Парижа, творила в этом журнальчике самые грязные делишки. Они раздобывали для желающих ленточки почетного легиона, помилования, освобождение от военной службы, повышение по службе и т. д., — все это, конечно, за известную мзду. В случае неудачи они угрожали «разоблачениями». На приобретенные таким образом крупные деньги Лео Таксиль основал ежедневную газету «Маленькая Война» (до того он уже основал или скупил несколько газет). Разумеется, газетка имела биржевой отдел, и достаточно было агенту по об'явлениям сказать: «наш директор называется Лео Таксиль», чтобы клиент моментально раскошеливался. Кроме того, Таксиль завел свою собственную типографию и издательство, выпустившее ряд «антиклерикальных», эротических и садистских произведений.

В страстную пятницу Лео Таксиль организовал антиклерикальный колбасный банкет, сопровождавшийся маскарадным балом, в Сен-Антуанском предместье. Этот банкет носил достойный своего устроителя характер эротического и грубого кощунства. На церковные мотивы распевались неприличные песни; маски разгуливали в более чем недостаточном одеянии и т. д. Скандал, словом, получился громкий...

И вдруг через неделю во всех газетах огромными буквами появляется сообщение: «Обращение Лео Таксиля. Он отбывает покаяние в монастыре траппистов». Это была величайшая сенсация момента, затмившая на время даже интерес, возбужденный делом Дрейфуса. Папский нунций в Париже, кардинал ди Ренде, лично принял Таксиля и дал ему отпущение грехов с не очень строгой епитимией. Лео Таксиль совершил паломничество в Рим и был там принят папою. Католические газеты торжествовали по поводу обращения неслыханного грешника. Поговаривали даже, что Ватикан заплатил за это обращение Таксиля кругленькую сумму в один миллион. Насколько это верно, история умалчивает.

Лео Таксиль снова выплыл на поверхность, но на этот раз в качестве ярого католика. Плакаты и об'явления громко возвещали о появлении ряда новых газет, брошюр и книг — на этот раз уже под такими заглавиями, как «Разоблаченные преступления франк-масонов», «Атеисты в парламенте и в правительстве», «Признания бывшего свободомыслящего», «Анекдотическая история Третьей Республики» и т. п. Выпускала их та же типография, а писали их те же голодные представители великой республики слова, «антиклерикальные» сочинения которых Лео Таксиль раньше выпускал за своей подписью. Сплошь и рядом пускались в употребление те же клише, которые в свое время служили для разоблачения «ужасов инквизиции», а на сей раз использовывались для разоблачения «преступлений франк-масонства».

В своей газете «Маленькая Война», которую он продолжал издавать по-прежнему, но теперь уже против нового врага, он сообщал о нелепейших чудесах, исцелениях в Лурде, проявлениях благодати святых и Мадонны. В особенности он начал рекламировать в газете некую блаженную Кэт Воган, которой-де регулярно являлась святая дева. Лео Таксиль придавал полную веру пророчествам этой девицы, толковал их и печатал ее обращения к человечеству. Даже кардинал Рамполла попался на эту удочку и написал письмо этой Кэт через Лео Таксиля, который поспешил опубликовать его в своей газете.

Началась газетная полемика, достигшая апогея, когда Таксиль заявил, что он пред'явит публике эту блаженную Кэт на большом публичном собрании в зале «Элизе Монмартр» и убедит весь мир в ее божественной миссии. Можно представить себе, сколько публики собралось по этому случаю. Давка была невероятная. С одной стороны, сошлись все изуверы реакции, католическая и монархическая молодежь, с другой — группы свободомыслящих, социалистов, анархистов и т. д. При громких аплодисментах с одной стороны и свистках и враждебных выкриках с другой Лео Таксиль взошел на трибуну и, дождавшись молчания, начал свою речь. «Если, — сказал он, — на свете есть что-либо более глупое, чем католики, допускающие, что человек вроде меня может серьезно вернуться в лоно церкви в качестве кающегося грешника и по этому поводу поднимать победный шум, то это атеисты, которые также этому поверили и потому обрушились на меня с ругательствами. Это два сапога пара. Я обещал представить вам сегодня Кэт Воган, так вот она». Повернувшись назад, Таксиль прибавил: «Пожалуйте, Катя, покажитесь публике!». И на трибуну поднялась сильно декольтированная дама с желтыми волосами и подведенными глазами, известная фигура парижского полусвета, «прекрасная Габриэль», прежняя возлюбленная Дрюмона, директора газеты «Либр Пароль»!! Этого католики не ожидали. Сначала они онемели от изумления, а затем разразился небывалый скандал. «Королевские молодцы» хотели подвергнуть Таксиля суду Линча, но он это предвидел и заблаговременно убрался через заднюю дверь.

После этого достойного прощального жеста Лео Таксиль сошел с публичной арены и удалился в свое имение на Ривьере, где сажает капусту и разводит кроликов.

Когда мы говорим о бандитизме представителей «шестой великой державы», мы отнюдь не преувеличиваем. Вот характерный примерчик. Во время предварительного следствия по делу Пранцини (левантинец, убивавший и грабивший богатых проституток) следователь нашел пакет женских писем, в том числе от нескольких представительниц «большого света», повидимому, не устоявших перед чарами красивого восточного человека. Следователь отказался назвать газетным репортерам имена этих дам, чего, к сожалению, обычно не делают другие следователи. Спустя несколько дней принцесса Саган получила четырнадцать писем от разных журналистов, а десятипудовая Изабелла Испанская — девять. Все эти письма сводились к короткому предложению: «или денежки на кон, или скандал!». Вероятно, и другие светские дамы получили аналогичные же послания. Принцесса Саган передала полученные ею письма брату, который был настолько наивен, что обратился к прокурору. Назначено было следствие, которое, как принято, сразу же обратилось против жалобщика: его стали ежедневно вызывать по утрам к следователю, который, заставив его напрасно проходить так несколько дней, в конце концов начал допрашивать его об его образе жизни, и злополучный принц считал себя счастливцем, когда ему разрешено было взять обратно свою жалобу!

Но дело наделало слишком большого шума, и тогда счел нужным вмешаться высоконравственный «Синдикат парижской прессы». Назначен был «суд чести» (!) под председательством сенатора Эбрара, которого мы выше охарактеризовали, как одного из величайших вымогателей нашего времени. В конце концов вынесено было следующее соломоново решение: «Суд чести, после тщательного рассмотрения дела, не нашел никаких доказательств того, что упомянутые 14 писем являются подлинными и действительно принадлежат подписавшим их лицам». А между тем, эти письма были подписаны именами известных парижских журналистов, обязательно указавших в них свои адреса для направления мзды!

Раз уже мы заговорили о шантажировании представителями «свободной» печати женщин, приведем из этой области два факта, закончившиеся не совсем обычным путем. По общему правилу, шантажируемые дамы, у которых очень часто рыльце действительно бывает в пушку, быстро сдаются и уплачивают вымогателям дань то звонкой наличностью, то натурою. Но на сей раз шантажисты нарвались на женщин чистых и с характером.

Первый случай относится к жене известного поэта и социалистического депутата Кловиса Гюга (ныне покойного). Два темные журналиста, братья Мариус и Шарль Морель, основали в Марселе грязную газетку, одно название которой само говорило за себя: «Скандал». Полиция, желавшая насолить социалистическому депутату, снабдила братьев-разбойников полицейскими доносами на Кловиса Гюга. Почтенная парочка решила использовать положение. Они явились к жене поэта с двумя корректурными оттисками: в одном из них стихи поэта превозносились до небес, и давался его портрет в прикрашенном виде; за этот оттиск они требовали 5.000 рублей; другой же предлагался даром. Этот второй оттиск содержал портрет поэта в виде типа

«ломброзовского» преступника и расписывал мнимые любовные приключения его жены до брака. Г-жа Гюг попросила времени на размышление, а на следующий день уселась в кафе против марсельской биржи, дождалась там обоих братьев и уложила их на месте из револьвера, как собак.

Второй аналогичный случай наделал еще больше шума. Здесь политика была замешана еще более явно, чем в случае с социалистическим депутатом. Нам неоднократно приходилось упоминать имя редактора «Фигаро» Кальмета. При нем специальностью «Фигаро» сделалось вымогательство в виде шантажирования женщин и частных лиц. Чтобы дать представление о фигуре этого разбойника пера и мошенника печати, достаточно сказать, что автор рассматриваемой книги говорит, что в сравнении с Кальметом даже Бюно-Варилля, владелец «Матэн», кажется порядочным человеком! И вот этот Кальмет открыл поход на министра финансов Кайо.

Кайо был в то время (1914 год) одним из лидеров радикальной партии. Особенно ненавистен он был буржуазии за свой проект подоходного налога. В кампании, поднятой Кальметом против Кайо, за спиною журналиста стоял Пуанкаре, соперник Кайо, доставлявший Кальмету нужные материалы для нападок. Кальмет раздобыл где-то частные письма жены Кайо, относящиеся к периоду, когда она была замужем за другим, а Кайо был ее возлюбленным. Он начал публиковать эти письма в «Фигаро», угрожая ежедневно дальнейшими скандальными разоблачениями. Доведенная до отчаяния женщина явилась к Кальмету на прием в его редакторский кабинет и там уложила этого негодяя несколькими выстрелами из браунинга. Правда, она была впоследствии оправдана присяжными, но сам Кайо, который не знал о решении своей жены, принужден был подать в отставку и надолго прекратить политическую деятельность.

Эти два случая показывают, что ремесло шантажистов связано с известным профессиональным риском. Но по общему правилу шантажисты и вымогатели ничем не рискуют, так как обыкновенно их жертвы легко поддаются запугиванию и послушно выполняют все обращенные к ним требования. А когда вдобавок такой шантажист соединяет с этим своим основным ремеслом еще дополнительное в виде фехтовального искусства, то он и совсем оказывается безнаказанным. Таким хищником был между прочим барон де-Во, который под псевдонимом «Хромой Бес» помещал заметки в порнографической газетке «Жиль Блаз» и занимался вымогательством у дам и господ из «высшего» общества. Так как он был лучшим фехтовальщиком Парижа, то никто не решался возбуждать против него дела, чтобы не нарваться на дуэль, в которой неосторожного жалобщика ждала верная гибель. Между прочим этот господин шантажировал Шарля Гуно, автора «Фауста», и вместе с другим бандитом пера, Манье из газеты «Эвенеман», несет главную ответственность за преждевременную смерть знаменитого композитора. Оба завели знакомство с г-жей Вельдон, красивой англичанкой, бывшей одно время возлюбленною Гуно, раздобыли у нее частные письма композитора и оригинал партитуры оперы «Полиевкт», за которую почтенная троица потребовала у Гуно 100.000 франков. Гуно

не мог уплатить такой большой суммы и принужден был по памяти восстановить всю оперу. Вскоре после этого он умер.

Одним из наиболее отвратительных видов журналистского бандитизма является шантаж с помощью порнографических журналов. Таковые издаются в Париже во множестве. Все они содержат циничные предложения эротического характера, образцы которых мы не решаемся здесь приводить из уважения к печатному слову. Нужно сказать, что большинство из этих об'явлений и предложений вымышлены самими издателями этих грязных листков. Все это устраивается для того, чтобы получить от извращенных людей ответы, которыми затем издатели этой прессы пользуются для шантажа и вымогательства. Опять-таки для французских политических и журналистских нравов характерно, что один из самых бесстыдных листков этого рода издается г-ном Евгением Мерлем, директором крупнейшей вечерней газеты Парижа «Пари-Суар» (о ее недавней покупке владельцем «Журналя» Летелье мы выше говорили). На деньги, нажитые таким грязным путем, г-н Мерль основал «передовую» газету, в которой бывший секретарь французской коммунистической партии Фроссар, после своего исключения из партии, счел возможным сделаться политическим передовиком!!

В виде пикантного анекдота прибавим, что во время войны правительство республики имело смелость поддерживать эту постыдную прессу и тысячами закупало экземпляры этих эротических журнальчиков, дескать, для того, чтобы «доставить героям в окопах несколько часов развлечения».

И не прав ли был после этого Поль Фор, когда сказал, что «французская пресса это свиной хлев»?

Нам уже несколько раз приходилось упоминать имя г-на Тардье, преемника Эбрара по руководству «Тан» и министра в кабинете Клемансо. Мы упоминали о получении им концессии в Африке, перепроданной им за два миллиона. Но это не единственный его подвиг.

Этот господин пытался получить концессию от турецкого правительства на постройку железной дороги между Гомсом и Багдадом. Для этого он связался с темным дельцом Маймоном, впоследствии осужденным за шпионаж [1]), и пытался оказать на турок сильное давление. Концессию он надеялся перепродать какой-нибудь группе финансистов. Но турки оказали сопротивление домогательствам Тардье, который в отместку напечатал в «Тан» ряд злобных статей против младотурок. Последние ответили опубликованием документов, устанавливавших связь Тардье с Маймоном. Дело усугублялось тем, что, как было доказано, «Тан» получил за свои направленные против младотурок статьи 30.000 франков из кабинета Киамиль-паши. Тардье сдался не сразу. Он пытался добиться своей цели при поддержке немецких финансистов, для чего этот великий французский патриот и сторонник реванша лично поехал в Германию. Но из этого ничего не вышло. Что Тардье выпу-

[1]) Это просто какой-то фатум, что наиболее ярые патриоты своего отечества в конце концов оказываются связанными с шпионами! Неужели здесь есть какая-то внутренняя связь? Тема—заслуживающая особого рассмотрения.

тался из всей этой темной истории без всяких для себя последствий, это само собою разумеется.

Упоминать всех представителей «револьверной» прессы, как ее называют, и рассказать об их подвигах, — для этого потребовалась бы не одна толстая книга. Мы поэтому совершенно пропускаем такого рыцаря газетного вымогательства, как Анри Беранже, в конце концов добившегося сенаторского места, и ряд других не менее видных светил на французском газетном небосклоне. Укажем бегло только на некоторые красочные фигуры и факты из этой области.

Вот перед нами не лишенный таланта журналист Густав Тэри. Некогда сотрудник Жореса, он впоследствии, по мотивам личного характера, отошел от социалистов и превратился в самого безудержного антисемита. О его подвигах в этой области нам подробно приходилось говорить в брошюре «Последнее слово французского антисемитизма». Этот Тэри издавал еженедельный журнальчик «Эвр», выходивший маленькими брошюрками и наполненный самыми отвратительными доносами на еврейских журналистов, врачей, адвокатов и т. д. В конце концов он добился своего. Богатые евреи дали ему деньги, после чего он превратил свой журнальчик в большую политическую ежедневную газету, а его антисемистические страсти быстро улеглись. Теперь это одно из светил «левого блока».

Кстати, этот Тэри тоже оказался замешанным в деле получения субсидий от царского правительства. В свое оправдание он смущенно указал, что все это «относится к отделу об'явлений». Как мы знаем, и Бюно-Варилля также не сумел привести более убедительных аргументов в свое оправдание.

Не менее значительный разбойник пера — глава французских монархистов, редактор газеты «Актион Францез», патриот из патриотов и величайший Иуда Искариот нашего времени, г-н Леон Додэ. На совести этого доносчика и профессионального клеветника, перед которым бледнеет даже наш Г. Алексинский, лежит бесчисленное количество юридических убийств, совершенных во время войны под предлогом искоренения измены. Этот недостойный сын знаменитого французского романиста Альфонса Додэ сумел лучше кого-либо другого доказать справедливость известного выражения в английском словаре Джонсона, определяющем патриотизм как «умнейший вид мошенничества».

VIII. Газеты и полиция.

Автор рассматриваемой книги очень мало останавливается на другой стороне французского журнализма, а именно на его связях с полицией, в особенности политической. А это тоже любопытная и пикантная сторона «свободной» «демократической» прессы. По этому вопросу автор дает 2—3 отдельные факта, на которых не останавливается, хотя эта тема заслуживает более внимательного рассмотрения.

Нужно, впрочем, сказать, что большинство французских газет, в особенности так назыв. информационных, носит такой характер, что переход

от сотрудничества в этих газетах к чисто полицейской работе представляется совершенно естественным и незаметным. Наиболее распространенные парижские газеты конкурируют с полицией в деле расследования и раскрытия уголовных преступлений! Впервые к этому способу навербовать массу читателей прибегла газета «Пти Журналь», основанная в 1862 году. Если мы не ошибаемся, то французские журналисты в этом отношении предупредили даже американских. Примеру «Пти Журналь» последовали и другие газеты вроде «Пти Паризьен», «Журналь» и особенно «Матэн». Журналист, обнаруживающий качества хорошего сыщика, имеет все шансы выдвинуться в такой газете и занять почетное положение.

Надо сказать, что полиция не обижается на эту конкуренцию. Наоборот, между нею и этими газетами устанавливается трогательное единодушие. Они взаимно обмениваются своими сведениями, приемами слежки и т. д. Некоторые из этих бульварных газет пользуются особой симпатией полиции, которая через них, кстати, устраивает и свои делишки, в особенности в деле травли неугодных политических деятелей и т. п. Тот же «Матэн» пользуется славою органа «Островерхой башни», т.-е. парижской полицейской префектуры. Тема «Journalistes et policiers» давно уже пользуется правом гражданства во французской литературе. На эту тему есть и статьи, и брошюры, и книги. На эту тему, в частности о связях журналистского мира с политической полицией и провокацией, я писал в своей брошюре «Охранники и провокаторы до и во время Третьей Республики». Там приведено довольно много фактов, показывающих, как полиция вербует своих сотрудников среди журналистов и какие тесные связи устанавливаются между миром полицейских и миром газетных писателей.

Выше мы упоминали про шантажиста Деклерка, который удобно совмещал в своем лице звание журналиста и полицейского агента. Но раз дозволительно служить своей отечественной полиции, почему нельзя служить и иностранной? Ведь деньги не пахнут, а патриотизм понятие довольно условное, особенно для разбойников пера. И вот мы встречаем целый ряд журналистов, являющихся тайными агентами любого правительства — и русского, и японского, и даже германского. Так, граф Сен-Морис, сотрудник иностранного отдела газеты «Жиль Блаз», был во время русско-японской войны тайным агентом японского посланника в Париже Мотоно, который через него подкупал французскую прессу. В 1906 году, когда с японской стороны уже нечего было ждать, этот господин имел бесстыдство обратиться к русскому финансовому агенту в Париже Рафаловичу, через которого совершался подкуп французской прессы, с предложением написать брошюру о России и с выражением надежды, что русское правительство купит у него известное количество экземпляров этой брошюры. О невыясненных сношениях Шарля Эмбера с германским агентом Боло-пашой мы уже говорили выше. Упомянем еще про видного журналиста Раймонда Рекули, прежнего сотрудника «Фигаро», а ныне редактора журнала «Ревю де Франс», которого «Юманите» в 1922 году разоблачила как бывшего агента париж-

ского отделения русской тайной полиции, получавшего ежемесячный оклад в 500 франков. Фигурировал он там под славянской кличкой Ратмира. В одном из секретных донесений тогдашнего начальника русской политической полиции в Париже Красильникова от 9 сентября 1912 года на имя директора департамента полиции Белецкого сообщается об услугах Ратмира и, в частности, о его обещании использовать все свое влияние в прессе, чтобы впредь не допустить опубликования во французских газетах статей Бурцева по делу Азефа.

Приведем из этой области еще один пикантный факт. Когда Анри де-Нуссан ушел из «Эко де Пари», чтобы взять на себя руководство «Жиль Блазом», который он превратил из органа эротического в орган консервативных католиков, он обратился все к тому же Рафаловичу с сообщением, что ему удалось раскрыть заговор финляндцев и кадетской партии, направленный к подрыву русского кредита! За известную мзду этот почтенный представитель «свободной» прессы предлагал бороться с этими происками и поддерживать политику русского правительства. Даже видавший виды Рафалович охарактеризовал это обращение как вымогательство, а самого де Нуссана назвал в своем рапорте «весьма опасным и совершенно бессовестным суб'ектом». На этот раз дело де-Нуссана не выгорело, но впоследствии он по рекомендации Извольского попал все-таки в рептильные списки с ежемесячным окладом в 10.000 франков.

IX. Французская пресса и царизм.

Совершенно особую главу в истории продажности французской прессы представляет служение ее интересам царизма. Статья наша слишком разраслась, чтобы мы могли подробно остановиться на этом вопросе, хотя по существу он заслуживает, быть может, и специального рассмотрения. Ограничимся потому самыми беглыми указаниями на эту страницу и без того позорной истории «свободной» печати великой «демократии».

В прошлом году, в ряде газет, как-то: «Юманите», «Дейтше Рундшау», «Нью Репюблик» и «Нью Стетсмен», был опубликован ряд документов, извлеченных Советскою властью из тайников царских архивов. Ни один из названных в этих документах сенаторов, депутатов, редакторов и директоров газет или журналистов не отозвался, не оспаривал подлинности этих документов и не привлекал их публикаторов к суду. Только Бюно-Варилля, который благоразумно провел все полученные им суммы через книгу доходов по отделу об'явлений, решился привлечь редакцию «Юманите» к суду. Разумеется, на суде все эти факты подтвердились, что не помешало этому бандиту печати выйти из суда с поднятой головой и с уверенностью в своей полной безнаказанности. Сам бывший царский министр Коковцев, вызванный в суд, принужден был подтвердить подлинность всех этих документов и точность сообщаемых в них фактов.

Оказалось, что самые известные и видные директора газет не стыдились не только продавать свое перо за русские рубли и вести в своих га-

зетах политику восхваления царизма, но и занимались по отношению к царскому правительству самым наглым вымогательством. Рафалович, через которого шел подкуп французской прессы, связался для этой цели с де-Варнеем, председателем палаты биржевых маклеров в Париже, и вместе с ним распределял регулярно и от случая к случаю (например, при выпуске новых займов на парижской бирже или в случае важных общественных и политических потрясений в России) нужные суммы. Все тогдашние газеты без исключения получали взятки от царского правительства. Кроме того, целый ряд видных журналистов время от времени за особые услуги получал личные чеки, как, например, названный нами г. Тэри, сотрудник «Матэн», Ардюэн и т. д. Эти ежемесячные суммы составляли от 2 до 5 тысяч франков. Сверх того, за агитацию в пользу царских займов единовременно, иногда под видом платы за об'явления, газеты получали огромные суммы — десятки тысяч франков. В общем и целом на это дело израсходовано очень много миллионов, выкаченных из русских трудящихся масс, да, впрочем, и из карманов мелких французских рантье.

Обирая царское правительство, бандиты французской печати никогда не были довольны получаемыми суммами, как бы велики они ни были, и не переставали путем угроз и вымогательств шантажировать покладистых русских министров. Этим делом занимались и консервативные газеты вроде «Фигаро», и умеренно-республиканские вроде «Тан», и националистические вроде «Эко де Пари», и радикальные вроде «Радикала», и бульварно-информационные вроде «Пти Паризьен», «Матэн» и т. д.

Как только царское правительство терпело внешнее поражение, например, во время русско-японской войны, или начинало шататься под ударами внутренней революции, домогательства бандитов печати пропорционально повышались. После мукденского поражения пришлось раздать дополнительные субсидии ряду газет, во главе которых шел, конечно, серьезный академический «Тан». Это не помешало Эбрару опубликовать в октябре 1905 года отношение Коковцева к Столыпину, чрезвычайно неблагоприятное для русского финансового положения. Рафалович в своих донесениях возмущался этим «предательским ударом» со стороны «Тан», который недавно еще, при заключении русского займа 1905 года, получил от банковского синдиката 100.000 франков. Повидимому, недаром директор «Пти Паризьен» Жан Дюпюи в свое время сказал, что «Тан» так же продажен, как уличная проститутка. Это не мешало, впрочем, самому «Пти Паризьен» проявлять такие же непохвальные качества.

А когда к внешнему поражению в ноябре и декабре 1905 года присоединились еще революционные потрясения, требовательность газет естественно возрасла, и из царской казны полились новые потоки взяток: агентство Гаваса получило 10.000, Эбрар из «Тан» — 7.000 «Фигаро» — 5.000, «Журналь» — 4.000 и т. д. и т. п. до бесконечности. За один только 1904 год французская пресса получила непосредственно от русского министерства финансов (т.-е. кроме сумм, раздававшихся в Париже) по несомненно неполным подсчетам 935.785 франков, а за 1905 год — 2.014.161 франк. Просматривая

списки подкупленных газет, мы найдем там и социалистическую «Пти Репюблик», и радикально-социалистические «Лантерн», «Раппель», «Орор» и т. д.

Сенатор Першо потребовал в 1911 году субсидию для своей газеты «Радикал» под видом крупного заказа на об'явления, а позже концессию на портовые постройки в Туапсе. При этом Извольский сообщил, что чрезвычайно важно добиться благоприятного отношения газеты «Радикал» к видам русского правительства, тем более, что сенатор Першо пользуется большим влиянием. И, разумеется, этот «радикальный» шантажист получил-таки свою концессию. Это, впрочем, его ненадолго успокоило, и он вскоре возобновил свои вымогательства, угрожая открытием враждебной кампании в своей газете. Угрозу свою он выполнил. Извольский испугался, начал нажимать на Коковцева, и в конце концов Першо добился-таки своей цели. В одном из списков Рафаловича от 19 ноября 1913 года, содержащем 14 чеков на общую сумму в 410.000 франков, мы встречаем следующую многозначительную строчку: «Радикал» два взноса — 120.000 франков!

В высшей степени характерно, что в подкупе французской прессы русским правительством принимали активное участие французские министры. Документы устанавливают участие, по крайней мере, двух из них: Клотца, министра внутренних дел, и Этьена, морского министра. Этьен в 1905 году получил от русского правительства 50.000 франков, которые он под видом «секретных фондов» [1]) роздал ряду радикальных и соглашательских социалистических газет, а Клотц в 1913 году истребовал у русского правительства 30.000 для того, чтобы смягчить оппозицию ряда газет против тогдашних военных проектов французского правительства. В это время русским и французским правительствами, как, впрочем, и остальными, усиленно подготовлялась мировая война. Надлежало в первую голову заткнуть рот радикально-социалистическим газетам, выступавшим против воинственной политики Пуанкаре. Для этого в ноябре 1913 года российское министерство финансов отпустило 100.000 франков, которые были розданы таким газетам, как «Орор», «Лантерн», «Актион» и «Раппель». 19 ноября розданы уже упомянутые выше 410.000 франков, из которых «Радикал», как мы указали, получил 120.000, другие газеты поменьше, при чем антисемитская «Либр Пароль» получила 80.000, а «Тан» свою долю в 50.000.

Публикуя в свое время эти документы из русских архивов, «Юманите» задавала в виде загадки ехидный вопрос своим читателям: какая из газет получила больше всего? Повидимому, эта честь выпала на долю самой «серьезной» французской газеты «Тан». Но сколько эта прорва ни поглощала, ей все казалось мало, и она не переставала шантажировать русское правительство вплоть до самой революции 1917 года.

---

[1]) Суммы (около 10.000.000 фр.), ежегодно отпускаемые французским парламентом в распоряжение правительства на всякие темные дела (подкуп своей и иностранной прессы, шпионов и пр.). В этом году социалистические депутаты впервые открыто голосовали за эти «секретные фонды», что до сих пор они стеснялись делать.

В 1916 году «Тан» получил ежемесячную субсидию в 5.000 франков, 100.000 франков от банковского синдиката, затем 3.000 франков ежемесячно за финансовые статьи, не считая личных взяток Эбрару, Тардье и другим сотрудникам. Но всего этого им было мало. В разгар мировой войны «Тан» прислал своего представителя Шарля Риве в Петербург, чтобы добиться там от русского правительства ассигнования 150.000 франков в год под предлогом выпуска специального иллюстрированного приложения к газете, посвященного России. Сверх того, правительство должно было заставить русские банки и крупные предприятия помещать в этом приложении дорого стоящие, но для них совершенно не нужные об'явления. Лакейский тон переписки Шарля Риве с русскими чиновниками по этому поводу представляет нечто неслыханное даже в анналах французской печати. После долгих торгов он в конце концов добился желательных 150.000 франков от министерства финансов. Но этим алчный «Тан» не удовлетворился. Он потребовал 150.000 и на второй год. Извольский поддержал это ходатайство, мотивируя это между прочим тем, что за это «Тан» будет поддерживать политику русского правительства в польском и особенно еврейском вопросе! «Тан» добился добавочных 100.000 франков. Тогда он предложил русскому правительству новый план — основать балканское агентство, проект которого был обсужден с Сазоновым, требуя на это дело еще 150.000 франков — и получил их. Вымогательство наверно шло бы и дальше, как вдруг разразилась Февральская революция.

Что же вы думаете? Бандиты парижской печати сконфузились? Ничуть не бывало. Шарль Риве немедленно же обратился к новому министру финансов (при временном правительстве), предлагая услуги своей газеты, бесстыдно уверяя, что она сыграла известную роль в успехе революции, приветствуя эту «счастливую перемену» в судьбах России, простирая свою неблагодарность до того, что заговорил о «гнилости» низвергнутого «насильнического режима», и предлагая поддерживать временное правительство, если оно купит 2.000 экземпляров его книги «Последний Романов», состряпанной специально на сей предмет. Неизвестно, дала ли Октябрьская революция Керенскому время ответить на это любезное предложение, но для характеристики бесстыдства и беспринципности разбойников пера оно чрезвычайно пикантно [1]).

X. Преступления прессы против мира.

Все, что мы рассказали выше о подвигах «свободной» «демократической» печати, конечно, омерзительно. Но этим не исчерпываются ее преступления перед человечеством. Более того, в сравнении с общей зловредной ролью буржуазной печати, все эти шантажи, вымогательства, продажность,

---

[1]) Характерно, что, беря деньги у царского правительства и отстаивая за это его интересы, мудрый «Тан», если верить Рафаловичу, брал также деньги у кадетской партии для помещения заметок, направленных против царизма. Теля «свободной» прессы, как видим, не прочь сосать и двух маток.

взяточничество, как они ни характерны, — все же совершеннейшая мелочь. То систематическое отравление народного сознания, которое совершают эти газеты, то служение интересам буржуазии, которое они проводят с такой планомерностью и систематичностью, та бешеная клевета, которую они ведут против всех попыток борьбы с современным обществом и, в частности, против Октябрьской революции и Советской Республики, та роль, которую они играли в деле разжигания последней мировой войны и которую продолжают играть и сейчас в деле подготовления новой мировой бойни, — вот главные преступления буржуазной прессы, которые делают ее предметом ненависти и презрения для всякого сторонника международного мира и освобождения человечества. Впрочем, пагубная социально-политическая роль этой прессы теснейшим образом связана с ее продажностью и зависимостью от капитала. Отделить здесь одну сторону вопроса от другой невозможно.

Общеизвестно, какую роль сыграла пресса всех государств в деле подготовки мировой войны. К сожалению, механизм связи между крупным капиталом, господствующим в буржуазных странах, в частности, капиталом, занятым в производстве предметов военного снаряжения, и «свободной» прессой демократических государств остается для широких масс глубокою тайною. Рассматриваемая книга содержит несколько поучительных деталей насчет функционирования этого механизма, и о них очень стоит упомянуть.

В апреле 1913 года Карл Либкнехт сделал в германском рейхстаге потрясающие разоблачения. С помощью неопровержимых документов он доказал, что владелец крупнейших военных заводов Крупп подкупил ряд низших служащих главного штаба и военного министерства, дабы заполучить в свои руки важные секретные акты относительно предстоящих военных заказов. Далее, Крупп принял к себе на службу с высоким окладом ряд офицеров всех ступеней, вплоть до генералов и адмиралов, которые должны были раздобывать для него военные заказы. Когда всего этого оказалось недостаточно, он в союзе с другими немецкими фабрикантами военного снаряжения, Маузером, Тиссеном, Дюреном и Леве, взял на свое содержание ряд газет, которые должны были разжигать квасной патриотизм и поддерживать воинственное настроение в массах.

Затем Либкнехт огласил следующее письмо директора оружейной фабрики Леве своему парижскому представителю: «Не могли ли бы вы поместить в одной из наиболее читаемых французских газет, лучше всего «Фигаро», статью приблизительно такого содержания: «Французское военное министерство решило по возможности ускорить изготовление предназначенных для армии пулеметов и увеличить вдвое первоначальный заказ»? Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы добиться распространения такого и подобных извещений».

Разумеется, в таком явно лживом виде заметка появиться не могла. Но через несколько дней как бы совершенно случайно в «Фигаро», в «Матэн» и в «Эко де Пари» появился ряд заметок о преимуществах французских пулеметов и о достигнутом благодаря этому перевесе французского вооружения. С этими номерами французских газет в руках депутат рейхстага

Шмидт, представитель германской тяжелой индустрии, интерпеллировал имперского канцлера и задал вопрос, что намерено сделать правительство для парализования французской угрозы и для восстановления военного равновесия. Одураченный и вместе с тем напуганный рейхстаг огромным большинством без прений вотировал новые средства на увеличение числа пулеметов. Естественно, что Франция немедленно ответила на этот шаг дальнейшим увеличением своих пулеметов. В то время, как «Фигаро», «Матэн» и «Эко де Пари» пугали французскую публику выдержками из пангерманских газет вроде «Пост», германские шовинисты использовали с такою же целью французскую буржуазную прессу. В результате и германские, и французские военные заводы получили новые заказы, дивиденды военной промышленности поднялись по обе стороны Рейна, упомянутые французские газеты положили в карман новые чеки, а одураченный народ заплатил за эти подлые махинации сначала деньгами, а потом и жизнями.

Это, кстати, показывает, чего стоят разговоры буржуазных газет о патриотизме. Они и своему-то отечеству служат за деньги, но они с легким сердцем готовы предать интересы своей родины, когда за это им платят достаточным количеством звонкой наличности.

Разумеется, это не единственный случай, когда пресса пускала в ход лживые сенсационные известия в интересах международной тяжелой индустрии и финансовых дельцов. Стоит, например, вспомнить липшеровский скандал, который разоблачил вождь независимой партии Лобачич в 1913 году в венгерском парламенте. При этой оказии оглашены были письма Гастона Кальмета, директора «Фигаро», и Глассера, управляющего делами этой газеты, из каковых писем вытекало, что яро-патриотический «Фигаро» готов за 30.000 франков в год работать рука об руку с австрийским агентом Липшером. По договору с последним «Фигаро» обязывался ничего не печатать об Австро-Венгрии кроме того, что будет предварительно одобрено венским министерством.

У националистического «Эко де Пари» рыльце оказалось в пушку еще по поводу так называемого путиловского дела. 27 января 1914 года «Эко де Пари» поместил телеграмму, якобы полученную из Петербурга и сообщавшую о том, будто бы Путиловский завод куплен Круппом. Французская публика страшно заволновалась, опасаясь, что тайны французской артиллерии попадут таким образом в руки немцев, так как на Путиловском заводе изготовлялись орудия береговой обороны по французским образцам. На самом деле здесь никакого секрета и не было, так как французские заводы давно уже продавали свои пушки Болгарии и Италии, состоящей в «Тройственном союзе». С другой стороны Крупп давно уже принимал какое-то участие в путиловском предприятии. В действительности дело шло о нажиме на определенные банки.

На Путиловском заводе под надзором чиновников и капиталистов совместно работали французские и немецкие инженеры и рабочие, не говоря уже о русских, над изготовлением орудий, с помощью которых они должны были впоследствии расстреливать друг друга. Вот она, интернациональная

власть капитала! Но дело было в том, что часть капиталистов, заинтересованных в делах Путиловского завода, связана была с французской банковской группой «Унион Паризьен», а другая часть — с германской банковской группой, в частности с «Дейтше Банк».

Когда в 1912 году русское правительство решило приступить к созданию сильного военного флота, предполагая отпустить на это дело около 3-х миллиардов рублей, то тяжелая индустрия всех стран пожелала получить относящиеся к этой большой морской программе заказы. С одной стороны стояли английские фирмы Виккерса, Армстронга и Броун, поддерживаемые «Парижско-Голландским Банком» и «Сосьете Женераль», а с другой стороны — заводы Крезо, немецкие верфи Блома и австрийские заводы Шкода, поддерживаемые «Унион Паризьен» и двумя австрийско-германскими банками. Смешение «патриотизмов», в котором чорт ногу сломит! Государственная дума, желавшая поддержать русскую промышленность, собиралась отдать большинство заказов Путиловскому заводу. Последний нуждался поэтому в оборотных средствах и машинах. Вопрос шел таким образом о том, какая из двух иностранных групп сумеет наложить лапу на русское предприятие. Стало известно, что Петербургский Частный Банк предлагает Путиловскому заводу большие капиталы, а руководителями этого банка были известный французский политический деятель Поль Думерг и ряд других видных французских финансистов. Таким образом перевес склонялся на сторону группы Виккерса. Чтобы раздобыть нужные капиталы и оказать давление на французское общественное мнение, Шнейдер и пустил через «Эко де Пари» ложный слух, содержавшийся в приведенной выше якобы петербургской телеграмме. Шантаж удался. Группа Крезо-Крупп получила Путиловский завод в свои руки, хотя решительно непонятно, почему германский Крупп представлял какие-то особые гарантии французского патриотизма!

Вот как делаются дела в буржуазном обществе под предлогом патриотизма и с помощью «свободной» «демократической» прессы!

Чтобы покончить с этой темой, приведем еще один факт из деятельности французского Круппа, т.-е. г-на Шнейдера. В мае 1914 года он купил газету «Журналь», чтобы заставить ее служить своим военно-финансовым планам. Таким образом по воле капитала газета, основанная первоначально как орган пацифизма, превратилась в орган финансового милитаризма. В газете появилась взбудоражившая всю Францию статья Шарля Эмбера (о нем мы говорили выше) под заглавием: «Где наше вооружение?». В результате Шнейдер получил от правительства новые военные заказы и, добившись своей цели, продал свои газетные акции тому же Эмберу, об источниках средств которого мы уже говорили.

Если газеты сделали свое черное дело подготовки мировой войны, то они развернули еще больше энергии и проявили еще больше бесстыдства во время самой войны. Разумеется, французская пресса не является в этом отношении каким-либо исключением. Печать всех стран, в том числе даже не участвовавших в войне, сделала все для того, чтобы разжечь националь-

ные страсти, углубить расовые предрассудки и наполнить атмосферу духом человеконенавистничества и взаимного подозрения. И русская, и германская, и английская, и американская пресса действовали в этом отношении с одинаковым усердием. Недаром про лорда Норсклифа, владельца ряда английских газет, говорили, что он оказался наиболее победоносным генералом Антанты. Человеконенавистническая пропаганда газет расцвела во время мировой войны пышным цветом. В Париже для этого был устроен специальный «Дом Печати», который стоил правительству десятки миллионов и служил источником сенсационных сообщений о немецких зверствах, о добродетели союзников и о величине задачи, поставленной себе Антантою. Вот уж где поживилась газетная братия! На этот раз можно сказать, что она недаром ела свой хлеб. И не без основания один американский журналист изрек красноречивые слова: «Пропаганда — это только более длинное слово для обозначения лжи».

XI. Излечима ли болезнь?

Безмерны преступления печати в деле разжигания кровожадных инстинктов и военного духа. Уже одно это должно сделать ее ненавистной для пролетариата. Но особенная зловредность ее заключается в том, что эта «свободная» печать является первым врагом правды. Продажность прессы заранее делает невозможным сообщение правдивых известий, исключает всякую добросовестную критику и не дает возможности разоблачать преступления современного строя. Современная пресса не просвещает, а развращает и одурачивает массы. В особенности же велики преступления «свободной» демократической печати против Советского Союза, который она не перестает преследовать своей злобной клеветой, вероятно, потому, что получать деньги от советского правительства несколько труднее, чем от царского.

Неудивительно, что авторы, пишущие о французской прессе, как, например, автор рассматриваемой книги, не скупятся на решительные выражения, когда говорят о современных журналистах. Вот, например, одна из относящихся сюда цитат: «Как общее правило, можно признать, что чуть ли не девять десятых тех суб'ектов, которые пишут в наших газетах, давно уже населяли бы Кайенну, Нумею или другие наши места ссылки и этим даже серьезно способствовали бы уменьшению числа преступлений во Франции, если бы они не обратились к такому безопасному, но прибыльному ремеслу, как журналистика». Автор охотно склоняется к мысли, что всех современных журналистов следовало бы перевешать. Он только выражает сожаление о том, что такая радикальная мера возможна лишь в период великих революций. И в заключение своей книги он, не обинуясь, признает современную прессу величайшим врагом цивилизации и говорит, что с того момента, как она исчезнет с лица земли, это будет огромным выигрышем для культуры.

Не следует думать, что французская журналистика представляет в этом отношении какое-либо

исключение. Французский народ не хуже всякого другого, а французские журналисты в общем и целом не хуже и не испорченнее других. Надо только помнить, что благодаря особенным историческим условиям развития Франции, на французской почве все общественные явления быстрее развиваются до своего логического конца и приобретают черты, сильнее действующие на воображение. Так происходит в области политики, в области парламентской, а также и в области журналистики. Но во всех капиталистических государствах буржуазная пресса страдает теми же недостатками и болеет теми же болезнями. Так хочет капитализм, таков закон буржуазной демократии. Так действует власть капитала в области журналистики, как и во всех других областях.

И после всего этого находятся лицемеры или глупцы, способные вздыхать о «свободе печати» в буржуазной обстановке и укорять Советскую Республику в том, что она одна не хочет этой свободы. Все дело в том, что в обстановке капиталистического режима ни о какой свободе, в том числе и свободе печати, и говорить не приходится. Действительно свободная печать возможна будет только в истинно-коммунистическом обществе, когда, при условии принадлежности всех орудий производства трудящимся, отдельные группы единомышленников организуются для выражения своих мнений по тем или иным вопросам, без посягательства на чужие интересы и без эксплоататорских замыслов по отношению к своим согражданам.

Тот момент, когда диктатура пролетариата положит конец нынешней «свободе», а, вернее, бесстыдной разнузданности печати, принесет величайшую пользу трудящимся массам, которые являются главною жертвою этой буржуазной печати, созданной или купленной капиталом.

На верном пути.

М. Кантор.

(Состояние крестьянской кооперации и важнейшие вопросы ее развития.)

I.

Можно с полнейшей определенностью сказать, что мы уже пережили ту полосу (относящуюся больше к началу нэпа), когда процессы восстановления и развития кооперации далеко не оправдывали ее советского призвания.

В ту пору не раз приходилось слышать не только от чужих, но подчас и от своих, что, мол, надежды на кооперацию плохи..

К этому же периоду относится и нетерпеливое подстегивание Ленина, содержащееся в недавно опубликованном в «Правде» письме к председателю Центросоюза Хинчуку: «Когда же, наконец, заработает аппарат кооперации?».

Но через самое непродолжительное время для Ленина была уже совершенно несомненна ее развертывающаяся мощь.

Анализ ведомственных сведений, житейских фактов, почерпнутых, очевидно, из литературы и из собственного общения с крестьянином, подтвердил первоначальные теоретические предположения. В знаменитом последнем письме о кооперации уже не слышится никаких сомнений. Напротив, оно с самого начала, с первых строк, обращено к сомневающимся, к тем, кто еще не успел по-настоящему оценить роль и значение кооперации в новых условиях:

«У нас, мне кажется, недостаточно обращается внимание на кооперацию. Едва ли все понимают...» и т. д.

Упомянутое письмо не только теоретический прогноз, гениальное предвидение, оно представляет собой также и исторический документ, датирующий начало фактического возрождения кооперации. Вряд ли широкие круги нашей читающей публики знают, какое внимание уделялось Лениным мельчайшим фактам кооперативной работы. Достаточно сказать, что по его детально разработанным требованиям составлялись специальные доклады, обзоры, что он находил время еще в корректуре читать выходящую книжку о кооперации.

Теперь, через пять лет нэпа, мы продолжаем критиковать деятельность кооперации, но исходные точки спора передвинулись далеко вперед.

Кооперация успела у нас стать хозяйственной силой первостепенной важности. Без учета кооперации, без ее участия сейчас немыслимо проведение серьезнейших государственных мероприятий в области финансов, торговли, промышленности, земельных дел и отношений и др.

Поэтому обзоры кооперативной работы, подведения итогов, анализ успехов и недостатков должны сейчас, по нашему мнению, интересовать самые различные категории читателей.

Задачей данной статьи мы поставили беспристрастное обследование *крестьянской* кооперации, как имеющей для судеб революции наибольшее значение.

Ответственнейшие руководители коммунистической партии в своих последних выступлениях неизменно подчеркивают, — что крестьянская кооперация должна стать в наших условиях основой для социалистического строительства деревни. В решениях XIV конференции РКП специально отмечен путь деревни к социализму через кооперацию. Косвенным образом, все выступления и выносимые решения являются признанием, *подтверждением уже раскрытых возможностей.*

За один год соотношение сил в советской торговле изменилось следующим образом:

	1922/23 год.		1923/24 год.		% изменения.
	в милл. руб.	в %%	в милл. руб.	в %%	
Общий торговый оборот	3.570	100,0%	5.530	100,0%	
в том числе:					
Оборот госорганов .	1 070	30,0%	1.950	35,5%	+ 5,5%
» кооперации	400	11,2%	1.370	24,7%	+ 13,5%
частн. лиц .	2.100	58,8%	2 200	39,8%	— 19,0%

В сборнике, выпущенном Центросоюзом к 39-му Собранию Уполномоченных («Место потребительской кооперации в системе советского хозяйства на 1924—25 хоз. год». Изд. Центросоюза), эта таблица сопровождается следующим пояснением:

«Роль всей кооперации в торговом обороте оценивается в 24,7%. По сравнению с 1922—23 годом, роль частной торговли уменьщилась на 19%, разделенных между госторговлей, увеличившей свою долю на 5,5%, и кооперацией, сделавшей огромный скачок вперед — на 13,5%. Общий торговый оборот, составлявший в 1922—23 г. 3.570 милл. рублей, в 1923—24 г. поднялся до 5.530, т.-е. увеличился на 55%. Если мы прирост оборота (т.-е. 1.960 милл. руб.) примем за 100 и посмотрим, как выразилось

участие отдельных видов торговли в его создании, то мы получим следующую картину:

Общий прирост торг. оборота	100,0%
В том числе прирост оборота:	
госорганов	45,4%
кооперации	49,5%
частн. лиц	5,1%

То-есть... рост торгового оборота страны в 1923—24 г. шел на 50% за счет роста оборотов кооперации».

Вытеснение частного капитала проходило пока преимущественно в оптовой торговле. По отношению к рознице удельный вес кооперации определяется в цитированном сборнике в 25%.

Разумеется, это средние цифры; по отдельным товарам возможны большие колебания в ту или другую сторону. Так, если взять реализацию товаров государственной промышленности, то мы наблюдаем чрезвычайно большую амплитуду колебаний: по пищевкусовой промышленности кооперация заняла 52,9% оптового отпуска трестов, по резиновой — 41,5%, по спичечной — 32%, по химической — 27,2%, по текстильной — 19,8%, по кожевенной — 17,4%, по дерево-обрабатывающей — 6,9%, по металлической всего — 3,3%.

Причиной колебаний является, прежде всего, характер ассортимента трестов. По металлической промышленности целый ряд производств не работает на широкий массовый рынок. Но немалую роль играют также, с одной стороны, не всегда благожелательная в отношении кооперации политика органов промышленности, а с другой, неприспособленность кооперативного аппарата к торговле тем или иным товаром.

Весьма интенсивно растет работа кооперации со многими синдикатами. Отпуск своей продукции кооперации составил:

	В 1-м полугодии 1923/4 г.	В 1-м полугодии 1924/5 г.
У Солесиндиката	45,1%	77,9%
» Текстильн. синдиката	36,9%	58,7%
» Продасиликата	38,6%	50,4%
» Махорочн. синдиката	35,6%	70,9%
» Кожевен. »	28,1%	50,6%
» Нефтесиндиката	8,8%	18,6%

Рост потребительской кооперации в деревне характеризуется следующими цифрами оборотов сельских обществ по продаже:

в первом квартале 1923/4 г.	55,0 милл. руб.
» четвертом » »	144,4 » »
» первом » 1924/5 г.	215,5 » »

(А. Фомин. Торговый оборот СССР, — «Союз Потребителей». № 6).

Сеть сельской потребительской кооперации за один год претерпела такие изменения:

	на 1/X—1923 г.	на 1/X—1924 г.	измен. в %
было всего обществ .	17.188	20.920	+ 21,7%
лавок в них	21.420	27.078	+ 26,4%
пайщиков .	2.297.032	3.523.156	+ 53,4%

По сельско-хозяйственной кооперации за время приблизительно тоже за год (с 1 января по 1 октября 1924 г.) число кооперативов возросло с 19.690 до 25.840, а число членов с 1.273.500 до 2.056.500 физических лиц. К средине 1925 года число членов с.-х. кооперации определяется в четыре миллиона. Следует, однако, отметить, что как ни велик рост, но по сравнению с довоенным временем мы об'единили в с.-х. кооперации пока только одну треть ранее кооперированного населения.

Если расчленить обороты разных видов кооперации, то окажется, что с.-х. кооперация поднялась за год, с 1922—23 до 1923—24 г., с 172 милл. рублей до 512 милл., в то время как потребительская шагнула за то же время с 500 милл. до 1.380 милл. рублей.

Потребительская кооперация, гораздо ранее начавшая работать, значительно сильнее. В текущем году ее оборот, вероятно, превысит два миллиарда рублей. Вообще она давно опередила довоенные и дореволюционные нормы. За сельско-хозяйственную говорит то, что ее рост наиболее интенсивен в низах, в деревне. Это видно из сравнения оборотов различных ступеней ее системы:

	за 1923 г.	за 1923/4 г.	% увелич.
Оборот центров .	28	60	114%
» местн. союзов .	69	180	160%
» первичн. кооперат. .	75	272	262%

Собственные средства сельских потребительских обществ возросли с 31 милл. руб. до 56 милл. (с 1 янвгря по 1 октября 1924 г.), т.-е. на 80,6%. Но заемные средства за то же время увеличились на 102,5%, вместо 40 теперь 81 милл. Из общей суммы средств, имевшихся на 1 октября 1924 г., т.-е. из 137 милл., в торговом обороте находилось только 109 милл., при чем из собственных средств в торговый оборот было вложено только 28 милл. Это значит, что отношение между своими и чужими средствами в сельских потребительских кооперативах выражалось в пропорции 1 : 3, в то время как на 1 января отношение было 1 5. Наступило несомненное оздоровление в том смысле, что часть собственных средств, лежавшая ранее без движения, поступила в оборот. Но и сейчас еще в низовой сети довольно большой процент собственных средств загружен в «неликвидных ценностях».

По сельско-хозяйственной кооперации средства низовой сети исчислялись на 1 октября прошлого года (А. А. Минин, С.-х. кооперация СССР, изд. 1925 г.) в 240 милл. рублей, включая и собственные капиталы и кредиты. Отношение между собственными и заемными средствами, как 1 : 3,

т.-е. то же, что и в первичных потребительских кооперативах. Прогресс очень велик, ибо на 1 января 1923 г. все виды средств низовой сети с.-х. кооперации насчитывали всего около 33 милл. рублей.

Но по сравнению с дореволюционным временем финансовые достижения с.-х. кооперации опять-таки следует признать чрезвычайно слабыми. Например, на 1 января 1917 года средства низовой сети определялись «более чем в 1.100 милл. рублей, из которых около 990 милл. приходилось на кредитные и ссудо-сберегательные т-ва; при чем последняя сумма в своей большей части представляла вклады — 711 милл. руб.».

По замечанию Минина, автора упомянутых строк, «гвоздь тяжести финансового положения современной с.-х. кооперации находится не в абсолютном недостатке средств, а в том, что она еще не вовлекла в свои организации достаточно широких крестьянских масс и не приобрела их доверия настолько, чтобы они несли свои, хотя бы и скудные, сбережения в товарищества. Если бы это имело место, кооперации не было бы необходимости столь широко пользоваться дорогим и чрезмерно краткосрочным кредитом со стороны».

В общем верное об'яснение Минина нуждается, однако, в некоторых коррективах.

Размах работы современной кооперации, в силу ее новой общественно-хозяйственной роли, настолько больше прежних масштабов, что необходимость в кредитах сохранится на долгое время. Краткосрочность же кредитов, высота процентов, несвоевременность оказания кредитов и другие недостатки теперешнего финансирования кооперации вовсе не являются иммажентными свойствами советской кредитной системы.

Финансирование кооперации, несомненно, будет улучшено. Но за всем тем проблема привлечения в кооперацию средств населения сохраняет полностью свое значение. Разница та, что в советских условиях это значение измеряется не только собственными потребностями кооперации в средствах, но также и общегосударственными соображениями направления единоличных сбережений по руслу общественного накопления.

Несоответствие между собственными средствами сельской кооперации и ее общественно-хозяйственной нагрузкой (участием в заготовительных кампаниях, в больших агрикультурных начинаниях) еще долго будет давать себя чувствовать. Проводимое ныне санирование балансов, т.-е. вливание государственных средств в виде долгосрочных льготных ссуд в основные капиталы кооперации, в наших условиях, естественное явление. Цель санирования — укрепление кооперации и повышение ее возможностей обслуживания населения, в том числе и привлечения вкладов.

II.

Но мы не желали бы преподносить читателю исключительно всероссийскую или всесоюзную статистику. Для того, чтобы почувствовать темп роста кооперации, характер ее развития, сущность еще неизжитых недо-

статков, пожалуй, лучше заглянуть в местную жизнь отдельных районов и там проследить факты.

Берем Вятскую губернию, которая является одной из успевающих в кооперативном отношении. За один 1924 год количество членов с.-х. кооперации увеличилось там в пять раз, а если посчитать с 1 января 1924 года до 1 мая 1925 года, то в семь раз. К 1925 году Вятская губерния покрылась кооперативной сетью, состоящей из 2.053 самостоятельных организаций, в том числе:

282 с.-х. кредитных товарищества,
564 с.-х. товарищества,
382 с.-х. артели,
202 кустарных артели,
223 молочных артели,
121 мелиоративных товариществ и др.

Наибольшее развитие обнаружили с.-х. кредитные товарищества.

За 1924 год общая сумма их балансов поднялась с 193.666 руб. до 1.567.679 руб. Средний баланс одного товарищества составлял:

на 1 января 1924 г.	2.934 руб.
» 1 октября »	6.228 »
» 1 января 1925 г.	7.998

По отношению ко всему количеству крестьянских дворов губернии число кооперированных хозяйств поднялось за год с 3% до 13%.

Возьмем другую губернию — Калужскую, уступающую Вятской в смысле разветвленности кооперации. Всего за шесть месяцев, с октября прошлого года до апреля текущего года там прибавилось 39 с.-х. кооперативов, вместо 193 стало 232. За это же время число пайщиков с.-х. кооперации возросло с 10.281 до 17.973, т.-е. на 75%.

Потребительская сеть той же Калужской губернии состоит из 210 кооперативов, в том числе 184 сельских. «Пайщиков — 41.570, из них женщин — 5.198, или 12%. Населения (хозяйств) кооперировано 25%. Общая сумма паевых капиталов превышает 126.000 руб.; таким образом на одного пайщика приходится около 3-х рублей паевого капитала и на одно сельское общество 250—300 рублей. Почти повсеместно по губернии установлен 5-ти рублевый размер пая; с паем менее 5 рублей остается не более 25 обществ. Значит, в общем паи фактически внесены на 60%» (Газета «Коммуна» от 3 июля с. г.).

Спустимся еще ниже — к отдельному кооперативу. В цитированном номере Калужской газеты помещена статья инструктора Шепелева о результатах обследования Лихвинского потребительского общества.

«Сравниваю с тем, что было 8 месяцев назад. Поразительная разница. Тогда общество имело средств 2.300 рублей, из которых не может погасить $^2/_3$ долговых обязательств, вследствие дефицита на 800 рублей, а теперь оно располагает средствами в 24.200 рублей, из которых почти половина принадлежит обществу и только вторая часть составляет заемный капитал. Тогда

обороты равнялись 3.000 — 3.500 руб. в месяц, сейчас они дошли вместе с оборотами хлебопекарни до 20.000 рублей слишком. Тогда количество членов было 107, теперь оно дошло до 250, т.-е. увеличилось почти в $2\frac{1}{2}$ раза. Увеличился и паевой капитал с 250 руб. до 740 руб. Затем, тогда проценты наложения на себестоимость товаров шагали за 35 и приближались к 40, а сейчас стоят почти на установленной норме — 15 — 16, снижаясь на предметы широкого потребления до 12—13».

Имеются и районы, в которых успехи кооперативного строительства удовлетворяют самым строгим требованиям. Куликовская маслодавочная артель (Белозерского района, Курганского округа) кооперировала населения на 90%.

Куликовская артель далеко не исключение. Если говорить об исключительных достижениях, тогда следовало привести хотя бы Шунгенский кооператив (волость Костромской губ.), который владеет электрической станцией (освещены не только все избы, но и скотные дворы, подвалы и другие помещения) и предприятиями, оцениваемыми в миллион рублей.

Можно взять «на выдержку» еще сколько угодно районов, и всюду, где в большем масштабе и большей прогрессии, где несколько меньше, мы неизменно встречаем движение огромной силы и глубины.

На местах пробуждается энтузиазм — этот неизменный спутник большого общественного движения. Наиболее характерны в этом отношении случаи, когда кооперация проникает в «святая святых» индивидуального хозяйства, в область крестьянского производства. Дело обычно начинается с какого-либо решения, непосредственно не затрагивающего производства. Но в процессе усовершенствования вызывается необходимость в изменениях, более глубоких, требующих отказа от единоличных навыков и предрассудков.

Труден только первоначальный шаг, а там уже самая работа подхлестывает участников. Деревня приобретает трактор и оказывается вынужденной уничтожить чересполосицу. Деревня занялась семеноводством, вошла в товарищество, а дальше:

«Посев производится сообща всей деревней. Клевер высеян одним углом».

Учитывая, что работа по семеноводству требует правильного плодосмена, деревня Пески от 4-полья перешла к семиполью.

Такое внимательное отношение к сельскому хозяйству встречается и в других деревнях, об'единенных товариществом.

На 1926 год работа будет расширена. Так, намечено под «вановскую» и «пробштейскую» рожь занять до 20 десятин. Для этой цели решено отвести обследованные поселки, где и будет высеваться только один сорт.

Под «пермский» клевер предполагается по плану заложить 150 десятин, под «шведский» — 20 и под «овсяницу» луговую — 3 десятины.

Взяты на испытание местные семена льна-долгунца, и намечается работа с овсом «золотой дождь».

В печати не раз уже упоминалось об огромном спросе деревни на трактора, о большой неудовлетворенной потребности, несмотря на то, что мы

и сами стали производить трактора, а еще большее количество ввозим пока из-за границы. Значительная часть тракторов идет через кооперативы и кладет основу интереснейшим формам движения. К наступающему сезону только через Сельскосоюз, в централизованном порядке, пройдет на периферию с.-х. кооперации свыше тысячи тракторов. Но, кроме того, значительные количества попадут в с.-х. кооперативы еще и через другие торгующие организации. На местах спешно организуются курсы трактористов (пока уже зарегистрированы в 18 пунктах) и ремонтные мастерские. Например, сельскосоюз Немецкой республики проводит уже третьи курсы всадников для «железных коней», и, «таким образом, в Немецкой республике будет насчитываться до 240 трактористов, обученных на курсах Немсельскосоюза» (Покровская «Трудовая Правда» от 30 июня).

В отношении Немецкой республики, стоящей в культурном отношении выше многих других частей нашего Союза, быть может, не характерно самое применение тракторов, но их продвижение через кооперацию весьма примечательно.

Развитие кооперации идет в неслыханно быстром темпе. Вчерашние достижения сплошь и рядом оказываются сегодня низшей, далеко превзойденной, ступенью. Значительная часть недостатков кооперации потеряла свою остроту. их место заняли другие нужды, так сказать, более культурного порядка.

Когда рассматриваешь всю картину кооперативного движения в целом, тогда начинаешь замечать и видеть перспективу, чередование этапов развития представляется закономерно-неизбежным и естественным.

Сибирская рабоче-крестьянская инспекция произвела недавно обследование сельско-хозяйственной кооперации Сибири. Выводы, сделанные инспекцией в отношении низовых организаций, представляются нам характерными и для многих других районов. Цитируем по отчету, напечатанному в номере газеты «Советская Сибирь» от 20/IV.

Прежде всего, обращает на себя внимание замечание инспекции «о растущей потребности деревни в кредите». По данным Вятской губернии, мы уже видели, что рост кредитных товариществ опережает развитие всех других форм деревенской кооперации. Та же картина и по Сибири: «Большинство обследованных кооперативов — кредитные товарищества или в процессе перехода на устав последних».

В общем, сибирской кооперацией к моменту обследования (приблизительно можно считать к началу 1925 г.), было втянуто 15% населения. Размер паевых по всем губерниям, исключая Омскую, одинаков — 3 руб. В Омской губернии наблюдаем любопытное явление — весьма высокий размер пая: в одном кооперативе — 9 р. 50 к., в другом — 15 р. Это Степнинское и Драгунское кредитные товарищества.

К сожалению, в напечатанной части отчета не сказано, какие именно элементы крестьянского населения втянуты в указанные кооперативы. Но, принимая во внимание, что в этих товариществах степень охвата населения 25,3% — больше средних цифр по Сибири — и что для нуждающихся уста-

новлена льготная уплата паевых (при вступлении от 1 р. 50 к. до 3 р. 50 к., остальные записываются в виде ссуды), можно предположить, что они немногим превысили те возможности, которые имеются и в прочих кооперативах сибирской сети.

В связи с кредитным уклоном, наблюдающимся в развитии с.-х. кооперации Сибири, наиболее слабым местом следует считать крайний недостаток вкладов, часто полное их отсутствие. Из пяти обследованных губерний в двух кооперативы оказались совершенно без крестьянских вкладов. В остальных — сумма вкладов, к моменту обследования, оказалась крайне мизерной. Так, по Енисейской губернии было зарегистрировано всего 23 вклада на сумму 1.362 р. 82 к., по Новониколаевской на 200 руб., Омской—254 р. 57 к.

Можно не сомневаться, что в течение текущего года по Сибири, как и по прочим областям СССР, произошел большой сдвиг в сторону развития вкладных операций.

Но точно с такой же уверенностью можно наперед сказать, что относительно величины вкладов, даже по сравнению с довоенным временем, все еще незначительны. Достаточно сказать, что «вкладные операции западно-сибирских кредитных товариществ дореволюционного времени (на 1 января 1914 года) составляли 37 % всего баланса и в среднем на каждое товарищество приходилось 7.870 руб., а на одного участника—14 руб. В то же время займы составляли 26 % баланса, падавших на каждое т-во по 5.407 руб. и на одного участника вкладов по 10 руб. Наши же кредитные т-ва в настоящее время имеют вкладов только 0,74 % всего баланса, что составляет на т-во по 170 руб., а на участника по 43 коп., займов же они имеют 47 % баланса, что составляет на каждое т-во 10.945 руб. и на каждого участника по 28 руб.» (газета «Звезда Алтая», от 30 мая).

Основной причиной этого явления инспекция считала «недостаток денежного обращения в деревне и отсутствие сбережений у крестьянства в денежной форме». Вместе с тем, по мнению инспекции, «немалую роль еще играет и недостаток доверия со стороны населения как к самому кооперативу, так и к руководящему составу кооперативов».

Со стороны крестьянства встречаются заявления, что, «дескать, посадили в правление комсомольца или городского, у которого ни кола, ни двора в деревне. Как же ему можно доверить вклады, когда он сам за себя ответить не может, а взять с него горсть волос?».

В Новониколаевской губернии даже проценты по вкладам оказались еще не установленными. В одном кооперативе Енисейской губернии выдача процентов «не практиковалась»... В других губерниях размер выплачиваемых процентов столь низок, что никого не привлекает.

Считаем необходимым напомнить читателю, что обследование затронуло только сельско-хозяйственную ветвь, пока наиболее слабую. Потребительская же система Сибири, имеющая за собой ряд лет большой работы, весьма крепко сколочена и представляет мощную организацию.

Анализ приведенных недостатков разделяет источники их происхождения как бы на три категории: первая — общие об'ективные причины,

а именно, степень развития народного хозяйства страны, товарных отношений и денежного обращения в деревне; вторая — причины об'ективные в отношении кооперации — культурный уровень деревни, отношение государственных и партийных организаций, и третья — собственные промахи кооперативных работников. В последнюю категорию включается неуменье работать, непонимание общественных обязанностей, халатность, злоупотребления и т. п.

Переходя к характеристике процессов, происходящих внутри кооперации, попытаемся опять-таки пользоваться уже избранным нами способом анализа местных данных. На сей раз обращаемся к с.-х. кооперации Сев.-Кавказского Края (статья С. Семенова «Итоги работы», помещенная в газете «Советский Юг» от 4 июля). Общие тенденции ее развития выражены в следующей таблице:

Дата	Унив-в.	Членов в них.	Спец. т-в.	Членов в них.	Колхозов.	Членов в них.	Всего кооп. об'ед.	Членов в них	% кооп. с насел.	Средний сост. кооп.
1—VII—24 г.	593	102.678	107	9.320	661	23.280	1.361	135.278	10,2	99,4
1—VII—25 г.	818	178.593	320	26.013	1.076	25.169	2.214	229.775	16,6	103,8

Автор статьи сопровождает таблицу следующими замечаниями:

«Анализируя данные настоящей таблицы, мы видим, что за истекший период число универсальных с.-х. кредитных товариществ увеличилось на 225, т.-е. на 37 %, специальные товарищества возросли втрое, и колхозы — на 63 %. Таким образом в отношении всех видов кооперативов мы имеем резко выраженную тенденцию к росту, особенно же стремительным ростом отличаются специальные товарищества.

В соответствии с этим ростом, общий процент кооперированного сельского населения повысился с 10,2 % до 16,6 %. На-ряду с этим заметен и некоторый процесс укрупнения кооперативов. Вместо 99,4 членов, приходившихся на 1 кооператив к 1 июля 1924 г., мы имеем 103,8 чл. на 1 июля 1925 года.

В числе 320 упомянутых выше специальных товариществ: табачных— 73, машинных — 59, молочных — 46, мелиоративных — 47, животноводческих — 43. Остальные спец. т-ва относятся к категории садово-огороднических, машинных, пчеловодных и пр.

Следут отметить, что в данной таблице указаны лишь кооперативы, входящие в состав 26 имеющихся в Крае союзов с.-х. кооперации. Но, помимо таких «осоюженных» кооперативов, имеется немалое количество — до 25 % общего числа — «диких» с.-х. кооперативов, не входящих в союзную сеть. Если учесть и эти последние, то процент с.-х. кооперированного крестьянского населения повысится до 20 %.

На-ряду с процессом как общего роста с.-х. низовой сети, так и стремлением к специализации необходимо отметить еще одну характерную особенность — производственный уклон, выражающийся и в росте чистого вида производственной кооперации — колхозов, и в расширении сети промышленных предприятий, принадлежащих низовым кооперативам или арендуемых ими. Число таких промпредприятий ныне превысило уже тысячу.

Что касается финансового положения низовой сети, то его следует признать, в общем, тяжелым. Сводный баланс по 247 с.-х. т-вам, т.-е. около 30% всех т-в, на 1 апреля с. г. выразился в сумме 6.660.035 руб.

Коммерческая ликвидность низовой сети определяется в 73 коп. на каждый кредиторский рубль.

Все же необходимо отметить, что финансовое положение низовой сети за последнее время имеет некоторую тенденцию к оздоровлению. Заметен некоторый — правда, небольшой — рост собственных средств, уменьшение накладных расходов и пр.».

III.

Характерными для всей крестьянской кооперации являются следующие черты. Во-первых, развитие специальных товариществ. На Северном Кавказе, естественно, развиты не все специальные виды. В других районах имеются крупные льноводные товарищества, картофеле-терочные, лесные и др.

В данное время это самая крепкая, в хозяйственном отношении, часть сельской кооперации. Она развилась раньше других форм потому, что в ее основе лежали крестьянские хозяйства с выявленным уже товарным уклоном. Крестьянин-льновод, маслодел потребляет только незначительную часть своей продукции. Обращение к рынку для него первейшая необходимость уже в силу самого содержания производства.

Наоборот, в зерновых районах гораздо долее сохраняется потребительский характер хозяйства. В этих районах необходима предварительная интенсификация производства в такой степени, чтобы хозяйство стало располагать сколько-нибудь значительными излишками хлеба, сверх нормы своего личного и производственного потребления. Толчок к интенсификации может дать только кредит, и поэтому в зерновых районах крестьянская производственно-сбытовая кооперация стала серьезно развиваться только после присвоения кредитных функций.

По времени, кредитная работа не могла не появиться на свет позже товарных отраслей, так как для ее существования необходимо развитое денежное обращение. После потрясений военного периода мы еще и по сей день не можем похвастать развитым денежным обращением в деревне. Все же с момента своего зарождения кредитная отрасль кооперативной работы так шагнула вперед, что в недалеком будущем обещает занять первое место.

Спор между сторонниками образования чисто кредитной системы и представителями сельско-хозяйственной кооперации, которые отстаивали смешанную производственно-сбытовую и кредитную форму, окончился, как

известно, в пользу последних. При решении этого спора одним из серьезнейших аргументов были именно соображения о характере развития производственно-сбытовой кооперации в данных условиях, т.-е. о невозможности развития этой формы без кредитных функций.

На-ряду с процессами развития специальных товариществ и кредитных следует отметить рост производственного кооперирования. Он выражается в организации мелиоративных, коневодческих, машинных и семеноводческих товариществ, прокатных и случных пунктов и, наконец, в самостоятельной форме колхозов.

Если не говорить о колхозах, то все остальные виды производственных об'единений необязательно могут и должны существовать самостоятельно. Быть может, сильное развитие семеноводческого дела еще способно привести к особой семеноводческой кооперативной системе. Но машинное товарищество, случной пункт и т. п. всегда будут играть прикладную роль. Большая часть перечисленных видов в существующих условиях отсутствия организаторов, незначительности источников средств и необходимости строжайшей экономии в организационных расходах, — легче всего разовьется в качестве отделений с.-х. кредитного товарищества, от которого и будет питаться необходимыми средствами.

Однако организационно-прикладное положение многих форм производственного кооперирования ни в малейшей мере не должно закрывать перед нами огромнейшего их значения и перспектив их развития. Об'единение крестьянства на почве товарных и денежных операций есть в данный момент — организации своеобразного советского рынка — дело первейшей необходимости. Вместе с тем, это подготовка почвы для дальнейшей стадии кооперативного развития — для производственного кооперирования. Ибо именно производственное кооперирование, основанное на об'единении труда и производства, фактически осуществляет перестройку индивидуального хозяйства в коллективное.

Что касается колхозов, то их хозяйственная ценность (помимо чисто политических моментов об'единения бедноты) заключается в том, что они уже сейчас начинают вторую, важнейшую стадию кооперирования — об'единение труда и производства. Но в этом и их слабость, ибо нормальный ход развития общественных форм хозяйства в деревне не допускает непосредственного скачка из индивидуального хозяйства в наиболее развитую форму коллектива. Предварительно необходимо такое накопление общественных навыков, которое способно было бы обусловить «переход количества в качество». Это накопление навыков происходит в единственно возможном и наиболее естественном (с точки зрения процессов развития крестьянского хозяйства) русле сельско-хозяйственной кооперации. Колхозы же, в данный момент, могут об'единить или небольшие передовые слои, сознательно строящие высшие коммунистические формы хозяйства, или бедноту, идущую на об'единение вследствие недостатка в живом и мертвом инвентаре. На практике существуют, конечно, и смешанные формы и смешанный состав. В коммунах мы часто встречаем бедноту, а во главе простейших форм

коллективов — организаторов, глубоко проникнутых духом коммунистического строительства. Тем не менее, в основе наше разделение вполне верно. В развивающихся коммунах, особенно во вновь организуемых — передовые элементы деревни, а частью и города, в товариществах по общественной запашке или обработке земли — смешанная масса бедноты

С другими формами производственного кооперирования колхозы сближает в настоящее время также сходная агрикультурная работа. Но знака равенства между ними поставить нельзя. Особенности социального состава, своеобразие форм, массовый охват населения — заставляют считать колхозы самостоятельным движением, однако все же тесно связанным с сельско-хозяйственной кооперацией. Моментами связи являются не только общие перспективы коллективизации производства (в этом существеннейшее отличие нашей кооперации от кооперации буржуазных стран), но также и общность сбытовых и закупочных задач. Колебания, которые раньше были в колхозной среде по вопросу о присоединении к системе с.-х. кооперации, теперь понемногу рассеиваются. Работникам колхозов становится ясно, что в условиях нэпа с.-х. коллектив не может остаться изолированным коммунистическим скитом, что возможности прогресса лежат для него только на пути специализации производства и развития товарности.

Но в недрах с.-х. кооперации коллективам должно быть отведено особое место, применительно к их самостоятельному общественному значению и к своеобразию форм их деятельности. На практике это достигнуто путем организации в аппарате местных союзов с.-х. кооперации отделов коллективного земледения, во Всероссийском Сельскосоюзе — выборного органа — Совета колхозов, и путем созыва специальных совещаний представителей колхозов.

Данные о финансовом положении сев.-кавказской кооперации не представляют уже для нас интереса «новизны», после ознакомения с организациями нескольких других районов. Следует остановиться лишь на с о с т о я н и и с о ю з н о й с е т и. В настоящее время это наиболее слабое звено с.-х. кооперативной системы. Низовая сеть значительно опережает в своем развитии союзы. Так, за 1924 год обороты всех союзов увеличились в $2\frac{1}{2}$ раза, обороты первичных кооперативов в $3\frac{1}{2}$ раза. Балансы низовой сети увеличились с 120 милл. руб. до 240 милл., балансы союзов с 101 милл. до 154 милл. рублей. В этом отношении имеются и здоровые признаки правильного роста крестьянской кооперации с низов, но союзам от этого... не легче, особенно, если принять во внимание, что и сама низовая база еще далеко не упрочилась.

По Сев. Кавказу мы не имеем сейчас под рукой нужных сведений о союзах, но знаем, что их положение нисколько не лучше, чем в прочих районах. Впрочем, и автор цитируемой статьи рисует их в довольно безотрадном виде:

«Всего в нашем Крае работает 26 союзов с.-х. кооперации. Финансовое положение их весьма незавидное. Многие союзы переживают тяжелый финансовый кризис. Хозяйственные операции многих из них сокращаются,

а иной раз и совсем приостанавливаются. Процент неподвижных средств на 1 июля выражается в 25% к общей сумме баланса. Общей причиной такого тяжелого положения союзов является сжатие кредитов, высокие проценты за госкредит, отрыв низовой сети от союзов политикой кредитующих учреждений и госпромышл. и пр., частичными же причинами некоторых из них — тяжелая задолженность от ликвидированных союзов, правопреемниками которых они являются (таково положение в Кубанских союзах, являющихся преемниками ликвидированного Кубсельсоюза), а иной раз неумелая хозяйственная политика (затоваривание, медленность оборотов, большие накладные расходы и пр.).

Почти все союзы испытывают острую нужду в материальной поддержке от государства в форме долгосрочных кредитов. За отсутствием средств, а также ввиду имевшихся организационных перестроек союзов, в связи с районированием, организационная и хозяйственная связь с первичной сетью во многих союзах поставлена недостаточно полно, культурно просветительная и ревизионно-инструкторская работа ведется не в достаточной мере».

Соображения о причинах тяжелого положения союзов представляются нам совершенно правильными. Но сюда необходимо присоединить еще одну важнейшую причину — отсутствие кредитных функций. На союзах с.-х. кооперации отрыв от кредитной работы отражается, пожалуй, еще более тяжело, чем на низовой сети. Слабость союзов не позволяет пока ставить вопрос о передаче всем без исключения союзам обязанностей современных местных обществ с.-х. кредита. Но в принципе эта передача предрешена. Она должна уже сейчас постепенно проводиться в отношении наиболее прочных союзных об'единений на тех же началах, что и по низовой сети, т.-е. на условиях выделения кредитной работы в самостоятельную отрасль, в финансовом отношении обособленную от посреднических и всяких иных операций и подлежащую контролю со стороны Центрального Сельско-Хозяйственного Банка.

Выполнение кредитных обязанностей низовой системой уже само по себе подводит более прочную материальную основу под союзы, наделение же и самих союзов теми же функциями еще более их упрочит и вместе с тем создаст предпосылки для организации стройной и прочной кооперативной системы мелкого кредита.

Кроме этого кардинального вопроса союзного бытия, кооперативные сферы занимает еще вопрос о том, какая величина, т.-е. какой охват периферии, является наиболее целесообразным в союзном строительстве. Построение по административному признаку окончательно отвергнуто. Например, губернских союзов осталось очень мало. Но это еще не предрешает вопроса о степени укрупнения. Имеются сторонники мелкорайонных и крупнорайонных союзов. К сведению читателя сообщаем, что под крупнорайонными следует понимать форму, охватывающую территорию менее губернской. Практика строительства говорит в пользу крупнорайонных, т.-е. в пользу такой величины союза, при которой он имеет достаточный оборот, чтобы

за дешевый процент обслуживать подведомственную периферию и, вместе с тем, не слишком отдаляться от своей низовой базы (как это случилось с губсоюзами). За прошлый 1924 год число мелкорайонных союзов по отношению к общему их количеству упало с 18,6% до 16,8%, в то время как крупнорайонные возросли с 12,3% до 15,6%.

К сожалению, важнейшие вопросы социального состава кооперативов затронуты очень слабо в отчете по Северному Кавказу.

Общий вывод, к которому приходит автор отчета, таков, что «маломощные хозяйства являются значительно преобладающими в составе с.-х. товариществ, достаточно солидную группу — несколько менее $^1/_3$ — составляют середняки, и незначительную роль играет крестьянский зажиточный элемент».

В нашем распоряжении имеется весьма интересный материал быв. Кубано-Черноморской области Сев.-Кавказского края, составленный на основании обследования 17.638 хозяйств — членов низовых с.-х. кооперативов (отчет инструктора Сельскосоюза Иконицкого в № 5 «Вестника с.-х. кооперации» за 1925 г.). Обследование охватило 25% кооперированного населения и дало по группе земледельческих хозяйств (т.-е. таких, для которых земледелие является основным занятием; их оказалось 87,37% общего числа обследованных) такие цифры:

Без посева 180 хозяйств или 1,17%, мелких, до 1,2 десятин посева на душу, — 7.256 хозяйств, или 47,7%, средних, до 2,4 десятин на душу, — 6.285 хозяйств, или 40,77%, крупных, свыше 2,4 десятин, — 1.695 хозяйств, или 10,99%.

Таким образом с.-х. кооперация рассматриваемого района обслуживает, главным образом, бедняцкие и середняцкие хозяйства; зажиточные хозяйства занимают по признаку наличия посевной площади десятую часть, а по применению наличной силы и того меньше — 5,6%.

Различие между нашими данными и выводами С. Семенова — автора отчета по Краю — происходит, вероятно, от того, что им взяты местности Края недостаточно характерные в кооперативном отношении. По Кубани процент зажиточных более высок, чем в среднем по СССР. Тем существеннее, что и здесь основная масса — средняки и маломощное крестьянство. Преобладание же маломощного крестьянства, как это вышло у С. Семенова, для с.-х. кооперации не характерно.

Возьмем к примеру Вятскую губернию; там, в отношении обеспечения лошадьми такой состав: 70,4% кооперированных хозяйств имеют по одной лошади, 22,4% безлошадных, 6,6% с двумя лошадьми.

По СССР бедняцких безлошадных хозяйств считается 35% (по отдельным районам колебание от 23 до 49%), середняцких 62% (от 48 до 77%) и около 3% зажиточных. Цифры по кооперации соответствуют и общим данным расслоения деревни, с некоторым преобладанием в кооперации (на 5%) количества середняков.

Как и следовало ожидать, наша крестьянская кооперация—преимущественно середняцкая, со значительным количеством маломощных.

Обеспеченность кооперированного населения, как мы уже отмечали, несколько выше средней обеспеченности всего населения, так как в кооперацию идут наиболее активные в хозяйственном отношении элементы деревни. Особенно это относится к специальным видам с.-х. кооперации. Например, при сравнении членского состава картофелетерочных товариществ Костромской губ. с прочим населением получается:

	Члены т-в.	Все население.
Безлошадных	21,3%	31,7
С 1 лошадью	73,4%	67,1

По маслодельной кооперации процент бедноты в кооперации еще несколько ниже, но участие зажиточных также незначительно. Это, конечно, не исключает случаев засилья кулаков. Но здесь должен притти на помощь политический курс на середняка и бедняка, который позволил бы увеличить их участие в органах управления кооперации соответственно количественному и хозяйственному преобладанию. Самым верным способом вовлечения широких масс деревни в кооперацию явится проведение хозяйственных мер, направленных к укреплению маломощных элементов деревни, путем оказания кредита и др.

При активной поддержке партии и государства проблема социального состава крестьянской кооперации не представит опасностей в отношении кулацкого засилья. В наших условиях, крестьянская кооперация, поднимая общий уровень благосостояния деревни, скорее будет в известной степени способствовать сохранению однородности классового состава и этой своей стороной значительно облегчит и государственное регулирование сельского хозяйства.

Чтобы быть верно понятым, добавим, что сохранение однородности, по нашему мнению, будет результатом не только ослабления классовой борьбы внутри деревни, а, главным образом, правильного направления этой борьбы в смысле защиты середняка и бедняка.

IV

Раньше, чем перейти к условиям суб'ективного свойства, коснемся в нескольких словах *проблемы взаимоотношений госпромышленности и кооперации*. Дело идет в данном вопросе об организации товаропроводящего процесса от фабрики к деревне. Если отвлечься от привходящих обстоятельств: влияния рыночной кон'юнктуры и других условий временного свойства, то по существу в частных столкновениях сторон мы наблюдаем антагонизм между продавцом и покупателем. Продавец не доволен стеснением свободы его действий, не доволен обязанностями, которые на него накладываются по отношению к привилегированному покупателю. Кооперация протестует и борется против того, что действия госпромышленности не дают ей возможности выполнять надлежащим образом и своевременно функции снабжения потребителя.

Взаимоотношения до сих пор были обострены на следующих вопросах: принудительном ассортименте, качестве продукции, условиях расчета и на внимании к кооперации, как к системе (против прежней тактики многих госорганов, выражавшейся в игнорировании союзных об'единений кооперации).

В настоящее время к этим моментам прибавилось еще одно — требование кооперации обеспечить за ней определенную часть продукции промышленности, чтобы товарный голод не ударил по кооперации в период заготовительной кампании.

Для сельской кооперации урегулирование проблемы взаимоотношений с显 госпромышленностью имеет первостепенное значение. Благоприятное разрешение будет означать создание единого фронта промышленности и кооперации против укрепления в деревне частной торговли.

В отличие от капиталистических стран мы имеем возможность в порядке государственного регулирования привести обе стороны к соглашению, будь то проектируемые теперь генеральные договоры между кооперативными центрами и синдикатами или другие формы. Но все же факт организованности потребителя приобрел также не маловажное значение.

Переходя к условиям суб'ективного свойства, напоминаем читателю, что это деление условно. Нельзя, например, обвинять кооперацию в неумении работать, не считаясь с тем, что еще нет кадров, достаточно подготовленных для многообразной и сложной современной работы.

В качестве важнейшего вопроса внутренней жизни крестьянской кооперации мы бы выделили кооперативный сбыт. Разрешение проблемы сбыта есть, собственно говоря, отыскание метода работы. Но как в важнейших областях экономики и политики отыскание и проведение правильного метода есть фактическое (разумеется при наличии об'ективных благоприятных условий) решение задач, так и в кооперации в этом пункте сосредоточено сейчас очень многое.

Постараемся об'яснить, почему именно на сбыте мы заострили проблему метода.

Сбыт, это — реализация крестьянской продукции. В организации движения товарных потоков между городом и деревней это та часть работы, которая направляет товары из деревни в город. Это организация «смычки» со стороны деревни.

Нетрудно понять, что эта часть работы значительно трудней, чем организация снабжения деревни городскими товарами. Одно дело — начать движение со стороны централизованной промышленности, другое — от распыленной многомиллионной массы мелких товаропроизводителей.

По отдельным отраслям крестьянского сбыта с.-х. кооперация достигла значительных успехов. Так, например, доля участия Маслоцентра в заготовке масла выражается в 40% всего заготовляемого масла, Льноцентра в заготовке льна — в 20%. Вся система с.-х. кооперации сделала несомненно больше, но, к сожалению, мы не располагаем соответствующими данными. По хлебу был произведен пробный подсчет в отношении всей системы, для сезона 1923—24 г. Он дал 23% всего количества хлеба, собранного, так на-

зываемыми, основными заготовителями. Это далеко не малый процент. Но по отношению ко всей массе крестьянского сбыта достижения с.-х. кооперации не велики; по некоторым вычислениям, через с.-х. кооперацию проходит 12—13% отчуждаемых крестьянством продуктов.

Колоссальное поле еще вне кооперации. Наибольшие трудности впереди.

Вследствие своей крайней финансовой слабости, кооперативные организации вели и ведут до сих пор работу, главным образом, на заемные средства. В отношении сбыта это значит, что кооперация реализует крестьянскую продукцию в той мере, в какой она получает кредиты от банков, от государственных заготовителей, от иностранных экспортеров. Но сумма заемных средств не есть величина, которая может беспредельно увеличиваться, вне зависимости от возрастания собственных капиталов. Чем более нормальным будет становиться наш советский хозяйственный порядок, тем все острее будет ощущаться несоответствие между собственными капиталами кооперации и оказываемыми ей кредитами.

Выход из положения следует искать в двух направлениях: в увеличении собственных капиталов и в правильной организации взаимоотношений между кооперацией и крестьянином и внутри кооперации между различными звеньями ее сети.

О первом направлении мы уже говорили. Оно имеет большую самостоятельную важность. Нет ни одного кооперативного собрания, на котором бы не обсуждалась задача создания собственных капиталов. Можно полагать, что за два-три хороших урожайных года под кооперативную систему в целом будет подъедена прочная материальная база. Но создание собственных капиталов, по крайней мере для ближайшего ряда лет, не решает всей проблемы сбыта.

Уплачивать крестьянину за покупаемую у него продукцию только из собственных средств — вещь явно немыслимая. Уплачивать из кредитов можно только по тем товарам, по которым кредиторы авансируют кооперацию средствами. Но если бы даже по всем заготовляемым товарам достигнуты были соответственные соглашения с кредиторами, то и тогда задача не была бы решена. Во-первых, потому, что крестьянский рынок слишком велик, а кредиты ограничены. Во-вторых, получение авансов у заготовителей, в отношении которых кооперация является посредником по закупке крестьянской продукции, невыгодно для кооперации, так как львиная доля прибыли, при такой операции, остается у авансодателей.

Кооперативным организациям всего выгоднее кредитоваться на обычных началах в банках, сохраняя полную самостоятельность в реализации сбываемых продуктов. Но для такой самостоятельности необходимо доверие снизу, доверие крестьянина, который поручал бы кооперации продажу своих продуктов на комиссионных началах.

С коммерческой точки зрения комиссионный сбыт является единственным средством охватить крестьянский рынок и выгодно реализовать крестьянскую продукцию.

Но, кроме коммерческих соображений, имеются другие веские обстоятельства чисто кооперативного характера. Дело в том, что при покупке у крестьянина за твердый счет, особенно в действиях от имени кредитующего заготовителя, кооперация выступает как организация посторонняя крестьянству, а не как орган его хозяйственной самодеятельности. Оставаться долго на такой позиции, значит перестать быть кооперацией, и, следовательно, не выполнить ни своих основных задач, ни той роли, какая уготована кооперации в советских условиях.

Стать же на путь комиссионного сбыта, значит стать аппаратом крестьянства, аппаратом, через который крестьянство само, в лице своих выбранных доверенных лиц, осуществляет товарные операции, сохраняя для себя и цену и прибыль. В аппарате остаются средства на его содержание, капиталы, необходимые для ведения операции, для обеспечения кредитования в банках и у трестов, а также те суммы, которые идут на организацию каких-либо общественно-полезных мероприятий.

При большом обороте работа может и должна быть поставлена так, чтобы все виды отчислений в общей сложности составляли минимальный процент стоимости реализуемой продукции, т.-е. чтобы ложились минимальной тяжестью на крестьянское население.

Осуществление комиссионного порядка сбыта требует, однако, большой подготовительной работы и тщательного изучения имеющегося опыта. Операция комиссии чрезвычайно сложна и не похожа на обычную сделку купли-продажи. В то время как при сделке купли-продажи операция заканчивается на сдаче товара, в комиссионном сбыте сдача товара только лишь начинает взаимоотношения между сторонами.

Обычно практикуемая сейчас форма заключается в том, что крестьянин при сдаче своего продукта получает авансом часть стоимости, например, местную оптовую рыночную стоимость минус несколько процентов своему союзу за проведение операции. После того, как союз реализует сданные ему на комиссию продукты, будь-то на внутреннем или на внешнем рынке, крестьянин получает доплату.

Определение об'ема доплаты — вещь чрезвычайно трудная. Союз мог, например, реализовать заграницей крупную партию льна различных сортов и различного качества. До момента продажи союз понес ряд расходов по перевозке, оплате различных сборов и т. д. Вывести потом точный, вполне справедливый, размер доплаты для каждого сдатчика почти невозможно. Очевидно, в способы расчета должен быть внесен ряд коррективов, упрощений, чтобы не плодить канцелярщину, бюрократизм и ускорить учинение расчетов.

Сама по себе доплата великолепнейший стимул для вступления в кооперацию. «Население воочию убеждается, что кооперативная доплата — не «журавль в небе», и начинает ближе подходить к кооперативной работе, записываясь в члены кооперативов и отучаясь от привычки продавать продукты на сторону».

Но на этой же почве, вследствие неорганизованности, происходит ря вреднейших недоразумений. Заимствуем из Свердловской «Крестьянско Газеты» от 28/VI заметку селькора Шукая под заглавием «Куда же он девалась»:

«Осенью 1924 года крестьяне с. Куяровского (Пышминского района Шадринского округа), нуждаясь в деньгах для уплаты сельхозналога, сда вали хлеб в кредитное товарищество по самым низким ценам — от 60 д 72 копеек за пуд пшеницы.

Камышловская контора Селькустсоюза обещала по сдаче хлеба выдат прибавочные деньги за хлеб, а также и за сливочное масло с маслозавода.

Много времени и расходов по хлопотам потратило Куяровское кредит ное товарищество, разыскивая эту прибавку. Но Камышловская контор Селькустсоюза все еще обещает».

Газеты пестрят подобными жалобами. Все это убеждает нас в необхо димости крайне осторожного подхода к вопросам комиссионной организаци сбыта. Начинать дело можно только после тщательнейшей технической под готовки и раз'яснения крестьянству смысла операции.

Остальные недостатки кооперации мы постараемся изобразить такж на конкретных примерах. Берем умышленно один из худших случаев—ко оператив «в темном и отсталом... татарском уголке в количестве 100 членов» Обследование этого кооператива обнаружило все кооперативные болезни в концентрированном и, пожалуй, еще в гипертрофированном виде. Цитируем по заметке «Кто направит» за подписью «Яд», помещенной в № 12 органа Саратовского Сельскосоюза «Голос Нижне-Волжского кооператора».

«В начале организации товарищества избранное правление работало до 25 марта с. г., когда было переизбрано состоявшимся общим собранием и было расширено до 7 человек. В правление прошли совершенно неработоспособные люди, которые в течение 2½-месячной работы проявили себя бесхозяйственными и неумелыми работниками.

Это подтверждается следующими фактами упущения товарищества в работе:

1. Вновь избранное правление приняло дела товарищества от б. правления с бездефицитным балансом, с прибылью, каковая уже прожита.

2. При раздаче семматериала члены правления взяли себе семматериала до 20 пуд., т.-е. больше, чем выдавалось членам. С членов удерживали задолженности семматериалом, который был продан в количестве более 160 пудов частным хлебным торговцам, чем уменьшена посевная площадь членов.

3. Имеющиеся зерноочистительные и другие машины прокатного пункта не использовались во время весенних полевых работ за назначением высоких цен за прокат. В настоящее время необходимо производить ремонт уборочных машин, но правление занято исключительно корневой заготовкой, а потому правление пустует.

4. К уплате задолженности с.-х. банку по двум ссудам, которым срок истек уже давно, правление никаких мер не приняло и тем теряет всякое доверие и авторитет перед с.-х. банком.

5. Допустило наложить арест ценным бумагам и товарам за непогашение задолженности ВТС; в настоящее время никаких мер к уплате не принимает и не думает.

6. Трактор используовывается неправильно; раньше вспахивается земля членов правления, а потом своим друзьям и уже после этого безлошадным членам, которые ждут очереди по целым месяцам. Керосину на десятину сжигается до 3½ пудов, последнее время были случаи, когда трактор стоял по 3—4 дня из-за несвоевременной доставки керосина.

7. Полученные конопляные семена из кузнецкого усельсоюза использованы не по назначению, часть их продана, при ревизии не хватило 20 пуд. семян, на что составлен акт.

8. Согласно заявления членов товарищества, ревкомиссией в амбаре правления обнаружена двухпудовая гиря меньше на 2 фунта, которой отпущено членам товарищества более 2.700 пудов семян.

9. Правлением никаких мер не принимается по взысканию просроченных ссуд и задолженности бывших приказчиков, выражающихся более 600 руб., и в отношении настоящего приказчика, у которого обнаружен недочет в 160 рублей.

10. Несмотря на то, что правление состоит из 7 человек, по целым неделям в правление никто не является, все находятся в лесу по заготовке корней, получая 1 р. 50 коп. суточных, ввиду чего посещающие члены товарищества по делам уходят из правления, не находя своих руководителей, и вдобавок частенько бывают пьяными, устраивают в канцелярии товарищества картежную игру и пьянство с преступным элементом.

Контрольный Совет, состоящий из 7 человек, никакого внимания не обращает на работу правления товарищества, за неимением времени и незнанием своих функций.

Местная ревкомиссия не в состоянии произвести точную ревизию, потому что нет правления и дела товарищества заперты, ключи находятся у пьянствующих счетоводов. Из усельхустпромсоюза в течение 3-х месяцев не было ни одного инструктора».

Как уже было отмечено, описанный кооператив исключительно плох. Его состояние свидетельствует, однако, не только против кооперативов, но и против местных органов партии и власти, допустивших развал работы, пьянство и расхищение средств. Судить по тому кооперативу обо всех, конечно, нельзя. Но тот или иной из описанных дефектов встречается в большинстве организаций.

В связи с последними решениями партии и III С'езда Советов на местах началось большое подтягивание местных работников, усиление внимания к кооперации и руководства. Образцы нового, более серьезного отношения к делу можно встретить почти в каждом районе.

В этом уже отражен проводимый курс на хозяйственную самодеятельность крестьянства.

Психоанализ как метод исследования художественной литературы.

И. Григорьев.

1.

Научное значение каждой теории следует расценивать не только по тем непосредственным результатам, которые достигаются ею в своей области, но и по многочисленности тех импульсов, которые вызываются теорией в областях соседних и отдаленных дисциплин. В этом отношении психоаналитическую теорию З. Фрейда, первоначально возникшую из потребностей медицины и затем вызвавшую ряд гипотез в психологии, социологии, истории культуры — следует признать весьма плодотворной. Для представителей поэтики (не формальной) совершенно очевидно, что теория Фрейда в некоторых частях своих может быть использована и для литературоведения. Правда, те попытки применения психоаналитического метода к изучению явлений литературного искусства, которые имели место, напр., в работах проф. Ермакова, способны только компрометировать этот метод и надолго отбить охоту прибегать к нему; но это произошло отчасти от случайных обстоятельств научных качеств исследователей, отчасти от обычной горячности первых адептов, которые всегда «plus royalistes, que le roi même».

Теперь, когда первоначальный пыл увлечения фрейдизмом несколько остыл, можно спокойнее и об'ективнее решить, какие стороны фрейдизма и как могут быть использованы литературоведением.

Метод психоанализа необходимо рассматривать в связи с системой Фрейда в целом, иначе в нем трудно ориентироваться и можно повторить те ошибки, которые уже сделаны. З. Фрейд в своих работах далеко ушел от первоначальных узко-медицинских наблюдений над сексуально-патологическими явлениями и, как ум большого теоретического размаха, подошел к последним широчайшим обобщениям. Правда, теперь, когда здание системы Фрейда подходит под купола, оно много теряет в своей оригинальности, не так блестяще и неожиданно, как первоначальные части — теория ошибок, сновидений, остроумия: многое вызывает в памяти величественные метафизические системы Платона, Шопенгауэра и др., но зато в системе фрейдизма отдель-

ные стороны становятся понятнее, и легче решить, что может быть использовано для целей литературоведения.

Таким образом решению задачи, указанной в теме данной статьи, необходимо предпослать хотя бы коротенькое изложение системы Фрейда. Ее, когда она уже построена, удобнее излагать, начиная с наиболее широких обобщений, сообщенных в книгах Фрейда: «Я и Оно», «Психология масс и анализ человеческого Я», «Тотем и табу».

2.

По мнению Фрейда, в основе человеческой психики лежат два первоначальных, дальше неразложимых, влечения: сексуальное влечение и влечение к смерти [1]). Они во всем противоположны — любовь и ненависть: первая организует, об'единяет, ведет к продолжению жизни; вторая — раз'единяет, разрушает, ведет к уничтожению жизни. Осторожный Фрейд не говорит прямо, но близко подходит к утверждению, что и материально-биологические силы притяжения и отталкивания суть проявления влечений любви и ненависти. «Каким образом влечения того и другого рода, — говорит Фрейд (стр. 40 «Я и Оно»), — соединяются друг с другом, смешиваются и сплавляются — остается пока непредставимым; но что смешение происходит постоянно и в большом масштабе, без такой гипотезы нам по ходу наших мыслей не обойтись. Вследствие соединения одноклеточных элементарных организмов в многоклеточные живые существа удается нейтрализовать влечение к смерти отдельной клеточки и с помощью особого органа отвлечь разрушительные побуждения во внешний мир. Этот орган — мускулатура, и влечение к смерти проявляется, таким образом, — вероятно, впрочем, лишь частично — как инстинкт разрушения, направленный против внешнего мира и других живых существ».

Представляется соблазнительным этот дуализм — сексуального и разрушительного — влечения свести к монизму эроса: при чем в этом случае инстинкт разрушения пришлось бы определить отрицательно, как удовлетворенное эротическое стремление. В самом деле, на это предположение подталкивает и умирает некоторых видов животных при размножении и состояние человека после полового акта, похожее на умирание. Но Фрейд не находит возможным сделать этот вывод, образно подчеркивая только то обстоятельство, что весь шум жизни поднимается неудовлетворенным эросом. Все остальные чувства человека — нежность, родительские чувства, дружба, ненависть и т. д. — представляют собой самые разнообразные виды транспонирования (переложения), сублимирования (переработки) упомянутых первоначальных и неразложимых влечений — любви и ненависти. Фрейд подчеркивает, что таким образом исходное положение его системы

[1]) В текущей журнальной литературе несколько раз ставился вопрос о том, насколько психоанализ совместим с марксистской теорией: при решении этого вопроса не следует забывать исходного положения фрейдизма.

сходно с платоновским учением об эросе: поражает только непривычного читателя медицинская терминология, кажущаяся буржуа скабрезной дразнящая его.

Заложенное в глубине человеческой личности эротическое влечение стихийно, слепо, неоформлено, во всем видит только хворост для своего огня Эту стихию Фрейд называет безлично «оно»: опять было бы соблазнительно признать, по старым философским образцам, безличное эротическое влечение общим единым началом для всех людей, разбивающимся на индивидуальные ручейки, но Фрейд, если не ошибаемся, обходит решением вопрос.

Эротическая стихия, «оно», направляясь изнутри к миру, дифференцирует (выделяет) из себя «Я — сознание», посредника собою и внешним миром. «Я — сознание», в противоположность зрячее, т.-е. значит, что для «оно» можно и чего нельзя. «Я — сознание» — чувство реальности, обуздывающее «оно», служащее как бы сложной плотиной между «оно» и внешним миром. Фрейд остроумно сравнивает «я» с седоком, который управляет буйной лошадью; но было бы иллюзией думать, что этот седок направляет лошадь, куда хочет: на самом деле происходит обратное - лошадь влечет за собою всадника, и всаднику только кажется, что он едет по своему усмотрению; в действительности же на его долю выпадает только следить за тем, как бы стихийное слепое «оно» не разбилось в своем бешеном галопе при столкновении с внешним миром.

Как же выполняет «Я — сознание» свои функции по обузданию Ответ на этот вопрос позволяет нам вплотную подойти к проблеме архитектоники личности так, как ее мыслит Фрейд. «Я — сознание» вытесняет в область бессознательного биологически опасные представления (влечения)[1] и старается заменить их другими. Таким образом получается следующая архитектоника личности: стихийное «оно», «Я — сознание» — посредник между «оно» и внешним миром, — и система бессознательных вытесненных представлений. Последняя (система вытесненных представлений), определенным образом сконструированная, и выполняет функцию обуздания «оно»: запрещает «оно» то или другое, отводит его влечения в безопасное русло. Эту систему вытесненных представлений, являющуюся вместе с тем системой запрещений, Фрейд называет, по причинам отчасти уже сейчас понятным, «Я — идеалом», совестью, долгом. При чем Фрейд подчеркивает то колоссальное значение, которое имеют при построении «Я — идеала» социальные элементы: железная традиционность норм нравственности и права. Фрейд не говорит об этом, но можно было бы, на основании приводимого им материала, систему «Я — идеала» рассматривать отчасти, как систему родовой памяти: система сексуальных запрещений передается из поколения в поколение. Как показывает историко-культурное исследование Фрейда — «Тотем и табу» — племена, находящиеся на самых первых стадиях культурного развития, знают уже крайне

[1]) Для Фрейда во всяком представлении центральной и существенной частью его является влечение. В этом отношении он существенно расходится с интеллектуалистической школой в психологии, для которой в представлении самой ценной его частью является элемент познавательный.

жесткую систему сексуальных запрещений. Недаром, система «я — идеала», совесть иначе, переживается, как безличная, внешняя стихия.

Присмотримся теперь к содержанию отношений между «оно», «Я — сознанием» и «Я — идеалом».

Сексуальное влечение в первые моменты внеутробной жизни ребенка направляется на него самого: ребенок сам является об'ектом своих сексуальных влечений (автоэротизм). Этот «нарцизм» [1]), как называет его Фрейд, выражается в сексуальном отношении ребенка к своему телу, по-разному выражающемуся. Обычно в этот период сексуальное чувство связано с актами дефекации (физиологические отправления). Замечено, что дети искусственно задерживают выделения для того, чтобы потом острее испытать сексуальные чувства. Кроме того, к выделениям своим дети относятся как к чему-то близкому, как к части своего тела. Ясно, что такие влечения детей встречают обычно решительное сопротивление со стороны окружающей среды: из таких столкновений уже в этот период складывается система «Я — идеала», в самых разнообразных формах оказывающая сильнейшее влияние в последующие годы на поведение человека. Фрейд строит цельную характерологию, в которой черты упрямства, скупости, аккуратности, распущенности, мотовства и т. д. об'ясняются тем или иным отношением человека к процессам дефекации в детском периоде (См. З. Фрейд, «Психология и учение о характерах». Гос. Изд. 1924 г.).

В дальнейший период сексуальное чувство ребенка направляется на мать, если ребенок мужеского пола, или отца, если ребенок — девочка [2]). При чем, отец (мать) рассматривается, как соперник, с известной дозой недоброжелательности или просто враждебности (Эдипов-комплекс) [3]). Но отношения к отцу не просто враждебны: эта враждебность сменяется нежностью либо существует одновременно с ней; отношения ребенка к отцу амбивалентны, выявляясь то той, то другой стороной

Как только возникает «Эдипов-комплекс» — система «Я — идеала» начинает свою работу по вытеснению сексуальных чувств к матери и враждебности к отцу. Это вытеснение производится самыми разнообразными приемами. Наиболее нормальным представляется тот, при котором заторможенное сексуальное влечение направляется на постороннюю женщину, которая всегда бессознательно замещает мать, но без препятствий к сексуальной цели. Что касается отца, то враждебная установка по отношению к нему преодолевается чувством гордости за отца, преклонением пред его могуществом ребенок идентифицирует (отождествляет) себя с отцом. Он и ранее был склонен заменить матери отца, но теперь сексуальное влечение исключается.

---

[1]) От мифической легенды о Нарцисе, который влюбился в свое отражение в реке.

[2]) В дальнейшем для удобства и во избежание лишних повторений мы будем говорить о м а л ь ч и к е ребенке только.

[3]) От греческого мифа, в котором Эдип убивает своего отца и женится на своей матери. См. трагедию Софокла «Эдип-царь».

В случаях осложнения сексуальное влечение может искать самых разнообразных путей: нарцизма, гомосексуализма [1]) и т. д. Было бы громоздко вслед за Фрейдом повторять все сложнейшие и запутаннейшие приемы замещения «Эдипова-комплекса». Достаточно отметить, что, по мнению Фрейда, вся последующая сексуальная жизнь человека строится по образу «Эдипова-комплекса».

При невозможности найти нормальное разрешение «Эдипова-комплекса» возникает ряд неврозов, так же самых разнообразных: начиная от разного рода фобий (страхов) и кончая садизмом и мазохизмом. При неврозах у больного обычно появляется серия симптомов (некоторых действий), причина и смысл которых тщательно скрыты. Попытки врачей выяснить причину симптомов путем расспросов самих больных встречаются с препятствием: больные всячески, правда бессознательно, мешают добраться до истинной причины. Расспросы больного, анализ всплывающих в его сознании представлений (психоанализ) приводит в конце концов к источнику болезненных симптомов — «Эдипову-комплексу». Теперь, когда больной сам знает причину болезненных симптомов, он, обычно, освобождается от них: знание действует катартически (очищающе).

В трудных, плохо поддающихся лечению случаях неврозов, проистекающих из неразрешенного нормально «Эдипова-комплекса», «Я — идеал» — или совесть — преследует человека, мучает его (угрызения совести), приводит, как уже было сказано, к ряду фобий, к меланхолии или, как бы изнеможденное само в борьбе, сливается с «Я — сознанием, и то, ликующее освобожденное от запретов, впадает в манию влечения.

Сексуальная точка зрения последовательно проводится Фрейдом и на общественные и на космологически-религиозные отношения человека. Такие организации, как войско и церковь, цементируются сексуальными чувствами входящих в эти организации единиц к царю, главнокомандующему (и ко всякому начальнику вообще) и ко Христу. Отношения к царю, начальнику суть сублимированные отношения к отцу, то любовно-почтительные, то ненавистные. То же касается и «отца небесного»: отсюда двоякое отношение к нему — религиозное и атеистическое, подобно амбивалентным чувствам к отцу. «Церковь, — говорит Фрейд, — отличается демократизмом именно потому, что перед Христом все равны, все пользуются в одинаковой мере его любовью. Не без глубокого основания однородность христианской общины сопоставляется с семьей, и верующие называют себя братьями во Христе, т.-е. братьями по любви, уделяемой им Христом. Несомненно, что связь каждого индивида с Христом является и причиной их привязанности друг к другу. То же относится и к войску: главнокомандующий — это отец, одинаково любящий всех своих солдат, и в силу этого они об'единены друг с другом товарищеской привязанностью. Войско отличается по структуре от церкви тем, что оно состоит из ступеней таких масс. Каждый командир является как бы началь-

[1]) Так называется сексуальное влечение представителей какого-нибудь к своему же полу (иначе — педерастия и лесбийская любовь).

ником и отцом своей части, каждый унтер-офицер — своего взвода» (Психология масс», стр. 35).

Если влечение к отцу сублимируется (претворяется) в любовь к богу, царю и начальнику, то влечение к матери сублимируется в любовь к родине и — шире — к матери-земле.

3.

Подводя итоги конспективно изложенной фрейдовской теории, приходится отметить, что она включает в себя ряд неравноценных моментов: одни представляются плодотворными и достаточно обоснованными гипотезами, другие менее плодотворны и менее обоснованы. К плодотворным гипотезам я отношу фрейдовскую гипотезу динамического бессознательного, с ее индивидуальными и социальными функциями; ко вторым — собственно сексуальную теорию и главным образом гипотезу «Эдипова-комплекса». К счастью, эти стороны теории Фрейда не связаны друг с другом неразрывно: настолько, что теорию динамического бессознательного можно излагать, совершенно не касаясь проблем специфически сексуальных, как это делает и Фрейд, излагая теорию ошибочных действий, остроумия и, отчасти, сновидений. Резюмируя громадный материал, предложенный Фрейдом, мы также сформулируем эти части фрейдизма отдельно, чтобы выделить то, более или менее бесспорное, что у Фрейда имеется и что может быть использовано литературоведением теперь же.

Вытесненные представления, как было указано, образуют систему бессознательного. Содержание этого понятия у Фрейда совершенно иное, чем в старой психологии. Старая психология либо совершенно отрицала понятие «бессознательного», как contradictio in objecto (противоречивое понятие), либо чисто словесно обозначало им некоторый X (неизвестное) в явлениях сознания: именно, старая психология говорила о з а б ы т ы х представлениях, что они до своего воспроизведения хранятся в бессознательном; таким образом в этом случае бессознательное мыслилось чем-то вроде ящика, в котором до поры до времени складывались представления.

По Фрейду — вытесненные представления не лежат бездеятельными; они организуются в некоторую систему, которая динамична, пружинит, обладает силой: толкать человека на одни поступки и удерживать от других. Бессознательные представления сплошь и рядом врываются в сознание, правда, сублимированные, искаженные, как бы переведенные на другой язык, транспонированные в символические значки, но при известном опыте мы всегда можем за маской открыть подлинное лицо. С помощью особой операции, называемой Фрейдом психоанализом, мы можем добраться до самых глубин бессознательного, самые глубокие слои его мы можем поднять в сферу сознания; с помощью разбора тех представлений, которые всплывают в сознании человека по поводу какого-нибудь непонятного симптома, мы добираемся до значения его, до того бессознательного намерения, которое в симптоме выражено. Если, напр., академик в своей речи говорит, что он «н е с к л о н е н» (вместо неспособен) оценить научные заслуги своего предшественника, то психоана-

лиз дает возможность установить подлинные чувства говорящего к своему предшественнику. Аналогичными примерами заполнены трактаты Фрейда об ошибочных действиях, остроумии и сновидениях. То обстоятельство, что бессознательное в той или иной форме вменивается в жизнь сознания, обнаруживается в нем и, следовательно, подвержено наблюдению — позволяет быть понятию бессознательного понятием позитивным, а не метафизическим.

В динамическом бессознательном, как уже было указано, большую роль играют социальные и родовые моменты. Система религии, нравственности (совести) и т. п., входящие составными частями в «Я — идеал», являются такими социально-родовыми моментами динамического бессознательного. Отсюда об'ективный характер моральных и религиозных представлений, действующих принудительно, как внешняя сила. В установлении позитивного характера моральных и религиозных ценностей, в развенчании того мистического ореола, которым эти ценности окружались и окружаются, в анализе техники, с помощью которой эти ценности создаются — большая заслуга фрейдизма, и кое-чему здесь марксистам можно и следует поучиться. Марксистская теория обладает бесспорно правильным положением, по которому идеология (искусство, религия, нравственность и т. п.) рассматривается, как надстройка над базисом производственно-экономических отношений; но большие затруднения в некоторых случаях представляет — показать технику этой надстройки. Правда, фрейдовская теория при истолковании идеологических надстроек исходит из другого базиса — сексуального, но думается, что приемы истолкования могут быть использованы и марксистской теорией.

Что касается сексуальных моментов фрейдовской теории, то они, как было сказано, и более спорны и менее плодотворны, за исключением психиатрии, значение для которой фрейдовской теории, повидимому, большое, мы не беремся оценить. Основной порок сексуальной части фрейдовской теории заключается в некоторой недоговоренности ее. Признавая основным изначальным элементом жизни человека сексуальное влечение, Фрейд только вскользь указывает, что на-ряду с ним имеются иные могучие стимулы поведения, как, напр., голод, при чем взаимоотношений этих иных стимулов с сексуальным влечением не устанавливает. Но все наблюдаемые факты жизни организуют односторонне, сводят их исключительно к сексуальному влечению, игнорируя другие стимулы поведения человека, как будто бы их вовсе и не было. Это было бы методически законно лишь в том случае, если бы Фрейд совершенно ясно и недвусмысленно заявил, что все стимулы человеческого поведения нацело и без остатка могут быть сведены к сексуальному влечению: в противном случае односторонняя организация фактов под углом сексуального влечения, при искусном проведении производящая впечатление гипнотически убеждающее, тем не менее методологически незаконна. Это особенно касается ядра сексуальной истории — «Эдипова-комплекса», применение которого в литературоведении дало наиболее отрицательные и монотонные результаты. В конечном счете оказывается, что все писатели питали сексуальные чувства к матери и нелюбовь к отцу и все творчество их представляет

собою различное варьирование этого лейтмотива. Насколько убедительно это доказывается, к каким ухищрениям и вывертам приходится прибегать при этом исследователю, мы увидим из разбора одной из талантливейших работ этого рода — Нейфельда о Достоевском [1]).

4.

Что может дать литературоведению фрейдовская теория динамического бессознательного?

Она может внести ясность в запутаннейшие вопросы психологии творческого процесса, в вопросы взаимоотношения между художником и созданным им произведением, между произведением и действительностью; она позволяет установить органический взгляд на совокупность произведений художника, как на некоторое единство.

Творческий акт — поведение художника. Задача творческого акта — не отобразить действительность и не познать ее пассивно, но выразить явное, а чаще скрытое; «бессознательное» в фрейдовском смысле, отношение художника к жизни, его намерения. Это поведение художника — особой природы: художник свое отношение к жизни выражает не всегда прямо и непосредственно, но транспонирует его в художественные знаки — образы, символы, ритм и т. д. Формальная теория «приема» есть в сущности теория этих знаков. И чем искуснее художник, тем глубже запрятаны в художественных знаках его намерения, тем труднее добраться до них, подобно тому как в символах сложного сна трудно разгадать иногда дневное бессознательное намерение. Теория реалистического искусства, как искусства, бесстрастно познающего действительность, отражающая его, теория, связанная, вероятно, с интеллектуалистической теорией представлений, должна пасть вместе с падением интеллектуалистической психологии. Действительность, поскольку она отражена в сюжете, образах и т. д., — только **п р и е м** для обнаружения намерений художника. Это не значит, что действительность **н е о т р а ж а е т с я** в художественном произведении: она не может не отражаться, поскольку намерения художника, его поведение развертываются в действительности. Но **ц е н т р т я ж е с т и — н е в о т р а ж е н и и**: если мы будем искать в художественном произведении только отражение действительности, мы не поймем правильно взаимоотношений между художником и его произведением. Человек с острым вниманием, художник проглатывает жизненные впечатления, но не все: уж в стадии восприятия художник, вероятно, производит отбор сообразно своим основным влечениям; следует отказаться от представления о художнике, как о человеке, который сидит на окошке и наблюдает все под-ряд. Кроме того, все воспринятое художником подвергается в области его динамического бессознательного тщательной обработке: в этой обработке весь воспринятый материал используется художником, как

[1]) И о л а н Н е й ф е л ь д. Достоевский. Под ред. проф. З. Фрейда. Изд. «Петроград». Л. 1925 г.

материал для транспонирования своего намерения. Подобно тому, как в символы сна врывается вытесненное намерение, так и в знак художественного произведения, но более искусно, транспонировано намерение художника. Неоднократно отмечался катартический характер искусства: порожденное ущербностью жизни, неудовлетворенным влечением, часто неясным самому художнику, оно так или иначе разрешает жизненную задачу. Тем обстоятельством, что процесс транспонирования производится в области бессознательного, об'ясняются и те черты творчества — спонтанности (самопроизвольности) и неожиданности, — которые засвидетельствованы многими художниками. Исследования Фрейда позволяют нам скинуть мистические покрывала, которые издавна украшали этот процесс, и так же позитивно понимать его, как понимаем мы процесс транспонирования дневного намерения в знаках сна.

Таким образом каждое художественное произведение подобно загадочной картинке, в которой с помощью ряда приемов скрыто поведение человека. То же можно сказать и о ряде художественных произведений: он ограничен; достаточно найти шифр для понимания его, чтобы столь отличные на первый взгляд друг от друга произведения обнаружились, как звенья одной цепи.

Воспринимающий художественное произведение подобен толкователю сна, который за символами сна ищет неосознанных намерений. Или по-другому — художественное произведение подобно группе непонятных симптомов: воспринимающий должен их истолковать. Фрейд, как мы говорили, добирается до значения симптомов путем психоанализа. Необходимо подчеркнуть, что психоанализ в точном смысле слова совершенно неприменим к истолкованию художественного произведения, когда мы сплошь и рядом не имеем автора в живых или не имеем возможности его расспросить. О психоанализе в применении к истолкованию художественного произведения можно говорить лишь условно, как о сходном методе. В этом случае, наводящие вопросы и всплывающие представления должны заменить в совокупности — сопоставление одних произведений художника с другими, сопоставление их с его мемуарами, дневниками, письмами, публицистическими и научными работами, если они имеются, с воспоминаниями о художнике его близких и знающих его лиц и т. д. Весь этот, пусть большой, материал все же не может заменить прямых показаний подвергаемого психоанализу человека: поэтому так тщательны должны быть наши изыскания материалов, и так осторожны во многих случаях гипотетические выводы. Но зато, когда за сложной системой художественных знаков мы находим жизненное поведение художника, мы находим самое главное. Можно, конечно, рассматривать художественное произведение и как систему отражений действительности, но в этом случае мы получаем от него значительно меньше, чем оно может дать, не говоря уже о том, что, как было установлено, отражение действительности никогда не бывает полным, и в самом характере отбора уже заключено поведение художника. Отсюда вывод — каждое художественное произведение и еще больше совокупность их выражают систему идеологии

художника. Художник всегда идеолог и никогда — незаинтересованный, бесстрастный наблюдатель. Вещи казалось бы ультра-об'ективные и реальные и не имеющие по сюжету и другим элементам никакого отношения к художнику, на самом деле являются особой формой жизненных суждений, транспонированных в художественные знаки.

5.

Таким образом теория Фрейда дает нам возможность искать в художественном произведении поведения его творца. Критик, следовательно, должен уметь произвести обратную транспонировку от художественных символов к поведению художника. Научная осторожность требует при этом допускать возможно меньше предпосылок. Если мы допустим, что художественное произведение представляет собою систему значков какого-то поведения, то вопрос — *какое это поведение* — должен решаться путем тщательного исследования, путем сопоставления самых разнообразных материалов. Имея в виду особенно, что при исследовании художественного произведения неприменим психоанализ в точном смысле этого слова, мы не имеем права делать какие-нибудь догматические предпосылки относительно природы поведения художника: здесь особенно неуместно интуитивное предрешение ответа. К сожалению, немногочисленные, правда, исследования литературных произведений по методу психоанализа грешат отсутствием этой необходимой осторожности. Все они, в согласии с основной мыслью Фрейда, наперед убеждены, что загадочная художественная картинка расшифровывается однозначным способом: а именно — за знаками художественного произведения скрывается *сексуальное* поведение художника, а не какое-нибудь иное. Кроме того, это сексуальное поведение складывается по типу «Эдипова-комплекса»: таким образом не только данное произведение художника, но и весь цикл его произведений, представляет собою переложение самых ухищренных вариантов «Эдипова-комплекса», т.-е. сексуальных отношений художника к своим родителям.

Отсюда другая предпосылка, обычная у фрейдистов-литературоведов: образ художественного произведения играет роль сексуального символа. Мы уже говорили, что образ в художественном произведении играет ту же символическую роль, что и образ в сновидении; но фрейдисты утверждают, что метафорический характер образа позволяет спрятать в него *сексуальное* вытесненное стремление. Сексуальная символика образа тщательно разработана Фрейдом. Он приводит ряд вещей и действий, которые благодаря метафорическим признакам близко, а иногда очень отдаленно, напоминают либо половые органы—мужские или женские, либо акт совокупления и т. д. [1]).

При чем, исследуя сексуальную метафоричность образа, Фрейд обращается иногда для подкрепления своей позиции к народному коллективному мышлению, бессознательно выработавшему сексуальные метафоры и широко

---

[1]) «Введение в психоанализ», т. II. Гиз. 1924 г.

ими пользующемуся. Так, напр., метафорически отождествлялись в народном сознании «золото» и «кало». К этому можно было бы присоединить из народной поэзии пример метафоричности «змеи» как мужского начала в половом акте [1]).

По саду, саду зеленому, ходила гуляла
Молода княжна Марфа Всеславьевна,
Она с камени скочила на лютого на змея.
Обвивается лютой змей около чобота зелен сафьян
Около чулочика шелкова, хоботом бьет по белу стегну
А втапоры княгина понес понесла,
А понос понесла и дите родила.

(«Волх Всеславьич».)

С большим сомнением к такому исследовательскому приему заставляет отнестись то обстоятельство, что не всякое ведь слово имеет сексуальное значение — по крайней мере, в некоторых случаях слова обозначают предметы, действия, качества и т. д., которые прямо в них выражены; а между тем особенно ретивые психоаналитики типа проф. Ермакова готовы утверждать, что чуть ли не каждый термин художественного произведения сексуально символичен. При известной установке ожидания, при известной направленности мышления, при ésprit mal tourné какой же предмет или действие не сможет как-нибудь отдаленно напомнить либо половые органы, либо половой акт? Если наперед утверждать, что всякий символ художественного произведения обязательно сексуальный, то в шинели, как это делает проф. Ермаков, можно увидеть символ женского полового органа. Читатель, встречающийся с такого рода утверждениями, может так опешить, что не сумеет даже сказать: «а ведь, может быть, сапог и шинель просто предметы одежды»...

Кстати об этом представителе русского психоанализа. Его психоаналитические исследования творчества Пушкина и Гоголя создали ему неважную прессу. Отзывы об этих книгах были исключительно резкими, и в этой исключительности повинен сам проф. Ермаков: некоторые очень ценные крупицы его исследования облеплены, подобно сладкой начинке, таким количеством горького текста сексуальной безвкусицы, что, прежде чем доберешься до этих крупиц, совершенно расстраиваешь восприятие неудобоваримым тестом. Эта безвкусица особенно проявляется в истолковании символики, о которой мы сейчас говорили. Так как у нас нет сейчас под руками книги проф. Ермакова о Пушкине (где имеются такие перлы, как этимологическое производство александрийского стиха от имени поэта Александра, как указание на то, что имя героини «Маврушки» напоминает о мавританском происхождении поэта и т. д.), то мы приведем некоторые толкования из книги о Гоголе. В «Повести о том, как поссорились Ив. Ив. с Ив. Ник.» ружье — причина их ссор — конечно, символ мужского полового органа — фаллуса,

[1]) Из неопубликованной работы А. Гербстмана: «Опыт психоанализа творчества Лермонтова».

который у Ив. Ник. бездействует (т. к. ружье тоже бездействует). Но еще лучше о «Шинели». Башмачкин и «Значительное лицо» теряет свои шинели в состоянии эротического возбуждения и половых стремлений, при чем это половое стремление Акакия Акакиевича и «Значительного лица» усматривается в коротеньких фразах о том, что Ак. Акакиевичу, приобревшему шинель, хочется приударить за какой-то дамой, а «Значительное лицо» собирается ехать к Каролине Ивановне. В другом месте про Башмачкина и Петрушку из «Мертвых душ» говорится, что оба они с интересом относились к словам «не потому, чтобы их интересовали смысл или значение их, а особенность начертания, длина их и т. п. признаки (анальное — длинные или короткие)» [1]). Фамилию штаб-офицерши Подточиной из «Носа» проф. Ермаков этимологически производит от глагола «подточить»: она подточила нос Ковалева, при чем под носом подразумевается опять же половой орган.

Чтобы дать полное представление о той произвольности, с которой строятся истолкования художественного образа, следовало бы привести книгу проф. Ермакова целиком. Только человек, преодолевший всю эту безвкусицу, может получить представление о всей чудовищности произвола, о всех натяжках, которые допускаются для сексуального истолкования символа. Проф. Ермаков, слово в слово переводящий произведение на сексуальное значение, не хочет видеть, что любой символ, сексуально толкуемый им, допускает и н ы е толкования — при чем: ни свое толкование не обосновывает достаточно, ни иные возможные толкования не опровергает. Мы беремся, по методу проф. Ермакова, «с листа» истолковать любое произведение в сексуальном смысле. Эта работа проф. Ермакова должна отрезвляюще подействовать на ч[...]мерно увлекающихся фрейдистов.

Как было сказано, с точки зрения фрейдизма, сексуальные символы в художественном произведении облекают «Эдипов-комплекс»: все произведения художника являются различными вариациями на эту основную тему. В своем чистом виде «Эдипов-комплекс» представляет собою сексуальное влечение к матери, связанное с враждебным чувством к отцу, как к сопернику. Не говоря уже о том, что эта точка зрения, как уже отмечалось нами, либо молчаливо допускает, что сексуальное чувство является е д и н с т в е н н ы м первоначальным влечением, на которое разлагаются все остальные влечения, либо и г н о р и р у е т все остальные влечения, — самая формулировка «Эдипова-комплекса» осложняется такими элементами, которые заставляют с подозрительностью относиться ко всему построению. Осложняется формулировка «Эдипова-комплекса» понятием идентификации. Оказывается, что отношения ребенка к отцу [2]) не просто враждебные, но амбивалентные: враждебно-любовные. Отец для ребенка не только соперник, но и идеал силы и могущества: ребенок хочет быть таким, как отец, идентифицирует себя с ним. При сексуальном влечении к матери ребенок индентифицирует себя с отцом вполне. В дальнейшей жизни, в случае если человек находит нормальный спо-

[1]) Стр. 181 книги о Гоголе.

[2]) В рассуждениях мы все время имеем в виду сына: когда ребенок — дочь, необходимо произвести соответствующую перестановку.

ооб удовлетворении влечения с посторонней женщиной, на которую он переносит черты матери, нет оснований для враждебных чувств к отцу: так что отношения к отцу не обязательно враждебны. Кроме того, возможен и другой способ отвода враждебных чувств к отцу даже в том случае, если сексуальное влечение к матери не удовлетворяется нормально с посторонней женщиной: мужчина может идентифицироваться с матерью и удовлетвориться «нарцизмом» (см. выше), либо в гомосексуальных сношениях (с человеком своего пола) стать на место матери. Вот эта многочисленность осложняющих «Эдипов-комплекс» моментов, из которых мы привели далеко не все, заставляет подозрительно относиться к самому построению: в самом деле, при этом условии любые отношения к родителям могут быть истолкованы в духе «Эдипова-комплекса».

И все доказательства «Эдипова комплекса» в применении к литературоведению страдают большими натяжками: большинство аргументов для об'яснения явлений в духе «Эдипова-комплекса» легко может быть заменено другими.

Для иллюстрации возьмем психоаналитическое исследование И. Нейфельда о Достоевском [1]) по следующим соображениям: а) исследование это наиболее яркое и талантливое из исследований такого рода, б) исследование это издано под редакцией самого З. Фрейда и, таким образом, до известной степени «авторизовано»: если со стороны проф. Фрейда не имеется никаких оговорок, то, повидимому, все положения книги И. Нейфельда им сполна разделяются. Кроме того, для исследования избран писатель, в жизни и творчестве которого сексуальный момент, повидимому, играл немаловажное значение: и все-таки трудно найти у Достоевского то, что хотят найти психоаналитики.

Все противоречия, все загадки жизни и творчества Достоевского И. Нейфельд об'ясняет, исходя из «Эдипова-комплекса»: «вечный Эдип жил в этом человеке и создал эти произведения; это был человек, никогда не преодолевший свого комплекса Эдипа» (стр. 12). Прямых свидетельств со стороны самого Достоевского, или со стороны знавших его, о комплексе Эдипа, как сексуальном комплексе, не приводится. Мы понимаем, что и трудно найти такого сорта признания. Но те соображения, которые приводятся вместо прямых указаний, только с большими натяжками можно признать за доказательства «Эдипова-комплекса».

Отец писателя, вспыльчивый, ворчливый, педантичный, мелочный, болезненно скупой, производил двоякое впечатление на Федора Михайловича Достоевского: отталкивающее, благодаря упомянутым чертам характера, и притягивающее, благодаря тому, что отец был и первым учителем мальчика (стр. 13, 14, 15)).

Такая амбивалентность совсем не требует сексуального об'яснения: мать писателя здесь совершенно не при чем. Если и были у писателя осно-

[1]) Иолан Нейфельд. Достоевский. Психоаналитический очерк под редакцией проф. З. Фрейда. Перевод с немецкого Я. Друскина. Изд. «Петроград».

вания питать к кому-либо ревность, то скорее к старшему брату Михаилу, которого, единственного из всех детей, мать кормила сама (а не кормилица).

Для характеристики отношения писателя к матери И. Нейфельдом приводится следующий пример (стр. 20): после смерти матери, во время поездки в церковь, Достоевский вдруг потерял способность речи. «Для об'яснения может быть приведена хрипота пациентки Фрейда, Доры. Как и Дора, может быть, наш писатель ни с кем не хотел больше говорить, после смерти единственного человека, которого он любил и с кем не мог уж говорить».

Но факт смерти матери, вообще значительный в жизни человека, и трудно переживается, так что случай с Достоевским, если и об'яснять его чисто психологически, все же может быть об'яснен без привлечения сексуальных понятий.

Трагическая смерть отца Достоевского, убитого крепостными за зверское к ним отношение, произвела сильное впечатление на писателя, и есть предположение, что первый эпилептический припадок случился с писателем, когда он узнал об этой смерти (стр. 21).

Это, конечно, вполне вероятно. Но вот случай, рассказываемый Григоровичем и комментируемый И. Нейфельдом: «Григорович рассказывает, как они, гуляя раз вместе, случайно встретили похоронную процессию: едва увидев процессию, Достоевский хотел повернуть назад, но сейчас же с ним приключился особенно сильный припадок, от которого он едва оправился. Внезапно появившиеся для сознания бессознательные чувства ненависти и мести против отца были так сильны, что цензура сознания могла защищаться от них только при помощи глубокого обморока» (стр. 22).

Ход мысли И. Нейфельда в этом комментарии такой: Достоевский, ненавидевший при жизни отца и желавший втайне ему смерти, чувствует себя виновным в его смерти благодаря этому тайному желанию. Чувство виновности ярко оживает при виде похоронной процессии, напоминающей этот комплекс. Но не естественно ли другое об'яснение, по которому вид похоронной процессии ассоциативно вызвал в памяти Достоевского те чувства ужаса, которые он испытывал, узнав впервые о трагической гибели отца?

Ненормальности сексуальной жизни Достоевского в период до 40-летн.[1]) возраста Нейфельд также об'ясняет «Эдиповым-комплексом». Инфантильная инцестуозность (остатки детской любви к матери) мешала Достоевскому развить сексуальные чувства к посторонней женщине: на нее переносил Достоевский черты матери. Таким образом бессознательная зависимость от матери вызвала у Достоевского психическую импотенцию. Но на-ряду с этим рассказывают, и сам Достоевский это подтверждает, о разврате его в это же время: «Все эти Минночки, Кларочки и Марьяночки так похорошели, что трудно себе представить, но стоят страшно дорого. Тургенев и Белинский как следует выбранили меня за беспорядочную жизнь» (Из письма Фед. Мих. брату, стр. 24). Нейфельд видит здесь классический случай несовпадения

---

[1]) Дочь Ф. М. — Л. Достоевская говорит, что писатель до 40 л. не имел половых сношений.

у инцестуозно-связанных душевной и телесной любви: матери — душевная, к Минночкам — телесная.

Но и в этом случае могут быть приведены об'яснения независимо от «Эдипова-комплекса». В самом деле, ведь мы ничего не знаем, каковы физиологически были отношения Достоевского к Минночкам и т. д. — проявлял ли он в этих случаях ту потентность, которой ему нехватало в сношениях с обыкновенными женщинами. Следующие строки из «Записок из подполья», которые Нейфельд считает автобиографическими, заставляет подозревать, что и тут мы вряд ли имеем дело с физически-нормальными половыми отношениями: «и вдруг я погружался в т е м н ы й, п о д з е м н ы й, гаденький — не разврат, а р а з в р а т и ш к о»... и т. д. И еще — «вот я и пускался развратничать. Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доводившим в такие минуты до проклятия».

Импотенцию Достоевского не правильнее ли об'яснить в связи с его эпилепсией?

Об'яснение психологических мотивов участия Ф. М. Достоевского в кружке петрашевцев особенно насыщено натяжками. Амбивалентное отношение писателя к отцу, видите ли, развернулось в открытую ненависть к нему, и это подтолкнуло на вступление в общество, поставившее целью цареубийство, при чем во всем этом психическом процессе царь замещает отца, восстание против царя равносильно восстанию против отца (ср. народное: царь-батюшка, стр. 29 и 30). «Покушение на жизнь царя — это отцеубийство, на которое бессознательно толкнули писателя, с одной стороны, инцестуозная связанность, с другой — гнет, испытываемый им от отцовской скупости» (стр. 30, Нейфельд).

Если последовательно провести эту точку зрения, то неизбежно должно оказаться, что и другие члены кружка Петрашевского были приведены сюда «Эдиповым-комплексом». Это, конечно, легче, чем искать социологических об'яснений. Но где у Нейфельда имеются прямые указания на то, что задачей этого кружка и, в частности, Достоевского было цареубийство? Воспоминания, наприм., А. П. Милюкова совершенно определенно говорят, что уже в это время у Достоевского складывается мировоззрение славянофильского типа. Но, кроме того, разве история буржуазной интеллигенции дает мало примеров того, что ведется борьба с извращениями монархического принципа, при чем самый принцип не колеблется. Дальше: если сделать последовательные выводы из положений Фрейда и Нейфельда, то окажется, что все республиканцы вели свою борьбу с монархией под влиянием «Эдипова-комплекса», разрешавшегося крайней формой ненависти к отцу (стремление к убийству отца — свержение царя). Не имеем под рукой материалов об отношении революционеров к своим родителям, но думаем a priori, что, вероятно, можно найти немало случаев идиллических отношений. Но если даже, закрыв глаза, и согласиться с фрейдистским истолкованием источников революционных чувств, то дальше становится коварная проблема — почему же в одни эпохи «Эдипов-комплекс» разрешался революционно, а в другие нет: в другие эпохи

большинство вело себя, как примерные верноподданные, как примерные дети царя-отца? Антиисторическому фрейдизму не следует браться за исторические проблемы, а таковой, в сущности, является проблема петрашевского кружка.

Естественно, что все последующее поведение Достоевского после дела Петрашевского Нейфельд об'ясняет, как следствие раскаяния и искупление за преступное намерение. Легкое перенесение всех ужасов тюрьмы и каторги об'ясняется чувством облегчения ввиду получения возмездия за вину. «Хотя у него (Достоевского) и остался, — замечает Нейфельд, — на всю жизнь шок от смертного приговора, так театрально инсценированного, тем не менее, кроме отдельных замечаний в «Идиоте», об этом мало говорится» (Стр. 39).

Может быть, это и так, но ведь как раз то малое, что о смертной казни говорится — такой силы и значительности, что все принципиальные противники смертной казни приводили в виде решающего аргумента эти известные места из «Идиота».

Знаменитая борьба в Достоевском двух начал — религиозности и атеизма, на все лады склонявшаяся Мережковским, конечно, тоже выводится из амбивалентных чувств к отцу, который в системе религиозных взглядов заменен отцом небесным. Если бы религиозная идеология целиком могла быть сведена к сексуальным влечениям, то возможно, что «Эдипов-комплекс» представлялся бы вероятной формой сведения. Но сейчас фрейдистам необходимо посчитаться с историками культуры, в частности с марксистскими социологами, сводящими религиозную идеологию к иным началам.

Славянофильство Достоевского, по мнению Нейфельда, тоже результат «Эдипова-комплекса». Любовь к матери-родине замещает инцестуозное чувство к матери. «Страсть, которая к реальной матери была бы наказуема, может без всяких нареканий и укоров совести стать пламенной любовью к родине».

Интересно спросить по этому поводу, как же обстояло дело с западниками? Очевидно, у них «Эдипов-комплекс» разрешался иначе. Формула «Эдипова-комплекса» настолько гибка, что легко можно придумать что-нибудь подходящее и для них: идентификация с отцом, идентификация с матерью и т. д. Нелюбовь Достоевского к западникам об'ясняется так же просто: «В их лице он бессознательно ненавидит тех счастливцев, которые преодолели себя, отказались от инцестуозного желания, отделились от матери» (стр. 49). Труднее только об'яснить, почему определенная группа людей примыкала к славянофильству, другая же к западничеству, т. е. почему у одних «Эдипов-комплекс» разрешался так, а у других иначе? Не знаю, какой бы ответ дали представители психоанализа, между тем социология разрешает этот вопрос, исходя из анализа экономических предпосылок славянофильства и западничества.

Кроме этих основных натяжек, имеется ряд других, касающиеся более второстепенных сторон: но и они показательны. Так оказывается, что Достоевский унаследовал у отца эрогенность ротовой области (69 стр.). Эро-

генность ротовой области отца и братьев писателя доказывается тем, что они пили; у самого же писателя эротенность ротовой области выражалась в том, что он любил сладости, крепкий чай и черный кофе. Признаемся, мы до сих пор думали, что вино, чай и кофе употребляются для удовольствия желудка, а не рта. И по чему делать исключение для вина, чая и кофе: тогда и вкус к хорошему бифштексу, наприм., вероятно, тоже является показателем эрогенности ротовой области.

Запоры, на которые часто жаловался Достоевский и которые отразились на его характере, также анал'эротического происхождения. На характере Достоевского они отразились таким образом: «с явным удовольствием берет он аванс под свои произведения, но пишет их очень долго и никогда не кончает к условленному времени. Ему как будто тяжело расставаться с своими произведениями, которые уже готовы у него в голове, и этим часто приводит в отчаяние своих издателей» (стр. 66).

Следует оговориться, что анал'эротическое происхождение запора психоанализ об'ясняет стремлением детей искусственно задерживать кал, чтобы потом получить большее эротическое наслаждение, связанное с выделениями. Отсюда сублимация — у д е р ж а н и е произведений.

Но запор Достоевского может быть об'яснен и атонией кишек на почве малокровия, и связью с геморроем, который, кажется, не об'ясняется сексуально-психически. Условия жизни и питания в инженерном училище, а позже в тюрьме и на каторге, вполне могли вызвать тяжкие кишечные болезни в организме и посильнее, чем у Достоевского.

Мы не могли следить за всеми натяжками, имеющимися в книге Нейфельда: для этого пришлось бы составить комментарий ко всей книге. Но и то, что приведено здесь — показательно. Оно убеждает, что т а к о е пользование психоаналитическим методом — опасно. Оно грозит сделать литературные исследования монотонными, легковесно необоснованными: ибо, если наперед быть уверенным, что всякое литературное произведение лишь сублимация «Эдипова-комплекса», то при беспредельной гибкости этого построения, которое легко повернуть и вывернуть, как угодно, можно без всяких усилий в любом произведении в два приема обнаружить наличие «Эдипова-комплекса». Вместе с тем литературное исследование должно будет прекратиться.

Фрейдизм и искусство.

А. Воронский.

I. Теория снов-символов.

Теории психоанализа Фрейда наши ученые и публицисты уделяют за последнее время все больше и больше внимания. Об этом свидетельствует ряд работ Фрейда и его последователей, вновь переведенных на русский язык, оригинальные и компилятивные статьи, помещаемые в журналах, попытки соединить фрейдизм с марксизмом. Особое значение для всех, интересующихся областью искусства, представляет вопрос, в какой мере учение Фрейда может быть использовано и учтено для марксистского литературоведения. Вот почему надо приветствовать статью И. Григорьева «Психоанализ как метод исследования художественной литературы».

И. Григорьев, на наш взгляд, совершенно правильно отметил ошибки и крайности, допускаемые фрейдистами при анализе произведений искусства. Верно и то, что сугубыми произвольностями и натяжками грешат наши отечественные последователи Фрейда, доводя его метод в литературоведении подчас до явного абсурда. Беда, однако, в том, что сам Григорьев предлагает такое применение психоанализа в искусстве, которое вызывает очень законные сомнения в его целесообразности. Пытаясь соединить фрейдизм с марксизмом, Григорьев допустил ряд грубейших ошибок, весьма показательных и отнюдь не случайных для фрейдизма.

И. Григорьев полагает, что в литературоведении могут быть плодотворно использованы только некоторые стороны психоанализа. Плодотворной гипотезой представляется автору, главным образом, учение Фрейда о динамическом бессознательном. В отличие от психологов старых школ, Фрейд утверждает, что наше бессознательное ведет свою особую активную жизнь, прорываясь в сферу нашего сознания в искаженном виде. Данные нашего сознания являются как бы символами, особыми знаками огромного бессознательного комплекса чувств и стремлений, носящих в основе своей сексуальный характер. Путем сложного психоаналитического метода мы можем истолковать, раскрыть то подлинное, что скрывается за этими символическими знаками. Своеобразные задачи такой расшифровки встают и перед аналитиком художественных произведений. Отвергая сексуальную

теорию Фрейда, И. Григорьев находит, что учение о динамическом бессознательном наносит удар наивно-реалистическому пониманию искусства. Художник не стремится бесстрастно познать и изобразить действительность. Действительность, конечно, отражается художником в его произведении, но «центр тяжести» не в этом отражении, а в поведении, в намерениях художника. Намерения же художника, будучи в огромной степени бессознательными, прорываются в особых иероглифах — образах. «Подобно тому, как в символы сна врывается вытесненное намерение, так в знаках художественного произведения, но более искусно транспонировано намерение художника». Отсюда: «действительность, поскольку она отражена в сюжете, образах и т. д., только прием для обнаружений намерений художника». Нужно уметь толковать эти сны наяву, расшифровывать их темный и скрытый смысл. К этому сводится задача психоанализа в искусстве.

Сказанное вполне согласуется и вытекает из учения Фрейда. И. Григорьев только подчеркнул кое-что из того, что обычно у фрейдистов остается иногда затененным. По мнению Фрейда, особенность художника состоит в том, что подсознательные чувства раннего детства, носящие сексуальный характер, позднее перерабатываются им в образы-символы. Художник побеждает запретные чувства, переводя их на особый язык своей фантазии и воображения. Переживая их идеально, скрывая их в образах, в продуктах своего творчества, он избавляет и себя и других от того, чтобы пережить, испытать их в действительной жизни. Действительность, по Фрейду, в художественных произведениях на самом деле является только приемом, символом. Теория снов-символов логически вытекает из всей системы Фрейда. Тому, кто усумнился бы в этом, мы очень рекомендуем внимательно присмотреться к ядру учения Фрейда об «Я» и «оно». «Я» — сознание, «оно» — бессознательная стихия. «Я» — сознание зрячее, «оно» — бессознательное, слепое. «Я — сознание» обуздывает «оно», но как? «Я — сознание» является лишь агентом «оно», творящим волю своего господина. Сознание — раб бессознательного, сознание предупреждает бессознательное об опасности, сдерживает его, но целиком от него зависит. Сознание воплощает намерения бессознательного. В учении Фрейда об «Я» и «оно» таким образом устанавливается лишь одна зависимость сознания от «оно — бессознательного». Фрейд упоминает и о внешней среде, но нигде им не усматривается, не анализируется зависимость сознания от этой среды. И не есть ли «оно — бессознательное» также и внешний мир. Фрейд обходит этот вопрос, но очень показательно, что бессознательное именуется «оно». Так называется об'ект. Раз сознание связано только с «оно», с бессознательным, и не связано со средой, теория снов-символов, где данные сознания символизируют одни лишь намерения бессознательной стихии, напрашивается сама собой.

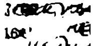
Возвращаясь к Григорьеву, заметим прежде всего, что понимание реалистического искусства, бесстрастно отражающего действительность, им слишком упрощено. Ни Белинский, ни Чернышевский, ни Плеханов никогда

не трактовали реализм в искусстве в качестве пассивного отражения жизни. Они всегда твердо помнили, что художник, мысля образами, чувствует, страдает и блаженствует. Художники-реалисты — Толстой, Бальзак, Флобер и даже Золя — тоже не занимались бесстрастным копированием действительности. То, что человек, получая впечатления от внешнего мира, производит отбор и воспринимает далеко не все, это тоже давным-давно известно и установлено прочно экспериментальной психологией до Фрейда, и совсем не нужно быть сторонником Фрейда, чтобы утверждать, что мир действительности перерабатывается в восприятиях суб'ектом. Если тем не менее сторонники реалистического понимания искусства говорили и говорят об изображении и отражении действительности в художественных произведениях, об об'ективности и точности этого отражения, то на это были и есть очень веские основания.

И. Григорьев, отправляясь от наличия динамического бессознательного в психике человека, устанавливаемого психоанализом Фрейда, предлагает рассматривать художественные произведения как своеобразные сны-символы, за которыми скрываются намерения художника. Непонятно, почему следует ограничиться в данном случае только областью искусства. Совершенно очевидно, что, принимая такую гипотезу, мы обязаны и научные дисциплины толковать тоже как своеобразные сны-символы. Несмотря на большую суб'ективность и «интимность», у искусства, как и у науки, один и тот же об'ект, одна и та же действительность: природа, общество людей, их мысли и чувства. Материалисты-искусствоведы всегда это утверждали. Они считали, что искусство от науки отличается не об'ектом, а способом обработки этого об'екта; особенность искусства они видели в образном, в конкретном восприятии и передаче мира, а не в том, что у искусства этот мир качественно другой, чем у науки. Об'ект один и тот же.

Если данные художественного восприятия в отношении к об'екту подобны снам-символам, то точно такими же снами-символами являются и данные научного восприятия. Во сне мы не только видим, но и рассуждаем, спорим, анализируем. Кто утверждает, что действительность для художника только прием, то же самое должен сказать и про ученого. Но тогда мы должны пойти дальше и сказать: мы не знаем, существует ли внешний мир или он только является нашим представлением. Если он только прием — символ, то он в лучшем случае дает нашим ощущениям и представлениям какие-то толчки, он причиняет нам ощущения и представления, не стоящие, однако, ни в каком реально-познавательном отношении к действительности, существующей вне нас. Легкий стук, шорох во сне воспринимается и претворяется в величественную картину грозы с громом, с ливнем, с небом, покрытыми тучами, и т. д. Но толчком к символам-снам могут быть и внутренние, органические раздражения, смутные желания и чувства. *Символ по природе своей лишен внутреннего сродства с предметом, который он символизирует. Символ есть условный, случайный знак.* Старый символ искупительного страдания — крест — ни в какой органической связи с самим страданием не находится.





Что же у нас получается в итоге?

Взгляд на искусство и на науку как на мир своеобразных символов, транспонирующих намерения художника и ученого, с логической неотвратимостью ведет либо к агностицизму, либо к суб'ективному идеализму. В начале своей статьи И. Григорьев замечает, что теория Фрейда, взятая в своем логическом завершении, «вызывает в памяти величественные метафизические системы Платона, Шопенгауэра и т. д.». К этому следует прибавить: «величественные метафизические системы» вызывает в памяти и попытка Григорьева подменить реалистическое понимание искусства теорией снов-символов. Возражая против «пассивного» реализма, И. Григорьев в полном соответствии с Фрейдом выдвинул совершенно идеалистические аргументы.

Автор руководствовался явно благими намерениями примирить фрейдизм с марксизмом в искусствоведении. Но кардинальнейшим вопросом в марксизме является вопрос об отношении мышления к бытию, суб'екта к об'екту. Не только в философии, не только в науке, но и в искусстве нельзя шагу сделать вперед, не уяснив себе этого вопроса. Григорьев дал ответ не по Марксу, а по Фрейду. Люди, стоящие на материалистической точке зрения Маркса, полагают, что наши ощущения и представления имеют не только суб'ективное значение, но и об'ективное, что они отражают действительность и в науке и в искусстве и не как иероглифы и символы, а как образы мира. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что эти отражения являются точной, безусловной копией действительности, что наши образы мира абсолютно верно воспроизводят этот мир. Об'ект никогда не равен суб'екту. Окружающий нас мир прежде всего бесконечно более богат, разнообразен, чем его отражения в нашей психике. Мы знаем о нем до сих пор все же чрезвычайно мало. Но эти отражения не являются и символами, т.-е. условными, произвольными знаками, за которыми скрыты только намерения. Отражения относительно точны, верны и об'ективны. Тот, кто придерживается этого взгляда, и в произведениях искусства будет искать точности и верности и соответствия действительности, ни на миг не упуская, конечно, и намерений.

К слову скажем, что определение искусства, которое дают некоторые напостовцы — искусство есть средство эмоционального заражения, — очень легко уживается с идеалистическими и агностическими теориями. Такое определение недостаточно, ибо игнорирует и не отвечает на основной вопрос об отношении мышления к бытию.

Могут сказать, что истины искусства в отличие от научных истин исключительно суб'ективны. Такого взгляда придерживается, например, Ле-Дантек в своей интересной книге «Познание и сознание». Он утверждает это на том основании, что произведения искусства толкуются до сих пор вкривь и вкось, что об одной и той же вещи существуют сотни мнений, что есть ровно столько художественных истин, сколько имеется художников. «Вне науки слово «истина» не имеет никакого значения». Это утверждение ошибочно. Согласия нет и среди ученых. Общепризнанность научных истин

не только оспаривается сплошь и рядом учеными, принадлежащими к разным направлениям и школам, но не убедительна для миллионов людей. Искусство более суб'ективно, наука более безлична — это так, но тут различие условно. Суб'ективизм в науке порой бывает более силен, чем в искусстве, особенно там, где явно затронуты классовые интересы. О теории прибавочной стоимости Маркса спорят больше, чем о «Кавказском пленнике» и «Холстомере» Л. Н. Толстого. Теория Дарвина до сих пор встречает сонмы ожесточенных противников. Романы Бальзака, Флобера, Толстого, произведения Гоголя, Чехова дают несомненные, пусть не полные, художественные истины. Словом, понятие истина имеет значение не только в науке, но и в искусстве. Намерения и там и здесь неустанно врываются и дают знать о себе. Если слово «истина» не имело бы значения в художестве, то мы должны были бы сказать, что художник в противоположность ученому вращается исключительно в суб'ективном мире, что он солипсист. Тогда он создавал бы вещи, понятные только ему одному. Но это не так: ученый обобщает общественный опыт людей в понятиях, художник обобщает тоже общественный опыт, но в образах. Искусство есть явление социальное; тот же, кто утверждает, что истины искусства исключительно суб'ективны, тем самым отрицает и общественное происхождение искусства и общественную значимость художественных произведений. Он смотрит на произведение как на продукт узко-индивидуального творчества, а на художника, как на существо, лишенное социальных связей. Такое воззрение чуждо марксизму, но оно, как мы увидим ниже, лежит в основе методики искусствоведов-фрейдистов. Суб'ективизм в решении проблемы об отношении мышления к бытию прочно связан у них с суб'ективным методом в толковании произведений искусства.

II. Намерения и действительность.

Данные нашего сознания, утверждают фрейдисты, подобны снам-символам. За ними скрываются намерения. Действительность — только прием. Несовместимость этой явно идеалистической теории с марксизмом мы уже постарались показать.

Как, однако, обстоит дело с намерениями в их отношении к действительности? Допустим, что наши суждения и образы являются снами-символами по отношению к нашим намерениям; вытекает ли отсюда, что действительность есть прием? Возьмем наиболее наглядный и простой пример с применением психоанализа Фрейда. Л. Джемсон, тоже пытающийся соединить фрейдизм с марксизмом, в своих «Очерках психологии» со слов психолога Бернгарта Гарта рассказывает о таком случае. Учитель одной воскресной школы из религиозного человека сделался страстным атеистом:

«Он настаивал, что пришел к этой точке зрения в результате продолжительного и добросовестного изучения предмета и, действительно, он приобрел поистине широкие познания в области религиозной апологетики... Тем не менее, имевший впоследствии место психоанализ открыл реальный

комплекс, обусловивший его атеизм: девушка, за которой он ухаживал, вышла замуж за одного из наиболее восторженных в религиозном отношении его товарищей учителей по воскресной школе. Причинный комплекс — злоба на своего счастливого соперника — выявился в отказе от тех верований, которые раньше были причиной такой близости между товарищами. Аргументы, изучение, цитаты были только результатом рационализации» (Л. Джемсон, «Очерки психологии», стр. 4 — 5).

Вот типичный и наиболее простой случай применения психоанализа. Установлен примат намерения и служебная подчиненная роль познавательных суждений. Намерение — чувство злобы — прорвалось в сферу сознания не прямо, а искаженно, в символах. Символами являются аргументы, цитаты, изучение. За всем тем вправе ли мы спросить о познавательной ценности этих шифров и символов, или мы скажем вслед за фрейдистами и т. Григорьевым, что можно, разумеется, поставить вопрос и об отражении действительности, в данном примере о логической убедительности аргументов и цитат, но что это не главное?

Вопрос о познавательной ценности содержаний нашего сознания не стоял бы ни в науке, ни в искусстве лишь в том случае, если бы мы признали, что кроме наших намерений и нашего поведения ничего в мире не существует, и наши ощущения, представления и мысли служат выражением одних этих намерений. Для Фрейда и его последователей, пришедших к величественным метафизическим системам Платона и Шопенгауэра, так оно и есть. Мы же, марксисты, стоим на другом. Мы полагаем, как было указано нами, что кроме наших намерений существует независимый от нас мир, что он дан был задолго до появления наших намерений. А раз кроме наших намерений существует независимый от нас мир, то ясно, что мы имеем полное основание заинтересоваться, в каких отношениях наше мышление, наши образы находятся не только к намерениям, но и к этой действительности. Допустим в примере с учителем, что психоанализ точно вскрыл настоящие побуждения учителя, однако это не снимает вопроса, насколько логически убедительны аргументы и цитаты учителя в пользу атеизма. И если бы учитель обладал художественным даром и свои атеистические воззрения попытался бы показать в образах, то мы в равной степени имели бы полное основание полюбопытствовать — верно и убедительно ли отражена в образах система атеистического мировоззрения, т.-е. мы заинтересовались бы вопросом об отражении действительности в произведении. Все дело в том, что у учителя не одно, а два намерения: одно скрытое — злоба к противнику, а другое открытое, связанное с первым стремлением нанести вред противнику силой логической аргументации в пользу атеизма.

Скажут: в примере с учителем аргументы, цитаты являются, несомненно, теми самыми символическими знаками, о которых говорят фрейдисты и за ними т. Григорьев. Совершенно справедливо. *Они являются символами по отношению к намерению и к поведению, но они отнюдь не служат символами по отношению к действительности.* Григорьев вслед за фрейдистами спутал эти два

отношения. Он начал с утверждения, что в художественных образах транспонируется поведение художника, а отсюда заключил, что действительность в художественном произведении вообще только прием, символ, иероглиф и что заниматься вопросом об отражении ее в произведении неинтересно и ненужно. Заключение совершенно незаконное, ничем не оправданное и не марксистское. Нужно отметить, что, делая такой вывод, И. Григорьев только вторит школе Фрейда. Фрейдисты при анализе художественных произведений обычно ограничиваются выяснением, как в символах-образах скрываются бессознательные импульсы художника. Вопроса об отражении действительности они не исследуют и не решают. С их точки зрения это вполне последовательно. Тот, кто придерживается идеалистической системы взглядов, может ограничиться выяснением отражений в нашем сознании одних намерений, ибо реально существуют одни лишь намерения, мир есть их символ, об'екта, независимого от нас, не существует, или нам ничего о нем не ведомо.

Отправляясь от идеалистического построения Фрейда, И. Григорьев опять-таки в полном согласии со школой Фрейда неправильно и неверно разрешил вопрос об отношении поведения и импульсов человека к познавательному процессу. Едва ли самый «пассивный» реалист решится утверждать, что скрытые и открытые чувственные стимулы не имеют гигантского значения в творчестве художника и ученого. Художник мыслит и чувствует образами, потому что «намеревается». Желание — отец всякого познания, в том числе и художественного. Томимый желаниями, человек ставит себе цели и соответственным образом действует. Желания, намерения входят таким образом составною частью в практику общественного человека; значение же практики в познавательном процессе достойным образом оценено марксизмом. «Успех наших действий, — писал Энгельс, — доказывает согласие наших восприятий с предметной природой воспринимаемых вещей». Второй тезис Маркса о Фейербахе гласит: «Вопрос о том, способно ли человеческое мышление познать предметы в том виде, как они существуют в действительности, вовсе не теоретический, а практический вопрос. Практикой должен доказать человек истину своего мышления, т.-е. доказать, что оно имеет действительную силу и не останавливается по сю сторону явлений. Спор же о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос».

Желания и побуждения, входящие составной частью в практику, проверяют достоверность, силу и об'ективность нашего мышления. Вопрос о действительности мышления не только не снимается практической деятельностью человека, а, наоборот, эта деятельность является единственным и универсальным критерием ценности всякого познания, научного и художественного. У фрейдистов же получается «шиворот на выворот»: т а к к а к наши ощущения, мысли, представления, образы обусловливаются поведением человека, т о действительность есть только условный знак, прием, важны намерения, поведение, а не отражения в сознании действительности. Поведение человека определяет систему его воззрений, это альфа и омега марксизма; весь вопрос, однако, в том, каково это поведение, помогает ли оно человеку

познавать мир или препятствует такому постижению? Чтобы ответить на это, надо знать, каковы именно побуждения, каковы практика и поведение человека в обществе. Предположим, что художник, имя рек, до последнего предела ненавидит русскую революцию и республику советов. Не брезгуя никакими реакционными силами, он борется с ненавистной ему «совдепией». Служа верой и правдой такой практике и под непосредственным воздействием ее, он в своих романах, повестях, рассказах, статьях изображает русскую революцию и ее активных участников, скажем, так, как это делают за рубежем Шмелевы, Чириковы, Гиппиусы и т. д. Влияние поведения художника на его творение на-лицо. Предположим, далее, в угоду фрейдистам, что в анализе этого поведения мы пошли дальше и по пути школы Фрейда и в результате обнаружили в основе реакционных поползновений и домогательств наличие скрытых атавистических наклонностей — садизм, извращенную сексуальность и пр. Все это проэцировано в соответствующие образы, типы, картины. Поставив вопрос, в какой степени верно отражена художником русская революция в этих типах, описаниях, мы приходим к заключению, что действительность совершенно искажена. Намерения, поведение художника не совпали с об'ективным ходом развития общественной жизни, поэтому он дал искаженную действительность. Наоборот, намерения и поведение художника, стоящего за пролетарскую революцию, помогли отразить более или менее правильно революционную действительность в меру его сил и разумения, ибо совпали с об'ективным ходом истории. Задача критика и в том и в другом случае сводится к выяснению намерений художника, но это одна сторона дела; другая, не менее важная, заключается в том, чтобы обнаружить, насколько эти намерения помогли или оказали противодействие воспроизведению действительности. Совершеннейшая схоластика решать, что важней при анализе произведения — обнаружение скрытых или открытых побуждений художника или выяснение, насколько верно и как отражена в произведении жизнь. И то и другое одинаково важно, и то и другое взаимно связано: поведение определяет степень достоверности отражения, в отражениях обнаруживается поведение. Поведение выясняет удельный социальный вес художника и его произведения, вскрывая их классовую природу, вопрос же об отражении действительности в произведении ставится потому, что существует мышление, и существует бытие, суб'ект и об'ект и что разрешение антиномии между бытием и мышлением существенно важно не только в философии и в отдельных научных дисциплинах, но и в искусстве.

В учении Фрейда о взаимоотношениях «Я» и «оно» устанавливается лишь одна зависимость «Я — сознания» от бессознательности стихии, обусловленность сознания внешним миром совершенно игнорируется. Теперь мы с уверенностью можем сказать, чем об'ясняется такое игнорирование. Тут дело совсем не в методологической установке психолога, а в самом существе учения Фрейда. *Положение, что сознание зависит не только от бессознательного, но прежде всего от бытия, от внешнего мира, подтачивает в корне основу*

фрейдовой теории. Раз мышление обусловливается бытием, то нельзя свести работу сознания к исключительному выполнению директив бессознательной стихии, пусть эти директивы и подвергаются цензуре сознания; очевидно, функция сознания гораздо шире. Сознание дано нам не только для того, чтобы «символизировать» наши бессознательные намерения, но и для того, чтобы мы могли познавать об'ективную реальность. «Символизм» намерений — здесь побочный продукт. Тот же, кто мыслит по Фрейду, упирается неизбежно в мысль, что истина есть только выражение наших намерений, т.-е. в суб'ективизм.

Суб'ективизм при решении проблемы, в каком отношении намерения и поведение художника находятся к художественной истине, просачивается иногда в такую среду, где ему, казалось бы, совсем не должно быть места. Так, наши пролеткультовцы, главным образом, те из них, кто пытается соединить пролетарскую культуру с футуризмом, не устают противополагать практику, поведение, «целеустроительность» «пассеизму», подразумевая на деле под «пассеизмом» способность нашего научного и художественного сознания действительно постигать и отражать бытие.

На намерениях свихиваются и многие из тов. напостовцев. У них классовые намерения сплошь и рядом заслоняют кардинальнейший вопрос и в искусстве об отношении мышления к бытию: раз классовый, не может быть никакой речи об об'ективности содержаний нашего сознания; при чем об'ективность они понимают в смысле бесстрастности и незаинтересованности ученого и художника, а не в смысле соответствия их суб'ективных восприятий об'екту. Поэтому они неизменно приходят в неистовство, как только заходит речь, насколько точно и верно та или иная действительность отражена в художественном произведении, считая такие толки и рассуждения посягательством на диктатуру пролетариата; впрочем, это на практике им не мешает кричать о преступных искажениях революционной действительности, допускаемых злостными попутчиками.

III. Бессознательное.

В одном отношении И. Григорьев, повидимому, прав: учение Фрейда о динамическом подсознательном, не целиком, а частью, принадлежит к плодотворным гипотезам в области индивидуальной психологии. Фрейд разрушает поверхностно-рационалистический взгляд на человеческую психику, подточенный, однако, основательно и до него. Несомненно, что за порогом нашего сознания лежит огромная сфера подсознательного, что это подсознательное совсем не похоже на склад или на кладовую, где до поры до времени наши желания, чувства, намерения пребывают в состоянии бездеятельного покоя или сна. Вытесненные по тем или иным причинам на задворки нашего сознания, они ведут очень активную жизнь и, достигая известной силы, прорываются неожиданно в наше сознательное «я» иногда в кривом, в искаженном, в обманном виде. Наивно полагать, что наше сознание всегда и во всем управляет собой и подчиняет себе наши желания и мысли. Сплошь

и рядом оно само является приказчиком, выполняющим волю своего господина.

Учение Фрейда, таким образом, подтверждает в искусствоведении, что творческий акт художника нельзя сводить к одним лишь рационалистическим приемам, к технике, к конструкции, к энергичной словообработке. Интуиция и инстинкт играют здесь решающую роль. Динамическое бессознательное, вводимое психоанализом Фрейда, раскрывает более точно содержание понятия об интуиции. Интуиция — это наше активно действующее бессознательное. Интуитивные истины достоверны, непреложны, не требуют логической проверки и часто не могут быть проверены логическим путем именно потому, что складываются предварительно в подсознательной области нашей жизни и обнаруживаются затем сразу, вдруг, неожиданно в сознании, как бы независимо от нашего «я», без предварительной его работы. Отсюда ощущение их внешности, посторонности. Нам кажется таинственным появление интуитивных истин, они «осеняют» нас, посещают нас как нежданно-негаданные гости. Эту «таинственность» об'ясняет психоанализ. Собственно бессознательное никогда не отрицалось марксистами ни в психологии, ни тем более в искусстве. Бессознательные, инстинктивные, интуитивные намерения художника всегда учитывались марксистами-искусствоведами. Психоанализ Фрейда в известном смысле вскрывает механику индивидуального подсознательного, как оно прорывается наружу. Но и в этой области, как мы увидим далее, надо сделать ряд очень важных оговорок.

Затем, динамическое бессознательное несомненно подчеркивает значение чувственных и иных импульсов в художественной и научной деятельности. Взгляд на художника и на ученого, будто они приходят к данному комплексу образов или научных понятий л и ш ь потому, что у б е ж д а ю т с я в логической или эстетической их ценности, сильно ограничивается психоанализом Фрейда. «Убеждается» и художник и ученый прежде всего потому, что ж е л а е т себя убедить. Желания, намерения заставляют выбирать такие доводы, подбирать такие образы, которые наиболее соответствуют этим желаниям. Художнику и ученому только кажется, что он бесстрастно «под углом вечности» руководствуется чисто научными и чисто художественными заданиями. Такая рационализация чаще всего совершается бессознательно, как бессознательными и скрытыми остаются намерения художника и ученого. Отсюда задача искусствоведа — разоблачать этот иллюзорный рационализм, подставлять под него скрытые намерения. Принципиально нового тут для марксизма ничего нет: марксизм в искусстве издавна пользовался этим методом. Пожалуй, психоанализ Фрейда поучителен в том отношении, что показывает, с какими трудностями сопряжена эта работа «снятия покровов» с помыслов ученого и художника, тщательно иногда завуалированных. Сложными, иногда обходными путями, надлежит здесь пользоваться, требуется очень тонкая и кропотливая работа. Фрейдизм обращает наше внимание и заставляет ценить детали тогда, когда прямой анализ наталкивается на ряд препятствий. В этих случаях значительную помощь может оказать отдельная сцена, картина, фраза, образ, обмолвка. Часто эти ме-

лочи бывают характерней костяка самого произведения. У нас же сплошь и рядом орудуют дубьем и топором там, где нужен ланцет. Храбрость обнаруживают изрядную, но метод Маркса от этой храбрости терпит явный ущерб. Идеологический арсенал, откуда выбирается «оружие критики», довольно убогий: «обывательщина», «мелко-буржуазный», «помещичий» — и дело в шляпе; при чем и эти-то понятия употребляются больше не в аналитическом смысле, а в ругательном и изобличительном. За пределами критики обычно остается самое важное — индивидуальное лицо писателя. «Храбрость» без достаточных оснований ведет к подозрительной безапелляционности суждений. Все ясно, все решено, все доказано и исчерпано. Нет и намека на ту осторожность и даже нерешительность, которые звучат, например, у самого Маркса в известном его суждении о произведениях греческого искусства. Безапелляционность в свою очередь ведет к быстрым отлучениям «еретиков». Известно, что у нас сейчас отлучают и художников и критиков решительно, неукоснительно и ежечасно. Впрочем, недреманное око напостовцев может усмотреть полемический «уклон» с нашей стороны.

Теория динамического бессознательного учит, дальше, с очень большой осмотрительностью относиться к рационалистическим толкованиям мотивов и поступков героев и персонажей анализируемого произведения. Критики, в том числе и марксисты, иногда требуют от художника, чтобы он ясно, внятно и разумно обосновывал действия и поступки своих героев. Когда же не находят такого рационального обоснования, начинают утверждать, что писатель произвольно заставил действовать своего героя. Но поведение героя, его высказывания, как и всякого человека, сплошь и рядом коренятся в бессознательном, они часто иррациональны в том смысле, что не поддаются и не могут быть об'яснены сознательными мотивами. Из этого, конечно, не следует, что художник вправе приписывать своему герою какое угодно поведение по своему произволу. Из этого следует только одно: поведение данного героя может быть лишенным обычного, нормального, узко-рационального смысла, но оно должно органически вытекать из всей его природы. Если это поведение кажется не мотивированным, внезапным и случайным с точки зрения содержания сознания этого героя, то оно должно быть мотивировано всем комплексом его скрытых и открытых чувств и намерений. Так как исследование динамики и механики бессознательного подчас представляет непреоборимые трудности, то от критика, как и от читателя, требуется в этих случаях то, что называется чутьем. Только чутьем угадывается и оценивается сплошь и рядом, насколько внутренне мотивированы и согласны с природой героя те или иные его поступки. Особые трудности встают при анализе произведений писателя, у которого иррациональное начало в героях действует наиболее активно. Таковы, например, Достоевский, Шекспир. Из этого же вытекает, что передать другому эстетическую оценку, основанную на чутье, или аналитически отнестись к ней, подчас дело совсем не легкое. Такая передача возможна только при условии созвучности.

Этим, пожалуй, и ограничивается то положительное, что содержится в учении Фрейда о бессознательном для марксистского искусствоведения. Большая часть того, что есть ценного в этом учении, в сущности, давно уже учтена марксизмом. Но это положительное нисколько не уравновешивается заведомо отрицательными и неприемлемыми для марксизма элементами в этом учении.

Марксизм никогда не отрицал динамики бессознательного, но, пользуясь широко этим понятием, он вкладывал в него иное, чем у Фрейда, содержание. Мы тоже полагаем, в согласии с Григорьевым, что дело психиатров и психопатологов определить, в какой мере ими может быть для их специальных исследований использовано утверждение Фрейда, что все наши импульсы сводятся к сексуальному влечению. Возможно, что при психоанализе явлений патологического характера положение Фрейда способно дать ценные результаты. Фрейд в области психопатологии собрал богатый и интересный материал, тщательно его проработал, и только дальнейшая опытная проверка может установить, насколько и в каком об'еме в психопатологии будет использовано это положение Фрейда. Едва ли, однако, можно сомневаться, что в нормальной жизни и деятельности людей помимо сексуального влечения имеются и другие не менее сильные стимулы: голод, социальные импульсы и т. д. Тем более это надо сказать про так называемый Эдипов-комплекс [1]), к которому обычно фрейдисты пытаются свести основное содержание художественных произведений. Марксисты-искусствоведы установили, что на заре человеческой культуры искусство непосредственно зависело от того, как человек трудился и как он добывал себе пищу. Между тем, по Фрейду первоначальные истоки искусства мы должны искать в преодолении Эдипова-комплекса, который все же в сублимированном виде остается главной темой художественных произведений и по сию пору. Это совершенно произвольное допущение, и те явные несуразности, которыми пестрят исследования фрейдистов в искусстве, только подтверждают односторонность их теории. Бессознательное марксисты никогда не сводили к одним сексуальным влечениям, еще более им чуждо учение об Эдиповом-комплексе, носящее на себе очевидные психопатологические черты. Бессознательное по Фрейду содержит в себе низшие, атавистические влечения человека. «Запрещенные» ходом культурной жизни человечества, вытесненные в глубь нашего существа, они дают о себе знать, прорываясь при благоприятных случаях в наше сознание в сублимированном, искаженном виде. Марксистская социология и это утверждение считает односторонним и, следовательно, неверным. Наши подсознательные влечения имеют более разнообразный и богатый характер. В подсознательную сферу переводятся и те чувства и желания, которые приобретаются, накапливаются и совершенствуются в процессе нашего общественного развития. Таковы, например, социальные инстинкты. По мере того, как они приобретают характер привычки, механизируются, они переводятся из сферы сознания в сферу подсознательного. Самопожертвование, храб-

---

[1]) Эдипов-комплекс — сексуальное чувство к матери и враждебное к отцу.

рость, солидарность, тяготение к обществу и т. д. носят сплошь и рядом такой же подсознательный характер, как и скрытые сексуальные атавистические побуждения, выдвигаемые фрейдистами. Повидимому, не только подсознательное ведет войну с сознанием, но в самом подсознательном ведется неустанная борьба между различными влечениями. Ход и исход этой борьбы определяется окружающей средой, более поздние и прогрессивные подсознательные влечения при неблагоприятных условиях могут быть задавлены и уступают место атавистическим побуждениям. Так, кровавая война, начавшаяся с 1914 г., несомненно пробудила садизм, разрушительные инстинкты и пр. Человечество идет «вперед и выше» не прямыми, а сложными окольными путями, оступаясь, отступая, пользуясь обходным движением. Господствующий класс в эпоху своего расцвета развивает в себе наиболее положительные инстинкты; стремясь под уклон, он в интересах самозащиты бывает вынужден обращаться и культивировать в себе чувства, осужденные, казалось бы, историей.

Процесс рационализации, диссоциации, сублимации наших бессознательных намерений подлежит сложной и трудной расшифровке и в науке и в искусстве. Но едва ли будет правильным воззрение, к которому обычно склоняются фрейдисты, что вся работа нашего сознания, в сущности, сводится к иллюзорному самоуспокоению и самообману: под бессознательные намерения наше сознание подставляет логические понятия, суждения, или эстетические образы. Оно обманывает нас. В отношении к художнику фрейдизм это устанавливает в довольно категорической форме, утверждая, что вся творческая работа его сводится к безболезненному изживанию в образах первоначального Эдипова-комплекса [1]). Между тем, наши желания, интересы, намерения коренятся не только в области безликого бессознательного. Значительная их часть осознается непосредственно. Человек не является исключительно рациональным животным, но он не принадлежит и к животным совсем иррациональным. Напомним замечание Маркса, что архитектор отличается от пчелы тем, что у него заранее есть план построения. Человек ставит себе цели, осознает свои намерения и стремится их удовлетворить. Практика и опыт ежедневно и ежечасно убеждают нас в том, что мы достигаем или не достигаем того, чего желаем и к чему сознательно стремимся. Между бессознательными и сознательными намерениями нет той пропасти, которую пытается вырыть школа Фрейда. Рабочий бессознательно может стремиться к уничтожению власти капитала, но, соединившись с другими и осознав себя как класс, он ставит те же самые цели, но уже сознательно. Нет поэтому необходимости всегда и всюду зашифровывать свои намерения. Работа сознания часто сводится к расшифровке наших намерений, по крайней мере тех, которые, по мнению человека или класса, заслуживают открытого и «законного» удовлетворения. Зашифровка или расшифровка зависит в конечном итоге от выгоды и пользы. Пролетариату

---

[1]) Художник, конечно, изживает идеально реальные импульсы, но они не сводятся к Эдипову-комплексу.

сейчас выгодно расшифровать свои самые «грубые» намерения, буржуазии выгодно, напротив, зашифровать свои самые тонкие вожделения. Все зависит от времени и места. Рационализация и сублимация намерений происходит только при известных условиях, когда группе людей, классу нужно, выгодно и полезно скрывать свои намерения, или когда к этому ведет своеобразие общественных отношений. Сводить всю работу индивидуального и общественного сознания к самообману нет никаких оснований.

Сделав это значительное ограничение, следует еще раз подчеркнуть, что марксизм всегда признавал наличие индивидуально и общественно бессознательных намерений, тщательно загримированных и законспирированных. «Как в частной жизни мы различаем то, что думает и говорит о себе человек, и то, что он действительно представляет и думает, так — и даже еще в большей степени — в исторической борьбе должны мы отличать фразы и продукты воображения партий от их действительного организма и их действительных интересов, их представления от их реального содержания» (Карл Маркс, «18 брюмера»). О таком самообмане людей говорится в том же «18 брюмере». В эпохи революционных кризисов люди начинают усиленно воскрешать старых героев, старые даты, пароли, костюмы и т. д. «Прежние революции нуждались в великих исторических воспоминаниях, чтобы обмануть себя относительно своего истинного содержания». В формах общественного сознания, в политических, правовых, религиозных, эстетических нормах, суждениях, воззрениях выражаются интересы людей, но они бессознательно зашифрованы, скрыты. Поверхностному взгляду их не видно. Сами люди, придерживающиеся тех или иных взглядов, глубоко убеждены, что их воззрения чисты от реальных импульсов и намерений. Поэтому задача социолога, историка, публициста, критика сводится к «снятию покровов», к расшифровке представлений и мнений, к переводу их на более реальный язык классовых домогательств, страстей, побуждений. Этим методом посильно до сих пор пользовались и пользуются марксисты, анализируя различные стороны общественного сознания. Показательные примеры, как вскрываются марксистами реальные нужды и поведение человека в искусстве, можно найти не в малом количестве хотя бы у Г. В. Плеханова. Так, он утверждал, что красивым и прекрасным общественному человеку кажется полезное; но эта польза обычно зашифрована. Человеку кажется, что его понятия о прекрасном носят самоценный характер и далеки от всякой пользы. Многие художники, проповедуя теорию искусства для искусства, думают, что они оберегают его от низменного утилитаризма и хотят освободить искусство от чужеродных и несвойственных ему элементов. Плеханов рассуждал об этом иначе: «Склонность художников, живо интересующихся художественным творчеством, к искусству для искусства возникает на почве безнадежного разлада их с окружающей их общественной средой («Искусство и общественная жизнь»). Выходит, что эта склонность обнаруживает совсем не то «поведение» художника, которое существует в его представлении. Плеханов, далее,

превосходно показал, что смена школ и направлений в искусстве, непонятная, необоснованная и странная на первый взгляд, становится понятной и обоснованной, если принять во внимание, что в общественной борьбе классов люди стремятся поступать, думать и чувствовать «как раз наоборот» тому, что думает и чувствует класс-антипод. Создатели французской слезливой комедии XVIII века, проповедуя ее взамен классической трагедии, выражали, в сущности, свою неприязнь против ее манерности, против изображения на сцене императоров и королей. А это, в свою очередь, случилось потому, что в сердцах идеологов третьего сословия «зародилась ненависть одновременно с жаждой справедливости». Слезливая комедия явилась своеобразным «символом» поведения этих идеологов. Чтобы не уходить в глубь веков, напомним, что наши контр-революционеры бешено ненавидят теперь красный цвет не потому, что он им отвратен по своей природе, а лишь потому, что большевики сделали этот цвет символом своих стремлений. Подобно воскресному учителю, о котором упоминает Джемсон, они из ненависти к большевизму усиленно подбирают «аргументы и цитаты», в другое время и при других обстоятельствах, возможно, совсем не показавшиеся бы им убедительными. Правда, в отличие от учителя в этом подборе они, являясь мракобесами, не обнаруживают ни широких познаний, ни виртуозности. Реальный комплекс их намерений, несмотря на рационализацию, тут очевиден и легко вскрывается.

Итак, марксизм всегда занимался расшифровкой динамически-бессознательных общественных намерений, и психоанализ Фрейда ничего принципиально нового в методологию марксизма не вносит. Но, сравнивая фрейдизм с методом расшифровки, которым пользуются марксисты, особливо в искусстве, нужно сказать, что есть ряд соображений, говорящих не в пользу учения Фрейда. Было уже отмечено, что, вскрывая поведение человека «в символах» науки и искусства, марксизм никогда не упускал из внимания коренного вопроса об отношении мышления к бытию, меж тем фрейдисты, занимавшиеся анализом художественных произведений, считают этот вопрос не существенным и неуместным. Обычно они ограничиваются констатацией суб'ективных намерений писателя, сводя их к весьма спорному Эдипову-комплексу. Понятие бессознательного у них настолько гиперболизировано, что человек, согласно этому воззрению, является иррациональным животным; работа сознания, в особенности у художника, сводится исключительно к обману себя и других. Непонятно, как возможна практика, приводящая человека к господству над природой и т. д. Есть еще одно не менее важное соображение, на котором следует остановиться сейчас несколько обстоятельней.

Марксисты, анализируя различные стороны общественного сознания, в том числе и произведения искусства, неизменно исходили из положения, что они имеют дело не с отдельным, изолированным индивидом, а с общественным человеком. Последователи Маркса всегда твердо памятовали, что политические, правовые, религиозные, эстетические воззрения складывались под определяющим влиянием биологических, климатических, географических и общественно-исторических условий. Но первые условия являются относи-

тельно устойчивыми и неизменными, общественно-исторические условия, наоборот, изменяются несравненно быстрей. К тому же общественная среда является наиболее близкой и непосредственной для общественного человека. Биологические и климатические условия поэтому влияют на человеке через посредство искусственной общественной среды. Исходя из этих положений, ученики Маркса полагают, что главную причину изменений, эволюции нравов, убеждений, чувств следует искать в общественно-исторической среде. Поскольку психоанализ Фрейда ограничивается исследованием психологии и даже психопатологии отдельных людей, рассматривая их с естественно-научной точки зрения, ему, как говорится, и книги в руки. Но фрейдисты, к сожалению, не ограничиваются этим исследованием и пытаются анализировать общественные намерения, чувства, взгляды, представления, образы. Из психологии они переходят в социологию, оставаясь, однако, на почве изучения изолированного от общества человека. Поступая так, фрейдисты тащут нас назад в лучшем случае к так называемой абстрактной естественно-научной точке зрения, благотворной в биологии, в физиологии и в психологии, но справедливо осужденной еще Марксом для социологии. Это обычная ошибка ученых, в которую они впадают, переходя из области естествознания в область обществоведения. Обычно применение абстрактного естественно-научного метода к явлениям общественного порядка приводит к тощим и отвлеченным, мало-содержательным общим положениям. То же самое систематически случается и с фрейдистами, когда они расширяют рамки своего исследования и берутся за анализ таких форм общественного сознания, как искусство. Тов. Григорьев наглядно доказал в своей статье, что работы фрейдистов в области искусства дают «наиболее отрицательные и монотонные результаты». Но такие результаты, он полагает, получаются лишь потому, что фрейдисты слишком односторонне пользуются сексуальной теорией при истолковании художественных произведений. Это так. Но если фрейдисты, помимо сексуальных стимулов, признали бы и другие — голод, социальные инстинкты и пр., положение резко все же не изменилось бы: результаты и здесь оказались бы монотонными, ибо вместо психоанализа общественного человека они берут изолированного психического индивида. Из их работ никогда нельзя узнать, какая общественная среда, какие нравы, какой быт, какие общественные взгляды и каким образом повлияли на писателя и на его произведение. Как будто общественной среды совсем не существует в природе. Сравните монографию Плеханова об Ибсене с психоанализом Фрейда, примененным им к драме Ибсена «Росмерсгольм» [1]). Не в пример своим русским единомышленникам Фрейд мастерски воспользовался методом психоанализа. Согласимся с ним, что Реббека терпит крушение в конечном счете благодаря инцесту, т.-е. сожительству с отцом. Однако основная художественная идея знаменитого драматурга пролегает не здесь: она содержится в трагическом столкновении сурового миросозерцания Рос-

[1]) См. «Психоанализ и учение о характере» С. Фрейд: «Некоторые типы из психоаналитической практики».

мерсгольма, который покорил себе Реббеку, с непосредственной, не организованной, активной, но аморальной силой жизни. Это — центральная идея лучших произведений Г. Ибсена — древо жизни, древо креста, пропасть между ними и третье — смутное царство в грядущем, где Ибсену чудилось органическое слияние древа жизни с древом креста: силы непосредственной жизни с требованием долга. Г. В. Плеханов не дал исчерпывающего анализа творчества Ибсена, в монографии есть значительные пробелы, но его анализ очень убедительно отвечает на вопрос, почему Ибсен не мог разрешить коллизии между долгом Бранда и аморфной жизненной сочностью Пэр-Гюнта. Плеханов показал в своей статье, что мораль Ибсена отвлеченна, лишена конкретного содержания. Благодаря этому обстоятельству Ибсен заходил в ряд безвыходных тупиков. «Бранд не понимает, что в е ч н о е движение («несотворенный дух») проявляется только в создании в р е м е н н о г о, т.-е. н о в о г о: новых вещей, новых состояний и отношений между вещами». Не понимал этого и Ибсен. Почему это случилось с Ибсеном? Плеханов в результате анализа отвечал: «Тут виновата среда, окружавшая Ибсена. Эта среда (Норвегия, где родился и вырос Ибсен. *А. В.)* была достаточно определенна для того, чтобы вызвать в Ибсене отрицательное отношение к ней, но она была недостаточно определенна, — потому что слишком неразвита, — для того, чтобы породить в нем определенное стремление к чему-нибудь «новому»... Потому-то он и заблудился в пустыне безвыходного и бесплодного отрицания» (Г. В. Плеханов, «Генрик Ибсен»). «Психоанализ» Плеханова уводит нас в социологию. Плеханов рассматривает Ибсена, как общественного человека, поэтому результаты его анализа отнюдь не монотонны и дают ответы на главные вопросы, интересовавшие Ибсена, как художника. Психоанализ Фрейда проходит целиком мимо этих вопросов, он не касается основного содержания ни «Росмерсгольма», ни творчества Ибсена. Инцест в драме все же деталь, хотя и очень существенная: трагедия Реббеки начинается не с этого момента, а с того, когда она почувствовала, что суровое мировоззрение Росмерсгольма лишило ее смелой воли.

Не понимая, что человек есть общественное животное, что наше поведение и помыслы нельзя понять, не изучив общественной среды, их питающей, фрейдисты еще более далеки от применения классовой точки зрения в искусствоведении. Это понятно. Точка зрения, рассматривающая индивида, изолированного от общественной среды, неминуемо ведет к отказу и от классового анализа: общественная жизнь со времени разделения общества на классы протекает в формах классовой борьбы; тот, кто отказывается от общественной точки зрения, тем самым, конечно, отказывается и от классовой. И. Григорьев считает, что фрейдизм может оказать известную услугу марксистам при анализе т е х н и к и, с помощью которой создаются идеологические ценности, являющиеся надстройкой над экономическим базисом. Психоанализ, по его мнению, может показать, к а к и м о б р а з о м в религиозных, в нравственных и эстетических нормах следует обнаруживать реальные комплексы скрытых интересов. Утверждение это в корне ошибочно. Возможно, что для выяснения техники душевной жизни отдельного человека

Фрейд сделал очень много, но для того, чтобы понять технику, при помощи которой реальные общественные интересы отражаются в общественных идеологических ценностях, надо знать динамику классовой борьбы. Без этого невозможно сделать ни одного шага. Но мы уже знаем, что динамика классовой борьбы органически чужда фрейдизму, и не было случая, чтобы фрейдисты, по крайней мере в лице своих наиболее авторитетных представителей, становились на классовую точку зрения при истолковании явлений общественной жизни. Тот, кто полагает, что здесь зло не так большой руки, стоит лишь соединить фрейдизм с марксизмом, сильно заблуждается: фрейдистам чужд органически социологический подход. Они суб'ективисты. Поэтому их метод в искусствоведении лишен всякого историзма. Они вынуждены топтаться на одном месте. Дальше монотонных результатов они и не могут пойти.

Еще на одном вопросе необходимо остановиться. Фрейдисты утверждают, что художник бессознательно вуалирует и тщательно зашифровывает в образах своего воображения свои подлинные намерения и свое поведение (Эдипов-комплекс). Благодаря такому «идеальному» переживанию он освобождается от власти бессознательных импульсов. Не будем спорить на этот раз. Но вот в чем вопрос: скрывает ли в своих произведениях художник намерения своих героев? Известно, что, создавая те или иные типы, художник часто, так сказать, гримирует в них разные стороны своего «я». Все же ставить знак равенства между автором и изображаемыми им героями нельзя. Собакевич, Чичиков, Хлестаков, Онегин, Печорин, Платон Каратаев живут в произведениях своей собственной, отличной от писателя жизнью. Чтобы живописать, писатель должен отойти от них, об'ективировать их, даже наиболее близких и родных ему. Так вот. Один из основных методов, которым пользовались до сих пор большие мастера в искусстве, состоял как раз в разоблачении истинных намерений, чувств и мыслей изображаемых ими героев. Словом, художник не только скрывает, но и разоблачает. Он изображает своих персонажей не такими, как они о себе думают, и не такими, какими они представлялись бы нам, если бы жили среди нас, а такими, какими они являются в действительности. Сокровенные думы и чувства, тайные страсти и вожделения, нераскрытые преступления, все, что обычно тщательно хоронится от общественного мнения, от постороннего глаза, что не ведомо даже самому герою, — все это делает предметом своего изображения художник, во все эти потаенные углы и уголки человеческих переживаний проникает он силой своего творческого дара. Возьмите двух корифеев русской литературы — Толстого и Достоевского, во многом противоположных друг другу. И тот и другой с гигантской силой разоблачали своих героев и через них часто себя. Толстой «снимал покровы» со всего кажущегося, фальшивого, лживого, напускного, исковерканного современной цивилизацией, — Достоевский опускал нас в подполье человеческих чувств и мыслей, мучая и терзая себя и читателя. Мы хотим сказать — если, по мнению фрейдистов, к Толстому и Достоевскому необходимо применять психоанализ, то, с другой стороны, Толстой и Достоевский сами пользовались психоанализом. Свое-

образный психоанализ в искусстве применялся давно до Фрейда. Художники разоблачали и себя, и своих героев. Но их свидетельства далеко не совпадают с учением Фрейда. Несмотря на колоссальную силу интуиции, ни Толстой, ни Достоевский не нашли, что в человеческой психике господствуют по существу психопатологические сексуальные чувства (Эдипов-комплекс), или, что бессознательные намерения, анти-общественные по своему содержанию, покрывают все поле нашего сознания и руководят нашими поступками. А они более, чем кто-либо, знали, какое значение динамическое бессознательное имеет в жизни человека. Далее, изображая своих героев, они были поистине далеки от монотонных результатов; вскрывая намерения людей, они инстинктивно рассматривали их в зависимости от окружающей общественной среды. Наиболее поучителен с этой стороны реалист Толстой. В своих произведениях он воистину был стихийный материалистический диалектик. Но даже более суб'ективный Достоевский, кажется, самый притягательный для фрейдистов, знал, что личность неотрывна от среды. Его психоанализу отнюдь не был чужд элемент общественности. Кроме того, великие мастера художественного слова избегали монотонных результатов благодаря тому, что не скупились изображать действительность, которая питала их творчество своим могучим богатством и разнообразием.

IV. Выводы.

На всем учении Фрейда лежит печать суб'ективизма и идеализма. Фрейд признает зависимость нашего сознания только от безликого бессознательного, тем самым решая отрицательно вопрос о причинной связи сознания с внешним миром. Отсюда теория снов-символов. Данные сознания являются лишь символами и иероглифами, за которыми скрыты суб'ективные бессознательные намерения. Задача искусствоведа сводится к толкованию этих «сновидений» в художественных произведениях. Вопрос об отражении действительности художником отбрасывается. Намерения трактуются в суб'ективном смысле, оторванно от внешней среды. Такая методологическая установка марксистскому искусствоведению чужда, ибо марксизм и в науке и в искусстве исходит прежде всего из положения, что мышление определяется бытием и что наши восприятия являются не только иероглифами суб'ективных намерений, но и образами независимо от нас существующей действительности.

Учение о динамическом бессознательном, повидимому, ценное и плодотворное для психиатров, носит, тем не менее, односторонний характер. Оно гиперболизует бессознательную стихию в индивиде, отрицая активность сознательных импульсов. Бессознательное фрейдисты сводят исключительно к сексуальным мотивам, не отводя никакого места иным, не менее могучим побуждениям. Сексуальные импульсы обнимают собой у них атавистические и патологические влечения: нарцизм, Эдипов-комплекс, гомосексуализм, лесбийскую любовь и т. д. Психическая архитектоника личности, в том числе и личности художника, следовательно, носит психо-патологический характер

и должна, собственно говоря, служить об'ектом анализа только для психиатра и психо-патолога. Положительные элементы в учении Фрейда о динамическом бессознательном (интуитивный процесс творчества, иррациональность поступков и действий под влиянием бессознательной стихии, рационализация скрытых импульсов и вытеснение их) большею частью и раньше учитывались марксизмом и в частности марксистским искусствоведением, но марксизм никогда не впадал в непомерные преувеличения фрейдистов.

В полном соответствии со своей суб'ективной идеалистической системой взглядов фрейдисты при психоанализе художественных произведений остаются на почве изучения изолированного от всего общества индивида. Подобно тому, как данные наших восприятий они рассматривают в связи не с внешней средой, а только со стихией бессознательного, художник, его герои, персонажи анализируются школой Фрейда изолировано от общественно-исторической среды. Фрейдисты имели бы основание это делать, если бы ограничивали себя областью психо-биологических исследований. Между тем свой метод они все чаще и чаще начинают применять к явлениям общественным, механику и динамику которых можно понять путем анализа общественного человека, путем общественного, а не индивидуального психоанализа. На практике психоанализ Фрейда в искусствоведении подобен бегу на месте. Он лишен историзма. Русским фрейдистам, не знающим ни меры, ни ограничений, грозит к тому же прямая опасность увязнуть в открытиях, что такой-то художник стремился к кровосмешению, другой к отцеубийству, третий жаждал изнасиловать мать и т. д. Несуразности и преувеличения здесь легко могут выродиться в пикантную пошлятину.

Советская общественность уделяет сейчас фрейдизму, несомненно, большое внимание. Чем об'яснить такой интерес? Некоторые стороны фрейдизма с внешней, с показной стороны выглядят как будто по-марксистски. Таково, например, учение о скрытых бессознательных намерениях, о рационализации и сублимации их. Взятые сами по себе, изолированно, эти стороны психоанализа имеют марксистскую внешность. Только приведенные в общую связь со всей системой взглядов Фрейда, они обнаруживают свое кровное сродство не с марксизмом, а с «величественными метафизическими системами». Обилие медицинских терминов, слишком позитивная внешность, все это склоняет к соблазну соединить фрейдизм с марксизмом. Особенно этому соблазну легко поддаются марксиствующие и марксистообразные беспартийные круги интеллигенции, тяготеющие к марксизму, но все же отстоящие от него на известной дистанции. Надо также помнить, что наше время напряженнейших классовых битв очень суб'ективное. Спокойное исследование вопроса почти исключено. Практика властно врывается в теорию.

Но есть, по всей вероятности, и другие причины. В связи со стабилизацией капитализма, с нэпом и с задержкой в темпе революционной борьбы на Западе у нас значительно возрос вкус и интерес к личным проблемам, среди которых проблема пола занимает весьма почтенное место. Кое-где замечается также разочарование в рациональном направлении и ходе обще-

ственной борьбы пролетариата. Известно, что нэп до сих пор подсознательно и сознательно иногда истолковывается, как прямая сдача позиций революционным разумом сомнительным силам общественной стихии. Нотки безочарования и разочарования просачиваются даже в некоторые неустойчивые круги коммунистической партии и комсомола. Фрейдизм с его апологией и гиперболизацией бессознательного и сексуальных влечений может прийтись по душе и вызвать большой интерес к себе в среде пошатнувшихся, впавших в полу-размагниченное состояние по поводу «будней революции». Впрочем, эти предположения есть только грубая наметка, кажущаяся нам вероятной, но требующая особого и более тщательного обследования. Пока мы хотим сказать, что фрейдизм, как система взглядов с марксистским искусствоведением — не совместим.

P. S. В № 12 «Вестник Коммунистической Академии» за 1925 год помещена стенограмма содержательного доклада В. М. Фриче на интересующую нас тему «Фрейдизм и искусство». Докладчик ограничил себя рассмотрением преимущественно сексуальной теории Фрейда. Выводы формулированы т. Фриче в таких тезисах:

«1. Выводя художественный акт в конечном счете из сексуального чувства, порою даже отождествляя их, венская школа противоречит тому, что мы знаем о происхождении искусства и об искусстве на ранних ступенях цивилизации.

2. Считая художественный акт сублимацией инцестуозного комплекса, она эротически препарирует известные литературные образы, подобно тому, как венские поэты эротически препарируют своих героев.

3. Чрезмерное увлечение венской школы сексуальным моментом особенно наглядно сказалось в их истолковании психологии и образа монархоборца.

4. Сексуализируя другие понятия-символы, которыми оперируют художники, они противоречат друг другу жесточайшим образом.

5. Искусство в их истолковании лишено характера социально-организующего начала, и его социальное значение сводится разве к некоторому обезвреживанию культурно-ненужных аффектов.

6. Допуская в низших ступенях культуры обусловленность художественного творчества внешними причинами, венская школа считает художника на более высоких ступенях культуры свободным от всяких социальных, культурных и литературных влияний.

7. Рассматривая художников вне исторической среды, она превратно толкует их творчество и совершенно не в состоянии об'яснить своеобразие их тематики и формы.

8. Усматривая в истории искусства лишь смену великих творцов, венская школа тем самым отрицает идею науки об искусстве, как о закономерном процессе развития.

9. Занимаясь не историей искусства, а психологией художника, она последнюю тайну художника — его способность сублимации — не разгадала.

10. На всем учении венской школы об искусстве, поскольку оно нами изложено, лежит печать — хотя и интересного, но явного — дилетантизма».

Соображения тов. Фриче нам кажутся правильными, как и его вывод о несовместимости марксизма с фрейдизмом.

В прениях по докладу приняли участие Лебедев-Полянский, Харазов, Столпнер, Переверзев. Отсылая интересующихся читателей к стенограмме, мы кратчайшим образом отметим их итоги. Т. Лебедев-Полянский, соглашаясь с выводами В. М. Фриче, полагает, что отдельные биологические моменты фрейдизма содержат много интересного и здорового. Сюда следует отнести, например, положение, что в творчестве колоссальную роль играет подсознание. Фрейдизм ни в какой мере не может заменить марксизма, но может оказаться полезным при анализе индивидуальных особенностей художника. Харазов считает, что Фрейд замечателен, как психиатр, и многое может дать и в искусствоведении. Правильна мысль, что все вытекает из сексуальности. «Тут нет ничего ужасного и страшного». По мнению Столпнера, Фрейд — человек гениальной интуиции, но в его учении есть много надуманного (инцест, Эдипов-комплекс и т. д.). В своей области фрейдизм законная, реальная гипотеза. Но «фрейдизм распространяется на область первобытной культуры... переносится в область изучения литературы... Фрейдизм в области изучения литературы ничего не дает. Это пустое место». Переверзев утверждает: «считать фрейдизм материалистической системой, родственной марксизму — глубочайшая иллюзия. Фрейдизм и психоанализ насквозь идеалистические системы... Фрейд в своем психоанализе исходит из суб'екта, от анализа суб'ективных переживаний... марксизм ничем не может позаимствоваться от фрейдизма в своих искусствоведческих исследованиях. Идея подсознательного давным-давно известна марксистам, но понятие о подсознательном у марксистов другое, чем у Фрейда. «Это не то, что принадлежит специфически индивидууму, а это то, что откуда-то из биологических глубин, из массовой стихии — это род, это коллектив, который живет в индивидуальной психике. По мнению Фрейда, «искусство целиком лежит в области невропатологии, марксисту-социологу тут делать нечего».

Психоанализу Фрейда в «Коммунистической Академии» явно и законно не повезло.

Литературные заметки.

А. Лежнев.

«Перевал» № 3; «Октябрь» №№ 3—4, 5, 6; «Рабочий Журнал» № 4, «Сибирские Огни» № 2; «Россия» № 5.

I.

Из всех вышедших сборников «Перевала» третий оказался наиболее интересным и удачно составленным. Стихов стало значительно меньше по сравнению с прежним, появились новые отделы (в частности литературно-критический). Наконец, сборник получил тот центр тяжести, которого не было, например, во второй книге альманаха, перегруженной мелкими рассказами. Этот центр тяжести — в двух вещах: рассказе Б. Губера «Шарашкина контора» и пьесе М. Яхонтовой «Декабристы».

И Губер и Яхонтова являются очень молодыми писателями. Если не ошибаемся, названные произведения — первые, с которыми они выступают в печати, во всяком случае их первый серьезный дебют. По пословице, первый блин — комом. В данном случае пословица не оправдалась. Вещи Губера и Яхонтовой далеко не безукоризненны, они не свободны от недостатков, иногда очень крупных, но они не безличны и не безразличны, они не забываются тотчас же по прочтении, как это сейчас случается с произведениями большинства молодых писателей, в звуке голоса этих авторов (особенно Губера) есть свой тембр, их первое слово позволяет надеяться, что последующие будут значительнее, больше.

Насколько можно судить по одному произведению, в лице Губера мы имеем писателя культурного склада, чувствующего стиль и, видимо, работающего над языком. Нетрудно заметить его тяготение к отчетливой, определенной и уравновешенной «классической» манере письма, его связь с Буниным. Стиль его не совсем еще выработался: на-ряду со сравнениями, эпитетами, образами тонкими и точными можно у него иногда встретить и такие избитые и вычурные как «солнце рассыпало по снегу мириады горячих искр», «все сливается в один яркий и пряный букет» и т. д. Правда, этих погрешностей немного.

Губер показывает быт, но не является «бытовиком» в том отрицательном смысле, который часто придается этому выражению: он не замыкается

в быту, он не ограничивается поверхностью быта, бытовые мотивы у него психологически углублены. В этой психологической углубленности его сильная сторона. Но тут же мы сталкиваемся с крупным недостатком губеровского рассказа. Тема взята в слишком комнатном, интимном разрезе. История девушки, попавшей в обстановку деревенского барышничества, жадности, грубости и задавленной, сломленной ею, недостаточно вдвинута в социальную перспективу. Не то, чтобы автор не показал социального фона, на котором разыгрывается драма его Зины: и деревня, и атмосфера «шарашкиной конторы» изображены им очень не плохо. Но если слова и сказаны нужные, то ударения поставлены не так, как следует. Драма Зины так и остается личной ее драмой, не более, драмой комнатного масштаба, которой нехватает общественного резонанса. К этому присоединяется еще и то обстоятельство, что рассказ оборван автором не там, где находится его психологическое завершение, конечный пункт его внутренней логики, а на моменте перелома. Такие концы хороши были в чеховскую эпоху, когда жизнь развертывалась на ровной плоскости: неожиданность внезапно оборванного конца была тогда лишь чисто внешней неожиданностью, внешним эффектом конструкции. Взяв любой отрезок жизни чеховского героя, мы без труда можем определить, как пойдет его дальнейший путь. Не то в наше время, когда плоскость разбита переломными гранями. Оборвать т е п е р ь на грани перелома — значит дать действительно фрагмент, нечто лишенное внутреннего центра и завершенности, незаконченный художественный организм. Читатель расстается с Зиной на перепутьи. Совсем было раздавленная, она снова находит в себе волю к жизни. Она собирается в Москву из омута шарашкиной конторы. Но в своей новой жизни останется ли она прежней Зиной, которой город нравится потому, что там магазины и кино? Или резец пережитого изменит ее облик, придаст ей иные черты, устремленность, волю? Этого читатель не знает. Мы думаем, что к Губеру можно и следует пред'явить более строгие требования: он уже вышел из стадии ученичества в узком, непосредственном смысле этого слова, он талантлив, сразу обнаруживает черты своеобразной художественной индивидуальности и темперамента — и если будет работать над собой, выработается в серьезного и хорошего писателя.

«Декабристы» Яхонтовой задуманы как вещь большого масштаба, больших обобщений. При нынешней склонности литературного молодняка к ползучему бытовизму, уже одно это тяготение к большим темам, к широким охватам выгодно выделяет молодого автора. Пьеса имеет свои недостатки — о них ниже, — но одного достоинства у нее во всяком случае отнять нельзя: она прочитывается с начала до конца с большим интересом. Правда, интерес этот, главным образом, чисто литературный, пьеса мало сценична, она слишком перегружена рассуждениями, дискуссиями, спорами, — это драма не для театра, а для чтения. Но в конце концов и драма для чтения — законный род литературы. В этих пределах в пьесе можно отметить ряд плюсов: автор, видимо, хорошо знаком с эпохой, он умеет заставлять читателя смотреть своими глазами, в пьесе есть ряд подлинно драматических ситуаций. Вместе с тем сказывается влияние исторических пьес Мережковского: как и там,

действующие лица произносят только умные слова — с оглядкой на будущего читателя, позируют, как будто предчувствуя, что через сто лет их выведут в драме; как и там, слишком выпирает схема, логический скелет замысла. Некоторые персонажи неудачны, например предатель Шервуд, в котором слиты в один странный метафизико-мелодраматический сплав черты «патетического злодея», мелкого человека — по Достоевскому, — ушибленного своим ничтожеством, и обыкновенного подхалима. Есть мелодраматический налет и в кое-каких сценах, например там, где к Сергею Муравьеву-Апостолу в бреду являются Шервуд и Марина.

Декабристы» и «Шарашкина контора» являются, как было уже указано, самыми значительными и интересными произведениями в альманахе. Кроме них, в отделе прозы надо отметить недурной сказ Ветрова «Лихоманка». Остальная проза — «Ледоход» Т. Игумновой, «Новые галоши» Н. Чертовой, «Андрюшка Сатана» А. Дьяконова — довольно сера (впрочем, повесть Дьяконова значительно лучше первых двух). Темпераментная и стремительная «Вольница» Артема Веселого является перепечаткой из «Лефа», о ней нам уже приходилось писать в «Красной Нови».

Хорошо составлен отдел «По большакам и проселкам» с остроумными и живыми бытовыми рассказами Костерина, Гехта, Сергеевой. «Рассказы о веселом мужицком попе» Костерина являются по своей свободе, непринужденности, естественности большим шагом вперед в развитии этого писателя, в произведениях которого сказывалась прежде какая-то связанность, напряженность. Мешают только изредка попадающиеся вещие фразы в пильняковском стиле («И так же вот это, — от дедов повелось, когда тело затрухлявится, тело, проросшее из дубовых корневищ, затрухлявится и заскрипит на ветрах,—положено от дедов и от далеких веков ложиться и помирать»). «Абрикосовый самогон» Гехта при всем своем остроумии все же несколько поверхностно-анекдотичен.

Неизвестно почему, в этот отдел, посвященный быту русской деревни и провинции, попала поэма М. Светлова «Ночные встречи», произведение чисто лирического характера. Она представляет собой своего рода «лирическое отступление» и свидетельствует о временной эмоциональной депрессии поэта. Первая часть поэмы проникнута мрачным настроением и имеет темный, призрачный колорит. Ее основная идея выражена в стихах:

Время не то пошло теперь,
Прямо шагать нельзя,
И для того, чтоб открыть дверь,
Надо пропуск взять.

Нынче не то, что у нас в степи —
Вольно нельзя жить...
Строится дом, и каждый кирпич
Хочет тебя убить.

И ты с опаской обходишь дом,
И руку вложил в карман,
Где голодающим зверком
Дремлет твой наган.

В этих словах — тоска по первым годам революции, запоздалый романтизм, не умеющий свыкнуться с новыми «окольными» путями. Вторая часть, где поэта посещает Гейне, носит сатирический характер, при чем об'ектом сатирических нападок является современная литература, в частности «швабская школа — Мапп». Есть здесь удачные места, но есть и натянутые мелкие остроты. Кое-что редакцией повыпущено.

Прямо противоположно светловской поэме по настроению прекрасное стихотворение Мих. Голодного «Страна Советов».

Литературно-критический отдел, появляющийся в «Перевале» впервые, к сожалению, не совсем удачен. Довольно интересный материал, характеризующий литературные нравы провинции, находим в статье Н. Зарудина «Город Клюква на поприще «художественной» политики».

II.

Если уже в «Перевале» «бытовизм» дает себя сильно знать, то в «Октябре» он положительно господствует. Задание, которое подсказывается жизнью и которое сами писатели сознательно ставят себе — показать жизнь рабочего и крестьянина, понимается здесь слишком упрощенно: показ сводится к ряду бытовых картинок. Перед нами — бескрылый реализм без попытки дать крупное обобщение, широкое полотно. В значительной степени пролетписатели пишут жанровые картинки потому, что их к этому толкает та атмосфера малых дел, литературного крохоборчества, которая царит в большинстве литорганизаций и кружков и усугубляется всяческими манифестами и декларациями. Писатель мечется в кругу подсказываемых тем, ни одной не успевая продумать, прочувствовать до конца, в результате — произведения недоношенные, недостаточно убедительные. Писатель — не фотограф: щелкнул аппаратом и готово. Это не значит, что пролетписатели должны, не медля ни минуты, перейти к монументальному творчеству. Монументальное искусство не создается по заказу. Его нельзя требовать. Но можно и следует требовать углубленного искусства, не довольствующегося поверхностью вещей, углубленного реализма, старающегося за внешностью явлений разглядеть их сущность и корни. Нельзя пролетписателей воспитывать на малом искусстве, в атмосфере малой литературы, нельзя учить художественному реализму по сакраментальной фразе: «Едят тебя мухи с комарами, — сказал дядя Митрий и почесал в затылке»; нельзя прививать им вкусы и навыки эпигонов-народников из «Русского Богатства». Надо, чтобы писатель знал, что тем, что он нарисует бытовую картинку, он дает еще очень мало, надо развивать вкус и стремление к большому, углубленному искусству. И тогда мы увидим, что прав был Гейне, когда говорил, что львица не начинает с того, что производит на свет котенка.

Недостатки малой литературы существуют не только в «Октябре»: мы их найдем и в «Рабочем Журнале» и в «Перевале», но в «Октябре» они приняли особенно отчетливую, выпуклую форму. В трех, указанных в подзаголовке статьи, книгах журнала напечатано 15 рассказов, повестей

и очерков различных авторов: Логинова-Лесняка, Грабаря, Евдокимова, Минаева, Хованской, Зырянова, Гива, Ефремова. Я не скажу, чтоб эти рассказы и повести были слабыми, некоторые написаны очень недурно. Но вот вы закрыли книгу — и уже не можете вспомнить, какой рассказ написан Логиновым-Лесняком, а какой Хованской, о чем говорится в вещи Грабаря, о чем у Ефремова. Все сливается в одно большое одноцветное пятно. В чем же дело? Почему заражающая сила произведений оказалась почти равной нулю, и они не провели в нашем сознании ни одной резкой черты? Потому, что писатели бездарны? Нет, это не верно. Крупных талантов среди них, правда, нет, но каждый обладает известным дарованием. Причина в установке на бытовизм, в атмосфере малой литературы. Литература, изображающая поверхность явлений, задевает лишь поверхность сознания. При том же размере дарования молодые писатели «Октября» могли бы дать вещи запоминающиеся, впечатляющие несравненно сильнее и глубже. Бытовизм им дал все, что он мог дать: он научал их писать более или менее занятно, сделал их «читабельными». Волновать, увлекать, «заражать» ему не дано.

Ввиду их общего однотонного характера мы не станем останавливаться на отдельных произведениях и отметим только сильно написанный рассказ Дарьджи Аппековой «Над Камой» (гражданская война в татарской деревне), большую повесть Ив. Евдокимова «Сиверко», в первой части которой (детство Кенки, мальчика из рабочей семьи) есть яркие моменты, но которую портит нарочитая резкость в распределении света и тени (Кенка и храбр, и предприимчив, и великодушен, а его товарищ Борька, мальчик из буржуазной семьи, труслив, лишен инициативы и т. д.) и отсутствие достаточной связи между первой частью и второй (где Кенка выступает как взрослый и революционер); северный сказ Грабаря «Морошка-ягода» и «Новорожденный» Жилина. Последний стóит отметить из-за чрезвычайной нелепости построения. Для того, чтобы составить занимательный очерк из «нового быта», автору понадобилось ввести следующие «трюки»: 1) отец новорожденного находит сумку с несколькими червонцами, которая каким-то чудесным образом зацепилась за его пуговицу при посадке в трамвай; 2) тетка новорожденного случайно обменивается сумками с одной нэпманшей, что ей дает лишних 130 р.; 3) ребенок, которого родители считают умершим, на деле оказывается живым и находится в яслях; похищение ребенка нужно для того, чтобы он мог избежать крещения и получить имя Ким. Мораль предлагается вывести самому читателю.

Среди стихотворений выделяются две превосходные вещи Александровского «Нападение» и «Ты стояла у темных икон», первое — энергичное, стремительное, второе — полное внутренней музыки, лиризма.

В отделе литературной критики обращают на себя внимание два доклада Лелевича: «Форма и содержание» и «О пролетарской лирике». Первый написан дельно и толково. С большей частью его положений следует согласиться (в целом он представляет систематизацию и развитие, а главное, конкретизацию положений о зависимости между формой и содержанием,

о том, что следует в художественном произведении отнести к форме, а что к содержанию и т. д., положений, высказанных в разное время и отрывочно в марксистской критике Плехановым, Троцким, Луначарским и др.). Гораздо более спорна другая его статья «О пролетарской лирике», где мы находим такие утверждения:

«Если стихотворения, которые выходят у данного поэта искренне и выливаются сами собой, выявляют чужие чувства и приносят вред делу рабочего класса, то лучше временно пиши стихи менее совершенные, менее сердечные, менее художественные, но более нужные нашему классу, если ты никак не можешь совместить и то и другое. Через эти менее совершенные стихи, при условии работы над собой, ты придешь к искренним и в то же время выдержанным произведениям».

В данных условиях, при нынешнем писательском материале, слова Лелевича могут звучать только как поощрение, едва ли не как приглашение писать неискренно (лишь бы выдержанно). Но неискренние произведения плохи не с моральной точки зрения, не потому, что дурно притворяться (хотя и это достаточно неприятно), а потому, что они не имеют никакой ценности, не в состоянии никого «заражать». Конечно, поэту очень даже не мешает переделывать свою психику, но это — процесс длительный, и если стоять на точке зрения Лелевича и быть последовательным, то надо сказать, что поэт не должен писать (по крайней мере, не должен печататься) до тех пор, пока он не переделает своей психики.

В статье И. Евдокимова «От Шкулева до наших дней» находим ряд характеристик (Безыменского, Жарова, Родова), которые на страницах «Октября» звучат неожиданно и странно. («Последние поэмы А. Безыменского «Груз», «Война этажей» начинают пугать. Не попробовать ли А. Безыменскому раздвинуть рамки будничных сюжетов, а то как бы ему не превратиться в собственного перепевателя?.. Захват творчества А. Безыменского не широк — у него довольно ограниченный словарь, быстро исчерпывающийся, а следовательно — или надо более глубоко проникнуть в обыденность явлений, находя для них более высоковесные слова, или же надо развернуть дарование вширь за счет глубины. Поэзия Безыменского действует на сознание, на ум крепче, чем на чувства: в этом также таятся опасности... В поэзии Безыменского мало образности, картинности, живописи, неизбывно действующих на воображение читателя, в нем много талантливого теоретизирования явлений. Его форма неограничена. Безыменскому надо найти свою форму... А. Жаров по-юношески любит высокопарную фразу... Все эти жаровские — «звездопадный разговор», «солнечные пути», «осеребренные руины», «под флагом песен и свобод», «ручьево-реченский район», «пролетариат — профессор революции» — достаточно надуманны, фальшивы и шаблонны... А. Жарову надо внимательнее почитать Пушкина, Есенина, Казина, Доронина, Полетаева, он научится у них той прекрасной простоте, которая струится в их стихах, как ручей» и т. д.) Статья И. Евдокимова сопровождается оговоркой редакции, не согласной «с некоторыми оценками автора».

4-й номер «Рабочего Журнала» составлен не особенно удачно. Центральной вещью в нем является рассказ А. Бибика «День причастия» (маевка в дореволюционную эпоху). Рассказ имеет несомненное значение как материал, знакомящий молодежь с борьбой рабочего класса при царизме, но собственно художественное значение его невелико. Сравнивая его с тем, что ищут пролетписатели теперь, видишь, как все-таки далеко вперед шагнула пролетарская литература. Нового в писательский облик Бибика этот рассказ не вносит ничего. Из остальной прозы «Рабочего Журнала» наиболее интересен рассказ Д. Крутикова «Баба», написанный живо и сочно, в котором сказывается влияние Артема Веселого и Бабеля (это двойное влияние можно проследить и в ряде произведений других молодых пролетписателей; ср., например, «Вермишель» Б. Мещерякова, — «Октябрь» № 6). «Слободка» Афромеева типично бытовая «середняцкая» вещь. Не плох рассказ Заходяченко «Эшелон».

Поэма С. Обрадовича «Явь» написана сильным мужественным стихом; в ней использованы элементы другой его поэмы «Узловая».

В целом художественному отделу «Рабочего Журнала», еще больше, чем беллетристике «Октября», недостает яркости. В ней господствует серый цвет. Нечего и говорить, какой это минус в журнале, рассчитанном на массового читателя.

Тот же недостаток, хотя и не в такой степени, во второй книжке «Сибирских Огней». Рассказы из гражданской войны И. Гольдберга («Никшина оплошность») и А. Шугаева («Золотая голова») не выдаются ни в каком отношении. Широко задуман «Пятый год» О. Руновой (в журнале помещен отрывок), начало (отрывка) трафаретно, но есть сильные места (разгром усадьбы, выступление черной сотни). Общий серый тон журнала разбивается «Минетозой» Конст. Паустовского, в которой есть краски, движение, темперамент. Отчасти, быть может, эта красочность об'ясняется экзотичностью обстановки: действие рассказа разыгрывается в тропиках, где на добыче каучука работает и умирает от лихорадки разноплеменная толпа рабочих. В быстром развертывании действия, в энергичных и резких мазках есть многое, напоминающее О. Генри, а дух бодрости, предприимчивости и простой жизнерадостности, проникающий рассказ, несмотря на его трагическое начало, прекрасно гармонирует с этим американизмом формы. Стихи не останавливают на себе внимания, отметить следует разве только четкие строчки Иосифа Уткина.

III.

Художественный отдел 5-й книжки «России» почти весь занят двумя большими вещами: продолжением романа Мих. Булгакова «Белая Гвардия» и «Гражданином Ножиковым» Бломквиста. Роман Булгакова еще не окончен, что делает невозможным и окончательную его оценку. В частности, неясно еще то, что можно было бы назвать идеологической перспективой романа. Но уже сейчас видно, что он задуман достаточно широко, что в нем тщательно разработана сюжетная сторона (пересечения сюжетных линий пока не видно, оно еще только намечается), что в трактовке действующих лиц

автор старается следовать Льву Толстому, изображая своих офицеров ни негодяями, ни героями, показывая их не только — и не столько — «на посту», сколько в домашней обстановке, слегка опоэтизированной (есть сходство и между отдельными действующими лицами «Белой Гвардии» и персонажами Толстого: так, Николка Турбин напоминает Петю Ростова). Кстати это опоэтизирование действует довольно-таки неприятно. Несмотря на жесткость отдельных сцен — бегство Скоропадского, оставление гетманцами Киева и т. д., — роман выдержан в слишком мягких тонах. Между автором и его героями нет «пафоса расстояния», нет черты разрыва. По крайней мере ее не видно сейчас. Быть может, окончание изменит идеологическую перспективу.

«Гражданин Ножиков» принадлежит совсем молодому писателю, безвременно погибшему, тогда, когда «верстались листы журнала с «Гражданином Ножиковым», дебютом автора в большой печати». Редакцией посвящен Бломквисту прочувствованный некролог и дана довольно лестная оценка его дарования. («И вот явился талантливый незнакомец, молодой писатель Георгий Карлович Бломквист. В его рассказе прозвучала нам острая нота, почувствовалось новое пореволюционное взятие жизни, художественное претворение этого нового».) Как нам ни неудобно выступить при подобных обстоятельствах со словами возражения и критики, мы все же позволим себе не согласиться с мнением редакции «России». Что Бломквист талантлив — это возможно, но мы решительно не видим, почему его произведение надо считать каким-то новым словом. «Гражданин Ножиков» написан кричаще безвкусно, манерно, в нем — смесь беззубой иронии и неопределенной символики, он нарочито усложнен и запутан. Если бы Бломквист и действительно пришел с чем-то новым, он мог бы это новое выразить яснее и проще. Но беда в том, что это новое под сильнейшим сомнением: откровенно говоря, мы склонны думать, что та острая нота, которая прозвучала чуткому слуху редакции «России», была результатом галлюцинации.

Критический отдел журнала интереснее и богаче на этот раз художественного. Правда, интерес этот своеобразный, аналогичный тому интересу, который вызывает в нас какая-нибудь чуждая и странная флора. В оранжереях «России» распускаются цветы, которые мы давно уже отвыкли видеть. Пряная и вычурная критическая флора, играющая всеми оттенками парадокса, словесной игры, неоправданных сближений, многозначительных намеков, подбитых, как ватой, иными дублирующими смыслами, недосказанных мыслей, брошенных вскользь, будто невзначай, восточная кухня любомудрия, где истина потребляется только тогда, когда она уже с душком, слегка загнила и подана пряно приправленной, — эта литература рассчитана лишь на особого, привычного потребителя. Не всякий вынесет душный воздух теплицы или давно непроветриваемых комнат. Почти каждая статья вызывает здесь на возражения, и только характер нашего обзора, позволяющий нам затрагивать теоретические вопросы лишь мимоходом, заставляет нас воздержаться от подробного анализа этих статей. А такой разбор был бы далеко не бесполезен.

Мы вкратце коснемся лишь наиболее любопытных. В статье «Вещь или творчество» Мих. Столяров об'являет поход против формального метода. Многие его замечания остроумны и справедливы, но в целом статья бьет гораздо дальше, чем это хочет представить ее автор. Она отрицает не только целесообразность формального метода, но и возможность всякого научного подхода к явлениям искусства, ибо наука немыслима без анализа, без разложения явлений и сведения их к более простым,—Столяров же утверждает, что анализ отскакивает от явлений искусства, как мяч от стены, что каждый раз, когда мы пытаемся разложить их на более простые, составные элементы, каждый раз, когда мы подходим к художественным произведениям с «ножом анализа», они ускользают от нас — и вместо идеальной геометрической пирамиды искусства у нас под руками ничего не говоряшая, каменная, вещественная пирамида. Это все равно, что сказать: научно об'яснить явлений искусства нельзя, их можно только постигнуть каким-то внутренним интуитивным путем, — идея достаточно старая и, по существу, реакционная. Неудивительно, что она так нравится многим поэтам: ведь она уничтожает возможность всякой рациональной критики и тем делает их совершенно неуязвимыми.

В «Письмах о современной литературе» Стрелец отказывает Сейфуллиной в праве на звание писательницы, а Бабеля обвиняет в декадентстве, стилизаторстве и техницизме. В статье есть меткие замечания, но неприятно коробит высокомерный снобизм критика. Кстати, как Столяров об'яснит критические набеги Стрельца? Ведь они тоже основываются на анализе.

Очень интересна статья Мариэтты Шагинян «Тревога», помещенная редакцией в качестве дискуссионной (хотя из всех помещенных в этом номере она как раз наименее спорная), в которой рассматривается вопрос о путях и перспективах непролетарских писателей, писателей, которых революция застала уже сложившимися.

Выводы ее коротко формулированы в последних строках статьи:

«Чтоб искусство служило будущему, надо оставить его на путях его, дать ему возможность «видеть пророческие сны» и не стоять над ним день и ночь со свечкой в руках. А чтоб художники служили будущему, надо помочь им пересмотреть свое мировоззрение, помочь им полюбить новую надстройку, пропитаться ею и сделать ее своей. Для этого мы сами, художники, должны сделать шаг в жизнь. Но пусть же мы шагнем не потому, что иначе нам некуда, а потому, что мы огляделись и выбрали».

С большей частью сказанного нельзя не согласиться.

Из жизни Гл. Ив. Успенского.

А. Иванчин-Писарев.

(По воспоминаниям.)

> «У кого узнать обо мне? Знают обо мне О. Н. Фигнер, А. И. Писарев, Н. К. Михайловский».
>
> (Из автобиографии Глеба Успенского, «Былое», 1907 г., № 10.)

I.

В июне 1875 года, после двухлетнего пребывания у себя в деревне, Ярославской губернии, и целого года раз'ездов по разным местам Саратовской, Рязанской и Калужской губерний, я попал в Париж, где в это время жили два лица, главным образом и повлиявшие на мое решение поселиться в столице Франции, это — Дмитрий Александрович Клеменц и Глеб Иванович Успенский. С первым я был близким товарищем по деятельности, а второго знал по его литературным произведениям и не раз слышал о нем, как о простом, изумительно остроумном и добром человеке. Последний по счету отзыв о Глебе Ивановиче я получил в дороге, заехав в Брюссель повидаться с С. М. Кравчинским.

— Я завидую тебе, — говорил Кравчинский, — ты будешь жить с Бульдожкой[1] и часто видеться с Успенским... Вот человек, доставляющий истинное наслаждение своим обществом, когда в ударе!.. Он часто подтрунивает надо мной, но всегда так остроумно, что совершенно обезоруживает меня, хотя, как ты знаешь, я не очень склонен давать себя в обиду...

В Париже мне пришлось устроиться с Клеменцом на rue Bertolet, 4, в квартире редактора журнала «Знание», Исидора Альбертовича Гольдсмидта, переехавшего на лето с своей женой на дачу, недалеко от Севра. Квартира была вполне благоустроенная, и Клеменц, предлагая мне избрать комнату, остановился на кабинете, сказав:

— Бери сей аппартамент!.. Здесь любит сидеть Успенский, находя его наиболее деловым по виду и уютным.

— А часто бывает у тебя Глеб Иванович? — спросил я.

---

[1]) Прозвище Клеменца.

— С от'ездом Исидора — довольно часто. Он живет за городом, в Отейле, и жалуется на безлюдие... «Один Тургенев в Буживале, по-близости, — говорит, — и тот в последнее время сидит на курином бульоне»... Успенский уверяет, что когда Иван Сергеевич «творит», то Виардо кормит его исключительно куриным бульоном и фруктами.

Дня через три Глеб Иванович, действительно, зашел к Клеменцу.

Издали до меня долетали отдельные фразы их разговора.

— А ко мне приехал мой ярославский барин, — сказал, между прочим, Клеменц, очевидно, раньше сообщивший Успенскому, что под видом моего кучера он занимался революционной пропагандой в Даниловском уезде.

— Народ, значит, все прибывает из России... Плохой признак! — послышался ответ.

Через несколько минут Клеменц привел ко мне Успенского.

— Вот вам — мой барин, Александр Иванович Иванчин-Писарев, а тебе — Глеб Иванович Успенский! — сказал он.

Передо мной стоял довольно высокий, стройный человек, с широким, белым и гладким лбом, с густыми русыми волосами на голове и более светлыми на бороде. Он внимательно смотрел на меня темно-карими глазами, как-то ласково-застенчиво улыбался и, протянув руку, сказал:

— Уцелели?

Я предложил ему сесть на кресло к столу, но он отказался:

— Я лучше — на диванчике, рядом с вами.

Клеменц принес спиртовой прибор для нагревания воды со всеми принадлежностями для чаепития и поставил на стол передо мной.

— Ну-ка, смастери чайку!.. Угостим Глеба Ивановича, — сказал он.

Наш гость сидел на диване и курил папироску, держа ее в правой руке, а левой покручивал бороду. Я заметил, что он курит без «затяжки», просто «дымит», но зато растягивает этот процесс на-долго особым приемом: когда папироса подходит к концу, он вынимает из нее мундштук и, вместо него, вставляет новую папиросу... Эта система куренья, это постоянное покручивание бороды и вообще порывистые движения обличали в нем крайне нервную натуру.

— Откуда вы прибыли к нам? — спросил меня Глеб Иванович.

— Из Калуги, где пребывание мое становилось рискованным, — ответил я.

— Прямо оттуда?

— Нет, заезжал в Вильну, чтобы при содействии одного приятеля перейти границу; пробыл три дня в Брюсселе у Кравчинского и — сюда.

— Границу миновали без приключений?

— Без малейших!

— Вон Дмитрия Александровича чуть ли не сама приятельница его [1]) перевела через границу!.. Какая изумительная организация!.. А много вы заплатили контрабандистам?

[1]) Анна Михайловна Эпштейн, в начале 70-х годов заведывавшая перевозкой заграничных изданий в Россию.

— За все про все — за встречу на станции железной дороги, за пару лошадей для переезда тридцати верст до пункта перехода границы и за целый экскорт проводников до пограничной речушки — 15 рублей и... две папиросы!

— Две папиросы?! — изумился Глеб Иванович, склонив голову на бок и как-то особенно улыбаясь сжатыми губами. — Две папиросы? — повторил он.

— Да. Когда мы поравнялись с опушкой небольшого леса, откуда выглянули два стражника, контрабандист сказал: «Дай-ка мне две папироски: я потом угощу их, они не любят наших сигар».

— По-божески берут!

— Раньше дешевле было, пока не сообразили, какие мы торговцы, — заметил Клеменц.

— Почему же догадались? — спросил Глеб Иванович.

— «Пограничников» у нас мало. Сегодня приедет наш Мойша для переговоров о транспорте книг, а через неделю привезет, вот, этакого «купца», как Александр: смекнули и повысили цену.

— А до выдачи не дойдут?

— Расчета нет. Среди действительных торговцев, путешествующих без заграничных паспортов семо и овамо, наш брат — капля в широком потоке... Представить одного в полицию — значит, закрыть свою пограничную черту: купец пойдет в другое место... Со стороны контрабандистов опасности нет.

— А стражники?

— Этим тоже нет расчета хватать нашего брата. Первое дело — как узнаешь, что идет «враг государства», а второе — сцапал одного, и лишился постоянного дохода! Ведь теперь за каждого беспаспортного фланера они получают два рубля...

— Только два рубля... и папироску? — насмешливо улыбнулся Глеб Иванович.

— Два рубля... Но сколько этих рублей наскребут в год, когда купец идет, как сельдь?.. Доход порядочный!.. А велика ли благостыня за нашего брата? Стоит ли из-за нее терять верный доход!

— Как все это интересно! — воскликнул Глеб Иванович и, повернувшись в мою сторону, тоном глубокой любознательности сказал: — Дмитрий Александрович передавал мне, как вы действовали в Ярославской губернии... Расскажите, пожалуйста, что вы потом делали, видели — все!

— Кстати и я послушаю, — прибавил Клеменц: — ведь я не знаю, где ты пропадал, расставшись со мной.

Не столько потому, что передо мной был писатель, кому хотелось сообщить материал из жизни, недоступной его непосредственному наблюдению, сколько потому, что вся манера Глеба Ивановича располагала к откровенной беседе, — я стал передавать подробности своих метаморфоз в течение года и тех впечатлений, какие вынес из столкновений с разными людьми за этот период.

Глеб Иванович оказался не заурядным слушателем, пассивно воспринимающим разные моменты повествования, а какой-то фотографической пла-

стинкой, схватывающей все оттенки переживаний, выпавших на долю рассказчика.

Так, упомянул я о случайной встрече в вагоне 2-го класса, около Тулы, с товарищем прокурора и жандармским офицером, ездившим куда-то по делам службы, и сказал, что, занимая верхнее место над ними, слышал, как они, между прочим, были озабочены розысками «молодцев, натворивших не мало каверз в Ярославской губернии»: на лице Глеба Ивановича отразилась тревога, он стал быстрее закручивать свою бороду и порывисто спросил:

— Не узнали вас?

Когда же услышал, что «блюстители порядка» вышли в г. Алексине, он облегченно вздохнул.

В другой раз его чудные глаза и лицо обнаружили прямо испуг, когда я передал, что, работая в Калуге в кузнице молотобойцем, своими неумелыми ударами так возмутил кузнеца, что он замахнулся на меня молотком.

— Ударил? — со страхом воскликнул Глеб Иванович.

— Нет, — успокоил я его. — Я сам поднял молот и сказал: «Очумел, что-ли: лезешь со своим крючком на мой инструмент»!.. Он отвел душу отборной бранью.

— Но он мог вас и ударить?.. Что бы вы тогда сделали?

— Вероятно, бросил бы молот и ушел...

— В рискованные же положения вы попадали! — все еще не мог успокоиться Глеб Иванович.

Он просидел с нами довольно долго. Случайно оторванный от России, он жадно прислушивался ко всем сведениям о том, что делается на родине, в особенности интересовался вопросом, какие перемены замечаются в жизни крестьян, в зависимости от последних реформ: введения земства и мировых учреждений.

Приходилось констатировать, что крестьяне пока отрицательно относятся к этим преобразованиям, не видя для себя никакой пользы ни от земского самоуправления, где им отведена мало заметная роль, ни от мировых учреждений, куда со своими гражданскими и уголовными претензиями к ним обращаются кулаки и помещики.

— Ну, а ссудо-сберегательные товарищества приносят пользу? — спросил Глеб Иванович.

— Приносят тому, кто получил ссуду, но на самое короткое время — до наступления срока возврата. А тут уж слышишь: «Не рад, что и связался: хуже податей выколачивают»... Ведь какие-нибудь 20—30 рублей не могут поправить расшатанное хозяйство настолько, чтобы уплата их стала по силам... Так бывает: возьмет крестьянин ссуду для покупки лошади, а потом ее же сведет на базар, чтобы рассчитаться с товариществом... Да и кто может получить ссуду? Вот, прекрасный работник, но скрутила его нужда. Помоги ему выпутаться — он встанет на ноги и погасит свой долг... В правлении товарищества начинают определять его кредитоспособность. Оказывается, что у мужика нет даже имущества, какое, по уставу товарищества, может подлежать продаже за долг.

— Эх, парень, — говорят ему, — дали бы мы тебе с превеликим удовольствием, ежели б у тебя... хоть коза была. А у тебя ничего нет.

— Было бы что — не просил бы у вас, — отвечает он.

— Ну, ты сам посуди, — вразумительно убеждают члены правления: — как же тебе дать, коли у тебя нет ничего?

— Да-а! Правильно! — заметил Глеб Иванович. — Как же тебе дать, коли у тебя ничего нет?

— Выходит, что ссудо-сберегательное товарищество преследует цель помощи только людям некоторого достатка.

— Что станешь делать? — вопросительно сказал Глеб Иванович. — Коли у тебя ничего нет, — зачем же тебе помогать?.. Логично... Вполне... Можно при случае воспользоваться этой логикой?.. В поучении нашим Шульце-Деличам? — спросил он.

— Пожалуйста!

Ясно было, что Глеба Ивановича глубоко заинтересовал этот факт.

— Еще долго думаете пробыть в Париже? — спросил его Клеменц.

— Надо ехать... ох! как надо... да правов нет! — задушевно-грустным тоном ответил Успенский. — Писал Григорию Захаровичу Елисееву, нельзя ли выслать рубликов триста?.. Не знаю, соблаговолит ли?.. может, ответит: «Да как тебе дать, коли у тебя ничего нет?...». Не пишется что-то в последнее время...

Прощаясь с нами, Глеб Иванович обратился к Клеменцу:

— Дмитрий Александрович, отец родной!.. Хоть у меня и нет козы, а позвольте перехватить у вас... франка два!

— У барина моего есть, а у меня все жалованье от него вышло, — ответил Дмитрий.

Еще не успел он окончить свою фразу, как я вынул из портмонэ несколько золотых и, положив на ладонь, протянул руку Глебу Ивановичу.

— Можно? — с улыбкой, наклонив голову, спросил он, взяв 20-франковую монету.

— Пожалуйста! Не надо ли еще?

— Не соблазняйте, господин!.. И так прегрешаю против нужды... Сашечке [1]) надо, — обратился он к Клеменцу, — шоколаду купить, себе папирос и пачку почтовой бумаги: писать-то ведь пора!

Это простое отношение к займу я мог об'яснить себе только присущей Глебу Ивановичу особой склонностью самому приходить на помощь любому человеку, нисколько не считаясь со своими нуждами.

Впоследствии я бывал свидетелем в Петербурге, как Г. И. Успенский, постоянно жалуясь на свое безденежье, — при получении из «Отечественных Записок» аванса в 200—300 рублей предлагал их при встрече с тем, от кого слышал, что ему нужны деньги.

— Вот, не угодно ли? — просто говорил он, вынимая из кармана пачку ассигнаций.

---

[1]) Старший сын Успенского.

Однажды, в 1881 году, он сидел у меня в обществе Николая Алексеевича Саблина и еще кого-то. Постоянный остряк, Саблин говорил, что «террористы» сейчас в большом затруднении, не зная, где соединить проводы, если придумают какой-нибудь динамитный взрыв.

— Я избрал бы, — шутил он, — памятник Екатерины и под шлейфом ее устроил нужные приспособления... Да, вот, беда — денег нет!.. Такое оскудение в моем кармане, — с глубоким вздохом произнес он, — что, вместо «Палкина», хожу в с'естную лавочку, а крепкие напитки — давно забыл!.. Да-а, с этой революцией всякое пьянство запустишь!..

Как раз в этот момент Глебу Ивановичу доставили ко мне, по его просьбе, 400 рублей из «Отечественных Записок».

— Пожалуйста! — протянул он всю сумму Саблину.

— Это зачем же? — изумился тот. — Для проводов под шлейфом или для поддержания пьянства?..

— Ведь вы говорите: оскудение в кармане... в с'естную лавочку ходите!..

— А-а, это я та...ак! «От большого остроумия говорю глупости», — как говорит моя матушка.

— Пожалуйста, не стесняйтесь!.. Возьмите!

Понадобилось мое вмешательство, чтобы убедить Глеба Ивановича, что Н. А. Саблин не испытывает ни малейшей нужды ни в чем, и его глубокий вздох о безденежьи был лишь, действительно, «глупостью от остроумия».

Думаю, что если в среде, родственной Саблину, где не только высоко ценили Успенского, как писателя, и знали более или менее его жизнь во всех подробностях, — никто не решился бы воспользоваться его предложением денег, то в других кругах, вероятно, встречались люди, готовые эксплоатировать его беспримерную отзывчивость ко всякой жалобе на недостаток средств...

II.

Наши встречи с Г. И. Успенским становились чаще и чаще. Ему «все не писалось и хотелось подышать деревенским воздухом», — как он отзывался о моих беседах по поводу вопросов деревни, какие занимали его; я же очень интересовался его оценкой текущих событий русской и заграничной жизни и, кроме того, все больше и больше проникался симпатией к его обаятельной личности.

Редкий день проходил без того, чтобы Глеб Иванович не приезжал в Париж и не предлагал совершить какую-либо прогулку по городу, где так много красот и еще больше памятников прошлой жизни великого народа, только что пережившего тогда нашествия пруссаков и разгром «Коммуны».

На первых же порах онюшений с Глебом Ивановичем легко было заметить, какая впечатлительность отличает этого человека. То, что успело захватить его внимание, отражалось или неожиданной вставкой в разговор на совершенно иную тему, или частым возвращением к чужой мысли, вдруг поразившей его, как резолюция правления ссудо-сберегательного това-

После беседы о земстве и мировых учреждениях прошло не мало времени. Мы направлялись с ним в Лувр по берегу Сены и вели разговор, не имевший отношения к деревне. Вдруг Глеб Иванович остановился и сказал:

— Смотрите!

На берегу реки какой-то юноша бросал камни в воду, а его сетер каждый раз с визгом кидался за ними... Собака видит, куда летит камень, где падает в воду, и, приплывая на место, чтобы схватить его, — с изумлением замечает лишь, как расходятся круги от падения камня...

— Вот они реформы-то! — сказал Глеб Иванович. — Крестьяне тоже одни круги видят...

И он стал приводит примеры, как они обманывались в своих ожиданиях, начиная с 1861 года.

Мы шли в Лувр, куда мне давно хотелось попасть, особенно после рассказов Глеба Ивановича о Венере Милосской, но он удерживал меня:

— Подождите! Пойдемте вместе!.. Я был там три раза и с наслаждением опять пойду.

В первом зале Лувра Глеб Иванович предупредил меня, указывая вдаль:

— Вон она там! Но вы не смотрите туда... Сначала пройдем коридором и будем глядеть другие статуи...

В узких залах, ведущих к Венере Милосской, встречались памятники изумительного искусства, с каким художники отдаленных эпох умели воплощать женскую красоту. Тут были женщины во весь рост, редкого сложения и в разных позах.

— Видите! — говорил Глеб Иванович, обращая мое внимание на целый ряд статуй. — Все Венерки! Каждая старается по своей части: одна — стоя, другая — сидя, третья — лежа... «Будят страсть»! — как говорят знатоки.

Когда мы были в двух шагах от комнаты, отведенной «Богине Красоты», Глеб Иванович, взяв меня за руку, сказал:

— Теперь закройте глаза... я поведу вас к ней.

Через минуту мы остановились.

— Смотрите! — произнес Успенский, прижался ко мне и заговорил почти шопотом. — Видите, какая посадка головы... шея... грудь... ни тени улыбки на лице... ничего вульгарного!.. Очевидно, художник хотел показать не прелести Венерки, а красоту человеческой души, способной проникнуться великим, слиться с ним. С такой душой в гармонии и внешность, выражение всей фигуры.

Под впечатлением мысли Глеба Ивановича, получавшей в его изложении новые штрихи, я смотрел на статую его глазами, и она все более и более оживала, становилась, действительно, олицетворением чего-то высокого...

— Вот красненький диванчик! — заговорил Глеб Иванович, когда мы отошли от «чуда искусства». — На нем сиживал Гейне и плакал... О чем? Так надо полагать: каялся... Покойник ведь любил женщин, и как любил! не одну, не двух, а сотни!.. У одной хороши глазки: «пожалуйте». У другой — шейка: «не угодно ли»? У третьей — ручки: «и эту надо приспособить»... А вон..

спина... разве найдешь еще такую спину? — «не откажитесь разделить ложе»!.. Да-а, целовал, миловал женщин, песни им пел, а хоть бы в одной поискал человека!.. Тут, только перед этой безрукой признал свой грех... ходил сюда и плакал. В ней, этом существе — только одно человеческое в высшем значении этого слова!.. Пойдемте еще взглянем!..

Если Глеб Иванович развивал какую-нибудь мысль, часто возвращался к ней, то можно было наверняка сказать, что эта мысль, с каждым разом принимая все более и более определенные очертания, очень скоро появится в печати. И мне казалось, что, передавая свои впечатления от Венеры Милосской, он не замедлит воспользоваться ими для своего очередного рассказа. Между тем, время шло, появлялись новые рассказы, очерки, исследования, а изумительный памятник искусства не находил себе места в его произведениях до 1885 года. Очевидно, ему чего-то недоставало для реализации этой темы, нужна была встреча с человеком высшего порядка, в ком высокая идея не отделялась бы от его существа, была бы гармонично слита с его личными переживаниями... С таким человеком он столкнулся в 80-х годах. Это была Вера Николаевна Фигнер.

Воображение Глеба Ивановича рисовало ее в образе «девушки строгого, почти монашеского типа» [1]). «Она оставила в нем светлое, радостное впечатление потому, что та глубокая печаль — печаль о не своем горе, начертанная на ее лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личною, собственною ее печалью; до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее одну, не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее сердце, в ее душу, в ее мысль, даже в сон ее, чему-нибудь такому, чтобы могло не подойти, нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла, — что при одном взгляде на нее всякое страдание теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, живым, что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: как хорошо! как славно!»

Теперь Глеб Иванович говорил уже более определенно о задаче художника, создавшего Венеру Милосскую: «Ему нужно было запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, ознакомить всех с ощущением счастья быть человеком, показать всем и обрадовать всех видимой возможностью быть прекрасным — вот какая огромная цель овладела его душой и руководила рукой. Он создал образчик такого человеческого существа, которое решительно нельзя представить способным принять малейшее участие в том порядке жизни, до которого мы дожили. Нельзя представить себе это человеческое существо в каком бы то ни было из теперешних человеческих положений, не нарушая его красоты»...

И вот почему, когда герой Успенского, Тяпушкин, пришел к выводу, что цепляться за одно «из теперешних положений» — значит губить в себе человека, — он «укрепил в себе желание итти в темную массу народа и там

---

[1]) См. рассказ: «Выпрямила (отрывок из записок Тяпушкина)». Полное собрание сочинений Глеба Успенского. Издание шестое. Том III.

стремиться к тому, чтобы начинающий жить человек-народ не позволил себя унизить до необходимости переносить все уродства: быть лакеем, нищим, кокоткой и т. п.».

III.

— Здесь, в Париже, у рабочих свои клубы, — говорил мне Глеб Иванович, — можно наблюдать: чем труднее профессия, тем с большим азартом веселятся люди... Прачки и сапожники — самый неистовый народ в танцах!.. Прачка так вертит хвостом, что одним туром вальса может потушить все лампы; ей соответствует сапожник: вдвоем они поднимают такую бурю, что шляпа может слететь с головы... Пойдем посмотреть?

Мы отправились на Монмартр, где много разных кафе и зал для танцев.

У прачек было тесно. Мы осторожно лавировали среди танцующих, пока, наконец, заняли место, удобное для наблюдений.

— Какая беззаботная пара! — шепнул мне Глеб Иванович, когда мимо нас проскользнули двое — дама с цветком в волосах, красная от испарины, с открытым ртом, и кавалер — в синей блузе, весь в поту: оба улыбались и что-то кричали друг другу.

Были ли тут исключительно прачки и сапожники — трудно сказать, но, по сравнению с двумя другими кафе столяров и каменщиков, куда мы заходили после, здесь танцовальный азарт был гораздо выше, чем там.

У прачек Глеба Ивановича постигло «сущее бедствие», по его выражению.

Пока пары кружились в зале, на нас никто не обращал внимания. Но в антракте нас заметили по костюму: мы были в пальто. Глеб Иванович стоял и пощипывал бородку. Вдруг грянул вальс — и к нему подлетела миловидная брюнетка с веселым смехом:

— Permetez moi de vous engager, monsieur!

— Je ne puis pas! — ответил Глеб Иванович, взглянув на девушку своими очаровательными глазами.

— Oh, non! — вспыхнула она от восторга: — Vous pouvez tout! — И с этими словами положила руку на его плечо.

— Mademoiselle! Je suis malade! — с выражением такого ужаса на лице воскликнул Глеб Иванович, что прачка в испуге отдернула руку и, виновато повторяя: «pardon, monsieur», «pardon, monsieur», медленно направилась в другой зал, то-и-дело оборачиваясь в нашу сторону.

— Могучее сословие! — сказал Глеб Иванович. — Ведь она не только положила руку на мое плечо, а сжала его так, что я чуть не вскрикнул от боли... Вы умеете танцовать? — вдруг спросил он и, когда я ответил утвердительно, прибавил: — Пожалуйста, пригласите ее! Мне кажется: я обидел ее...

Я снял пальто, разыскал девушку и, видимо, доставил ей удовольствие, когда, после двух-трех кругов по залу, сделал последний тур рядом с Глебом Ивановичем.

— Mille pardons, monsieur! — воскликнула она, обращаясь к нему. — Je ne savais pas que vous êtes malade, — и протянула ему руку.

— Ну, и силища! — говорил Глеб Иванович, вспоминая ее пожатие. — Вероятно, сразу до суха выжимает белье...

IV.

Очень часто Глеб Иванович жаловался не только на безденежье, но и на... «безысходную нужду»... Ему казалось, что он был бы «поистине счастлив», если бы мог получить в России какое-нибудь место с жалованьем не больше 100 руб. в месяц», чтобы этой суммой гарантировать семье «основное пропитание», а затем уже без особых тревог заботиться о дальнейшем «приумножении капиталов».

— Писал бы не из-под палки, как теперь, — пояснял он, — а по внушению свободного рассудка...

Я предложил устроить ему эту «идиллию» при помощи моих калужских приятелей, служивших на Ряжско-Вяземской железной дороге.

— Кто же эти благодетели? — порывисто спросил Успенский.

— Верховский — начальник движения дороги, Шатилов и Мосолов — видные члены конторы движения, и Малинин — кажется, делопроизводитель...

— И они могут дать мне место?

— Не сомневаюсь. И вот почему: Верховский, Шатилов и Мосолов — люди с большим закалом 60-х годов (двое были даже на поселении), а Малинин судился по Нечаевскому процессу... От рискованных дел они уклонились, но сочувствуют им в пределах безопасности, и все — страстные поклонники «Отечественных Записок». Шатилов любит читать в обществе ваши рассказы, а Верховский — Щедрина, и прекрасно читают... Уже в силу расположения к вам, как к писателю, они не только обеспечат вам «основное пропитание семьи», но и предоставят досуг для «приумножения капиталов» литературным трудом...

Глеб Иванович задумался. Быстро курил и покручивал свою бородку.

— И вдруг я получу место! — воскликнул он, как бы продолжая вслух свою думу. — Напишите, родной! Попаду на рельсы — какое спасибо скажу вам!

Я немедленно послал письмо в Калугу Алексею Михайловичу Верховскому, прося его устроить у себя Г. И. Успенского, сообразуясь с необходимостью платить ему жалованье не меньше 100 руб. в месяц и не отягощать его работой, чтобы он имел свободное время для литературных занятий. Кроме того, ввиду его безденежья в данный момент, я просил выслать ему прогоны 200 руб.

Ответ из Калуги, по моему расчету, не мог притти раньше, как через две недели. Но Верховский, из желания доставить удовольствие Глебу Ивановичу, ответил по телеграфу: «место готово, и прогоны посланы».

Я отвез телеграмму в Отейль.

— Прогоны! — изумился Глеб Иванович, не зная, что я просил Верховского об этом. — Александра Васильевна! — крикнул он жене. — Поздравьте! Определен на службу, да еще с прогонами!.. — Интересно, — обратился он ко мне, — на сколько лошадей пришлют ассигновку?

Он был доволен полученным ответом. Ему не сиделось дома, и мы поехали к нам, на rue Bertolet.

— Дмитрий Александрович, поздравьте! — говорил Глеб Иванович, здороваясь с Клеменцом: — получил место в Калуге на железной дороге.

— А по какой части? — спросил Дмитрий.

— Буду подносить начальнику движения срочные телеграммы для подписи: «Счастливое крушение. Разбито 15 вагонов. Пассажиров не было. Товаров тоже. Путь свободен».

Накануне в Париж приехал С. М. Кравчинский и остановился у нас. Большой фантазер, он явился с проектом рассылать в копиях свои новые произведения близким товарищам для получения от них отзывов раньше, чем пустить ту или другую статью в печать. Для этой цели он купил себе «циклостин» и принес домой, когда у нас сидел Успенский.

— Сергей Михайлович! — радостно воскликнул Глеб Иванович, когда увидел его, и расцеловался с ним. — Пописываете?

— Как же!.. Вот купил копировальный прибор, хочу рассылать приятелям свои писания для оценки их еще в рукописях... Позвольте и вам посылать? Для меня очень ценны будут ваши указания.

Глеб Иванович с улыбкой смотрел на него.

— Когда же ваша статья попадет в печать? — спросил он, — если вы сначала пустите ее по рукам всех ваших друзей, приятелей и знакомых!.. И выдумает же человек Сизифову работу!

Кравчинскому не понравилось это замечание.

— Положим... не всем приятелям!.. Но это необходимо потому, что я пишу ответственные статьи для революционных изданий, а не какие-нибудь рассказы для легальных...

— Значит, вы думаете, что мы пишем, не чувствуя ответственности перед читателем? Что взбрело в башку, то и жарь?.. Напрасно, господин, вы так порочите нас!

— Я вовсе так не думаю, Глеб Иванович! — захотел вывернуться Кравчинский. — У вас одна ответственность, у меня — другая. Да и не лично вас я имел в виду... Я...

— В таком случае, — перебил Успенский, — покажите-ка, что это за инструмент? Может, и мне пригодится...

Кравчинский энергично принялся развязывать покупку и об'яснять, как надо пользоваться циклостином. Он написал для копии две строчки из песни, сочиненной Клеменцом, «Барка», где упоминается о лоцмане.

Получился плохой оттиск.

— На-ка, изобрази мою стишину! — сказал Клеменц и подал Кравчинскому свою эпиграмму на П. Л. Лаврова.

Ex-профессор, ex-философ—
Революции оплот,
Он сидит верхом на раке
И кричит: «вперед! вперед!».

Кравчинский тщательно смыл губкой с мастики свои строки и снял копию с эпиграммы.

Получился опять слепой оттиск.

Дмитрий заглянул в наставление, как обращаться с циклостином, и открыл, что Кравчинский упустил из вида какие-то нужные манипуляции.

— Позвольте, теперь я напишу, — сказал Глеб Иванович и, пока Кравчинский приготовлял мастику, написал крупными буквами:

«Манифест.

Которые теперича земли у помещиков, те и взять, деньги присылать нам, а вам жить смирно. Глеб Успенский».

В этот раз копия вышла удачной.

— Видите, инструментик-то как работает, — сказал Глеб Иванович, — если требовать от него копии глупости!.. на умное не очень-то отзывчив... Напишите-ка еще что-нибудь, Сергей Михайлович!

Кравчинский написал: «Глеб Успенский велит вам жить смирно: не слушайтесь!»

Получилась хорошая копия.

— Э-э! Может служить нашим и вашим, — заметил Глеб Иванович. — Теперь каждую переметную суму буду звать циклостином!

Все время, пока сидел у нас Успенский, он был в хорошем настроении: так подействовало на него известие из Калуги.

Перед уходом его, Кравчинский узнал, что Глеб Иванович еще не видел его сказки «Мудрица Наумовна», и предложил захватить ее с собой с непременным условием при первом же свидании высказать свой «откровенный» взгляд, удалась ли ему эта форма популяризации «Капитала» К. Маркса.

V

Через три-четыре дня Успенский снова приехал к нам. В этот раз он был мрачен и не выпускал папиросы из рта.

— Прочли мою «Мудрицу Наумовну»? — спросил Кравчинский.

— Протерпите, голубчик! Прочел и выскажу вам свое мнение... Сейчас же мне надо поговорить с Александром Ивановичем по неотложному делу... Не прогуляемся ли мы на бульвар S-t Michel!? — спросил он меня.

Нежелание Глеба Ивановича сидеть в четырех стенах показывало, что он чем-то расстроен. На улице он сказал мне:

— А ведь мне приходится отказаться от места в Калуге... Александра Васильевна подсчитала, сколько нам нужно для ликвидации здешней жизни и на дорогу — не хватит никаких прогонов, даже на 10 лошадей!.. Пожалуйста, напишите Верховскому: я не могу ехать.

— Может быть, можно сообща обсудить, какие вам предстоят расходы? — спросил я.

В ответ на мой вопрос Глеб Иванович вынул из кармана целую роспись, составленную Александрой Васильевной. Неудобно было рассматривать ее на улице, и я предложил зайти в кафе, где спросил красного вина и сифон.

За отдельным столиком, когда мы уселись, я стал пробегать смету: передо мной был документ изумительного ведения хозяйства! В доме муж, жена, крошка-ребенок и одна прислуга, а расходы, — достаточные для содержания большого семейства в 6—7 человек! Красное вино, сыр, масло, белый хлеб, сахар, мясо всех видов — все это приобреталось в таких количествах, что, несомненно, значительная часть портилась или уходила на сторону. На-ряду с этим прислуге не уплачено жалованья за два месяца, 80 франков!

— Как дорого обходится вам хозяйство! — сказал я.

— Ничего не поделаешь! — ответил Глеб Иванович. — От совести приходится брать лишнее.

— Как от совести?

— Кредитом пользуемся... Если долго не платить и уменьшить забор — подумают: не жулье ли? Вот и берешь: вместо одного фунта сыра—два и т. д.

В смете Александры Васильевны поражали еще размеры «poure boire» (прислуге—100 франков, консьерж—50 франков, гарсонам—40 франков), выкуп заложенных вещей и разные покупки на дорогу, начиная с новой шляпы...

— Чересчур много «на чай»! — заметил я.

— Нельзя иначе! У нашей Marie мы не только жалованье задерживали, но и перехватывали частенько... Консьерж тоже не без милости... Необходимо ублаготворить!

— Все-таки можно уменьшить. Вероятно, всякий раз возвращались им деньги с прибавкой?

— Не без этого.

— Ну, а покупки следует прямо сократить или целиком оставить до России... Выйдет, что для от'езда вам нужно 500, много 550 рублей... Прогонов получите 200, а 300 вытребуйте из «Отечественных Записок», или... займем здесь.

— Да разве пришлют 200 рублей прогонов?

— Конечно, не меньше. Завтра, послезавтра получатся деньги: увидите!

— А в «Отечественные Записки», признаться, я уже написал... вчера отправил статейку и... присовокупил... Так повременить советуете, не отказываться?

— Ни в каком случае... Давайте, чокнемся за от'езд!

Глеб Иванович мало-по-малу развеселился.

— Возьмем еще бутылочку, — просительно сказал он.

— Не много ли?

— Что вы!.. и сыру кусочек!

Он становился оживленнее.

— Вот, я сижу с вами в кафе, — говорил Глеб Иванович, — и невольно вспоминаю «Серапинскую гостиницу» на Забалканском проспекте, в Петербурге. Там я жил в 60-х годах... Теперь знаю вас, Клеменца, Кравчинского, Лопатина, Кружкова... А тогда какой народ ко мне ходил! Семен Семенович, Иван Иванович, Аристарх Кузьмич — люди без фамилий и все «страдальцы за идею»... За какую? — так и не узнал... Придет, бывало, какой-нибудь Григорий Григорьевич, задаст вопрос: «Ну, что новенького?» — слушает и

молчит. — А у вас? — спросишь его. Махнет рукой и скажет: «Дайте-ка папироску»!.. Нудно с ним.—Мне надо итти,—говорю.—«Идите, а я посижу, хотел зайти сюда Василий»... — Вернешься домой вечером, спросишь коридорного: — Был кто-нибудь? — «Как же-с! Семен Семенович были, заказали отбивную котлетку, скушали и ушли... Аристарх Кузьмич с Иваном Ивановичем заходили, по бифштексу спросили с картофелем и по стакану чаю... Вот счетик-с!».

— Да кто же это к вам ходил! — изумился я.

— А бог их знает — кто. «Люди преобразовательной эпохи», как выразился один... Бывало, выдвинешь ящик комода — взять носовой платок: лежат два грязных, а чистого нет... По-братски жили... Один «преобразователь» просил найти ему работу — переписку. Достал. Принес домой... Целая сходка, и все лежат... Один на диване, двое — на кровати, четвертый на полу растянулся, на ковре. — А что, господа, Семен Семенович не заходил? — спрашиваю — «А вон, под диваном»! — указал пальцем лежавший на ковре:— наэюэюкался!».

— И долго одолевали вас такие раритеты?

— С годик времени будет... Надо бы мне бросить гостиницу, перекочевать в безбуфетное пространство, да все денег не хватало рассчитаться за номер и по счетам гостей... Так и тянул из месяца в месяц..

Глеб Иванович сделал несколько глотков из своего стакана с вином и продолжал:

— Зато раз была встреча: одна стоит многих!.. Познакомился я с саратовским помещиком Павлом Васильевичем Григорьевым... До сих пор дружу с ним... Вероятно, в «Библиотеке русской и иностранной беллетристики» вы читали статью П. Григорьева о стихотворениях Н. А. Некрасова — автор-то и есть мой искуситель... Пока вы вели пропаганду среди крестьян, Павел Васильевич носился с идеей «о самозванце»... «Вернейшее средство, — говорил он, — организовать крестьян: — «Константином» я вам половину России подпалю»...

«И вот-с, были мы с ним в Тульской губернии. Зима. Скучно. И взбрело мне в башку: не попробовать ли «Константина»?.. Сказал ему — он ухватился с радостью! Распределили роли [1]).

«— «Константином» будете вы, — говорит Григорьев, — а я вроде как его молочный брат — мамкин сын...

---

[1]) Этот эпизод из жизни Г. И. Успенского я привел в 1907 году в журнале, ставшем библиографической редкостью, почему и воспроизвожу его здесь. Там я писал «Передать рассказ Глеба Ивановича в подробностях, со всеми оттенками его остроумия,— немыслимо. Его манера говорить образами, употреблять неожиданные сравнения, полные юмора, не говоря уже о выразительной мимике и жестах, — не поддаются воспроизведению. Я могу дать лишь жалкий скелет его рассказа, предоставляя тем, кто помнит Успенского, представить, в какую художественную форму отливался в его личной передаче этот любопытный эпизод».

То же замечание я должен распространить и на все разговоры Глеба Ивановича, приводимые мною в этих воспоминаниях.

А. И.-П.

«Достал он мне тулуп, крытый черным сукном, чтобы «самозванец» не замерз в дороге в своем пальтишке на сторожковом меху, а себе — короткий полушубок и треух на голову... Вы видали Григорьева? Нет.... Нельзя сказать про него: «одно из славных русских лиц»... А в этом костюмчике с своим кривым глазом вышел... истинный мамкин сын!

«Раздобыли лошаденку с дровнями и поехали... Я лежу в санях, закрывшись из скромности воротником, а мамкин сын — на облучке, в валенках...

«Лошаденка дрянная, не царского завода... Был воскресный день... Вот, приезжаем в первую деревню. Мой лейб-кучер приворотил к кабаку. Я лежу, закрылся поплотнее, а мамкин сын пошел в кабак... Что он там говорил, что делал — не знаю, только выходит из кабака в сопровождении двух-трех мужиков и несет бутылку водки со стаканчиком... Снял шапку: «отведайте», говорит, и титулует... Меня так и обдало жаром... Ведь не скоро привыкнешь к такому титулу!.. Я взял стакан, стараясь по возможности скрыть свое самозванное обличье... А мамкин сын, вижу, подмигивает мужикам, поднял руку и произнес загадочно:

«— Будет — что будет! Не долго уж ждать!..

«Он почтительно взял у меня пустой стакан, ушел в кабак; за ним — мужики... Прескверное, скажу вам, положение: быть «самозванцем» и лежать в дровнях в ожидании своего кучера!.. Угостивши крестьян остатками водки, мамкин сын вернулся, наконец; вскочил на облучек, а на крыльце кабака, — уже с пяток мужиков...

«— Помалкивай, ребята! Знай: будет ваша! — крикнул он и с этими словами стегнул лошаденку...

«Так мы проехали еще две-три деревни. Григорьев был великолепен! Какая выдержка! Какое уменье плести что-то несуразное, загадочное... Кажется, вот — несусветная чепуха, а суеверные умы что-то улавливают, в простых сердцах загорается надежда... Меня охватила даже оторопь, взмолился: «Разжалуйте, говорю, в простые смертные»!..

«Заночевали где-то уж попросту.

«На утро двинулись в обратный путь.

«— Вот посмотрите, что сегодня выйдет! — сказал Григорьев: — я предупредил, что поедем назад.

«В этот раз уж не заворачивали к кабакам... И вдруг, представьте, у одной околицы — целая толпа!.. встречают с хлебом-солью!..

«Я закутался поплотнее. Вижу: поснимали шапки, опускаются на колени... Григорьев остановил лошадь — толпа хлынула к саням.

«— Рано, православные, — говорит мамкин сын, — рано! Нельзя ему об'явиться!.. Молчок, ребята, молчок!

«Я лежу, думаю: унеси, Владычица!..

«Вдруг:

«— Обнадежьте их милостивыми словами!

«Что тут делать? Пробормотал что-то не своим голосом...

«Уж и натерпелся я страху! — Глеб Иванович тяжело вздохнул и прибавил. — А ведь мамкин-то сын прав оказался... Давайте, разопьем еще бутылочку!

— Нет, Глеб Иванович, будет, — запротестовал я. — Пойдемте лучше к нам. Там Кравчинский ждет вашей оценки «Мудрицы Наумовны»!

— Да-а! я ведь обещал ему высказать свое мнение... Идемте!

Я рассчитался, и мы вышли.

— Хороший человек — этот Сергей Михайлович! — говорил Успенский дорогой. — Не без таланта... Вам нужны собственные писатели: поэты, беллетристы, публицисты... Наш брат не скоро приспособится к вашим требованиям...

— А ваша статья во «Вперед»: «Шила в мешке не утаишь»?

— Ну, какая эта статья!.. В поповскую проповедь вставил два-три замечания мужика... Из Сергея Михайловича выработается крупный писатель... Теперь только он форсит: Карла Маркса в сказку вздумал переделать!

Кравчинский встретил нас заявлением:

— А мы давно ждем вас с чаем!

— Чайку? — можно! — ответил Глеб Иванович. — Представьте! — сказал он, когда мы вошли в кабинет. — Мое дело-то пришлось обсудить в трактире, по-купечески... два шпинчика усидели, признаться... позадержались...

— Решили благополучно? — спросил Клеменц.

— Ясно наметили все пункты... Дальнейшее зависит от указаний практики железнодорожной, редакционной и домашней... Ну-с, а теперь, — произнес Глеб Иванович торжественным тоном: — приступая к оценке произведения анонимного автора под заглавием «Мудрица Наумовна», я должен извиниться перед почтенной аудиторией, что буду говорить без достаточной подготовки расположить ее в пользу этой прекрасной дамы...

— Любопытно! — произнес Кравчинский.

— Ничего любопытного не будет, — сказал Глеб Иванович уже своим тоном. — Не скажи вы, что в сказке зарыт «Капитал», я не заметил бы следов его... Мне думается, рабочий скорее усвоил бы идеи Маркса, если бы вы прямо изложили их простым языком, не одевая в пышные ризы фантазии.

— Простой народ любит сказки, — возразил Кравчинский.

— Любить-то любит, но любит, чтобы все было на месте, где полагается. Он допустит семь голов на шее, а посадите их на ноги — не одобрит...

— Разве у меня есть что-нибудь подобное?

— Вроде того... Сколько у Мудрицы Наумовны должно быть ног? — две, как у человека, а у нее — не то четыре, не то больше.

— Где вы насчитали столько?

— На болоте... Вы пустили свою Мудрицу по кочкам, по болотам, через всякие буераки... Бежит она по болоту, ножками перебирает, точно сороконожка какая... Ежели у нее были бы две ноги, как у всякой дамы. — провалилась бы в воду, и конец!.. А ваша Мудрица пробежала благополучно, хотя, я думаю... все-таки подмочила свои ризы, простудилась, потому что после болота заговорила еще невразумительнее...

— Ну, вы придираетесь, Глеб Иванович! Ведь тут фантазия.

— Не обижайтесь, дорогой мой! Не фантазия, а особая литературная форма, именуемая: «чорт знает что»!..

Глеб Иванович привел еще две-три неудачных аллегории и сказал:

— А все-таки хорошо; право, хорошо!.. Виден талант...

Наша беседа неожиданно оборвалась появлением Александры Васильевны.

— Здесь Глеб Иванович? — донесся ее голос из передней.

Взволнованная, вся в черном, она вошла в кабинет, куда пригласил ее Клеменц, и, не замечая ни меня, ни Кравчинского, обратилась к Глебу Ивановичу:

— Что с вами!.. Обещали вернуться скоро, а прошло больше четырех часов—вас все нет! Я справлялась у Тургенева, у Г.—не там ли вы?.. Измучилась!

— И совершенно напрасно беспокоили себя и других, — ответил Глеб Иванович, встав с места. — Я предупредил вас, что еду к Александру Ивановичу. — Он сделал жест рукой. — Как видите — здесь?

— Ах, здравствуйте, Александр Иванович! — протянула она мне руку.— И Сергей Михайлович!.. Давно ли приехали?.. Извините, не поздоровалась с вами, как вошла!.. Я очень расстроена... Глеб Иванович уехал из дому такой угнетенный...

Он промолчал, нервно теребя свою бородку.

— Не желаете ли чайку из России, Александра Васильевна? — предложил я. — Вот, садитесь к столику.

— Пожалуй, выпью стакан... Вам сказал Глеб Иванович, что он принужден отказаться от места в Калуге.

— Зачем отказываться? — ответил я. — Отложить надо от'езд на короткое время... Ведь причина — деньги? Их можно достать.

— Можно достать?.. Хорошо бы. Мне хотелось бы поскорее выбраться из Парижа, хотя Глеб Иванович стал колебаться: он говорит, что, если бы чуть-чуть улучшилось его положение, он прожил бы здесь еще год... Ему нравится ваша компания... Да и я довольна, что он бывает у вас [1]).

— Это и видно! — заметил Клеменц. — Иначе не пожаловали бы вытащить его от нас...

— Ну, что вы!.. Случайное совпадение...

— Вы кончили чаепитие? — спросил Глеб Иванович Александру Васильевну, подойдя к нашему столику. — Кончили, — так едем домой... Ведь Сашечка-то один остался!

Они торопливо простились с нами и направились в переднюю.

— Александр Иванович, так я вас жду, — сказал Успенский.

— Непременно, Глеб Иванович, непременно!

(Продолжение следует.)

---

[1]) Как сам Глеб Иванович ценил нашу компанию, можно видеть из его письма к В. А. Гольцеву, где встречаются такие строки:

«За границей-то я и пришел в себя и, несмотря на крайнюю бедность, стал писать по возможности сознательно. Наша хорошая молодежь, среди которой я был, окончательно порвала мою связь с пьяным миром».

В ставке Фын-Юй-Сяна.

(Путевые заметки.)

С. Третьяков.

Калган.

...Единственная надежда и оплот мой насчет «посмотреть Калга» — наш консул, товарищ Пэн, тот самый маленький Пэн, сияющий близорукими глазами в стекла очков, которого любили изводить верзилы волейбольной площадки в Пекинском полпредстве, когда он наезжал из Калгана: «Калган, пассовочку». И встрепенувшийся «Калган» судорожно раздвигал руками атмосферу, как бы приветствуя уже пролетевший мяч.

В Калган-Отеле есть телефон. В каморке, где он висит, горячо спорят два китайца. Снимаю трубку, прижимаюсь ухом и слышу... Провода всего телефоноразговаривающего Китая, вероятно, включены в эту трубку. Сотни, тысячи голосов суровых, деловитых, ругающихся, плачущих, хрюкающих перекидываются со всех направлений сквозь мембрану трубки. Не трубка, а торжище — всекитайская Нижегородская ярмарка. И только редкими всплесками, сквозь взлеты и нырки китайских интонаций, тычется берестяное полено нашего кровного, «великого — могучего — свободного»: «А чего же вы не купили? надо было покупать».

Китайцы в каморке уже замолчали и смотрят с недоверием на странного постояльца, которому нравится держать трубку около уха. Поймав их взгляд, я со стыдом соображаю, что с таким же успехом мог бы слушать не в трубку, а в ножку кровати или в чернильницу, но...

— Надо крутить, — очень чисто по-русски говорит китаец. Совершенно верно. У телефона торчит ручка. Делаю легкий оборот ручкой. Тогда китаец встает и с нескрываемым превосходством надо мной — нелепым провинциалом — берется за ручку сам.

Так можно крутить только ручку автомобиля, отщелкавшего на своем веку тысяч 50 миль и имевшего десять крушений.—С таким напором, с таким шофферским зверством он вращал щуплую телефонную ручку. Это он меня прикручивал к Пэну.

И прикрутил.

— Сейчас заезжаю на машине. Посмотрим город.

В ожидании машины выхожу на под'езд. Куча рикш набрасывается, предлагая везти. У всех с языка летят русские слова. Насколько в Пекине и южнее вторым языком у населения является английский, в южных портах даже переходящий в своеобразный устойчивый жаргон — «пиджен-инглиш», постольку здесь, в Калгане, в ходу русский. Старые связи России с этим районом дают себя знать. В Калгане русские исчисляются сотнями, иностранцев же буквально полтора человека: пара бельгийцев, пара японцев, да еще полстолько американцев. Есть американское консульство, но по отзывам компетентных лиц, оно, кроме разведки, никакими коммерческими делами не занимается. А русские здесь—либо старожилы, издавна акклиматизировавшиеся, либо — и их большинство — новожилы из белых беженцев, ныне пускающие нежные корешки в жирную калганскую почву, либо советские работники — плотно сбитая в один ком, крепко работающая обособленная группа.

Автомобиль, крича вперед, бежит Калганом, хромая то направо, то налево по водомоинам. Улицы узковаты. Да оно и понятно: Калган зажат в каменной пригоршне ущелья и ломаным червем вьется по руслу этого горного прохода. В Пекине есть развалка улиц и пешеходная умиротворенность переулков. Пекин только в торговой части захлебывается звоном колокольцев и током рикш, велосипедов и авто. В Калгане улицы узкогорлые, и мы через минуту, проскочив коридором улицы, столь же тесным нашей машине, как ружейное дуло пуле, выкатываем за угол в поперечную улицу и утыкаемся в длинный обоз арб с углем, которым подавился переулок. Стоп!

Слезши с машины, проталкиваемся сквозь переплет оглобель к базару. Навесы, навесы, клетушки... От котлов с лепешками и пельменями идет пар; полуголые рикши бережно прожевывают кус желтого теста, проложенного коричневыми комочками типа мороженых груш. Поднеся ко рту чашечку вроде абажура электрической лампы, грузчик двумя палочками ловко подвозит к губам прядь слизкой лапши и с флюрханьем всасывает ее в себя.

Медлительная толпа, растекаясь и заузливаясь у прилавков, ищет нужный товар.

Карта позора.

Пока машина пробивается к нам, выходим к мосту.

Против моста, на стене — вот она знаменитая карта позора Китая, один из образцов показательной агитации владыки Калгана — генерал Фын-Юй-Сяна.

Карта — сажени две в высоту и три в ширину. Хорошо нанесены очертания современного Китая, а к этим очертаниям кровяными сгустками прилипли районы, которые когда-то принадлежали Китаю, но были от него отрезаны. Жду увидеть красные раны Шанхайской, Тяньцзинской, Мукденской концессий, кровоподтек южной Маньчжурии и Ляодунского полуострова с Порт - Артуром, срок «аренды» которого истек, но не истекло желание хозяев этого района, японцев, оставаться в насиженной местности; ищу

Шандуня, Гонконга и Тибета — нет. Карта кровавыми пятнами отмечает лишь Уссурийский край, Корею, Формозу и Индо-Китай. Но даже и в этом половинчатом и очень отдающем запахом вчерашнего дня виде она, на фоне обывательского Китая — явление свежее и нужное, ибо постоянным тычком в глаза, постоянным вдавливанием в уши можно постепенно раскалить обывательскую, тяжелую китайскую ковригу на националистический протест.

Дальше по городу, по узким улицам, где витрина к витрине, и витрины завалены, завешаны галантереей (главным образом) — снизу и до косяка, а над витринами мелкой дрожью мерцают фестоны полотняных штор, а ветер качает у дверей харчевен бумажные обручи со свешивающимся красным тряпичным языком — знак кипятка и горячей пищи, — и тяжело колышет перед меняльными лавками саженные золоченые подвески, точно куски кольчатых золотых червей, в прокладку с дырявыми квадратами медных кешей (одна десятая копейки). Черви — стопки монет. Вывеска значит: здесь продаются деньги.

Библиагит.

Карта позора не одинока. С удивлением гляжу, как в каждый свободный от вывесок квадрат стены влепилась громадная картина: то китаец трудится в поле, то китаец в разных позах сидит в дворике за книгами. Это все наглядная агитация христианского генерала Фын-Юй-Сяна, следы перенятого им у американцев увлечения библией, как средством дисциплинировать армию. Картины все на поучительно-библейские темы: китаец строгает брус, а рядом иероглифическая надпись о святости честного ремесленного труда; китаец над книгой — о пользе высоконравственных размышлений; китайца в высунутый длиннейший язык жалит змея — о вреде злоречия. И вдруг длиннейшая во весь квартал стена владения, прорезанная воротами с часовыми, а по этой стене, прилипши к другой, целая кинолента этих библиоплакатов.

У ворот полицейские на часах. Владение это — полицейское управление Калгана.

Но не только о библейских темах говорят плакаты. Обращает внимание на себя сложный рисунок: группа вз'яренных бандитов хватает женщин, беспомощно топчущихся своими изуродованными копытцами около гигантского резака-ножа на шарнире (вроде того, которым у нас шинкуют капусту). Этим резаком бандиты отщелкивают ступни женщин и бросают в окровавленную кучу. А на горизонте убегают, проваливаясь за горизонт, женщины с нормальными ступнями. Это — агитация против бинтования ног.

Срочно требуется аэродром.

Мимо складышей сырца-кирпича, сохнущего на солнце. Мимо желтых глиняных стен, небритых от замешанной в глину соломы. Мимо чистеньких казарм, обведенных стеной в полтора человеческих роста. Мимо солдатской песни, убогой звуками, но перевивающейся залихватом ритма. Мимо

железнодорожных рельс и отдаленных вскриков маневренного паровоза — в поля за Калганом.

Наши летчики вот-вот прилетают в Ургу, а затем в Калган. Обидно, если им придется остановиться на аэродроме в Миотани, в 60 милях от Калгана, а над Калганом только перечеркнуть воздух.

Долина неширока, но взбугрена. Деревья неимоверной длины, сутулые, скрюченные, или взвивающиеся вверх, как плохая ракета, во всю длину ствола поросли короткой перстью веток и лишь наверху расползаются уродливым клубом листвы. Поля лежат террасами, точно по полочкам разложены, и переход от полки к полке — крутым ровным срывом, точно каравай, ножом резаный. Это — лесс, желтозем, жир китайской почвы, могучий, как наш чернозем. Он колется сверху вниз, как халва. В нем можно вырубать дома, — и целые города вырубаются в лессе. Но пластом его снять очень трудно: точно здесь земля — полено, поставленное торчмя. Автомобиль в'езжает в лессовые коридоры и крутит между желтых опрятных стен, затем выныривает на поверхность. Поля маленькие, есть чуть не с теннисную площадку. Поле от поля отгорожено валиками и канавками. На полях ровно-ровно, колосок к колоску, овес, просо, кукуруза разворачивают лист. Это уже второй урожай переживает свое зеленое отрочество. Кое-где крестьяне с мотыгами долбят землю. Синий мужик в широкополой соломенной шляпе, от полей которой болтаются четыре завязочки вниз, рысит на длинноухом коленчатом муле. Щелкаю его кодаком. Наш спутник, держась за бородку, ненавидит кладбище с каменными стойками, курганчиками и оградой, вклеившееся в наиболее аэродромное поле.

— Да разве Юнкерс сюда пролезет? Тут же повернуться негде. Это вам не Райт и не Блерио. Размах-то крыльев — во!

И я чувствую уважение, ибо в этом «во», по крайней мере, десять сажен.

Соглашаюсь:

— Не аэродром, а аэродрянь.

Назад.

Ы э х.

На миг задерживаемся у деревни, где старая, рухлая кумирня придавила каменной курицей пригорок. Мужик на муле уже здесь. Он ласково улыбается и, видимо, не прочь сняться еще раз. Но мул не хочет: он ненавидит автомобиль и пляшет от него лезгинкой в сторону.

По дороге влипаем в клеевую разлипшуюся от дождя колею. Зажужжало, буксуя, колесо в киселе, и опасливо-печальным взором я смерил на-глаз количество верст до желтых кубиков Калгана на горизонте. Задний ход! Пассажиры долой! Вывезло. Бьет по глазам чистота Калганских стен: новенький, только что отутюженный, свежеобмазанный город. Ну, не больше двух лет можно дать такому городу, если судить по детской нежности его лессовой кожи. В чем дело?

— В прошлом году было наводнение. Несколько дней шел ливень. Вода попросту обрушилась на ущелье. По скатам гор вода свалилась на Калган, и там, где был город, стало русло бесноватой речищи. Ведь потом дома и улицы пришлось откапывать. Четыре тысячи человек было впечено в илистый пласт.

— Толстый пласт?

— Смотрите. Вот еще несчищенные куски.

Над окном первого этажа торчит отломок грязевого карниза.

Проезжая гремучим мостом через каменистую впадину, где на донышке корчилось тяжелое бурливо лессового супа, узнал тяжелое, плюгавое похмелье бесноватой реки. А рядом с мостом вырастали быки строящегося нового моста, и в коробках выемок копошились сырые землекопы.

Автомобиль останавливается у ворот, видимо, военного учреждения. Несколько солдат, молодых, со смешливыми глазами (у Фын-Юй-Сяна солдаты — отборный молодняк), в серых обмотках, штанах, куртках и шапках с пятиконечной пятицветной звездой-кокардой (знак всех китайских войск). О том, что это войско Фына, говорят круглые бляхи с иероглифом на рукаве. Кстати — единообразие формы всех китайских войск неудобно при междугенеральских войнах. Приходится дополнительно метить враждующие армии нарукавными повязками. Так, во время последней войны Чжан-Цзо-Лина с У-Пей-Фу одна армия одела белые повязки, а другая — красные.

Из ворот, распахнутых настежь, настойчивый хоровой крик:

с надсадой — ыэх! и еще — ыэх, ыэх, ыэх!

В ворота вижу — дворик полон сидящими на земле солдатами. Они обхватили колени руками, смотрят в одну сторону и говорят «ыэх», а потом, после паузы, — другое звукосочетание с той же настойчивостью и ускорением к концу. Так резиновый мяч, сделав два-три прыжка, ускоряет, частит и, перейдя в дрожь, лениво откатывается.

Осторожно лезу в ворота, одним глазом следя, что скажут часовые. Часовые одобрительно машут рукой — иди, мол, не бойся! — и смеются.

Шеренги сидунов, еще шеренги — вот она точка упора глаз: классная доска. На ней иероглиф. Капрал учит парней грамоте. Он пишет иероглиф, произносит его, а за ним, упершись глазами в доску, взвод затверживает слово.

Часовой тычет в мой аппарат пальцем и принимает самую красивую из всех находящихся в его распоряжении поз.

Я понял. Навожу аппарат. Остальные часовые бегут к нему, теснятся, чтоб попасть в об'ектив, и замирают, пожирая глазами сверкнувший об'ектив.

В консульстве.

Быть в Калгане и не побеседовать с генералом Фын-Юй-Сяном для журналиста преступление. Особенно сейчас, когда в Китае, дрожащем от гнева, закипающем клокотаньем революции, Фын — один из очень немногих армиедержателей, определенно и открыто связывающих себя с движением.

Сейчас, когда студенчество, не довольствующееся демонстрациями, забастовкой и бойкотом, бросается в армию Фына, чтоб научиться владеть последним и решающим оружием революции — солдатским.

Но я в Калгане пролетом. На завтра назначен от'езд в Ургу. Я основательно опасаюсь, что в столь краткий срок мне вряд ли удастся получить свидание.

Жду ответного звонка из управления генерала. Сижу в нашем консульстве. Оно — на самом конце бесконечного Калгана, в квадрате старинного крепостного сооружения; квадрат против главных калганских ворот, ведущих в горы и дальше — в Монгольские степи. Когда-то монголы, даже проломив первые ворота, на которых громоздится сложнейшая кумирня, должны были через несколько десятков шагов атаковать вторые ворота, тоже обросшие древним замшенным храмом.

Крест-накрест — ворота, против ворот и наше консульство, против шкурных лабазов. Через эти ворота Калган всасывает со всей Монголии караваны с кожами и шкурами — воловьими, конскими, овчинами и тюками верблюжьего сбитого войлока. Пластами лежат глыбы шкур и кож, обсушивая на солнце свою сырую жилистую изнанку. Подводы под'езжают — и руки грузчиков перепластовывают сыромять на арбяные оси. Приказчики со складов медлительно командуют: руки на животе, рукав в рукав, а под затылком у них торчат запихнутые за шиворот веера.

Вспоминаю — ведь великая Китайская стена проходит у самого Калгана своим гребнем. Где она?

Уже готов почтительно принять за нее какой-то рухлый тычок, высящийся на нависшей над складами и консульством горе.

— Да нет. Глядите ниже.

Ползу ниже, но перескакиваю глазами на крыши, не зацепив никакой стены.

— Вон за крышей!

Нашел: вон она скромненько моргает зубцами вровень с домами, отправляясь опоясать город. Правда, к городу она сбегает стремглав по крутизне горы, но на горе она выветрилась и скорей угадывается по следу, чем имеется в наличности.

Из-за горы лезет войлок. От войлока свешиваются рваные соски, за войлоком угрюмо урчит. Гроза идет.

А через час автомобиль черпал подножкой и швырял веера воды на стены улицы, а в китайском дворике нашего торгпредства, куда я приехал насчет завтрашней машины, было пупырчатое зеркало воды, и приходилось итти, не отлипая от стены, огибая Китайский дворик к нужной двери.

Кутв и На посту.

В консульстве узнаю — возможно удастся увидеть Фына: надо ждать звонка. За окном ночь загущена до черноты горы. Одинокий воспаленный фонарь болтается у крепостных ворот и желтыми каракулями расписывается в луже.

Уже пришел переводчик. Полумальчонка. Задорные глаза, коричневая курточка и брюки. Надкусывает меня быстрыми взглядами, вскидываясь над ужинной тарелкой, и огорошивает:

— Это вы выступали, в Москве, на докладах левого фронта? Я вас знаю.

— Откуда?

— Я — кутвовец. Пробую и здесь заниматься русской литературой, да ничего не выходит, работы масса. Вы в Пекинском университете? Там мой товарищ, тоже кутвовец.

И называет фамилию.

— Как же — помню.

В двух вузах, где я работал, у меня было по кутвовцу, и что меня всегда удивляло — это их пламенный интерес к литературе и весьма сомнительный к политике.

Интерес к литературе — это хорошо. Среди китайской молодежи общая тяга на иностранную литературу, а с Октябрьской революции на русскую — в особенности. Были моменты, когда переводили все, кто мало-мальски мог перелистывать русско-китайский словарь (нужно отметить: ходовые словари — липовые и способны перевести, напр., слово «диалект» — человек, изучающий диалектику). Один из моих учеников признавался мне, конфузясь, что года два тому назад он перевел «Станционного смотрителя», но перевел так, что его уже два года грызет совесть. Знаю, что про перевод «Горя от ума», сделанный одним из студентов, говорят, что это самая непонятная и полумистическая вещь из всех, существующих на китайском языке. А что ж? Для слабого в языке студента, вооруженного липовым словарем, в тираде: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь» ничего не было проще, как «пуще» произвести от «пуща» — лес и привести мертвеца Грибоедова во вращательное состояние.

Возвращаюсь к кутвовцам.

Один из них с исступлением переводил Чеховского «Дядю Ваню» (что и говорить — самая нужная нынешнему пламенному Китаю книга), а попутно грыз одну за другой статьи... Иванова-Разумника, затолмачивая себе мозги его народнической поповщиной.

Другой был свежее. Он знал и пролетпоэтов, и Леф, и Пильняка. Переводил журнальные статьи о современной русской литературе, но тайную и нежную приязнь лелеял к строфам Федора Сологуба, насчет сокровенного символьного смысла каковых теребил меня немало, не смущаясь моей брезгливо выпяченной губой. А ведь это Кутв: на нем романтика Красной Москвы и в глазах товарищей ореол выходца из чудесной страны, «Великого государства бедных», как по наслышке называют СССР шандунские бандиты — партизаны, грабящие помещиков и чиновников и оделяющие добытым бедняков.

Десятый час на исходе. В это время китайский обыватель ложится спать.

Звонок по телефону: «Генерал Фын-Юй-Сян может вас принять сейчас». Ехать далеко — как раз на противоположный конец распяленного Калгана.

К ставке Фына.

Щелкаясь головой о фордек на шипящих влагой водомойках, продумываю вопросы, которые буду ставить Фын-Юй-Сяну...

— Как вы относитесь к напостовцам?..

Это мой спутник задает мне вопрос.

Чтоб не сбиться с мысли, выдавливаю какой-то полуответ. Но спутника уже прорвало, сказалась московская выучка, вошедшая в плоть и кровь — выдежуривание контрамарок к Мейерхольду, штурмы под'езда Политехнического музея в дни митингов и до хрипоты споры на койке общежития о форме и содержании.

— Что пишет Маяковский? Как вы смотрите на поэму «Про это»? Почему Луначарский поддерживает академические театры? Почему футуристы претендуют на звание пролетарских поэтов? Признает Леф Воронского или нет? Что постановила РКП о политике в искусстве?

Он — хороший торреадор. Я чувствую: минута — и со всей своей из'яснительно-полемической яростью я взорву нутро автомобиля внезапным летучим диспутом. Но тогда я не продумаю ни одного звена предстоящей беседы с Фын-Юй-Сяном. Маяковский перешибает христианского генерала, Луначарский просовывает голову в трещину гоминдановского раскола. Проблема ВКПК'а на Калганской улице.

— Куда дальше ехать? — кричит шоффер и восстанавливает литературно-политическое равновесие.

Автомобиль стоит, упершись прожектором в стену, а в ореоле прожектора солдат, с винтовкой на плече, семафором откинул руку, забарьеривая путь. Мы в районе Фыновской ставки. Коридорами абсолютно слепых стен ломаем в темени прямые углы, пока не натыкаемся на предостерегающие крики. К нам бегут люди. Вынимаем визитные карточки. Люди вглядываются в наши лица, пробегают карточки и сглатываются теменью.

Темная тишина. Только впереди чуть отслаивается черный квадрат ворот в конце тупика.

Зашлепали шаги: — Маршал просит.

Автомобиль рычит в гору и лезет в ворота, минуя скромную слепую дверушку слева. Сзади крик. Оказывается, во двор нам заскакивать не полагается, а дверушка и есть искомый вход.

Фын-Юй-Сян.

Китаец в белом халате ведет нас полутемным двором, в который пялятся матовым светом четыре смежных квадрата окон, затянутых рыхлой бумагой.

Ступенька, дверь и, откинув белую бязевую занавеску взмахом руки, нас приглашают сесть в приемной комнате. Комната бела и пустостенна,

как операционная. Большой столовый стол посредине. У конца стола кресло с налокотниками, по сторонам стулья. Кресло — место маршала. На столе перед креслом — китайский письменный прибор: медный ларчик с вязкой, размоченной тушью, несколько кисточек, одетых в медные наконечники, дабы не испортить сдавленных в острие волосков; за прибором — овальное зеркало лицом к креслу, а по бокам его стопки книг.

— Антирелигиозный журнал!—недоуменно-радостно вырывается у спутника при взгляде на верх книжной стопки.

Ждем.

Маршал Фын — острая и загадочная фигура на военно-политическом горизонте Китая.

Он работает с маршалом У-Пей-Фу. Он занимает провинцию Фонань. У-Пей-Фу выдворяет его из этой провинции, превращая ее в свой собственный оплот. Фын получает назначение в другую провинцию, откуда, впрочем, не собирается уходить его предшественник. В несколько дней упирающийся дуцзюн умирает. Обывательская молва называет имя Фын-Юй-Сяна и прибавляет слово «отрава».

Но и оттуда У-Пей-Фу выживает Фына. Фын в Пекине. В 1922 году армия Фына гонит чжан-цзо-линовскую армию из-под Пекинских стен, и это укрепляет в народе мнение о Фыне — грозе Мукдена, столь ненавидимого Китаем. Подходит последняя война У-Пей-Фу с Чжан-Цзо-Лином. Фын упирается итти на фронт из Пекина; у него слишком-слишком острые счеты с кликой президента Цао-Куня, он не склонен бросать свои войска на поддержку цаокуневского президентского кресла. Ночью приезжает из Ляона У-Пей-Фу в Пекин и категорически требует выхода Фына на фронт в район Жехе. Фын подчиняется; его солдаты строят знаменитую дорогу из ила по заболоченным наводнением равнинам провинции Чжили. В газетах — информация с фыновского фронта из Жехе. Но этого фронта нет: Фын с войсками все время висит над Пекином, а в октябре 1924 года ударом по Пекину сбрасывает с президентства Цао-Куня и зажимает У-Пей-Фу в клещи своих и чжанцзолиновских армий. Акт неожиданный и необ'ясненный до сих пор. Даже Киткомпартия в своем манифесте об'явила этот переворот — проделкой американцев. Ведь Фын христианизмом заразился от американцев и по спискам значился американофилом. С другой стороны, это будто бы был ход в пользу Чжан-Цзо-Лина и Японии. Как согласовать эти полюсы — Японию и Америку. Третьи вопили, что это проделано просто за три миллиона Карахановских денег. Но Америка от переворота не выиграла ничего. А Чжан-Цзо-Лин, — казалось, иди и владей. Но нет, в Пекине до сего дня стоят войска Фын-Юй-Сяна, а Чжан-Цзо-Лин, слишком вытянувший свою левую руку по восточному побережью Китая, чтоб зажать в нее Шанхай, не может до сих пор правой своей рукой взять за горло скользкий Пекин. Не Америке, не Японии, а Гоминдану, революционному Китаю дал некоторый выигрыш маневр Фына. Группа «Народных Армий», контролируемых Фыном, занимает полосу от Монголии через Пекин на юг, почти до Ян-Цзы-Цзяна.

Фын непопулярен в массах. Во-первых, он предал У-Пей-Фу, этого кумира толстолобых китайских мещан, из глубины веков воспитанных на конфуцианских принципах верности, преданности и почтения сынов к отцам, подчиненных к начальникам, учеников к учителям. Упейфисты многочисленны, и имя Фына им ненавистнее имени Чжан-Цзо-Лина и аньфуистов.

Во-вторых, Фын непопулярен, ибо он — «христианский генерал», а христианство для китайской массы — плохая марка.

Он любит читать библейские проповеди перед солдатами, петь с ними псалмы, украшать стены библейскими плакатами.

Но все это христианство — лишь метод цементировки полков, практический прием. Дайте лучший способ дисциплинировать солдата, и христианство уйдет в отставку. И уходит. Уже вместо псалтырных изречений солдаты Фына пишут на пекинских стенах: «Нетрудящийся не ест». Когда Фын-Юй-Сяну доложили об аресте нескольких сот солдат разбитых армий, которые разгромили какой-то городок, Фын сказал: «расстрелять»; но потом, подумав, поправился: «или вот что — обратить их в христианство». Так говорит молва, и в этом анекдоте все Фыновское христианство, существующее на ролях Дисциплинарного Устава.

Про него говорили, что он женился на американке, секретарше Союза Христианской Молодежи, что он отправился к своей невесте в Посольский Квартал верхом с вооруженной охраной и избил квартальских полисменов, загородивших ему путь, ибо ни один вооруженный китаец не смеет войти в квартал.

Конец этого анекдота верен. Да, в'ехал вооруженный. Да, избил и не только избил, но и смеясь рассказал об этом через 5 минут американскому посланнику, при чем посланник, вероятно, снаружи улыбался, а внутри плакал. А начало этой истории — сплошной анекдот: Фын образцовый семьянин, не в пример другим, обремененным огромным штатом конкубин генералам, отдающий много времени своей семье. Он любит свою армию; все время он близко общается с солдатами, подчеркивая простоту в своей одежде и быте. Он поборник спорта в войсках. Я видел, с каким азартом его крепыши, играя мускулами, выкручивались в гимнастических упражнениях на спортплощадках рядом с казармами в Пекине.

Он крепко и горячо культивирует принцип трудовых армий. Ремесленные мастерские, огороды, строительные работы и показательные сельские хозяйства — вот где работают его солдаты во время, свободное от войны и боевой учебы. Это ему необходимо, если он желает установить добрососедские отношения между армией и самой гущей населения. Ведь нормально-китайский солдат — это громила и паразит, высасывающий все соки из мужика, ремесленника, торговца. Появления новых бригад китайские провинции боятся больше, чем засухи. Тем более ему это важно в Калгане, где у него, новожила, нет связей с населением и нет собственных капиталов, индустрии и имений, как это имеет, например, пауком вросший в самое мясо Маньчжурии Чжан-Цзо-Лин.

Армия — политсила. И вот армия несет с собой плакаты, издает газеты, проводит митинги и собрания, вывешивает карты позора Китая. И в этом Фын-Юй-Сян пытается итти по стопам Кантонской революционной армии, которая умеет не только драться, но и вплавляться в самую сердцевину трудовых масс лозунгом, словом, раз'яснением, учебой.

Ведь уже на Пекинских стенах солдаты-фыновцы пишут — «нетрудящийся не ест».

У Фын-Юй-Сяна есть газета: «Молодой солдат». Следя за содержанием этой газеты, видишь, как отмирают в ней рассуждения о значении «борьбы Иакова с богом» или «Авраама, приносящего Исаака в жертву», и все сильней и сильней звучат прямые призывы ненавидеть иностранных и отечественных клопов, отсасывающих китайские богатства и силы:

— Против англичан и японцев! Прочь неравные договоры!.. Долой чиновников-казнокрадов! На бой с генералами, торгующими родной землей!

А на-ряду с этим техно-практическое воспитание солдата:

«Знай винтовку», «береги зрение», «держи ноги в чистоте», «хладнокровие и сообразительность — качества хорошего солдата», «солдат—слуга народа», «уничтожайте мух», «не ешь сырой зелени». Вот наудачу заголовки из этой газеты. Фын пишет в этой газете стихи, где разражается по адресу чинуш и генерал-бандитов, обирающих хозяина Китая — народ, чтоб

...Одеваться в шелк,
Есть гнезда ласточек, трепанги и грибы,
Курить опиумом, заигрываться майчжаном,
И покупать красавиц — конкубин.

Одним из первых в дни китайского гнева, он выдвинул крайний лозунг— «Война с чужеземными насильниками», и в его военные школы кинулось самое горячее студенчество, еще недавно отшатывавшееся от него, как политической фигуры.

Времена меняются. Зловещий Фын, о котором говорит молва, что он запытал брата прежнего президента Цао-Куня, владельца стомиллионного награбленного за президентство состояния, а через двое суток этот брат был сдан в госпиталь в сильно попорченном виде и через 20 минут «умер от диабета», как сообщили газеты, — этот зловещий Фын принимает ныне в сознании революционного Китая новые очертания, в которых найдут себе оправдание и казни и пытки бешеных пережиревших пиявок, высасывающих миллионы из нищего Китая.

— Чего он хочет? — задают вопрос многие.

— Единого Китая под сильной рукой, — отвечают им. — Это мечта каждого генерала.

— Кто его идеал?

— Маршал интересуется фигурой Кемаль Паши.

— На чем он строит свою продвижку?

— На смычке с Гоминданом.

И если Гоминдан окажется организационно силен, он растворит в себе кемализм Фына и сделает из него один из верных опорных пунктов будущего Красного Китая.

Окажется ли он силен — об этом скажет история.

Бесшумный человек в белом халате, локтем отодвигая занавеску, ставит перед нами по чашке-плоскодоночке светлого чаю — первое, чем китаец приветствует посетителя. Минут пять сидим, изредка перебрасываясь словом, только занавеска дышит — за ней ходят бесшумные люди.

Мы даже не заметили, как грузный большой человек в темном вошел и остановился к стене, чуть боком к нам. Темная куртка до горла застегнута. Рукопожатия, представления, сутулый поклон и жест в сторону стульев.

Маршал Фын-Юй-Сян высок для китайца. Коротко стриженая голова. От крепкого широкого лба лепится уширяясь в щеках тучное лицо. Обычные для его портретов густейшие черные усы сбриты. Из-под гущины бровей, забившись за литые подглазники, острые глаза — как два суфлера в суфлерских будках. Они устанавливаются, движутся на вас и наваливаются, подобно фарам набегающего автомобиля. Груз тела локтями лег на закраину стола. Приглушенный низкий голос и слова, произносимые только центром рта, пока края губ сомкнуты у щек. Говорит по-китайски, глядя на меня, а не на переводчика (трудная наука разноязычного собеседования, когда инстинктивно тянет обернуться не к собеседнику, а толмачу). Переходя от меня к переводчику, взгляд его мельковым скользком по зеркалу контролирует мину лица, а также комнату позади. Не надо забывать ставок китайских генералов: это средневековые замки с средневековыми способами тайных расправ и покушений, а на Фына немало генеральских зубов скрипит по Китаю.

Речь медленна и гладка. Чувствую, что по-китайски он говорит изысканно, теми сжатыми стихоподобными афоризмами, уменье построить которые такая же органическая часть старокитайской культуры, как умение вежливо держаться, прилично одеваться, владеть кисточкой и тушью. Ведь совсем еще недавно мандарин-лесничий писал приказ о непорубке леса стихотворным афоризмом, а лично мне в Пекине пришлось слышать, как диктатор Китая Дуань-Ци-Жуй приветствовал открытие «Реорганизационной конференции» (этакий вридпарламента, составленный из генеральских и сановничьих клевретов) нежнейшими лирическими стихами о радостях древонасаждения (что отнюдь не относилось к делегатам, но исключительно к насаждаемому древу китайского благополучия).

Мои вопросы немногочисленны.

— Задачи маршала в районе, им контролируемом?

— Дать бедным благосостояние, безработным — работу, маловозрастным — учебу, старым — пенсию. Развитие земледелия в районе, где масса еще нераспаханной плодовитой земли; улучшение форм землепользования и

введение новых сельско-хозяйственных культур, а на севере, в степных пастушеских районах, улучшение скотоводства — введение племенного скота.

— Ваш взгляд на текущие события?

Ответ лаконичен: иностранцы в этих событиях показали свое истинное лицо. Китайцам не остается иного пути, как борьба. Трудно предугадать, во что выльется движение, но несомненно одно — начатая борьба для китайцев кончится неудачей, если СССР не придет к ним на помощь всеми находящимися в его распоряжении средствами.

Последняя фраза им произносится в виде вопроса. Я отвечаю, что революционный опыт Советского Союза, его товарищеская рука и его братское сочувствие и всемерная помощь каждому закабаленному народу, отвоевывающему себе свой каравай земли, — всегда с Китаем была, есть и будет. И добавляю: движение в Китае — самостоятельное. Его выигрыш в первую очередь зависит от степени боевой организованности самих революционных китайских масс.

Интересуюсь, как Фын-Юй-Сян определяет организаторскую роль Гоминдана в событиях. Ответ летит наискосок, лишь краем крыла задевая тему: «Я верен принципам великого учителя Сун-Чжан-Шана (одно из имен Сун-Ят-Сена). Его завещание для меня обязательно. Я знаю, что члены партии Гоминдан на 75 процентов достойные и заслуживающие доверия люди».

Это речь идет о невыполотой еще из партии четверти — правом Гоминдане — этой сумбурной каше из беспринципности, политического ловкачества и большевикоедства, которая больным нарывом сидит на мышцах революционного Китая.

Фын уже откачнулся на спинку кресла. Кончаю декларативно. Я из страны, где на службу политработы взято искусство живописи, агитплакат; у нас знают ему цену, и я крайне заинтересован плакатной агитацией на стенах Калганских зданий. Это во-первых. А, во-вторых, я считаю ценным, что Фын-Юй-Сян, выступая в прессе как поэт, вводит в свои стихи политические небывалые для китайской поэзии темы. Замечание о стихах вызывает довольную усмешку и вопрос: — Какие стихи? Где читали? Разве переведены?

А о плакатах маршал кратко замечает: «Еще с десяток лет тому назад в провинции Хунань я практиковал этот способ агитации».

Этому способу его научили американские миссионеры, больше спецы по части агитбиблейского плаката, но как бы не пришлось им уже в наши дни грызть локти, если их учеба пойдет обслуживать совсем не те клеточки китайского мозга, в которые они целились.

Разговор близится к концу. Все время, пока гудит сипловатый, придушенный голос, по набегающим складкам занавесок, по чуть слышному шороху оконной бумаги чувствую бесшумных людей, настороженных, вымуштрованных, там, за пять шагов от стола.

Крякнули стулья. Голоса чуть посвежели. Маршал хочет дать нам на память свою карточку.

Карточка уже здесь, в руках бесшумного длиннохалатого человека. Уже проворные руки этого человека вываливают в тушевой грязце острие кисточки и подают Фыну.

Пишет-рисует кисточка уверенно путаные иероглифы, столбец сверху вниз и потом, отступая влево, опять столбцом сверху вниз. А в самом низу вжимается квадратная красная печать с именным иероглифом. Китайцы не знают собственноручной подписи, вот почему печатки — каменные, хрустальные, костяные — грудами навалены на писчебумажных лотках их базаров рядом с кисточками и медными тушечницами.

Церемонный поклон. Рукопожатие. Еще поклон. Заминка у двери — обычная для китайца, провожающего гостей: «Пожалуйте. Вам почет и дорога вперед», а гость, в свою очередь, с поклоном отказываясь от этой чести, отступает, очищая дорогу хозяину. Проходим сенями. Свежевыкрашенный ночной чернотой квадрат двери во двор. До порога этой двери провожает нас хозяин, и, идя двором, я чувствую за своей спиной тучную громаду Фын-Юй-Сяна, его набегающие глаза и тусклый обстоятельный голос.

Мой спутник горячо комментирует разговор, но я чувствую, что ему еще хочется о Москве, побольше про Москву, с которой он сросся, которой он жив, в которую он верит крепкой, хорошей верой китайского молодняка.

Изо дня в день в политработе, в работе переводчика, а каждый свободный час — жадными глазами по строчкам «Правды» и в первую очередь там, где на задворках газеты стоят вывески над петитом «Театр и искусство» и «Библиография».

Улицы пусты. Кое-где запоздалый лавочник с зевком прищелкивает витринную ставню к ставне. Полицейские на перекрестках с винтовкой на плече отмеряют пять шагов вперед, пять шагов назад. Лепится над лужами по узкому валику тротуара прохожий, по-женски подтягивая фалды халата над безмускульными обутыми в материю ногами. Угол. Тень. Нырок автомобиля. Досчатый тупик. Запела, расширяясь, трещина в досках. Это крепостные ворота, ржавые, древние, ненужные открываются автомобилю, чтоб пропустить нас в предворотный квадрат к консульству с высвеченным вторым этажом.

Узбекистан.

(Путевые заметки.)

Дмитрий Стонов

Иски-Ташкент.

Генерал Черняев и хлынувшее за ним чиновничество опошлили новый Ташкент, Узбекская республика еще не успела его преобразить. Понастроены дома, «совсем как у нас», по широким улицам несутся старые, военного образца, кибитки с непременной припряжкой, на заповедных деревьях вырезаны сувениры — «Иван Кузин 1912 год», — пестрят аляповатые вывески, в будочках продают сельтерскую, на Джизакской спекулянт с Лубянки предлагает замечательное средство для уничтожения пятен, на курином базаре нищий тянет «Христос воскресе из мертвых», по утрам типичные чиновницы с корзинками выходят на базар. Редко пройдет узбек, еще реже — узбечка. Даже чайхана́ [1]) здесь какие-то ненастоящие, невсамделишные.

Другое дело — Иски-Ташкент, старый город. Он все тот же, все такой же, каким был сто, двести, тысячу лет тому. «Европа» не смогла, не посмела его проглотить. Даже трамваи, точно почувствовав, что там, в старом городе, им нечего делать, останавливаются у порога Иски-Ташкента. С «Европой» покончено. Вы в средней Азии.

Восток не богат цветами, две краски преобладают в старом Ташкенте — желтая и синяя. Синяя — это небо. Такого неба нет у нас. Только увидев средне-азиатскую глубокую синюю бездну, вы начинаете понимать, что означает трафаретный образ — бездонное небо. Ни тучки. Ни пятнышка. Синяя даль, властная синяя даль. И солнце. Не наше, российское, которое то выглянет, то спрячется. Все небо, вся земля пропитаны солнцем, оно — повсюду, оно не знает своего места, из всей синей чаши струятся лучи, струится горячий сухой огонь. От этого солнца не спрячешься. В час ночи оно уже на месте и жжет, и жжет до пяти вечера.

Как живые, извиваются узкие улицы среди глиняных — без окон — стен. Здесь нет ни тротуаров, ни шоссе. Здесь царство глины: если она превращена в кирпичи, это — дома, заборы, если просто хорошо втоптана — улица, земля.

---

[1]) Чайные.

Ваша обувь и костюм сразу покрываются желтым налетом — Иски-Ташкент не терпит других цветов. Только пестрые халаты узбеков пытаются бороться с этим законом и то не всегда успешно: что не покроет глиняная пыль, выжжет беспощадное солнце.

Где начало улицы? где конец? Этого никто не скажет. Улица не знает прямых линий — живой змеей она извивается, вот, кажется, у этого дома, где месят глину, конец ей. Нет. Узкой, в два аршина, щелью она тянется дальше, вы поворачиваете направо, налево, еще, еще — нет ей конца, как нет и начала. Где-то внизу урчит вода — кровь Узбекистана, она мутна, желта, мчится быстро, ровно шумит. Любовно, сознавая всю ценность воды в этой стране, спускаются узбеки к арыкам [1]), ладонями черпают воду, пьют, смачивают груди, идут дальше.

Глина — вот местный материал. Она лежит повсюду, ее берут тут же, копают и месят возле будущей постройки. Из дорого стоющего карагача делают только двери, а так как труд здесь ничего не стоит, то над дверью работают долго, часами и днями сидят над каждым вершком, пилят, выжигают, покрывают поверхность причудливыми восточными рисунками. Двери — это ценность, роскошь, гордость узбека. Когда дом рушится, узбек бережно вынимает дверь и влепляет ее в новую постройку.

Еще до того, как нога ваша ступила на желтую землю Иски-Ташкента, к вам долетает певучий гвалт, который разносится по городу. Кривые улицы переполнены шумом и гамом пестрой толпы. Здесь не говорят, не кричат. Здесь — поют. Поет продавец сыра, погромыхивает круглыми шариками, порывисто бросает сырок в рот, мычит, раскачивается, блаженство цветет на его лице — якши [2]), якши! Поет торговец бузой, он стоит над громадной миской, черпает большой ложкой белую жидкость и обратно льет в сосуд — смотрите, мол, как хорошо, как чудесно льется буза! Губы его то открываются, то закрываются, он выбрасывает круглое певучее слово, он заливается, как соловей, и, только вслушавшись, вы разбираете это слово — муздек, муздек, муздек [3])! Он бьет ложкой по плавающему в сосуде льду — нет, это не простая буза, смотрите, глядите, внимайте — вы можете разве в такую жару пройти мимо и не заметить его! Остановитесь — он добродушно, как добродушно это делают все узбеки, даст вам попробовать свою бузу, свой квас — не чудесен ли его товар? Поют странствующие дервиши, в высоких, из кожи, шапках — им сам Магомет велел петь, поют нищие — алла, —алла, алла, алла! — певуче орут дети — они бегут от торговца к торговцу, из дому в дом. У мечети, поджав под себя ноги, сидит азанчи [4]), — он созывает молящихся, поет, причитает, кланяется и каждый раз, при каждом поклоне, захватывает в руку бороду — «нет бога, кроме бога, Магомет посланник его!». Певуче скрипят арбы, вертятся большие, в полтора человеческих роста, колеса, на арбе, иль верхом на лошади сидит узбек, ему нечего продавать, но петь —

---

[1]) Ручейкам.

[2]) Хорошо, хорошо.

[3]) Как лед.

[4]) Своего рода псаломщик.

петь он может. «На высоком берегу Дарьи в роскошном дворце жила красавица царевна Ширинкиз. Не знала царевна, кому отдать предпочтение — прекрасному Хорсою или могучему Фархату»... и дальше, все в том же роде. Плачут, но тоже как-то музыкально, верблюды, поднимают к небу худые безобразные головы на безобразных шеях и на что-то горько жалуются. Едет на ослике киргиз, колени его высоко подняты, он помахивает нагайкой и тоже поет. Все эти звуки сливаются в могучую восточную музыку, звуки тянутся из чайхана́, из лавочек, дрожат над городом. В музыку вплетается стук жестяников, гремит жесть, свистят в точильне ножи и косы. Якши, якши!

Где же женщина? И только подумал о ней, как совсем невольно дрожь пробегает по вашему телу. Быстрой походкой проходят странные, таинственные и жуткие существа. Они укутаны в серые халаты, халат покрывает всю фигуру, голову, руки. На лице висит густая, черная, из конского волоса, сетка — чачван. Женщина не ходит — бежит. Она жмется к глиняным стенам, стараясь поменьше напоминать о себе, на скорую руку покупает в лавочке нужные товары и дальше бежит, скорее, скорее. Халат развевается, серые ленты сзади натягиваются, как вожжи, сапоги в толстых глубоких калошах быстро мелькают. Мужчины уступают женщине дорогу — на улицу она попала случайно, ей надо скорее уйти. И если нищенке, чтоб собрать милостыню, нужно оставаться на улице, она, как подбитая ворона, забивается в угол и протянутую руку прикрывает тряпкой. Все тело женщины должно быть укрыто от взора мужчины. На улице женщине нечего делать, ей отведена внутренняя половина дома — ичкары.

В этом глиняном городе причуд живут легенды, предания, пригретая неимоверным солнцем голова способна к выдумке. Зайдите в чайхана́, закажите зеленый бухарский чай — кок-чай — потяните чилим — необычайного размера трубку, из которой курят все, и слушайте. Здесь умеют ловко и красиво рассказывать, узорная фантазия создала особых людей — madда́х — занятие которых — рассказывать. Madда́х раскачивается, сидящие пьют горький, без сахару, кок-чай, дым из чилима плывет над всеми — и вот вы узнаете, что Искандер Зулькарнайн (Александр Македонский), возвращаясь из туземного царства, вышел из-под земли на Шейхантурском кладбище. На кладбище Искандер Зулькарнайн разлил несколько капель вечной живой воды, взятой им из подземного чудесного источника. На этом месте — на месте падения капель — выросли деревья саур. Если хотите — можете увидеть засохшие стволы деревьев. Они стоят до сих дней на кладбище, и они — священны. Вам расскажут, что в Бич-агачской части находится медресе Кукол-даш — из высот ее сводов бросали вниз женщин, зашитых в мешок, ибо женщины эти нарушали верность своим мужьям. Пейте чай и слушайте — легенды и преданья прыгают через тысячелетия, близятся к нашим дням. Вот легендарная жизнь Захриден-Магомет-Бабр. Это был известный революционер, он хотел повести всех мусульман к победе. Вот и Файзулла Ходжаев, «наш Ленин», который вел ожесточенную борьбу с эмиром Бухарским. Вам расска-

жут о русском офицере Осипове, который «не хотел нашего Ленина», но к
торый вынужден был уступить под натиском освободительных войск. Ст
рина и современность, как нигде, сплелись здесь, они идут рядом, они пок
не мешают друг другу: существует народный суд, но существует и Шариа
В мечетях и медресе находятся трудовые народные школы, в школах пр
подают на узбекском, но изучают и русский язык. В школах-медресе — в
сят портреты «вашего» и «нашего» Ленина, и молодые ребята при мне п
дробно, точно помня все даты, говорили о Владимире Ильиче. Осторожно
верно творят новую жизнь свои люди, на пестрых халатах узбеков алек
флажки с портретом Ленина. Старина и современность идут рядом, и уж
можно встретить узбечку, которая не так тщательно прячет лицо свое
руки. Три года находился в Иски-Ташкенте первый за все время существ
вания Туркестана женский институт; сейчас институт переведен в новь
город. Институт открыт молодой Узбекской республикой, в нем обучает
свыше 200 женщин — готовятся учительницы для аулов и кишлаков.

Плывут часы незаметно, тает день, золотится высокая трава на пло
ких глиняных крышах. Скоро наступят сумерки, когда нельзя будет отл
чить черную нитку от белой, и тогда еще больше наполнятся чайхана́, соб
рутся музыканты, раздадутся звуки дутара, тамбура, сивизги, гиджа́к
чайнги[1]). «Бис-илля ар-рахма́н ар-райм» — во имя бога милостивого, мил
сердного. Забьют в барабаны, коричневые лица начнут лосниться, черн
глаза ярко загорятся — алла, алла, алла! Неизвестно откуда выплывут бачи[2]
подведенные глаза будут улыбаться по-женски, они раставят ноги, подним
руки кверху — миг — и грешные мальчики-женщины пускаются в пляс. Дли
ные, обтянутые шелком, фигуры извиваются, каждая часть тела как бы о
дельно движется под тонким халатом. И ярче блестят глаза у сидящих, он
по-прежнему стараются степенно гладить бороды, но руки заметно дрожа
Вино заглушает сознание, музыка неустанно тянется, не устают бачи, кр
жатся, приседают, притоптывают ногами... Идет ночь, чудная кудесница н
чудной земле.

Иски-Ташкент, май.

«Его зовут Ленин».

Среди непонятных, певучих, как восточная музыка, слов, одно, пр
износимое одинаково на всех языках и наречиях, ставшее поистине инте
национальным — Ленин.

В жгучих, бескрайних степях, в темно-зеленых, пахнущих спелым урю
ком, кишлаках, в чайхана̀, у стен высоких развалин, в мужских половинах -
ташкари, — везде и повсюду вы слышите о великом Ленине. Арбакеши и де
хане, уличные торговцы и продавцы прохладительных напитков, дервиши
мадда́х, дети и старики, — все, решительно все поют и рассказывают легенд
сказы, предания, песни о Ленине. Из уст в уста переходят рассказы, мечт

[1]) Туземные музыкальные инструменты.

[2]) Мальчики-танцоры, находящиеся на содержании мужчин.

тельные узбеки переделывают текст и напев, передают другим, в другой кишлак, в другой аул. И вот — глядишь — легенда расцветает пышным цветом, блестит, как далекий снег на далеких синих горах. Народное творчество, окутавшее сказочными тайнами фантастические теперь имена Александра Македонского и хромого Тамерлана, — народное творчество Узбекистана кутает в чудесный, многоцветный словесный шелк имя вождя советской страны, вождя просыпающегося Востока.

Прелестен популярный сказ о «четвертом миге счастья» [1]):

Было время, когда все люди — и желтые, и черные, и белые — жили счастливо. Никто не задумывался над судьбой своей, ибо все судьбы были одинаковы. Никто не спрашивал — почему жить хорошо, ибо не знал никто, что жизнь может быть плоха. В те времена жил на земле мудрый и ученый Хатто-Баш. Даже сам аллах побаивался Хатто-Баш: мудрец знал весь коран, в то время как аллах не твердо его знает и каждый четверг повторяет священную книгу... Однажды спал Хатто-Баш и, когда проснулся — увидел около себя записку и палочку. Ученый Хатто-Баш сразу же узнал прекрасный почерк: таинственную записку писал Иссы — писарь аллаха. «В этой палочке, — стояло в записке, — счастье людей, она передается тебе, Хатто-Баш. Береги ее, мудрец: худо будет людям, если палочка попадет в руки сатане». Задумался над запиской Хатто-Баш, и пока думал — шайтан [2]), увидевший палочку, украл ее и понес в горы. Громко закричал Хатто-Баш, но спал старый аллах, и, когда проснулся — было уже поздно. Шайтан унес палочку и завалил ее горами.

В этот первый миг — тысячелетие для всех смертных — Каин убил Авеля. В этот первый миг один из людей сказал: — Я сильнее всех вас и хочу быть царем. — И он стал царем. В этот первый миг — тысячелетие — полилась кровь. И увидел аллах, что произошло на земле, и ужаснулся аллах и заплакал. Сорок дней и сорок ночей длился плач аллаха, сорок дней и ночей лились аллаховы слезы на землю. Люди зовут этот плач аллаха — потопом

За первым мигом настал второй. И второй миг был не менее страшен. Он длился 2000 лет. По земле прошел Хромой Тимур, по земле прошло много кровавых людей. И кровь человеческая поднялась к небу росой и осела на белые одежды аллаха. И белые одежды сделались красными, красными — от крови. И увидел аллах, что произошло на земле, и ужаснулся аллах и опомнился.

Тогда второй миг сменился третьим. В третий миг опомнился аллах. — Иди искать, — сказал аллах Хатто-Баш. Но Хатто-Баш был стар, великие людские горести убили старика. Он сказал: — Умираю я. Вот — умираю я, — сказал он. — А искать палочку я пошлю моего ученика. — Так сказал Хатто-Баш и умер. Ученик его пошел искать счастье. Звали ученика — Ленин. И в третий миг пошел Ленин искать счастья. Он свергнул насильников, и,

---

[1]) К сожалению, на русский язык переведено лишь самое незначительное количество песен и легенд. Делали это пока что корреспонденты средне-азиатских газет. Из корреспонденций и записей мы черпали основные мотивы передаваемых ниже легенд.

[2]) Чорт.

когда на шестой части земли не стало ни хозяев, ни рабов, — Ленин исчез... Люди увидели, что исчез Ленин, и сказали — он умер. Но Ленин не умер. Он помнит завет Хатто-Баш и ищет, и ищет в горах людское счастье. Люди видят, что трясется земля и говорят — землетрясение. Нет. Это Ленин раскидывает горы, это Ленин ищет палочку, ищет счастье и правду.

Вот, когда он найдет палочку, тогда все люди — и желтые, и черные, и белые — будут жить счастливо. Никто не задумается над судьбой своей, ибо все судьбы будут одинаковы. Никто не будет спрашивать, почему жить хорошо, ибо не будет никто знать, что жизнь может быть плоха.

Четвертый миг счастья настанет тогда.

Песнь о Ленине:

В тот миг, когда Ленин родился от матери, он увидел людское горе и вздохнул. И земля услышала этот вздох, и люди узнали, что родился он — Ленин.

Когда в двадцатый раз глаза его увидели расцветающий урюк, он надел плащ — плащ нищего — и ходил от двери к двери. Он ходил от двери к двери и слышал людское горе. И загорелся он от людского горя ненавистью и любовью: он так же любил бедняков, как ненавидел врагов.

И встал Ленин на защиту бедняков и отдал беднякам свою душу. Так должен поступить каждый, кто хочет защищать бедняков. Если он не отдаст души — слова его будут ложны. И Ленин отдал душу. И слова его были справедливы. И от справедливости посохшее дерево дало плоды.

Из сердца Ленина вылетали искры... Эти искры были ярче, костра — ночью.

Ленин кровью сердца своего, любовью своею написал для нас указание прямого пути — Маслак-уль-Муттаных.

От гор Каф и до гор Каф распространилась весть о его мудрости.

И под гнетом подвигов великих и пламенной любви стан Ленина согнулся, как буква «дал» (⊃).

Песнь о смерти Ленина:

Соберите, люди, все лучшие и лучшие слова. И словами этими славьте в песнях великое имя Ленина. Хоть его смерть была, по цене, дороже, чем стоит вся земля и находящиеся на ней, — мы перестанем плакать. Пусть огонь любви высушит наши глаза, ибо было слез слишком много. Слезами можно было затопить кишлак. Плакали пески и пустыни. И небо истекало слезами.

Тело Ленина лежит под грузным камнем. Но тело Ленина только дом, в котором он больше не живет.

К подножию его могилы, как к черному камню в Мекке, будут ходит все люди.

Не каждый видел птицу Шунгар. Она совсем белая и сильнее орла. Ленин был шунгаром среди людей. Смерть из лука подстрелила его, и он умер. Что нам делать? Он покинул нас, он переселился в Арш. Что нам делать?

Соберите, люди, все лучшие и лучшие слова. И словами этими славьте в песнях великое имя Ленина. Пусть огонь любви высушит наши слезы, ибо было слез слишком много.

Легенда о Ленине:

Нельзя жить людям без счастья. И люди ищут счастье, они чувствуют, где оно, и идут к нему. Но путь лежит через холодные снежные горы, и это б еще ничего — на пути к счастью — ок-илен — стрела-змея. Все злые силы приказали ок-илен — не пускай! — и она не пускает. Но людям нельзя жить без счастья. И вот люди выдумали лук. Люди вооружились луком и пошли искать счастье. Напрасно: стрелы лука не могут уязвить ок-илен, они ломаются, они только щекочут злую змею. Задумались люди и придумали щиты. Люди прикрылись щитами и двинулись к счастью, но и на этот раз ок-илен осталась непобедимой. Ок-илен прошибла щиты насквозь, и много полилось человеческой крови. Тогда в отчаянии люди стали выдумывать все новые и новые орудия — нельзя людям жить без счастья — и род за родом, племя за племенем двинулись к счастью. Но ок-илен по-прежнему никого не пускала. Ок-илен все больше крепла, с каждой новой людской выдумкой она становилась все сильнее и сильнее. И не знали люди, что делать, и уже хотели люди остановиться на полпути. И тогда пришел человек. Он был одет, как декхан, у него были мозолистые руки, руки декхана, и в руках у него был хлеб. У человека не было никакого оружия, у него был только хлеб. И с одним хлебом он пошел на ок-илен. Человек приблизился к ок-илен, ок-илен приблизилась к человеку, и вот они остановились. Ок-илен собралась с силой и бросилась на человека. Человек не стал защищаться, он только протянул вперед мозолистые руки, в которых находился хлеб. Ок-илен прикоснулась к хлебу, ок-илен ударилась о хлеб и упала замертво. И дорога к счастью освободилась, и люди пошли за человеком — к счастью. Человек, который их повел и освободил их от ок-илен, был бедняк, но родился он от месяца и звезды и от них получил силу. Слушайте, слушайте, узбеки: его — человека, освободителя — зовут Ленин...

Ургут, май.

Байга́.

В Аман-Кутане я видел вечно старую и вечно новую, захватывающую до безумия, до потери сознания игру-спорт — байга.

В два часа ночи по московскому времени нас разбудили прямые, упрямые звуки карная [1]. Солнце, точно оно и не уходило, пекло, как днем. На

---

[1] Туземный музыкальный инструмент, длинная труба.

дворе без умолка ворчали голуби — в Узбекистане они, как нигде, надоедают своим несносным писком и криком. Удлиненный — от халата — мальчик просунул в дверь голову, его черные глаза плутовски улыбались, он поставил узкогорлый медный кувшин с водой и, довольный и радостный, вкладывая в произносимое слово большой смысл, сказал:

— Байга!

Магическое это слово никакого впечатления на меня не произвело. Но мальчик был слишком взволнован, он не мог примириться с моим спокойствием. Он размахивал руками и ногами, падал на ковер, самого себя поднимал рукой, швырял свое тело в угол, лежал неподвижно, как вещь, опять вставал, одной рукой тащил себя в одну сторону, другой — в другую. Пот выступил на его лице. Я мучился вместе с ним: очень уж нехорошо, когда люди говорят на разных языках, не могут понять друг друга. Наконец, большое желание нашло исход и, выкопав на дне своей головы неизвестно когда услышанные русские слова, коверкая их, он произнес:

— Баронам будим рвать!!!

Кривые, местами пузатые, улицы кишели людьми. Трудно было до этого представить, что в желтом Аман-Кутане столько людей. Возможно — на торжество прибыли узбеки окрестных кишлаков и аулов. За узбеками, отставая от них на пять шагов, шли укутанные, завешанные узбечки. Большинству из них разрешалось только проводить мужей, жены должны были вернуться в свои женские половины — ичкары; у каждой за паранджой я чувствовал несказанное горе.

Улицы кишели людьми. Иные, подбоченясь, шли важно, нарочито-медленно, полы пестрых халатов раздувались, как паруса, головы библейски-гордо поворачивались на упругих шеях. Иные не могли, да и не хотели скрыть свое любопытство — это были бедные, декхане, у них не было халатов, они были одеты в ситцевые косоворотки и штаны. Иные сидели на ишаках, длинные ноги наездников чуть касались желтой земли, сандалии держались на кончиках пальцев, короткими заостренными палочками они часто погоняли животных, долбили холки ишаков. Иные приехали на торжество с женами — смешно было видеть, как сзади, за мужем, сцепившись, на несчастной спине ишака, на худом его заду сидели узбечки — по две, по три. Иные водили лошадей. Это были участники байги. На сытых текинцах отдыхал глаз, лошади были весело возбуждены, они, точно чувствуя предстоящее, грациозно, чуть касаясь земли, ставили ноги, позванивали удилами и, взмахивая головами, приглашали всех любоваться собой.

За Аман-Кутане шел бесконечный простор. Сюда стекался народ. Степь была пестра от людей, ишаков, верблюдов и лошадей. Звуки карная, продолжали раздаваться. Пронзительно кричали ишаки, плакали, от нечего делать, верблюды, ржали чудесные лошади, орали дети, горланили узбеки, шептались женщины. То тут, то там бронзовые наездники водили лошадей. Сейчас только я заметил, что узбекам, как, впрочем, и всем смертным, свойственно льстить сильным и красивым. И человек в халате, и человек без халата, и обладатель чалмы, и узбек, носящий только тюбитейку, — все как бы разби-

лись на группы. Каждая группа льстила своему наезднику. Наездникам, видно, нравилось это, но истязание было впереди, и они молчали.

Но вот на карнае заиграли торжественно и строго. Глухое волнение пробежало по людским рядам. Без чьих-либо распоряжений толпа образовала громадный круг, создала живой ипподром. Наездники — их было пятнадцать- — со своими лошадьми вышла на середину. Лошади прядали ушами и, всхрапывая, беспокойно прислушивались к последним трубным звукам. Тишина. Все и все замерли.

Моментально на круглой площадке появились трое. Они вели златокудрого, налитого салом барана. Баран упирался, ступал как-то особенно почтительно, медленно, переваливаясь с ноги на ногу. В середине площадки люди остановились. Один из них сел на барана, задрал ему голову. Шея барана натянулась, сделалась упругой. Сейчас, с невидимой доселе ловкостью, один из троих всадил острый клинок в баранью шею. Баран метнулся, бросился в сторону, но его цепко держали, и он, стоя на ногах, с недоумением следил за красной струей крови, которая лилась из его шеи.

Кровь еще больше возбудила толпу. Сотни и тысячи глоток испустили крик, выпиравшие из орбит глаза были устремлены в одну точку. Там быстро заканчивали работу. Один отрубал барану голову, другой, ловко орудуя ножом, сдирал теплую кожу, третий убирал остатки, стирал кровь. Вскоре вместо златокудрого барана на земле лежала баранья туша.

Сейчас сошлись полукругом стоявшие наездники. Они сняли яркие. шитые золотом и шелком тюбитейки и бросили в мешок. Мешок потрясли, посторонний, приглашенный из толпы узбек, засунул в мешок руку и вытащил одну тюбитейку.

Невероятное произошло с молчавшей доселе толпой. Все взбесились и начали поддразнивать наездников-жокеев. Сейчас присутствующие более явственно размежевались на группы. Каждая группа громко восхваляла достоинства своего любимца и высмеивала мнимые недостатки других наездников. Стоявшие ближе дергали наездников, незаметно били лошадей противников. Возбуждение росло, заражало других, передавалось жокеям. Тихо, потом все громче и громче начали переругиваться наездники. Их раздражала сейчас каждая мелочь. Шум и гам усиливали раздражение.

Обладатель вытянутой тюбитейки подошел к бараньей туше, поднял ее и, точно это был потник, положил на спину лошади. Лошадь вздрогнула и замерла, всадник с быстротой выстрела вскочил на лошадь. Баранья туша служила ему седлом. Ногами он крепко обнял корпус лошади. За первым на лошадях сели другие наездники. Опять заиграл карнай. Кто-то крикнул. Все замерли. Кричавший три раза ударил в ладони. Байга началась.

Наездник с бараньей тушей вздыбил лошадь, лошадь прыгнула, поднялась почти вертикально, наездник гикнул, нагнулся, прилип головой к шее лошади, — и они понеслись. За первым наездником сорвались с места и другие. Круг был огромен, лошади мчались с невероятной, с бешеной быстротой. Наездники и их лошади казались живыми комочками. Вот, отделившись от массы, к первому комочку начал приближаться второй. С каждой секундой

расстояние между ними уменьшалось. Один нагонял другого с математической точностью. Заранее можно было сказать, что через пять секунд они поровняются. Так оно и было. Комочки шли рядом. Секунда. Еще одна секунда. Между наездниками началась борьба. Второй перегнулся к первому и, ухватив руками баранью тушу, начал вырывать ее из-под сиденья первого. Первый не давал. Тогда, не выпуская поводья, второй в один безумный миг очутился на лошади противника. Соперники двигались на спине лошади, как на качелях. Лошадь второго послушно неслась рядом. Через несколько секунд, через несколько томительных секунд, казавшихся часом, красное седло — туша — очутилась в руках наездников, переходила из рук в руки. То захватывал один, то оказывалась она у другого, который поспешно, в диком, в бешеном движении старался ее положить на лошадь, скрыть под собой. Туша переходила из рук в руки. Трудно было сказать, кто будет последним, победителем.

Но вот к двум комочкам приблизились трое. Пять наездников неслись на одной линии. Второй опять нагнулся к первому, припал к бараньей туше. Первый укрыл тушу своим телом, всей фигурой навалился на лошадь. Это была его ошибка. Третий ездок с другой стороны потянул барана, первый не рассчитал, нападение было, видно, для него неожиданно, он дрогнул и свалился с лошади. Лошадь две-три секунды неслась вперед, но, почувствовав, что ее хозяин отстал — остановилась. На время первый выбыл из строя.

Наездники двигались вперед. То тот, то другой отставал, то тот, то другой летел с лошади, неподвижно, как мертвец, лежал в пыли, потом опять поднимался, хромая или придерживая здоровой рукой ушибленную, ловил свою лошадь, карабкался и догонял противника. Густой, длинной вуалью тянулась за наездниками пыль.

Замершие было зрители взорвали тишину при первой же стычке. Каждый из присутствующих — а их было несколько тысяч — рвал глотку, хотел, чтобы его крик, его замечания, его мнение были услышаны всеми зрителями. Горячая кровь, изо дня в день подогреваемая горячим солнцем, сказывалась вовсю. Так как зрителей было несколько тысяч и несколько тысяч было мнений, то, естественно, возникали споры. Каждый был прав. И каждый был неправ. У правого находились единомышленники, наконец — союзники по группе, по наезднику. У виноватого тоже были друзья, друзей тоже об'единял наездник, который серым комочком несся сейчас по ристалищу. Вместе с языком чесались руки. В руках были нагайки, бычачьи жилы. Нередко нагайки и спиралью свернутые жилы пускались в ход. Начиналась свалка. Более уравновешенные и спокойные разнимали дерущихся.

— Вот, вот они приближаются. — кричали более спокойные. — Глядите, глядите, они приближаются к нам!

И действительно. Комочки росли, свист ветра, удары копыт доносились все явственнее и явственнее. Дерущиеся забывали о драке, злоба таяла. Зрители отступали. На них летели наездники. Лошади едва касались земли, видны были только руки наездников, только руки, которыми они боролись. Из шума все отчетливей выделялись храп, тяжелое дыхание животных и людей. Толпа замолкала только на секунду, чтоб с большей силой шуметь. Сейчас крики

относились к наездникам. Друзья ободряли своих кумиров, враги ругали, высмеивали, предсказывали им позорный проигрыш. У каждого был один друг и четырнадцать врагов, заклятых, на это время, врагов. Когда со свистом ветра, со стуком копыт, криком проносились наездники, каждый старался легким выстрелом нагайки, ударом в ладони, треском воловьих жил подбодрить лошадь друга и больно ударить, да так, чтоб удар хоть на миг замедлил ход лошади врага. Но у лошади врага были свои друзья; наездники пронеслись в три секунды, — удары и ругань сыпались на зрителей.

Старики зорко следили за игрой. Они старались быть спокойны — им надо авторитетно заявить, кто победил в игре, им надо считать разы, количество проделанных кругов. Если наездник, отбиваясь, защищаясь, три полных круга провезет тушу — победа за ним.

Но победителем пока никто не был. Баран переходил из рук в руки. Наездники явно уставали. Все чаще спотыкались лошади. Некоторые жокеи, бросив удила и держась за гриву лошади, просто скакали, не принимали участия. Это, как я потом убедился, была своего рода хитрая стратегия. Пока что наездник и лошадь накопляли силу. Пятнадцать, двадцать, двадцать пять минут борьба шла с переменным успехом. Те, что боролись, явно уставали и нервничали.

Тогда за дело взялись отдыхавшие. Моментально лошади почувствовали стальные удила; как бешеные, понеслись они к дерущимся, и зрители почувствовали, что сейчас решится борьба.

Действительно. Мгновенно отдыхавшие поровнялись с борющимися. Сразу же стало ясно, что они отдохнули, что они накопили достаточно энергии, чтоб решить, наконец, борьбу. Моментально туша выскользнула из рук уставших. Сейчас борьба несколько затянулась — за обладание тушей боролись отдохнувшие. Туша опять стала переходить из рук в руки. Но это уже длилось сравнительно недолго. Баран очутился, наконец, в руках одного наездника. Налет. Еще один налет. К захватанному мясу тянулось множество рук, но одна пара держала тушу цепко. Мгновенье, еще одно мгновенье— и баранья туша лежит на лошади, поездник навалился, прикрыл барана. По всем энергичным движениям жокея видно, что отдать барана он уже не намерен. Он навалился на тушу и пустил текинца во всю прыть. Его дергали, тянули с лошади, просто били — он превратился в прикованный к лошади, к барану, железный груз.

— Один, — прокричали старики.

— А-а-а... У-у-у... Ур... Дарсу!.. — ревела толпа.

Крик толпы «один» стариков еще раз — лишний раз — напомнили наездникам, что игра близится к концу. Сейчас, когда начат второй круг, надо во что бы то ни стало вырвать тушу из цепких рук и начать игру с начала. Швырявшиеся кусками пены лошади вынуждены были скорее побежать. То тот, то другой перегибался к обладателю туши, то тому, то другому удавалось на короткое время перебраться на спину лошади противника. Но противник был прикован к туше и лошади. Одной рукой он, сохраняя спокойствие, защищался от наседавших жокеев. Он был творчески спокоен, в то

время как все прочие волновались, нервничали. Его лошадь чувствовала превосходство своего хозяина над всеми остальными и продолжала плыть по ипподрому.

— Два! — крикнули старики.

Зрители взбесились. Начинался третий — последний — круг. Совершенно забыв, что в этом шуме, хаосе, волнении их голоса не могут быть услышаны, зрители напоминали наездникам о конце, кой-как их ободряли, но в ободрении этом ясно проскальзывали нотки бешеного недовольства. Другие, наоборот, замирали от блаженства, дико, не сознавая что делают, подпрыгивали, орали, в исступлении били себя в грудь. Кой-где дрались. Кой-где задавленный кричал, тщетно взывал о помощи — никто не мог его сейчас услышать.

Наездники сходили с ума. Их лошади, чувствуя предстоящий позор, в последний момент готовы были отдать все свои силы. Дергающиеся от нервного напряжения руки жокеев тянулись к побеждающему. Все чаще пальцы просто впивались в тело обладателя барана, все чаще противники ругали и проклинали бравого наездника. Порой обезумевший мозг начинал понимать, что секунды сосчитаны, что вместо мелких наскоков надо дать генеральный бой. Но силы изменяли. Вот все больше и больше вырастают старики. Многие наездники отстали, некоторые карабкаются в пыли, их лошади, суживая круг мчатся, точно на цирковом манеже. Секунда. Еще одна секунда. Зрители замирают.

— Три, — кричат старики.

Все кончено. Натянутые нервы развинчиваются. Еще одно доказательство человеческой неверности и вероломности: проигравших наездников все — и друзья, и враги — высмеивают, оскорбляют, толкают. Победителя ведут к самому почетному месту. Его окружает преданная ему в этот момент толпа, его уверяют, что все, решительно все были убеждены в его победе.

Байга кончилась.

Аман-Кутан, июнь.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Госплан литературы». Сборник литературного центра конструктивистов (ЛЦК), под редакцией Корнелия Зелинского и Ильи Сельвинского. «Круг». Москва — Ленинград. Стр. 144.

Чрезвычайно важное значение имеет появление в сонме конструктивистов Веры Инбер. Она прежде всего характеризует нам эпоху возникновения этого учения и открывает нам самые сокровенные мысли творцов и создателей этой литературной школы. Веру Инбер можно без колебания назвать Ездрой конструктивизма. Позволю себе напомнить читателям «Красной Нови», что Ездра — это знаменитый ученый богослов, восстановивший по памяти «Ветхий Завет». Подобно Ездре, Вера Инбер до такой степени углубилась в изучение конструктивистских теорий, что если бы когда-нибудь подлинные сочинения Корнелия Зелинского («Госплан литературы» и «Нот художественного языка») утерялись для потомства бесследно, то Вера Инбер была бы в состоянии — я беру на себя смелость доказать это на деле — восстановить их на память, как это сделал Ездра с «Ветхим Заветом» или Фауст с «Одиссеей» Гомера. Правда, излагая учение конструктивистов, Вера Инбер со свойственной ей ученической скромностью делает оговорку: «впрочем, об этом подробнее и лучше расскажет Зелинский». Но в действительности никто так подробно и основательно не изложил всей истории возникновения этой школы и не дал таких исчерпывающих характеристик ее творцов, как Вера Инбер в своем конструктивно-комментирующем трактате — новелле-фельетоне «Нас семеро».

«Не знаю, заметил ли кто-нибудь вместе со мной, — говорит она, — что всякое появление новой поэтической школы роковым образом вызывает улыбки. Я должна покаяться, что сама неудержимо улыбалась, прочтя впервые на афише о «выступлении конструктивистов».

«Еще, — подумала я, — еще одна школа. Разве их и без того мало? Кроме того, само слово показалось мне длинным, громоздким и неубедительным. Особенно смутили меня три «т» на протяжении одного сантиметра.

— Те-те-те, — сказала я себе, — хорошо, что я не с ними.

Но прошел год, — и я с ними. И даже три «т» перестали смущать меня.

— Так, так, так, — думаю я. — В конструктивизме нет ничего смешного. Это единственно правильная поэтическая школа, сочетавшая в себе высокую температуру доменной печи с четкой сухостью диаграммы («Известия ЛЦК»).

И дальше без всякого смущения, но с заметным «повышением смысловой нагрузки на единицу материала», как этого требует «емкость художественной речи», одним словом, по всем правилам и инструкциям «локального принципа и конструирования темы из ее основного смыслового состава», Вера Инбер дает несколько четких конструктивных характеристик своих сотоварищей по «смысловой доминанте» [1]). «Смысловая же доминанта» самих характеристик сводится текстуально к следующему:

«Сельвинский, Зелинский и я — мы образовали гегелевскую триаду, в которой Сельвинский был тезой, Зелинский антитезой, а я, если угодно, син-

---

[1]) Вся заключенная в кавычки терминология заимствована из трактата Корнелия Зелинского «Госплан литературы».

тезом. Впрочем, я согласна и на тезу или антитезу».

Вот к чему свелась, как оказывается, «смысловая нагрузка» трех символических «те-те-те»: к гегелевской триаде; или, следуя «локальному принципу боковой характеристики» (по инструкции Корнелия Зелинского), скажем еще точнее — к пресвятой триединой тройце: Сельвинский, Зелинский и Вера Инбер. Во всяком случае, как это видно из приведенной цитаты, новой поэтической школе покровительствует не только муза поэзии, но и богиня философской и пророческой мудрости. (Недаром всех конструктивистов в столице Союза ССР насчитывается семеро — по числу семи мудрецов.) В этом отношении особенно характерными являются дальнейшие признания Веры Инбер:

«Нас было трое: теперь нас семеро. Четвертым появился Агапов. Мы открыли его за чайным столом в одном литературном доме, где он читал лирические, голубоглазые и белокурые стихи о городской весне. Сельвинский посмотрел на него сбоку мимо пенснэ, кашлянул и дочиста отгрыз ноготь на большом пальце. Зелинский, лунно улыбаясь, спросил его, что он думает о погоде и о тактовом стихе.

Затем появился Туманный.

«Д. Туманному, с его сюжетным мозгом и авантюрной душой, легко было начать работать в нашем плане, гораздо легче, чем, например, Агапову. На Агапова Сельвинский навалился прессом, выжимая из него лирическую подливку. Туманный же от природы сух и выжимать было нечего».

Такова участь каждого истинного апостола. И Агапов, и Туманный вправе сказать о себе словами благочестивого Амоса, обращенными к царю Амазии:

— Я не пророк и не сын пророка, я простой голубоглазый пастух «с сюжетным мозгом и авантюрной душой». Но Илья Сельвинский и Корнелий Зелинский отняли меня от стада и от чайного столика и, «выжав лирическую подливку», повелели мне: гряди и пророчествуй. И се зрите вы превращение моего авантюризма в конструктивизм.

Это авантюрно-конструктивное преображение по слову Зелинского и Сельвинского не ограничивается одними Туманным и Агаповым. Как поясняет Вера Инбер:

«Проза Габриловича тоже, если хотите, авантюрна. Но эта авантюрность чисто психологическая и разворачивается она не на земле, воде и воздухе, как бывает обычно, а в клеточке мозга ничтожной емкости».

Итак: «те-те-те», лунные улыбки, белокурые стихи за чайным столиком, авантюризм с лирической подливкой и клеточки мозга ничтожной емкости — вот та родильная утроба, из которой появился на свет божий мощный конструктивизм с тремя «т» на протяжении одного сантиметра. Удачнее этого и желать нельзя. Где же и развернуться бешеным бурям современной поэзии, как не за чайным столиком и в мозговых клеточках ничтожной емкости? Не полагаясь, однако, на свои собственные «клеточки ничтожной емкости», конструктивисты получили в свое распоряжение чудесное средство, изготовленное для них по специальному заказу Корнелием Зелинским на предмет «повышения, уплотнения и увеличения художественной емкости». Корнелий Зелинский — это pontifex maximus конструктивизма, т.-е. хранитель священного огня в душах конструктивистов. Спрессованный по способу Сельвинского и освобожденный от «лирической подливки» конструктивист подвергается дальнейшему «уплотнению» и «нагрузке» в «лабораториях» Зелинского и Аксенова (младший жрец), которые и посвящают его в сан истинного конструктивиста, начинив его всеми потребными конструктивистскими инструкциями.

«Этих главнейших принципов литературного конструктивизма, — говорит Корнелий Зелинский, — четыре:

1. С м ы с л о в а я д о м и н а н т а.

2. П о в ы ш е н и е с м ы с л о в о й н а г р у з к и н а е д и н и ц у л и т е р а т у р н о г о м а т е р и а л а, е м к о с т ь х у д о ж е с т в е н н о й р е ч и.

3. Л о к а л ь н ы й п р и н ц и п, т.-е. к о н с т р у и р о в а н и е с в о е й т е м ы и з е е о с н о в н о г о с м ы-

словового состава. Отсюда вытекает подбор словаря к теме, ритма, эпитета и т. д.

4. Введение в поэзию повествования и вообще приемов прозы» («Госплан литературы», стр. 26).

Усвоение указанных принципов обеспечивает любому конструктивисту бессмертие и гениальность. И это само собой понятно. От прикосновения «смысловой доминанты» любой дурак становится мудрее совы. «Повышение смысловой нагрузки» наполняет «клеточки мозга ничтожной емкости» исполинскими горизонтами. «Локальный принцип» превращает чайные столики в бушующие океаны. И сказочно опьяненному и околдованному конструктивисту остается только уверенной и спокойной рукой переписать на бумагу свои гениальные мысли и вдохновенные чувства. Так из технических инструкций конструктивизма рождаются Сельвинские, Агаповы и Туманные. В своей статье «Госплан литературы» Корнелий Зелинский наглядно иллюстрирует чудеса конструктивной техники на произведениях всей своей школы.

«Разберем, например, — предлагает он, — боковое, побочное значение эпитета для дополнительного усиления основной темы.

«Беру примеры из Ильи Сельвинского. Так, например, в его короне сонетов «Рысь» — рысь попадает в капкан, у нее загнивает лапа и вот Сельвинский говорит о «гангренном западе».

«В «Море» — «медузная волна» (побочный намек на морскую фауну).

Или:

Слегка повизгивал брюхатый
бриг
На мокром и мозолистом канате —

боковая характеристика матросов».

(«Госплан литературы», стр. 27.)

Богатство «смысловой нагрузки на единицу литературного материала», достигаемое такими «боковыми характеристиками», очевидно само собой. Жаль только, что Корнелий Зелинский остановился на полдороге. Позволю себе продолжить его работу хотя бы на последнем двустишии. «Уточнение» получится еще выразительнее. Так, «брюхатый бриг» надо, конечно, понимать как «побочный намек» на пузатого владельца брига и его брюхатую жену. Слово «повизгивал» без сомнения намекает на кучу визгливых детишек и плодовитость буржуазных хозяев брига; а «мокрый» канат — это «боковая характеристика» этих невоспитанных детишек, поведение которых требует сердитого распоряжения матери: «унесите их поскорее».

Нечего, разумеется, добавлять, что и Сельвинский и Зелинский, и все конструктивисты от первого до седьмого на каждом шагу клянутся бородой Маркса и Энгельса, цитируют Ленина и Плеханова и пользуются терминологией Госплана и Нота. Кто же сам себе враг? Кто же, выступая с планом новой литературной школы в наши дни, не назовет ее трижды пролетарской и марксистской, если даже Сергей Есенин обращается к самому себе с покорным вздохом:

«Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк».

Но Маркс — Марксом, а цыганская пляска дается в таком «марксистском» толковании:

«Поты, лыты, мяты, пáды,
Лыты? мяты? пáдалицей».

Расшифровывая «смысловую нагрузку» этой конструктивистской бессмыслицы, К. Зелинский пишет:

«Теперь, зачеркивая везде приставку «ты», которая обозначает притоптывание, мы видим, что это семантически вводит в запев следующие строфы:

Полымя — пáдалицей
Долами прядается,
В западе ж буланого
Полямь да метелица» (стр. 29).

Ах, Вера Михайловна, Вера Михайловна! Вот вам и «плечи как у трактора» и «температура доменной печи». А выходит совсем, как в анекдоте о пьяненьком дьячке, который, отпевая архимандрита Тита, увлекся «семантической нагрузкой» и пошел отплясывать в церкви, задравши

полы подрясника — дрита-тита-тита-дрита. А все от того, что на «боковую характеристику» мало внимания обращаете. По «смысловой доминанте» все честь честью: и гегелевская триада, и Маркс, и Плеханов. А зачеркните эти приставки и вместо Корнелия Зелинского и Аксенова выходят — по «побочным намекам»— Монтигомо, Ястребиный Коготь.

Л. Войтоловский.

Софья Федорченко. «Народ на войне», том II (Революция). Изд. «Никитинские Субботники». Москва 1925 г. 130 стр.

Второй том блокнотных записей Софьи Федорченко — «Народ на войне» производит такое же сильное впечатление, как и первая ее книга.

Мысли, подслушанные автором, отражают настроения широких крестьянских масс, всколыхнутых последним крайне беспокойным десятилетием. Война толкнула к «переоценке ценностей». Заплесневевшие традиции монархизма, державшие в рабстве стопятидесятимиллионное население, обнаружили свою уродливую сущность и навсегда оттолкнули от себя человека труда:

«Война эти все темности лаком покрыла. Все для всех видать стало. Никакими орденами не причепуриться. Всякий чирий на свету—на виду».

Знаменательно, что в самом начале войны в душе народной жило уже предчувствие иной жизни, более светлой и более свободной: «Как на войну брали, дед один говорил, — подгонит, уторопит война новые времена. Всю землю костями укроит, на тех костях новое житье устроит. Лишит нас война деток, хлеба, да приведет новое житье с неба».

Но пойдем по порядку записей, соответствующих этапам развернувшихся событий.

Первая волна февральской революции смыла престол. И вот какими «верноподданническими» рассуждениями комментирует это событие народ на войне:

«За стенами в красных палатах жили, народу царя словно икону показывали. Так на нем ни пятнышка не приметить было. А теперь война-то его под самый нам нос подсунула, на, мол, крестьяне, смотри, что за чучелок воробьиный ото всякого ветру рукавом машет. А куда нам такой».

И дальше:

«Царя сняли, ха, уж коли бог попустил, так нам не противиться, мы покорные...»

В этих словах не трудно разглядеть плутоватую иронию и довольство, которые сопровождают и все последующие мысли, посвященные падению монархии.

А вот как принята была на фронте революция:

«Не боюсь я теперь. Что ни случилось — лучше будет. Нас, бывало, на возжах в ров-то гонят, и то живы были. А теперь, на свободе-то, еще как заживем».

«Ни секундочки не позамялись, сразу приняли. А уж до чего обрадели. Только с часок мы по-просту радовались, а к вечеру на всякие дела потянуло. К чему это, после такого-то случая, на войне, от всякого вдали баклуши бить? И вот так которую неделю».

Радость освобождения от векового гнета шла рука об руку с решением покончить как можно скорее бессмысленную войну.

Изредка слышится неуверенность, напитанная застаревшим рабством:

«То про то, то про это думается', и жалко, что доросший я. Был бы я мальченок, ничего бы теперь не боялся. А то, кто его знает, примет ли душа моя заезженная новую свободную жизнь».

Но с отдаленной страницы перекликается с колеблющимся звонкий бодрый голос:

«Словно ты тулуп съел, кряхтишь ты, да охаешь. И чего боишься, что тебе терять-то? Худшему не быть, куда уж. А время особое, за тысячу лет такого не было, чтобы неимущий хозяином над всем. Коли и на такое душа твоя не играет, так не быть тебе живу, хоть ты и глазом хлопаешь, да зубом лопаешь...»

Но есть сомнения и другого порядка. Крестьянин боится, как бы машинный прогресс, как частица всего нового, идущего на смену всему старому, не придушил его привольных русских просторов:

«Боюсь я, а ну как все старое пропадет. И грибы на печурке растить станем.

А я и к лесу, и к простору всякому привержен. Так как бы мне душой-то под машину не угодить».

И опять разумный ответ:

«...Конечно, земля для нашего брата первое дело, однако земля-то без устройства и на кладбище не годится».

Отношение к войне у народа глубоко отрицательное. Да и за что ее любить:

«Страшусь я, что дома увижу. Изнищала нас война до чиста, от дела отбила, силы поубавила...»

«Наш брат, рядовой, всегда хорошо знал, что простому-то война, кроме худова, ни к чему. Земли у нас помещичей до-некуда. Так нужно нам еще у иностранцев землю отнимать...»

Но кровавые годы принесли и полезные плоды:

«...За одно войне спасибо, до самого краю довела, дальше-то и некуда было. Вот и пересигнули»...

Первым, однако, фазисом революции солдат недоволен:

«Что это, право, за свобода такая? Кто, освободившись, чужих людей подшибать станет, ничего для нас не вредных? Нет, до свободы еще не близко, доделывать надо».

И когда доделывание началось большевистской пропагандой «Долой войну», оно нашло полное сочувствие в солдатских массах.

Вот как на свой лад, любовно, переделал народ знаменитую легенду о «пломбированном вагоне», в котором вернулся тов. Ленин в Россию:

«Он в Россию в ящике железном прибыл, чтобы никто не знал. Ящик с дырочками. Четверо суток до Питера в ящике томился. Там товарищи вынули. Отошел с пути, теперь всем верховодит и очень думой не доволен, чистоплюев много...»

Достойно внимания, что народная молва вручила Ленину верховодство еще задолго до октябрьского переворота.

И в другом месте с той же скрытой лаской и сочувствием к большевику:

«Сказывают, приехал, будто, какой-то из-за границы и говорил, что, мол, это за судьбы перемена, коль войны не кончают. Не все нам едино, царь, али свой брат на убой гонит».

Зато иную оценку находит на фронте попытка подхлеснуть народ милитаристическим кнутом:

«Сказывают, на неделе прибывали питерские думские. Посередь военного слова их в кулаки подмяли, еле ноги уволокли. Нашли чем из Питера солдату челом бить, а еще бородатые»...

Объяснение отчужденности представителей буржуазии от армейских масс вполне правильно, классовая межа верно нащупана:

«Все больше адвокаты, законники разные. Небось, от старого медку никак не отлипнуть, сколько годов питались. Вот им и не понять никак, чего это вдруг солдат воевать перестал. Нового-то закону не раскусили еще».

И как бы продолжением злых, неприязненных мыслей о войне являются нежные, ласковые слова солдата о земле, к которой он привязан всеми корнями своей жизни. О земле говорит он, как о любимом человеке:

«Земля ты землица, красная девица, сколько годков к тебе подсыпался, вот и дождался».

«Эх, кабы только поля корежить. Наша пашенька через города всякие пораскинулась...»

Мы едва перебрали малую часть мыслей, щедрой рукой народа рассыпанных по книге Федорченко. Без рассмотрения остались богатейшие отделы — О начальстве, господах и ученых, Выборы и выборные, Чего ждут, чего хотят и об науке, О боге, душе, семье и женщинах, О сказках, словах, стихах и песнях.

Но и приведенного достаточно, чтобы сказать, что «Народ на войне» имеет и большое общественное, и большое литературное значение.

Много ли у нас книг, в которых народ высказался бы от всей полноты своего ума и сердца? За работой ему недосуг рассуждать долго. А вот согнанные со всех концов огромной России крестьяне-солдаты не только вдоволь навоевались, но и до-сыта наговорились. Острое словцо всех болячек коснулось, всем явлениям и лицам, в той или иной мере близким деревне, поставлена, выжжена пробная мета.

Совершенно исключительна и чисто литературная ценность этой книги.

Здесь не сушеные грибы афоризмов, сентенций и прочих бестемпераментных, бесцветных (пусть и очень мудрых!) отжимков жизни. Нет. Здесь подлинное искусство. Великолепное мастерство слова, приобретшее сгущенную динамику маленьких шедевров, для которых трудно найти определение в теории словесности. За репликами — живые лица. Слышен голос. Видишь улыбку.

Особый смысл приобретает для нас язык книги Федорченко сегодня, когда газетный жаргон день за днем все больше и больше уродует, обескрашивает образный прицел речи. Язык книги осечек не знает, он бьет без промаху:

«Наша речь особая, не на воде пузыри. Ученому же речь наша тяжка, как по месту придется — пудом по темени».

Зато с трудно скрываемой насмешкой отодвигает от себя деревня словесную муть городов:

«...Поверх лаптей не натянешь. А ты старую-то одежку поскидавай, вот и будут те слова впору».

Конечно, газетная епиходовщина и в деревню проникла. Но книга Федорченко является прекрасным доказательством того, что сочный русский говор еще живет вполне самобытной красочной жизнью.

Федор Жиц.

Плаун. Рассказы А. Чапыгина. И-во «Недра». Ц. 1 руб. 20 коп.

Чапыгин по преимуществу деревенский писатель. Во всех его рассказах городского, мелкоремесленного типа нет и пятой доли той живости и жизненной свежести, какие свойственны, за очень редкими исключениями, почти каждому его рассказу из быта деревни дальнего севера...

Так рассказы «Чемер», «Наследыш», «Старшие» не выходят за рамки обычных современных писаний беллетристов средней руки, набивших себе манеру и стиль, в них все у места, ничто не вызывает возражений, но... и не увлекает зато и не трогает... чувствуется, что не здесь природная стихия автора и хоть знает он не хуже других то, о чем пишет (в «Чемере» герой — рабочий из деревни), но все же не тот воздух и не тот устой, в котором может он по настоящему развернуться и показать не только свое знание жизни и человека, но и свое самобытное искусство...

Развертывается дарование Чапыгина с редкой в наше время силой и серьезностью в таких рассказах, как «Белая Равнина», «Насельница», «Люди с озер» и т. д... очевидно, кому что дано, есть некоторые пределы, всякому свои, для писателя в материале и теме, которые он при всей очевидности своего дарования, никогда не преодолеет, в силу несоответствия жизненной и творческой стихий, ибо всякое дарование прежде всего ограниченно и чем теснее эта сфера ограничения, тем самобытнее дарование, — писательский универсализм чаще всего — на все руки от скуки!

Ограниченность творческой сферы у Чапыгина очевидна.

Вот параллель, взятая на удачу:

«Со стуком кинув кость на тарелку, Рылов пьяным голосом ответил:

— Как донное грузило на уде ко дну тянет — твоя любовь мне... пью больше ежели оно к закону притти хочется, а ты что? Ты, чует сердце, все от меня дальше и женой не желашь... об этом слезно прошу — душа мается!..

Так говорит и так описывается герой рассказа «Чемер», олонецкий мужичек, хлебнувший городской отравы и в этой отраве потерявший свое здоровье и свой цветистый язык...

Другой пример:

«Она поцеловала его, стала гладить тяжелой шершавой рукой по волосам, по лицу:

— Сорвет меня, гляди!..

— Ты много зря на баб зарился, милой?.. От бабы, мужичек, никуда не уйдешь...

— На тот свет уйду!..

— А я так мекаю — нет его, того света?.. О нем только попы врут...

— Чую, помру...

— Помрешь, знать так надоть, вешний снежок идет потому, чтобы зимний матерый с земли слизать — уйдешь, а я тут сяду, как по досельному говорят: «насельницей», хозяйкой села вековешной...

Василий Лапа со стоном повернулся и схватил жену в охапку, впился ей в тугую грудь зубами, она не отталкивала его, обняла плотно и подумала:

— Видно худо ему?.. не хочет, а в больницу, што ль, надо??? ишь холодный какой мужичек и ноги синие стали...

Герой и там и тут один и тот же: хиляк-мужик, только Рылов говорит, как... Пильняк: твоя любовь мне, во втором же случае никакого подмеса не чувствуешь и хоть «холодный какой мужичек» и человек умирать собирается, но видишь его, как живого...

Хороши у Чапыгина страницы, где зверь и человек выходят перед безмолвным лицом природы на последнее ратоборство... Здесь многие картины не забываемы и войдут в историю русской литературы, как последние документы дикости и нетронутости наших северных лесов, всему этому в общем ходе цивилизации грозит скорая гибель, равно как и всем этим ловким и неутомимым охотникам, людям с озер, для которых сто верст — не дорожка, тут почти всегда у Чапыгина человек гибнет, редко торжествует зверь, старая тема Чапыгина и его родная стихия, в которой он губит своих героев, но сам выходит победителем...

С. К.

Стирлинг Тейлор. Гильдейский социализм и его политика. Перевод с англ., с предисловием С. Мстиславского. Гиз. Москва — Ленинград 1925 г. Тираж 7.000. Стр. 110+VII.

Г. Коль. Гильдейский социализм. Перевод с анг., с предисловием Ф. А. Ротштейна. Изд-во «Плановое Хозяйство». Москва 1925 г. Тираж 5.000. Стр. 133.

Русская литература сразу обогатилась двумя работами по этому, недавно еще очень модному, «виду» социализма, зародившемуся в Англии, получившему, в свое время, популярность в Европе и Америке, и, как сообщает т. Мстиславский, даже в далекой Палестине. Перед нами выступление двух авторов, из которых один (Г. Коль) является общепризнанным теоретиком гильдеизма, пытающимся дать в почти законченном виде конкретную программу гильдейского социализма и одновременно черновой набросок будущего гильдейского государства.

Однако, прежде чем перейти к критике названных двух авторов, позволим себе в кратких чертах охарактеризовать «гильдейский социализм» вообще.

В одном из своих писем (18/I—1893 г.) к Ф. Зорге (члену I Интернационала, жившему в Америке) Энгельс, между прочим, дает следующую характеристику зародившемуся незадолго до этого фабианству. «Фабианцы здесь в Лондоне представляют из себя банду карьеристов, имеющих, однако, достаточно здравого смысла, чтобы понять неизбежность социального переворота; но, не доверяя эту гигантскую работу одному грубому пролетариату, они соблаговолили встать во главе его. Страх перед революцией — их основной принцип. Они «интеллигенты» par excellence. Свой же социализм они рисуют крайним, но неизбежным следствием буржуазного либерализма... «Мы привели эту выдержку не без умысла. Гильдеизм, или гильдейский социализм, вышел из недр фабианства, явившись, собственно говоря, вторым, но значительно видоизмененным изданием его. Естественно, что в данном случае известная преемственность должна была определенно существовать, а потому применима вполне и вышеприведенная характеристика. Впрочем, дальнейшее, несомненно, убедит читателя в этом.

«Гильдейский социализм», зародившийся незадолго до войны (первый съезд гильдейцев состоялся в 1914 г.), и основоположниками которого были Артур Пенти, С. Дж. Гобсон и Г. Коль, представляет собой какую-то смесь социалистических и синдикалистических идей, т.-е. нечто исключительно компромиссное, примиренческое, пытающееся объединить в одно две совершенно необъединяемые концепции.

К чему же может привести, обычно, такая попытка? К реформизму, к болоту, к мещанско-обывательской идеологии, совершенно чуждой делу рабочего класса. На такой реформистской основе и построена вся гильдейская концепция. Ревизуя Маркса, реформируя марксизм,

гильдейцы являются, конечно, принципиальными противниками революции. Можно обойтись без революции, без кровопролитий, можно построить социалистический строй и не на развалинах капитализма, а рядом с ним, мирно, чинно, превратив его постепенно в социализм. Таким образом по теории гильдейцев, на капиталистической почве и из капиталистического семени совершенно свободно могут распуститься и вырасти прекрасные цветы гильдейского социализма.

Если обратиться к практической программе гильдеизма, которая в основном одинакова у Тейлора, у Коля и у гильдейца Бертрана Росселя («Пути к свободе», Лондон 1919), то таковая представляется в следующем виде: рабочий класс должен решительно отказаться от искания лучших и наиболее сильных методов борьбы (политические выступления, стачки и т. п.). «Необходимо разъяснить рабочему классу, что никакие политические или р е в о л ю ц и о н н ы е м а ш и н (курсив наш. *И. Б.*) не приведут его к раю земному», — пишет Тейлор на стр. 16, потому что они не в состоянии окончательно устранить зло, вызываемое капитализмом. Вместо политической борьбы рабочие, объединенные с работниками умственного труда, должны так сорганизоваться, чтобы сделаться монополистами рабочей силы.

Сплоченная в единый союз, охватывающий все виды труда, эта армия призвана составить ту грозную, живую силу, ту сумму производительного труда, которую ожидает определенная победа на фронте борьбы с капиталистами и их мертвыми средствами производства. Капиталисты, по Тейлору, Колю, Бертрану и др., попросту капитулируют и передадут свои средства производства государству за определенное вознаграждение; последнее, в свою очередь, передаст их производителям, объединенным в гильдии для эксплоатации, на условиях, вполне обеспечивающих интересы производителей.

Роль государства, по теории гильдейского социализма, сводится к регулированию цен, к определению количества благ, необходимых для удовлетворения потребностей нации и, вообще, к регулированию взаимоотношений между производителями и потребителями, объединенными в «Национальный Совет предприятий общего пользования» (Коль). Гильдии, в свою очередь, также объединяются Конгрессом Промышленных Гильдий — «высшим представительным органом гильдейского строя в хозяйственные области», выполняющим «весьма важную функцию установления и истолкования главных принципов в гильдейской организации и деятельности» (Коль, стр. 47). Конфликты между группами потребителей и производителей разрешаются Объединенным Комитетом обоих верховных органов, являющимся высшей государственной инстанцией.

Вот, собственно говоря, вся схема гильдейского государства. Она, конечно, у обоих авторов всесторонне детализуется, но основа ее именно такая. Таким образом «цель всей гильдейской системы,— говорит Коль, — состоит в том, чтобы вызывать дух вольного служения обществу путем установления в промышленности действительно демократических порядков» (стр. 34). Такие же порядки, но несколько иного характера, гильдейцы намереваются ввести и в земледелие, хотя в этой области у них как-то легко уживаются сельско-хозяйственные «социалистические» гильдии с самой неприкрытой частной собственностью.

Беспринципный эклектизм господ гильдейцев находит наибольшее выражение у Тейлора. Гильдия, по его мнению, является свободно самоуправляющейся единицей. Члены гильдии вольны «передавать свои полномочия каким-угодно способом кому им заблагорассудится... Если они найдут, что самодержавие принесет гильдии больше практической пользы, чем система непосредственного решения каждого вопроса всеобщим голосованием, то они, как люди практики и земли, по всей вероятности, предпочтут спокойно жить при условиях автократии, чем прозябать при условиях демократии» (45). Вот, собственно говоря, вся сущность этой мертворожденной системы.

Переходим теперь к краткой характеристике рецензируемых книжек.

Книжка С. Тейлора была написана задолго до прихода к власти Британской Рабочей партии, но тем не менее он предвидит этот приход на место обанкротившихся господствующих классов, половина политиков которых «являются просто мошенниками, а другая половина, в лучшем случае, может быть причислена к разряду идиотов» (4).

Что же должна сделать Рабочая партия, находясь у власти? Она должна «создать самый лучший кодекс законов» (7), «повести за собой общественное мнение... прибегнуть к такой стратегии и тактике, которые ни в коем случае не могут быть подменены чем-либо пахнущим политикой» (9). Больше всего автор боится политики, которая имеет своей конечной задачей революцию. «Революция является последним убежищем политического авантюриста. Детский лепет о диктатуре пролетариата в действительности очень часто совпадает с диктатурой авантюристов» (15) — вот, как представляет себе перепуганный мещанин и теоретик обывателей всякую революционную деятельность. Этот животный страх перед революцией настолько сильно захватывает Тейлора, что в «наказе избирателей их кандидату» в парламент (98—110) центральное место занимает перечень «грехов», установление которых может повлечь за собой отказ от выбора кандидата или отозвания депутата из парламента. «Мы не желаем никакой революции, никакого хаоса: мы стремимся к более доступным ценам на предметы продовольствия, на книги, одежду, театры... Есть слабосильные люди, которые... воображают, что всех перечисленных выше вещей можно достигнуть путем постройки баррикад, уничтожением домов и другими подобными средствами в духе горячих революционеров... Они недостаточно образованы и не знают поэтому, что во французской революции победили не несчастные полуидиоты, Марат и Робеспьер, а император Наполеон и армия поставщиков и спекулянтов. Если ты проявишь хоть малейший след этой, свойственной среднему классу, истории, то мы должны открыто сказать тебе: Мы тебя не выберем» (102).

Программа и тактика Рабочей партии в этом отношении, по Тейлору, должна быть совершенно чиста. Никаких соглашений ни с радикалами и вигами, но никакого потакания «среднему классу», включающему также и пролетариат, с революционными стремлениями которого ей (партии. *И. Б.*), очевидно, совершенно не по пути. Словом, «Рабочая партия должна стать дальновидным агентом, так сказать, присяжным защитником очень разношерстной и очень нерешительной (обывательской. *И. Б.*) толпы людей, которые не в состоянии защищать свои собственные интересы (18). Основная же задача партии заключается в том, «чтобы создать такую систему законов общежития, которая может быть легко понята любым полковником, который привлечет в то же время внимание толпы праздничных гуляк на любом пляже» (11). Итак, следуя только этим программным и тактическим положениям, а также ряду других, предлагаемых Тейлором, Рабочая партия будет в состоянии довести современное общество до нового строя, именуемого «гильдейским социализмом».

Полагаем, что читатель не посетует, если на этом оборвем цитирование Тейлора. Нужно думать, что, прочитав вышеприведенные выдержки, он уяснит себе смысл политической сентенции нашего автора. Поэтому перейдем ко второй рецензируемой книжке — Г. Коля.

Генри Коль является, точнее, являлся самым талантливым теоретиком этой новой школы английского социализма, — пишет тов. Ротштейн.

Если сравнивать его с Тейлором, то придется согласиться с подобной характеристикой. Действительно, в то время, как Тейлор занимается, главным образом, возвеличиванием гильдеизма и одновременно дискредитированием всего прочего, вернее, политической агитацией под забралом трусливого обывателя, Коль посвящает свою книгу почти целиком обоснованию теории и практики гильдейского социализма.

Следует с самого начала подчеркнуть, что в отличие от Тейлора Коль признает неизбежность революции и революционного насилия. На пути пролетариата будет много боев и подлинных сражений, при чем в результате их пролетариат

выйдет победителем, — так мыслит Коль. Однако, когда дело доходит до практических мероприятий, до первых организационных и подготовительных шагов к боям, Коль пасует, увертливо исчезает с поля зрения, оставляя возникающие вопросы без всякого ответа.

«Мы не можем, сидя в своем кресле, излагать с научной точностью стратегию и тактику гильдейско-социалистического или всякого иного великого социального преобразования», — оправдывается Коль (110), хотя тут же говорит: «Мы можем избежать революции ради революции, но если даже считать, что переворот практически возможен без революции, мы не можем утверждать, что социальная революция осуществится мирным путем».

Продолжая развивать свою мысль в этом направлении, «имея перед глазами совершившийся факт русской революции», Коль все же приходит к совершенно противоположному, абсолютно неувязывающемуся с ходом этой мысли, выводу.

«Целью гильдейских социалистов, — пишет Коль, — является уничтожение господства экономических условий, но это только еще более подчеркивает для них факт этого господства в настоящее время. Именно, экономическое, скорее, чем политическое, могущество пролетариата сделает возможным свержение капитализма и, если это экономическое могущество будет иногда проявляться в политических формах, то все же оно, главным образом, будет проявляться в своей собственной области» (111). Другими словами, — продолжает он, — революционный элемент необходим для полного осуществления социального преобразования, но, тем не менее, ясно, что максимальное развитие революционной политики и, в особенности, ее экономической и промышленной стороны, не только бесконечно увеличит шансы на успех всякого «революционного» действия, но оно будет стремиться свести к минимуму требуемый размах революционного действия» (112).

Словом, оппортунистическая формула — «нельзя не признаться, но нельзя не сознаться» руководит мыслями Коля на протяжении доброй половины его книги. Вся эта концепция завершается общим реформистским лозунгом, свойственным всему гильдеизму. Тот, кто стремится к торжеству революции, должен спешить медленным темпом и подготовлять ее достижение путем определенных мелких завоеваний» (115).

Два слова об издании рецензируемых книжек. Мы считаем, что издание книжки Коля должно служить образцом печатания и выпуска любой книги. Она, безусловно, удовлетворяет требованиям всякого серьезного и требовательного читателя. Книжка Тейлора издана удовлетворительно.

И. Браславский.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.
Издатель: Государственное Издательство
Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературные края

За рубежом

От земли и городов

Критика и библиография